

12

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1978

12

1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФЕДОР АБРАМОВ — Дом, роман	3
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Дела, стихи	165
ЮРИЙ СБИТНЕВ — Охота на лося, повесть	169
Д. САМОЙЛОВ — Среди шумного бала, стихотворение	201

ПУБЛИЦИСТИКА

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — Если отглянуться на сделанное	203

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Размышляющая Америка	220
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ — Художественный поиск. Заметки о прозе Чингиза Айтматова	254
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство	264
Валерий Гейдеко. Мера ответственности.— Р. Гальцева, И. Роднянская. К портрету восходящей культуры.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	272
Г. Резниченко. Это трудное директорское кресло.— Г. Ашин. Книга о великом флорентийце.	
КОРОТКО О КНИГАХ: И. Борисова. — Михаил Лохвицкий. Громовый гул. Историческая повесть. ♦ Вадим Монохов. — Галина Филипчук. Знаете ли вы своего ребенка? Книга для родителей	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	281
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1978 ГОД	282

ФЕДОР АБРАМОВ



Д О М

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

Пес лежал в воротах сарая — передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза — угли раскаленные: так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин.

Спина и шея у Михаила взмокли: нет ничего хуже обдирать сопревшее межножье да седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окажные — поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел да миновал подбрюшье — одно удовольствие: нож в балку над головой и давай-давай орудовать одними руками...

Снятую, вывернутую наизнанку овчину — ни единого пореза, блеск работа — он собрал в большой, расплзающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо повертывая подвешенного на распялке барана, хозяйским, оценивающим взглядом обвел его тугие, белые от сала бока.

— А барька-то ничего, а?

Не жена ответила — пес клацнул голодными зубами.

Он вырубил хвост, не глядя бросил Лыску и опять залюбовался забитой животиной.

— Баран-то, говорю, подходящий. Чуешь?

— До осени подождал бы, еще подходящей был.

— До осени! Может, еще до зимы, скажешь?

— Да как! Кто это под нож скотину в такую жару пущает?

— А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?

Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа — сверху донизу — распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности левой хлынули на свежую, вновь подостланную солому.

— Воды!

За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула Звездоня — замаялась, бедная, от жары, — взвизгнул нетерпеливо Лыско. А хозяйка, его помощница?

Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбку: белые подколенки жены, склонившейся над ведром, увидел.

Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрай-

кам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мякенькая, свеженькая — час какой назад в огороде накопил...

— Куда лить-то? Чего молчишь?

— Погоди маленько... Перекур надо...

— Перекур? Это барана-то с перекуром резать?

— А чего? Передохнуть завсегда полезно... — Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом.

Раиса попятилась к двери, за которой томилась корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками:

— Ты в эту Москву съездил... рехнулся...

— Дура пекашинская! С тобой и пошутить нельзя!

Михаил забегал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок: не лезь на глаза, когда не просят!

2

Круто забирал июль.

Мясо, пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал — ступой толлок да утрамбовывал, и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, как что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку.

На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплекался водой из ушата (не нагрелась еще, в тени стояла), затем, войдя в кухню, переоделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие, вьетнамского подела, довольно улыбнулся: месяца не гулял в столице, а поправился — насилу застегнул верхнюю пуговицу.

Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить-печь? Для мух выставила на стол печень и почки?

Михаил заглянул на одну половину — на всю катушку радио, заглянул на другую, и у него дыбом встала кровь: Раиса давила кровать.

— Это еще что за новая мода — с утра на вылежке?

Взвыли, стоном простонали пружины — Раиса рывком отвернулась к стене: разговаривать с тобой не хочу.

Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди, повернул к себе.

Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых немигающих глаз. А ведь было время — лето жило в этих глазах. Круглый год, всю зиму. И, помнится, покойный Федор Капитонович, провозжая их в день свадьбы, так и сказал: «Не дочерь — лето ты уводишь из моего дома».

Неладья у них, конечно, бывали и раньше — как всю жизнь проживешь гладко? — но чтобы сиверко задул на месяцы — нет, этого еще не бывало.

Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила, Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пекашино, по два, по три месяца живет в теткинском доме со своим выводком (девятерых отгрохала, рекорд по сельсовету держит), а чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить — нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал, когда племянница о покойнице вспомнит (самый захудалый столбик на всем кладбище), да и не выдержал: весной, когда Раиса как-то уеха-

ла в район в больницу, и поставил пирамидку. Узнала. Кто-то брякнул из дорогих землячков.

— Мясо-то, говорю, само в печь залезет, але соседей позвать?

— Отстань! Видеть не могу я это мясо, а не то что варить.

— Больно заелась, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ране устраивали.

Раиса — не сразу — сказала:

— Может, мне в больницу, в район съездить?

— Тебе в больницу? Зачем?

— Зачем, зачем... Зачем бабы в больницу ездят...

Какое-то время он озадаченно, выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену — какая еще ей больница? — и вдруг все понял.

— Да-к это ты... — Дух захватило у него от радости. — Давай, давай! Солдаты надоть. За мир будем бороться.

— Весело, ох как весело! Только зубы и скалить. Девки обе невесты, а матерь с брюшиной переваливается. Что о нас подумают?

— А это уж ихнее дело! Пушай что хотят, то и думают, — отчета давать не собираюсь. Сказано тебе было: до тех пор рожать будешь, покамест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекатывать.

Больше Раиса не перечила. Но, вставая с кровати, все-таки куснула:

— Парни-то ноне тоже не золото. Не дай бог как ваш Федор, по тюрьмам смалу пошел.

— Ладно! Хозяйка! Гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.

— Што, я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек...

И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал, а я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:

— Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича... — Он помолчал немного, хрустнул пальцами. — А с той как будем? Сразу сказать але как?

— Папа, папа, автобус не в час, а в два будет! — В спальню, вся запыхавшись, влетела Анка, худущая, длинноногая и зеленые глаза навывкате, как у козы.

— Ты бы не автобус караулила, а за землянкой сбегала. Чем дядей-то угощать будешь?

— Сбегаю. А тебе в контору велели.

— Кто? Управляющий?

— Ага! Пушай, говорит, отец сейчас же идет, к сену ехать надо.

— К сену... Он, поди, опять хочет запереть меня на Верхнюю Синельгу. Дудки! Я тридцать лет комаров кормил на этой Верхней Синельге, а теперь пушай другие покормят.

Михаил перевел взгляд на Раису, расчесывавшую волосы перед зеркалом.

Как в чащобу, как в бурелом вламывалась гребнем — треск стоял в комнате, вот какая грива у сорокалетней бабы!

Расчесала, завила в тугой узел на затылке, накрепко зашпилила.

Тут у ей сидит главная-то злость, гроза-то, подумал Михаил и спросил:

— Да-к как, говорю, будем с той? Чего удила закусила? Сестра ведь — первый спрос у братьев об ней будет.

Раиса — дурь нашла — так и вышла из спальни, не сказав ни слова.

До прихода почтового автобуса оставалось часа полтора, не меньше, и что было делать, за что взяться? Расколоть дрова, напиленные еще до поездки в Москву, отметать навоз у коровы, грабли, косы достать с подволоки да хоть пыль с них стереть, обручи на рассыпанной кадке набить... Уйма всяких дел скопилась по дому!

Михаил отправился под угор, на свой покос. Вот о чем надо было позаботиться в первую очередь.

С кормами в совхозе, как и раньше, в колхозное время, было туговато. Прошка-ветеринар каждую весну строчил акты об авитаминозе с летальным исходом (в Пекашине все знали эти мудреные слова), и вот те совхозники, у кого еще водились коровенки и овцы, добрую половину своих приусадебных участков засевали горохом, викой и овсом, а то и просто запускали под траву.

Целый месяц Михаил не был на своем пряслинском угоре (так ныне зовут угор против его нового дома) и как вышел к амбару да глянул перед собой — так и забыл про все на свете.

Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу (первый раз в жизни не видел, как одевалось подгорье зеленью), а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок-желтяк, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса — синие, бескрайние, до самого неба...

В Москве что только он не видел, куда только его не таскала Татьяна: и на выставку народного хозяйства, и в Кремль, и даже в Большой театр, куда и иностранцам-то не всегда ход есть, а нет, все не то, все ерунда по сравнению с этой вот доморощенной красотой, с этой ширью да с этими просторами.

И он снова и снова делал заход глазами, жадно ловил, вдыхал травяной ветер, а потом не выдержал и безрассудно, как молодой конь, со всех ног ринулся под угор. А под угором он отбросил в сторону топор и — хрен с вами, дивитесь, люди! — начал кататься по траве.

И еще одно мальчишество: не дорогой, не тропинкой пошел, а лугом, целиной — пускай потом косарь клянет все на свете. Шел, срывал на ходу борщовки, грыз их сладкие стебли и ногами, коленями переговаривался с разомлевшими на солнце травами...

Под пологом, возле сельповского склада, кто-то косил на лошадях — так и вспыхивала на солнце белая голова.

Это Михаила немало удивило. Почему на лошадях? Почему не на тракторе? Слава богу, хватает нынче железа в деревне. А кроме того, что за болван этот косильщик? Есть у него хоть одна извилина в башке? В самую жару на самое пекло вылез — неужели нельзя сообразить, что лошадям сейчас легче под горой, возле озерины? Нет, будь у него время, он бы не поленился — растолковал этому сукину сыну сенную политграмоту!

Травяное поле у Михаила было на старых капустниках, напротив его старого дома, и он еще издали увидел: хорошо уродился горох. Ни одной проплешины, ни одной прели.

Изгородь — от совхозных коней, — как он вскоре убедился, обходя вокруг поле, тоже неплохо сохранилась. Нужно было заменить лишь кое-где подгнившие колья.

За делом, за работой, по которой он порядком истосковался в Москве, Михаил и не заметил, как подъехал косильщик. Увидел, когда тот его окликнул.

— Дядя Миша, задымить е?

— Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался!

Но черта с два смутишь Борьку! Сверкнул на солнце белыми жерновами — не рот, а целая мельница, вывернул:

— А чего? Сам же в позапрошлом годе сказал: зови дядей Мишей. Не помнишь, на Октябрьской супротив школы пьяный встретился?

Михаил не помнил. Но, может, и говорил. Находила на него иной раз блажь — комок к горлу подступал, когда встречал Егоршина отпрыска: вроде и ничего общего с отцом — коренастый, весь как веревка, как узловатая сосна, свит из мускулов, глаза круглые, рысьи, — но ему вдруг приходил на память Егорша, ихняя дружба-товарищество, и срывались, срывались с губ непрошенные слова.

Но это случилось с ним редко, только в пьяную минуту, а в обычное время он видеть не мог это отродье. Потому что как забыть? Не успел откочевать в том памятном пятидесятом году Егорша из района, как начала пухнуть Нюрка Яковлева, а потом — нате-получайте Бориса Егоровича, новоиспеченного братца Васи.

Борька подошел развалистой походочкой, с ухмылкой, закурил — как откажешь? — но когда, выпустив дым изо рта, чисто по-отцовски цыкнул слюной сквозь зубы, Михаил заорал как под ножом:

— Ты в городе вырос, что ли? Какого дьявола мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в мыле!

Борька с показным интересом посмотрел на луг, пожал плечами — вроде как не понял, о чем речь, — и тогда Михаил уже совсем вышел из себя:

— Я говорю, есть, нет у тебя башка на плечах? Почему в такое пекло не от горы косишь? Не видал, как люди делают?

— Да будет тебе разоряться-то! Теперека не старые времена всем-то командовать.

— Что?

— Не демократия, говорю, колхозька, — без малейшей задержки выпалил Борька. Знал, гад, как отец, знал нужные слова и, как отец, умел сказать их к месту. — Есть у нас начальников-то. Немало. Деньги за это получают.

— А раз начальник не видит — делай что хочю?

Борька примирительно ухмыльнулся:

— Да хватит, говорю, честных-то тружников калить. Этих одров, — он кивнул на блестящих на солнце, запаренных лошадей, — все равно осенью на колбасу погонят. Ты бы чем подрастающему поколению разгон давать, сестре своей приструнку дал.

— Это какую же приструнку? Насчет дома? — Михаил слышал от людей: подала Борькина мать заявление в сельсовет — требует своей доли в ставровском доме.

— А чего? Я сын родной, а какие ейные права? Она теперека сбоку припека...

У Михаила заходили глаза, запрыгали губы — какими бы поуверсестее словами оглушить этого гаденыша, чтобы у него раз и навсегда отбить охоту заводить разговор насчет ставровского дома? И вдруг, глянув в сторону своего дома, увидел на угоре двух мужиков с вьющейся вокруг них, как белый мотылек, Анкой. Братья, братья приехали! Петр и Григорий...

И тогда все разом вылетело из головы: и ставровский дом, и изгородь, и Борька, — и он со всех ног бросился навстречу уже сбегавшим с угора своим дорогим двойнятам.

Глава вторая

1

— Так, так, браташа! Собрались, значит, к брату-колхознику? Нет, ребята, теперь не к колхознику надо говорить. К совхознику. Кончилась колхозная жистянка... Долгонько, долгонько собирались. Когда в последний раз виделись? Семь лет назад, когда мать хоронили? Так?

— Так.

— Да, — вздохнул Михаил, — не пришлось покойнице пожить в новом доме. — И вслед затем горделивым взглядом обвел горницу, или гостиную, как сказали бы в городе.

Все новенькое, все блестит: сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену — подарок Раисе от Татьяны... В общем, обстановочка — в городе не у каждого. И он подивился, покосившись на братьев. Пестрые застиранные ковбечки, в каких у них на работу ходят, парусиновые туфельки... А насчет барахлишка и подавно говорить нечего. С рюкзачками, с котомочками заявились. Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит!

— Давай, — Михаил поднял стопку, — со свиданьем! — И предупредил, с подмигом кивая на стол: — Это мы так покудова, для разминки, как говорится, а основное-то у нас вечером будет...

Петр выпил — всю, до дна стопку осушил, — а Григорий только виновато улыбнулся.

— Ну нет, так у нас не пойдет. Да ты откуда такой взялся? К старшему брату в гости приехал а ле в монастырь?

— Ему нельзя, — сказал Петр.

— Знаю. А у него у самого-то язык есть?

И опять ни слова, опять кроткая, виноватая улыбка обмыла льняное лицо Григория.

А в общем-то, с Григорием ясно. Все такой же двойняшка. Худущий, насквозь просвечивает. Просто святой какой-то, хоть на божницу ставь — вполне за икону сойдет.

А вот Петр... К Петру не знаешь как и подобраться, за что уцепиться. Как речной камень-голыш, который со всех сторон водой обточило. Или это все оттого, что бороду отпустил? Бородка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого в семнадцатом году скovyрнули. Татьянин муж деньги старые собирает, так он, Михаил, насмотрелся на этого бывшего царя.

— Ты это бородой-то обзавелся, чтобы от брата отгородиться? — по-доброму пошутил Михаил. — Ну правильно. А то ведь, бывало, не то что чужие, я, родной брат, не каждый раз угадаю, кто из вас Петька, кто Гришка. Эй-богу!

— А я сразу угадала, который дядя Гриша, — сказала Анка.

— Как?

— Тетя Лиза сказывала.

Михаил не стал уточнять у дочери, что сказывала тетя Лиза. С него довольно и того, что произошло с братьями при одном упоминании имени сестры. Оба вдруг ожили, оба вдруг глазами в него. И было, было у него искушение — рубануть со всего плеча, ведь все равно придется говорить. но вместо этого он закричал на весь дом:

— Эй ты там! Уснула?

И тут с кухни наконец пожаловала Раиса, прямая, статная, и принарядилась — уважила гостей. Но голову от миски с мясом отвернула — видно, и в самом деле понесла.

Михаил, довольный, заржал.

— Предлагаю выпить за будущего солдата!

— За кого? За солдата? — переспросил Петр.

— Чуваки! У нас со старухой на эту пятилетку твердое задание — наследника!

— Не плети чего не надо! При ком язык-то распускаешь?

Михаил смущенно крикнул, поглядел на младшую дочь, пристроившуюся возле дяди Гриши, сразу, с первой минуты к нему присосалась, дал команду — на улицу.

Когда закрылась за Анкой дверь, притворно вздохнул:

— Вот так и живем, браташи. Совсем заездила супружница.

— Тебя заездишь! Ты в эту Москву слетал — совсем ошалел.

— Да, ребята, слетал. Повидал белый свет! — Михаил встал, принес из спальни увесистый альбом в дорогих бархатных корках, с золочеными буквами, трахнул по столу. — Вот мое пребывание в столице нашей родины. Татьяна тут все моменты зафотографировала.

Карточек было много. Михаил с сестрой, Михаил с зятем, Михаил со сватом, то есть со свекром Татьяны... Само собой, был увечен Михаил в пестрой толпе и у ленинского Мавзолея с двумя замершими у дверей часовыми-гвардейцами, и возле знаменитых фонтанов на выставке, и возле царь-пушки.

— Да, ребята, золотой билет вытащила наша Татьяна. Я три недели у ей пожил — ну, скажу, в коммунизме побывал. Ей-богу. Без пивка да без водочки за стол не саживался. Дача двухэтажная, квартира пять комнат, машина, прислуга... Помните, как, бывало, Татьяна Ивановна зимой за хлев босиком бегала вместе с вами? А теперь — подай, поднеси. Да на блюдечке... В газетах-то читаете? «Высоких гостей на Внуковском аэродроме встречали товарищи... маршалы, а также деятели культуры и другие представители общест-венности столицы...» Ну дак в этих «других представителях» и наша Татьяна. Два раза при мне на этот Внуковский аэродром каталась. Со свекром.

— Со свекром? — удивилась Раиса. — Пошто со свекром-то? Разве мужика у ей нету?

Михаил насмешливо постучал кулаком по столу.

— Темнота пекашинская! Мужик-от у ей есть, и мужик — душа-человек, видела ведь, чего спрашиваешь? Да на этот аэродром не за душу пускают. Говорю, Борис Павлович, свекор ейный, шишка большая, всема каменными памятниками заправляет, а ему положено с супругой. Ну а он как человек вдовый Татьяну за собой волокет. Дошло теперь?

— Я не знаю, что за такой муж, — не унималась Раиса, — жену одну отпускает...

— Да не одну, с отцом! Чем слушаешь-то? Хороший старикан. Меня все кумом называл. «Ну как, кум, твердо решил: куда не годится шампань?» Подшучивал, сам только шампанское примает. А у меня дак с этой шампани брюхо, ребята, пучит, пьешь-пьешь его — все без толку. Да я и клоповник этот, коньяк, не больно уважаю. Я пивко да водочку лучше всего. А муж у Татьяны, тот только шипучую водичку. Ни грамма спиртного. — Михаил покачал головой. — Вот человек для меня загадка! Не видали его? Хрен его знает, как вам сказать... Сказать чтобы больно умен, ума палата...

Летом, видали, по деревням ездят-шныряют — прялки, ложки, туеса, всякое старье собирают? Дак он из тех самых старьевщиков... Иконы особенно уважает.

— И что он с этими иконами делает? — спросила Раиса. — Молится?

— Ну, он молится-то, положим, на другие иконы. Представляет, — Михаил игриво подмигнул братьям, — на каждой стене Татьяна. И в нарядах и без нарядов. По-всякому... В умывальнике, и в том Татьяна... На белом кафеле эдакая картиночка...

— Ну, хорошему, хорошему научит племянниц тетушка.

— А не возражаю. Хорошо бы хоть одна пошла в тетушку. Вера и Лариса у меня ведь в Москву уехали,— пояснил Михаил братьям. — Отец из Москвы, а дочери в Москву. Вот так ноне у Пряслиных.

Хоть какое бы впечатление! Хоть бы один вопрос! Как там Татьяна? Что? Девка, прямо скажем, на небо залезла. Гордиться такой сестрой надо, бога молить за нее. А брат ихний почти целый месяц в Москве выжил — это как? Тоже неинтересно?

Правда, с одной стороны, такое безмолвие близнят льстило ему. Года годами, образование образованием, а не забывайся, кто говорит. Брат-отец. А с другой стороны, где они сидят? На встречах или на бывалошном колхозном собрании, на котором районные уполномоченные выколачивают дополнительные налоги или заем? Да, там боялись рот раскрыть, потому что, что бы ты ни сказал — против, за,— все худо, за все зыск: либо от начальства, либо от своего брата-колхозника...

А-а, догадался вдруг Михаил, дак это вот что у них на уме... И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы:

— Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро два года как к дому своему близко не подпускаю.

Григорий зажмурился — с детства от всех страхов закрытыми глазами спасался, — а у Петра будто лоб распахали — такими морщинами пошла кожа.

— Да разве вам она не писала? — спросил донельзя удивленный Михаил.

— Ну и ну, вот это терпенье, — по-бабьи запричитала Раиса.— Тут не то что люди — кусты-то все придивились.

— В общем, так.— Михаил налил водки в стакан с краями вровень, залпом выпил. — Вася потонул четырнадцатого октября, а пятнадцатого февраля — помирать стану, не забуду этот день: «Михаил, у тебя сестра с брюхом...» Понимаете?

— Беда, беда! — снова запричитала Раиса.— Как Пекашино на свете стоит, такого сраму не бывало. Кошка и та, когда котят порушат, сколько времени ходит, стонет, места прибрать не может, а тут одной рукой гроб с сыном в могилу опускаю, а другой за мужика имаюсь...

По худому, нездоровому лицу Григория текли слезы, Петр закаменел — только борода на щеках вздрагивает, — а на самого Михаила такая вдруг тоска навалилась, что хоть вой.

Застолье не ладилось. Сидели, молчали, как на похоронах. Будто и не братья родные после долгой разлуки встретились. И Раиса тоже в рот воды набрала. В другой раз треск — уши затыкай, а тут глаза округлила — столбняк нашел.

Наконец Михаила осенило:

— А знаете что? Дом-то мы новый еще ведь и не посмотрели! Ну и ну, ну и ну! Сидим, всякую муть разводим, а про само-то главное и позабыли.

2

Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню. Причем что удивительно! На зады, на пещки, к болоту все качнулись: там вода рядом, там промышленность вся пекашинская — пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну а Михаил плюнул на все эти расчеты — на пустырь, на самый угор, против Петра Житова выпер.

Зимой, правда, когда снега да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной — красота. Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди, из-за мыса выплывают... А что это за праздник, когда птица перелетная через тебя валом валит! Домой уходить не хочется. Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой...

Григорий — чистый ребенок, — едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворешню — как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался: не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка.

Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату — дескать, брось ты эту ерундовину, — он сам любил говорливых скворчишек, а только легонько похлопал того по плечу: потом, потом птички. Найдется кое-что и позанятнее их.

Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать — с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей: погреб, мастерская, баня. Петр Житов такое придумал. От него — кто с руками — переняли.

В погребе задерживаться не стали — чего тут интересного? Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивает, а все остальное — известно: кастрюли, ведра, кадки, капканы на деревянных крюках, сетки...

Другое дело — мастерская. Вот тут было на что посмотреть. Инструмента всякого — столярного, плотницкого, кузнечного — навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фронт, навтыжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное — долота, сверла, напарьи, фуганки, рубанки — все было в блеске.

Михаил любил инструмент. С ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной ни зайдут, первым делом: а где тут железо рабочее?

Петра заинтересовал старенький, с деревянной колодкой рубанок.

— Что, узнал?

— Да вроде знакомый.

— Вроде... Степана Андреевича заведенье. Тут много кое-чего от старика. Ладно, — Михаил пренебрежительно махнул рукой, — все эти рубанки-фуганки ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я зам одну штуковину покажу — это да!

Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием, покачал на ладони.

— Ну-ко давай, инженера. Что это за зверь? По вашей части.

Петр снисходительно пожал плечами: чего, мол, морочить голову? Металлом! И Григорий в ту же дуду.

— Эх вы, чуваки, чуваки!.. Металлом. Да этот металлом — всю Пинегу перерыть — днем с огнем не сыщешь. Топор. Перво-статейный. Литой, не кованый. Вот какой это металлом. Одна тысяча девятьсот шестого года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе при Николашке делан. А заточен-то как — видите? С одной стороны. Как стамеска. Вот погодите, топориче сделаю да ржавчину отдеру — вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то он как ко мне попал, знаете? Охо-хо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте!

Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал:

— Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была! У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора... Ну, которые статуи делают. И вот все: я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду... А одна лахудра, — Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, — на ногу мою обзарила. Ей-богу! Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? «Да сходи ты к ей, — говорит Татьяна, — она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги. Все они чокнутые...» Ладно, поехали в один распрекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим — тоже мастерская называется: статуев этих — навалом. Головы, груди бабьи, шкилет... Это у их первое дело — шкилет, ну как болванка вроде, чтобы сверху делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили — вкусно, шкилет тебе из угла своими зубками белыми улыбаются... Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю это сымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может, штанину до колена закатываю, а она: нет, нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кажинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь — куда еще чище? А оказывается, чистая натура — это сымай штаны да рубаху...

Михаил вовремя остановился, потому что разве с его двойнятами про такие вещи говорить? Хрен знает что за народ! За тридцать давно перевалило, а чуть начни немного про эту самую «чистую натуру» — и глаза на сторону...

3

В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали — тут техника недалеко шагнула: все тот же колун с расшлепанным обухом да чурбан сосновый, сук на сук.

Прошли прямо к въездным воротам.

Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот, а вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе.

Чудо-ворота! Широкие, на два створа — на любой машине въезжай, столбы на века — из лиственницы, и цвет красный. Как Первой, как Октябрьская революция. И вот все, кто ни едет, кто ни идет — чужие, своя, пекашинцы, — все плят глаза. Останавливаются. Потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пинеге. И Равса, которая букой смотрела, когда он их ставил («На что время тратишь?»), теперь прикусила язык.

— А в музыку-то мою поиграли? — Михаил с силой брякнул

кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновение блаженно закрыл глаза: такой гремучий, такой чистый звон раскатился во круг. — Это чтобы без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы — хуже?

В это время еще одно кольцо забренькало — у соседей. Калина Иванович из дому вышел — с котомкой, с черным, продымленным чайником, а следом за ним — сама.

— Знаете, нет, кто это? — быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. — Не знаете? Да это же Калина Иванович! Дунаев!

— Дунаев? Тот самый Дунаев?

— Да, да, тот самый!

— Это о котором статья-то нынешней зимой в «Правде Севера» была? — Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым под боком жила.

— Статья!.. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите: комиссар гражданской войны! Самого Ленина видал...

Котомка была явно не по старику — его качнуло, обнесло, и Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа:

— Держи, держи крепче! Чего ворон считаешь?

— Замолчи, к лешакам! Без тебя тошно.

— Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька-угар прозвали.

Михаил потащил братьев на соседнее подворье. Прямо через воротца в старой изгороди.

С Евдокией — просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно. Все прошла, все вызнала, где ни бывала, кого и чего ни видала — ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой и осталась. Даже одежду и ту на деревенский пошиб носила: сарафан, какой сейчас и на самой старорежимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетенья, безрукава...

Зато уж с Калиной Ивановичем будь на чеку. Вроде бы старичонко, сушина наскрозь просушенная, вроде бы ветошь, как все в его возрасте, да вдруг так скажет, такую породу выкажет — сразу по стойке «смирно» уши поставишь. И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем.

— Куда это наострил лыжи? — с ходу закричал он старику. — Не на Марьюшу?

— Да, имею такое намеренье.

— Погодь до завтра. Праздник сегодня. Посидели бы вечером, у меня братья приехали.

Тут Калина Иванович полез за очками — худо видел, а охоч был до свежих людей.

Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с неточной окруткой над переносьем, но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась.

— Очень приятно, очень приятно, молодые люди. — И за руку с обоими.

— А раз приятно, дак оставайся до утра, — опять начал урезонивать старика Михаил. — Завтра вместе поедем.

Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену.

У той фарами запольхали синие глаза.

— Не поглядывай, не поглядывай! Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим.

— Во, во дает! — рассмеялся Михаил и подмигнул братьям.

— Не скаль, не скаль зубы-то! Вишь ведь разъехался! — Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. — Не боишься, как раскулачат?

— Не раскулачат, — ловко, без всякой натуги отшутился Михаил. — Сейчас не старые времена — бедность не в почете. На изобилие курс взят. Я в Москве был — знаешь, как там живут? У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве сто сорок голов лошадиное стадо.

— Плетей! С коих это пор в городах лошадей стали разводить? — Чего плети-то! Две машины — одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по семьдесят кобыл. Считай, сколько будет.

Больше Евдокия не слушала. Стащила с мужа котомку, взяла у него из рук чайник, косу, обернутую в мешковину, и на дорогу — саженными шагами работающей крестьянки.

Калина Иванович еще хорохорился: дескать, надеюсь, молодые люди, увидимся, потолкуем, — а старыми-то руками уже шарил по стене возле крыльца — своего помощника искал.

Михаил подал старику легкий осиновый батожок — тот на сей раз стоял за кадкой с водой — и, провожая его задумчивым взглядом, сказал:

— Вот такая-то, ребята, жистянка. Сегодня мы верхом на ей, а завтра она на нас. Н-да...

4

Лыско развалился посреди заулка, или двора, как теперь больше говорят: ничего не вижу, ничего не слышу. Хоть все понесите из дому. И клочья лнялой шерсти по всему заулку. Вот пошла собака! И надо бы, надо проучить подлюгу, двинуть разок как следует — не забывайся, да Михаил и так чувствовал себя виноватым перед псом: давеча в сарае налетел — расплачивайся пес за то, что хозяин с бабой совладать не может.

— Ну что будем делать-то? Снова за стол але экскурсию продолжим?

На Григория он не взглянул — давно понял, в чьих руках завод, но и Петр — где его предложенья?

— А не принять ли нам, ребята, душ изнутри, а? Шагайте в мастерскую, я моменталю.

Михаил сбегал на погреб, принес две холодненькие, запотелые бутылки московского пивка — специально для Калины Ивановича берег, — разлил по стаканам.

Его дрожь сладкая пробрала, едва обмочил пересохшие губы в холодной резвой пене, а как Петр и Григорий? А Петр и Григорий, ему показалось, и не заметили, что пиво московское пьют.

— У меня это заведение хитрое, ребята. — Он обвел хмельным глазом мастерскую. — Когда работаю, когда процедуры принимаю. Неясно выражаюсь? Чуваки! Население-то у меня какое? Женское. Ну и насчет там всякого матерхата не больно разойдешься. А здесь стены крепкие, кати — выдержат.

Михаил от души рассмеялся — ловко закрутил — и вдруг полез за койку, вытащил оттуда полено, плашку березовую.

— Ну-ко скажите — в институтах учились, — с чем это едят-кушают? Почему хозяин его бережет? Эх вы, инженера! Спальное полено. И это непонятно? А дом-то я как строил — вы подумали? Людей брал только на окладное да на верхние венцы, а тут все сам. Капиталов-то, сами знаете, у меня — не у Ротшильда. Да еще колхозная работа целый день. И вот по утрам топориком махал, до работы. А чтобы не проспять, полешко под голову. Так новый-то дом мы строили... Так...

Петр и Григорий на этот раз сделали одолжение — раздвинули губы. Но только губы. А где глаза? Видят они его своими глазами?

Не хотелось бы, вот так не хотелось бы вправлять мозги гостям, тем более в первый день, а с другой стороны, что это такое? Побасенки он им рассказывает?

— Между прочим, — начал чеканить Михаил и вдруг с остервенением сплюнул: двадцать лет нет Егорши в Пекашине, а ему все еще отрывается это его дурацкое слово, да и многие другие, замечал он, выговаривают его, как Егорша.

В заулке лениво рявкнул пес — не иначе как Раиса пинком угостила. Точно: послышался плеск воды, ведро грязное опрокинула в помойку.

— Ладно, идите. Все равно с вами каши не сварить, раз у вас в башке дорогая сестрица засела. Да у меня к восьми как из пушки. Понятно?

Глава третья

1

О приезде братьев Лиза узнала еще вечер от Анки. Та прибежала к тетке — никакие запреты ей родительские не указ, — как только пришла телеграмма. А сегодня Анка еще два раза прибежала и все, все рассказала: и как отец встретил братьев, и чем угощал, и какие разговоры вел за столом. И все-таки вот как у нее были натянуты нервы — выстрелом прогремела железная щеколда в старых воротцах на задворках.

Какое-то время не дыша она глядела в конец заулка на голубой проем между стареньким овечьим хлевом и избой, где вот-вот должны появиться братья, и не выдержала — перемахнула за изгородь (луковую грядку под окошками полола) и так вот босая, растрепанная, с перепачканными землей руками, вся насквозь пропахшая травой, солнцем, так вот и повисла у них на шее.

Отрезвление наступило, когда перешагнули за порог избы: в два голоса ревела ходуном ходившая зыбка, завешенная старыми цветастыми платишками.

— Да, вот так, братья дорогие, — сказала Лиза, — не хватило духу написать, а теперь судите сами. Все на виду.

Григорий заплакал, как маленький ребенок. Навзрыд. А Петр? А Петр что скажет? Он какой приговор вынесет?

Петр сказал:

— Мы не судьи тебе, сестра, а братья.

И тут Лиза уже сама зарыдала, как малый ребенок. Господи, сколько было передумано-перегадано, как она с братьями встретится, как в глаза им посмотрит, какие слова скажет, и вот — «мы не судьи тебе, сестра, а братья»...

Вмиг воспрянула духом, вмиг все закипело в руках: ревунов своих утихомирила, самовар наставила, стол накрыла... А потом увидела — Петр и Григорий перед Васиной карточкой стоят, и опять все померкло в глазах.

— Нету, нету у меня Васеньки... А я вишь вот что натворила-надела. Вот Михаил-от и отвернулся от меня. Он ведь Васю-то пуще дочерей своих, пуще всего на свете жалел да любил. Все, бывало, как выпьет: «Вот моя смена на земле!» А как беда-то эта случилась, трое суток не смыкал глаз, трое суток рыскал по реке да искал Васиного тело...

Петр и Григорий давно уже все знали про смерть племянника,

не было письма, в котором Лиза не вспомнила бы сына, но разве есть предел материнскому горю? И, давась слезами, вместе с братьями глядя на дорожную карточку под стеклом, в черной рамочке, она стала рассказывать:

— У меня тогда как чуяло сердце. С самого утра места прибраться не могу. Коров на скотном дою — ну колотит всю, зуб на зуб не попадают. Где, думаю, у меня парень-то? Который день рекрутит — хоть бы ладно все. Прибежала домой, а парень с ребятами да с девками за реку собирается. В Водяны. Там тоже молодежь в армию провожают. Руками обхватила: не езди, бога ради, не езди! Река не встала, лед несет... А он эдак меня одной рукой отпихивает — что ты, мати, солдата не пущу, да еще вот эдак себя в грудь: «Советским танкистам никакие преграды не страшны». Гордился, что в танкисты взяли. Одного со всего Пекашина... Любка, Любка Фили-петуха во всем виновата. Она вздумала на реке шалить, задом вертеть... Все выплыли, все спаслись. И Вася было выплыл, да услышал — Любка кричит: «Помогите!» — на яму вместе с лодкой понесло, ну и опять в ледяную воду... Кинулся за своей смертью...

— Что теперь растревлять себя, сестра! Чем поможешь?

— Не буду, не буду, Петя! — Лиза скорехонько вытерла глаза, заулыбалась сквозь слезы. — Я все про себя да про себя. Вы-то как живете? На вас-то дайте досыта насмотреться. Ну, Петя, Петя, совсем мужик стал. А я, бывало, все боялась: о, хоть бы у нас двойнята-то выросли! А ты, Григорий, я не знаю, — от тебя все войной пахнет. Сейчас кабыть у нас не по карточкам хлеб — можно бы и досыта есть, думаю...

Сели за стол, за радостно клопочущий, распевшийся на всю избу самовар — Лиза терпеть не могла электрических чайников, которые теперь у всех были в моде: мертвый чай.

— Ну, братья дорогие, — Лиза высоко подняла сполна налитую рюмку, — спасибо, что не погнушались худой сестры... Не дивитесь, не дивитесь — за стопку взялась. С радости! А вообще-то... Страсть отчаянный народ пошел. И я, ребята, отчаянной стала. Не отталкиваю рюмку, нет. Ладно, — вдруг разудало, бесшабашно махнула рукой, — хоть Раисье теперь будет что говорить. Топчет меня, поносит на каждом шагу. Я и сука, я и тварь бездушная, я и сына своего не любила.. А я, когда Вася нарушился, замертво лежала, в петлю едва не залезла — вот истинный бог. А спросите меня, как, какой дорогой на скотный двор ходила, — не скажу. Ничего не помнила, ничего не видела. Ну, я себя не защищаю, не оправдываю. Двадцать лет без мужика жила — худого слова никто не скажет. А тут отбило ум, отшибло память. Вот он, Михаил-то, и — «нету у меня сестры»...

Тут Петр опять попытался остановить ее, но разве могла она молчать?

— Нет, нет, ребята! Не хочу, чтобы вы от других узнали, всякой небыли наслушались. Сама расскажу. С Михайла Ивановича, с брата родного, все началось, вот как все было-то. Он привел ко мне постояльца на постой: «Сестра, пусть, все тебе повеселее будет». А какое мне веселье, когда я только что сына схоронила? Говорю, не помню, какой дорогой на коровник ходила. И постояльца этого, уйди он от меня через день, через неделю, тоже не запомнила бы. Я уж когда его разглядела-то? Когда он начал разговаривать меня. Человек, вижу, немолодой, из офицеров (какие-то военные тогда у нас стояли), и забота... Я сроду такой заботы о себе не видела. Приду с коровника — дрова наколоты, вода наношена, самовар на столе — с ходу садись за стол. И вот слово за слово, разговор за разговором... Не знаю, не знаю, как ума лишилась. А когда вспомнилась — об

одном думушка: как помереть, как себя нарушить. Анфиса Петровна поперек встала: «Сама как знаешь, что хошь, говорит, с собой делай, а у ребенка не смей жизнь отнимать». Вот так и обзавелась Надеждой да Михаилом...

Лиза заставила себя взглянуть на примолкших братьев.

— Раисья, сказывают, из-за этого Михаила пуще всего рвет и мечет. Думает, это я нарочно, чтобы брата разжалобить, чтобы к нему на шею сесть. А у меня и в думушках ничего такого не было, пластом лежала. Анфиса Петровна и в сельсовете записывала. Пришла: «Не знаю, так, нет сделала: Михаилом парня назвала. Охота, говорит, чтобы еще один Михаил в Пекашине вырос...» Вот ведь как дело-то было. Дак при чем тут я? Не переписывать же мне было идти.

— Не горюй, сестра! Без детей тоже не жизнь.

— Да это так, так, Петя,— с живостью ухватила за слова брата Лиза. — Все-таки у меня опять какая-то забота, верно? Только срам, срам, ребята! Коровы-то все придивились, не то что люди. А Павел-то Кузьмич, офицер-то мой, где, спросите? Отпустила я его, ребята, на все четыре стороны отпустила, алиментов даже не потребовала. Что же, у него жена, у него дети, дочь-невеста. Узнал, что я в тягости, насмерть перепугался. «Ну, говорит, теперь я погиб. И дома узнают — жизни не будет, и со службы попрут». Ну, я подумала-подумала: да иди ты с богом. Чего, думаю, всех разорять, всем мучиться, раз сама виновата...

Все. Распустилась, вздохнула всей грудью, даже голову от облегчения откинула.

Нет, нет, она не сидела с опущенной головой, она и раньше, до этого, жадными глазами вглядывалась в родных братьев. А как же не вглядываться — столько годов не видела! Но только сейчас, только в эту минуту, когда она вся сполна выговорилась, когда сполна очистилась сама, только в эту минуту она увидела братьев такими, какие они есть.

Увидела и ужаснулась.

— Ты что, сестра? — спросил Петр.

— Ничего, ничего. Это я от радости, от радости...

А уж какая там радость... То есть радость была, и радость великая — братья приехали, братья родные у нее в гостях. Но как же она сразу-то не увидела, не распознала беду?

Все считала, все думала: Григорий у них болен, Григорий несчастный человек. Да так оно и было: на всю жизнь, до скончания дней своих инвалид — что же еще страшнее? И худущий — страсть. Как льдинка весенняя — вот-вот растает...

Но Григорий-то болен, а Петр еще больше болен — вот что сейчас вдруг поняла Лиза. Но она не дала ходу своим думам. Увидела — Петр и Григорий водят глазами по избе, по некрашеному полу, по неоклеенным бревенчатым стенам со старыми сучьями и щелями, сказала:

— Что, ребята, насмотрелись у брата богатства — глаза режет моя голь? Не от бедности, не от бедности это. Нашла бы я денег-то и пол чтобы покрасить, и стены в обои взять, да я, ребята, так рассудила: ничего не менять. От тати карточки не осталось, тогда моды не было сниматься, дак пушай дом заместо карточки будет. Так я рассудила.

2

Гости были самые дорогие, самые желанные. За все эти два года, что не заглядывал к ней старший брат, а может и больше (Михаил все-таки под боком живет), у нее не было в доме таких гостей. И она--

сама чувствовала — вся сияла, вся лучилась от счастья, от радости, и это счастье, эта ее радость мало-помалу стали передаваться и Петру — о Григории говорить нечего: от того в ночи свет.

Сперва разгладились на лбу морщины, приобмякли, распустились губы, потом снял туфли, а потом и верхнюю рубашку долой: дома...

Но окончательно доконал ее Петр, когда вдруг поднялся с лавки (она и лавки в избе, заведенные Степаном Андреяновичем, сохранила) и направился к зыбке.

Она вся замерла: что-то сейчас будет?

А Петр подошел к зыбке, раздвинул старые платышки, сказал: — Ну, долго вы еще, сони, будете скрываться от дядей?

Григорий завсхлипывал — верно, и он не ожидал такого от брата, — а сама Лиза, чувствуя, что вот-вот расплчется от радости, выбежала в сени...

Когда она, виновато горбясь, вернулась в избу, малые двойнята были на полу и их забавлял Григорий («Коза-коза...»), а Петр сидел у раскрытого окошка и, похоже, смотрел на зеленое подгорье, на старую развесистую лиственницу.

— Татьяна-то тебе пишет?

Заговорил сразу, с прежней хмурью на лбу — отвык, видно, за эти годы сердце настежь держать.

— Какие мне письма от Татьяны. — Лиза заняла свое хозяйкино место сбоку заснувшего самовара. — Хорошо хоть от брата не отвернулась.

Некоторое время, покачивая головой, она старательно разглаживала на колене платье, а потом вдруг слезы к горлу подступили — опять навзрыд:

— Кабы вы от меня отвернулись, все бы мне не так обидно было. Не много я вас тешила — бывало, разве чаем когда напою да сухарь суну, а ведь ей-то я поделала добра, послужила... Михаил — десятилетку кончила: как хошь, девка, учить дальше не могу, сама видишь, какие у колхозника доходы. А я: нет, нет! Хоть одного Пряслина да выучим в институте. И уж я, ребята, — с места мне не сойти — все, все, что у меня было, ей отдавала. Деньги велики ли студентам платят, ладно — овцу одну выкормлю, другую выкормлю, луку на лесопункт свезу, продам: учись, девка! Покудова жива, не будешь мереть с голоду. Але платье, одежу взять. Все твое, что в дому есть. В самое раздетое, в самое безлопотинное время как картиночка ходила. Думаю, я никакой молодости не видела, пушай хоть она покрасуется. Але на каникулы-то летом приедет! «Сестра, я у тебя буду жить. Там, у Михаила, и без меня негде повернуться». Живи, живи, девка. Передние избы раскрою, как барыня, как принцесса из одной горницы в другую похаживает... Все позабыто, все не в счет. Вишь, сестра опозорила ей, в Москве ей мои дети жить мешают... Ладно, — махнула рукой Лиза. — Чего это мы кости родной сестре перемываем? То и ладно, то и хорошо, что высоко взлетела. Радоваться надо, а не скулить. — И заговорила уже с восхищением: — Ну бес, ну бес девка! Со счастьем родилась, да ведь надо было это счастье-то выждать. До двадцати восьми годков сидела в девках, ждала, пока цыганкино гаданье исполнится.

— Какое гаданье?

— Да разве вы не помните? Цыгане тут раз зиму жили, у Семёновны покойной в дому стояли. Нет, это, наверно, уж после вас, когда вы в город уехали. Ничего люди, хоть и говорят, что вор на воре, а у нас лучинки не тронули. Старуха у них была, Максимиха, старая такая, вся седая, нос крючком. Вот она и нагадала нам с Татья-

ной. Мне сразу сказала: тебе, говорит, век горевать, век куковать. Так оно и вышло: век не мужья жена, не законная вдова. А у Татьяны ручку-то взяла, аж прослезилась даже. Ей-богу. Вот, говорит, у кого рука-то из золота чистого отлита. Высоко, говорит, взлетишь, высокого лету птица, на самой Москве гнездо совьешь... И вот ведь какая стойка, какая выдержка у человека! До двадцати восьми годов не потеряла головы, не свернула в сторону. А уж женихов-то у ей было! Косяки. Стаи. Сами знаете, в маму красотой, не я, страховидина. Девки все глаза проплакали, на корню засохли, а эта не знает, как от них отделаться. Один другого лучше! Иван Спиридонович, комсомолом всем в районе командовал, директор школы Олег Окимович, Вася Черемный, инженер леспромхоза... Да всех и не перечислить. А на этого ейного москвича, когда он в Пекашине объявился, надо правду говорить, я и смотрела-то через раз. Лысый, плешь на голове, как яичушко из утино гнезда выглядывает, в очках, занимается — не во всяком месте и скажешь: по чердакам да по клетям пыль глотает, старье бывалое собирает. Да разве сравнишь его с теми? А моя Татьяна, гляжу, сразу вцепилась, сразу в горницы повела, в сарафан старинный вынарядилась, ленту в косу заплела. А через неделю-две — провожать своего Иосифа поехала — письмо с дороги: сестра, кончилась моя девичья жизнь, я взамуж выхожу...

Лиза перевела дух, посмотрела на братьев и закончила назидательно:

— Да, вот так надо добывать счастье-то. А что мы? Живем — куда поволокло, потащило, и ладно...

3

Им не дали наговориться досыта, обсказать-обкатать все семейные дела.

Повалили бабы — одна за другой.

Сперва соседка Дарья, жена Софрона Мудрого (эта неслышно, как мышь, вошла, вся выгорела, вся высохла от рака), потом Маня-коротышка, потом Александра Баева, Оксенья-жаровня, Фекола — два уха. И удивляться не приходилось: в деревне всегда на свежего человека как на огонек бегут, а у Лизы еще вдобавок с незапамятных времен вдовы солдатские, да старушонки престарелые, да всякая пришлая нёроботь вроде Зины-тунейдки, высланной из Ленинграда за «хорошую» жизнь, коротали время.

В замешательство всех привела Анфиса Петровна.

Анфиса Петровна редко когда заулок своего дома переступает, а зимой в последние годы месяцами в районной больнице лежала: тяжело выходила война. Но подкосила-то ее, сокрушила напрочь даже и не война, а смерть мужа.

В пятьдесят четвертом году, вскоре после смерти Сталина, Фокин, тогдашний первый секретарь райкома, добился: с Лукашина скостили шесть лет, под чистую все несправедные грехи сняли. И вот какая судьба у человека! Через все ужасы, через блокаду прошел, пуля немецкая не взяла, все несправедливости, все понапраслины от своих вынес, а от ножа бандитского не уберется. И когда? Когда уж в руках бумаги об освобождении держал.

Зашел Иван Дмитриевич напоследок в барак проститься со своими товарищами, с которыми три года за проволокой мыкал. А там, в бараке, шпана, уркачи чего-то не поделили, своего шпаненка учат: волосы заживо огнем бреют. И дьявол бы с ним, с проклятым, пускай бы зажарили, одним гадом на земле меньше бы стало: расгюс-

ледний паскуда во всем лагере был. Так потом писал Анфисе Петровне товарищ Ивана Дмитриевича. Нет, не смейте над человеком издеваться! Ну и сунул один нож Ивану Дмитриевичу под левую лопатку, намертво уложил...

Анфиса Петровна, переступив за порог, долго переводила дух — вся задохлась, пока шла, а потом, когда увидела — Петр и Григорий во все глаза на нее смотрят, сказала:

— Что, ребята, такая ягода стала — не узнать?

Лиза, не дожидаясь, что ответят братья, живехонько замахала руками:

— Не говори, не говори чего не надо! Не узнать... Это они не ждали тебя, врасплох — много ли ты по гостям-то ходишь? Не наш брат...

Улыбаясь, всем лицом своим, всем видом своим выказывая радость — она и в самом деле радехонька была: первый человек в Пекашине была для нее Анфиса Петровна, — Лиза подхватила ее под руку, усадила на самое почетное место в избе, а в душе-то, конечно, была согласна с братьями. Голову взмылило, взбелило, как лен на осеннем лугу, расплелась, раздалась, ноги как колодки — что осталось от прежней Анфисы Петровны? Разве что только глаза. Все такие же черные, властные, председательские глаза, как говаривали иной раз бабы.

От чая гости все как одна наотрез отказались — только что, мол, дома сидели-наливались, — и Лиза стала угощать их вином: к початой бутылке, из которой отпила с братом, выставила еще малыша — всю наличность, какая имелась в доме.

— У-у, праздник-от, праздник-от у нас, бабы! — загудели старухи.

— Вот это встретины дак встретины!

— Ну здорово жить, гости дорогие! Вот какие вот умники-разумники все у Пряслиных! У нас и на работу и с работы с рылом мокрым идут, земле кланяются, а тут сколько лет с сестрой не делись — как стеклышки!

В общем, начали гладью — на все лады расхваливали Петра и Григория, а кончили, как это часто и бывает, когда вина мало, гадью: того же Петра да Григория шерстить стали — почему не женаты.

— Да отстаньте вы к лешому! — с ухмылкой ответила за них Фекола — два уха. — Женилка, скажите, еще не выросла.

— Это в тридцать-то шесть лет не выросла? — заохала и замогала головой Маня-коротышка. Нарочно замотала, чтобы масла в огонь подлить. — Да когда же она вырастет-то?

— Ладно, монахи, бывало, до ста жили и не грешили.

— Да пошто не грешили-то? В Пекашине все от монахов, вся порода наша монашья — разве ты не слыхала, Уля?

— А у меня Иван третьей раз женился, — сказала Александра Баева. (От нее-то уж Лиза не ожидала таких речей. Неуж вино заговорило?) — Третьей раз девку взял. Мама, говорит, те, говорит, были до меня откупорены, а я, говорит, из чужой посуды пить-исть не желаю...

Первой встала Дарья Софрона Мудрого: человеку, может, двух месяцев жить на этом свете не осталось — неуж такие глупости слушать? А потом вскоре поднялась и Анфиса Петровна.

Лиза проводила ее до задних воротец, а когда вернулась в избу, бабы уж сменили пластинку — по Анфисе Петровне прокатывались. И пуще всех Маня-коротышка:

— Эдак, эдак она голову-то несет! Мы не люди — сидеть с вам не желам...

— Да, да, — поддакивала ей Фекола, — полегче бы нос-от зади-

рать надо. Не шибко от нас ушла. Тридцать пять монет пенсия — тоже не гора золота.

— И Родион не в больших перьях! У меня Октябрина до самого высокого образования дошла, да я разве чего говорю? А у ей за рулем сидит, керосинкой правит — мало ноне таких?

Петр, сидя на отшибе, у рукомошника, во все глаза смотрел на сестру: не понимал, что все это значит. Не понимал, как можно так об Анфисе Петровне говорить. А Григорий по голубиной кротости своей даже и взглянуть не решался: голову опустил и только что не плакал. И Лиза подбирала, подыскивала в своем уме слова (как бы помягче, побезобиднее сказать старухам) и не нашла подходящих слов.

Сердце закипело — на кого руку подняли! — рубанула плеча:

— Ну вот что, гости дорогие! Кого хошь задевайте, об кого хошь зубы точите, а чтобы в моем доме слова худого об Анфисе Петровне не было!

— Да что она, святая? — фыркнула Маня.

— Святая! — еще непримиримее отрубил Лиза. — Да еще святая-то какая!

Глава четвертая

1

На могилы ходят с утра — испокон веку так заведено у людей, — но Петру, вскоре после того как они опять остались одни (все на свой счет приняли ее перебранку с Маней), вздумалось идти сегодня, и Лиза не стала противиться.

Ребят оставить было с кем — как раз в это время прибежала Анка новое платье показывать (отец семь платьев от тетки из Москвы привез), — а то, что они придут на кладбище не рано, кто упрекнет их? Степан Андреянович? Мать? Вася?

Лиза надела праздничное платье, туфли на полувысоком каблучке, а когда вышли на улицу, под руки подхватила Петра и Григория и не боковиной, не закрайкой — середкой потопала: пушай все знают, пушай все видят, как ее братья почитают.

Но напрасно предавалась она этим суетным мечтам и желаниям: одни ребятишки малые гонялись на великах по улице, а взрослых, ни трезвых, ни пьяных, не было — ни единой души не попало на глаза вплоть до магазина. На работе еще? Или всё — похоронили наконец Петра и Павла?

Петров день — 12 июля — из века в век поперек горла у страды стоит. Люди только выедут на пожню, успеют, нет, наладить косы — домой: праздник справлять. И Лиза была согласна, когда три года назад на Пинеге ввели день березки, приуроченный к последнему воскресенью июня. Ввели для того, чтобы задавить им старый праздник. Так нет же! Березку отпраздновали, а подошел Петр — и опять гульба.

Первого пьяного они увидели возле ларька рядом с сельповским магазином. Кругом пустые ящики, бутылки, чуряки, бревешки лощенные — не пустует кафе «ветродуй», как называют это место в Пекашине, завсегда тут кто-нибудь с бутылкой расправляется или отлеживается, а сейчас кто тут на карачках ползал?

Евсей Мошкин.

Рубаха на груди расстегнута, медный крест на шее болтается и на две ноги один растоптанный валенок — не иначе как второй потерял.

— Так, так ноне,— скорбно вздохнула Лиза,— весь спился. Марфа Репишная совсем из ума выжила — в срубец старика загнала, знаете, хлевок такой у ей на задах, картошку преже хранили. За грехи. И все староверское дело в свои руки забрала. А старушонки, те жалеют Евсей Тихоновича, не почитают Марфу... Не глядите, не глядите в его сторону,— зашептала она братьям. — Причепится еще, кто рад с пьяным.

Однако не сделали они после этого и пяти шагов, как Лиза первая повернула к старику.

— Ой, ой, срамник! — начала она с ходу отчитывать его. — И не стыдно тебе, так наакался. Посмотри-ко, самых зарезных пьяниц сегодня не видко, а ты, старый человек, какой пример подаешь.

— А я только пригубился маленько, рот сполоснул.

— Пригубился! Шайку але ушат выжорал.

Евсей сел на землю, довольнехонько засмеялся.

— Все знает, все понимает у вас сестра. Ничего не скроешь. Верно, я посуды-то сегодня опорожнил немало.

— Зачем?

— А не знаю, не знаю, девка... — И вдруг заплакал, зарыдал, как малый ребенок. — К тебе, вишь вот, приехали, прилетели... А я один как перст на всем свете... Ко мне никто не приедет, никто не прилетит...

— Давай дак сколько можно убиваться-то,— начала вразумлять старика Лиза. — Не одного война тебя осиротила. Пройди по деревне-то. На каком дому звезды нету...

— Верно, верно то говоришь. У меня две звезды, два покойника, а в Водянах у старушки Марьи Павловны в два раза больше — четыре красных отметины на углу... Ну я грешен, грешен, ребята,— снова навзрыд зарыдал старик. — У других-то хоть при жизни жизнь была, а моим ребятам, моим Ганьке да Олеше, и при жизни ходу не было... Из-за меня. Я им всю жизнь загородил...

Тут на какое-то мгновенье замешкалась даже находчивая Лиза: нечем было утешить старика, потому что чего тень на плетень наводить — из-за отца, из-за его упрямства столько мук, столько голода и холода приняли его сыновья.

— Пойдем-ко лучше домой, Евсей Тихонович,— сказал Петр и стал поднимать старика.

— Помнит, помнит меня! — опять чисто по-детски, бурно возрадовался Евсей. — Евсей Тихонович... А нет,— он топнул ногой в валенке,— к вам пойдем! Вот мое слово. Раз Евсей Тихонович, то и угощенье как Евсею Тихоновичу.

— Нет, к нам не пойдем! — сказала Лиза. — Тверезой будешь — в любой час, в любую минуту приходи, а пьяному у меня делать нечего.

— И непустишь? — спросил Евсей.

— И не пуццу! — без всякой заминки ответила Лиза.

Старик пришел в восторг:

— Ну, ну, как мне по уму да по сердцу это! Не пуццу... А ты думаешь, я не помню твоего добра-то? Я вернулся, ребятунки, оттуда, не будем говорить откуда (ноне все позабыто, на всем крест), — меня двоюродная сестрица Марфа Павловна и на порог не пуццает: я на радостях — снова дома — бутылку в сельпо опорожнил. «Десять ден тебе епитимья. Вода да хлеб, а местожительство — срубец на задах...» И вот вскорости после того тебя, Лизавета Ивановна, встречаю. Помнишь, какие слова мне сказала?

— Где помнить-то? — искренне удивилась Лиза. — У меня язык без костей — сколько я слов-то за день намелю?

— А я помню. — Евсей всхлипнул. — Иду опять же с сельпа, хлебца буханочка под мышкой, а навстречу ты. Увидала меня, возле лужи у сельсовета маюсь, сапожонки что решето, как бы, думаю, исхитриться с ногой сухой пройти. Увидала: «Чего ходишь как трубочист, людей пугаешь? Пришел бы ко мне, у меня баня сегодня, хоть вымылся бы...» А я, правда, правда, ребята, как трубочист. Может, два месяца в бане не был, а весна, солнышко, земля уже дух дала... Ну я тогда уревелся от радости, всю ночь плакал, в слезах едва не утонул...

— Надо было не слезы лить, а в бане вымыться, — наставительно сказала Лиза и улыбнулась.

Тут на дорогу из седловины от совхозной конторы вылетел запыленный грузовик, и Лиза замахала рукой: сюда, сюда давай!

Машина подъехала.

Из кабины выскочил смазливый черноглазый паренек, туго перетянутый в поясе и сразу видно — форсун: темные волосы по самой последней моде, до плеч, и на промасленном мизинце красное пластмассовое кольцо в виде гайки.

— Чего, мама Лиза?

— Куда едешь-то? В какую сторону?

— На склад, — парень махнул в сторону реки, — за грузом.

— Ну дак по дороге, — сказала Лиза и кивнула на Евсея, которого поддерживал Петр. — Отвези сперва этот груз.

Старик заупрямился. Нет, нет, не поеду домой! Сегодня праздник, законно гуляю. Но разве с Лизой много наговоришь?

— Будет тебе смешить людей-то! — строго прикрикнула. — Хоть бы вечером вылез, все куда ни шло, а то на-ко, молодец выискался — середь бела дня кренделя выписывать. Вези! — сказала она шоферу.

И вот живо раскрыли задний борт у грузовика, живо притихшего, присмирившего старика ввалили в кузов, и машина тронулась.

Петр, когда немного стих рев мотора, полюбопытствовал:

— Это еще что за сынок у тебя объявился?

И тут Лиза удивилась так, что даже остановилась:

— Как?! Да разве вы не узнали? Да это же Родька Анфисы Петровны! Всю жизнь меня мамой Лизой зовет. У Анфисы Петровны, когда Ивана Дмитриевича забрали, молоко начисто пропало, я полгода его своей грудью кормила. Вот он и зовет меня мамой Лизой.

2

Сперва неволью, еще загодя начали смягчить шаг, сбавлять голоса, потом пригасили глаза, лица, а потом, когда с проезжей дороги свернули на широкую светлую просеку, густо усыпанную старыми сосновыми шишками, — тут не часто, разве что с домовиной, проезжает машина — они и вовсе присмирели.

Густым смоляным духом да застойным жаром, скопившимся меж соснами за день, встретило их кладбище. И еще что бросалось сразу же в глаза — добротность и нарядность могил.

Раньше, бывало, какой жердяной обрубок в наскоро нарытый песчаный холмик воткнут — и ладно: не до покойников, живым бы выжить. А теперь — соревнование: кто лучше могилу уделает, кто кого перешибет. И вот крашеный столбик со светлой планкой из нержавеющей стали да деревянная оградка — это самое малое... А шик — пирамидка из мраморной крошки, привезенная из города, поролоновый венок с фоткой да железная оградка на цементном фундаменте.

Лиза первая нарушила молчание. Заговорила резко, с возмущением:

— Я не знаю, что с народом деется, с ума все походили. Преже до́ма жилого не огораживали, замка знамом не знали, а теперека и дома жилье под забор и покойников загородили. Срам. Старик какой—Трофим Михайлович але Софрон Мудрый захотели друг к дружке сходить, словом перекинуться—не пройти. Трактором, бульдозером не смять эти железные ограды, а где уж покойнику через их лазать...

Уже когда подходили к своим могилам, Лиза вдруг, неожиданно для Петра и Григория свернула в сторону, к могиле под рябиновым кустом.

Пирамидка на могиле из горевшей на вечернем солнце нержавеющей с выпуклой пятиконечной звездой в левом углу не очень отличалась от тех надгробий, которые попадались им доселе, но что они прочитали на пирамидке?

Лукашин Иван Дмитриевич
1904—1954

Петр, оглядевшись вокруг, спросил:

— Когда же это прах-то Ивана Дмитриевича перевезли?

— Не перевозили. Ничего там нету,—кивнула Лиза на уже обросший розовым иван-чаем бугор.—Ины беда как ругают Анфису Петровну: слыхано ли, говорят, на пустом месте могилу заводить? А я дак нисколешенько не осуждаю. Везде земля одинакова, везде от нашего брата ничего не останется, а тут хоть когда она сходит, поговорит с ним, горе выплачет. В городах памятники ставят, а Иван Дмитриевич не заслужил? Признано: зазря пострадал, а нет, все на памяти Ивана Дмитриевича лагерная проволока висит...

У давно осевших и давно затравневших могилок Степана Андрияновича и Макаровны Лиза стояла молча, с виновато опущенной головой. В прошлом году какие-то волосатые дикари из города, туристами называются, ослепили на них столбики—с мясом выдрали медные позеленелые крестики, и она до сих пор не собралась со временем, чтобы вернуть им былой вид.

Ни единого слова, ни единого оха не обронила она и на могиле сына—при виде светловолосого, улыбающегося ей с застекленной карточки Васи она всегда каменела,—зато уж когда подошла да припала к высокому, заново подрытому весной и плотно обложенному дерниной холмику матери, дала волю своим чувствам.

Смерть матери была на ее совести.

Семь лет назад 15 сентября справляли поминки по Ивану Дмитриевичу. Михаила да Лизу Анфиса Петровна позвала первыми—дороже всякой родни были для нее Пряслины. Ну а как с коровами? Кто коров вместо Лизы поедет доить на Марьюшу? Поехала мать. И вот только отъехали от деревни версты две—грузовик слетел с моста. Семь доярок да два пастуха были в кузове—и хоть бы кого ушибло, кого царапнуло, а Анну Пряслину насмерть—виском о конец гнилой мостовины ударились...

— Ой да ты родимая наша мамонька... Ой да ты чуешь, нет, кто пришел-то к тебе да приехал... Ой да уж любимые твои да сыночки... По шажкам, по голосу ты их да признала...

— Будет, будет, сестра,—начал успокаивать Лизу Петр, и она еще пуще заголосила, запричитала.

И тут Григорию вдруг стало худо — он кулем свалился сестре на ноги.

— Петя, Петя, что с ним? — закричала перепуганная насмерть Лиза.

— А больно нежные... Без фокусов не можем...

— Да какие же это фокусы? Что ты такое говоришь?

Григорий забился в судорогах, у него закатились глаза, пена выступила на посинелых губах...

Лиза наконец совладала с собой, кинулась на помощь Петру, который расстегивал у брата ворот рубахи.

— Голову, голову держи! Чтобы он голову не расшиб!

Сколько времени продолжалась эта попытка? Сколько ломало и зыворачивало Григория? Час? Десять минут? Два часа? И когда он наконец пришел в себя, Лиза опять начала соображать.

— Может, мне за фершалицей да за конем сбегать? — сказала она.

— Не надо, — буркнул Петр. — Первый раз, что ли?

Бледного, обмякшего Григория кое-как подняли на ноги, повели домой. Повели, понятно, задворьем, по загуменью, по-за баням — кто же такую беду напоказ выставляет.

3

У людей начиналось гулянье — старый Петр опять верх взял.

Сперва завысказывались старухи пенсионерки — свои, старинные песни завели. Эти теперь кажинный праздник открывают — хватает времени! Потом затрещали, зафыркали мотоциклы — молодежь на железных коней села, — а потом заревела и Пинега.

Даровой гость — вроде старушонка и всякой пожилой ветоши, отпускники, студенты — прибыл в Пекашино еще днем на почтовом автобусе, на машинах, водой — у кого теперь лодки с подвесным мотором нет? А в вечерний час Пинегу начали распахивать моторки и лодки тех, кто днем работал на сенокосе, в лесу.

По пекашинскому лугу пестрым валом покати́л народ, розовомехие гармошки запылали на вечернем солнце...

Долго сидела Лиза у раскрытого окошка, долго вслушивалась в рев и шум расходящейся деревни и мысленно представляла себе, как веселится сейчас на широком пустыре у нового клуба пекашинцы. Компаниями, семьями, родами.

Было, было времечко, и еще недавно было, когда и она не была обойдена этими радостями — в обнимку с братом, с невесткой выходила на люди. А теперь вот сидит одна-одинешенька и, как серая кукушечка, оплакивает былые дни.

Но радости праздничные — бог с ними, можно и без радостей прожить. А что же это с Григорием-то делается? Когда, с каких пор у него падучая? Не шел у нее с ума и Петр. Брат родной сознание потерял, замертво пал на землю — да тут дерево застонет, камень зарыдает. А Петр ведь не охнул, слова доброго Григорию не сказал. Ни на кладбище, ни тогда, когда уходил к Михаилу.

Горе горькое, отчаянье душило Лизу.

Михаил с ней не разговаривает, Татьяна ее не признает. Федор из тюрмы не вылезает, а теперь, оказывается, еще и у Петра с Григорием нелады. Да что же это у них делается-то?

Она прикидывала так, прикидывала эдак, да так ни в чем и не разобравшись, начала закрывать окно — комары застонали вокруг...

Григорий, слава богу, — его положили в тени на старую деревянную койку Степана Андреяновича, там поспокойнее и подрых-

ладнее было — заснул, она это по ровному дыханию поняла, и Лиза, сразу с облегчением вздохнув, пошла за дровами на улицу.

Белая ночь плыла над Пекашином, над старой ставровской лиственницей, которая зеленой колокольней возвышалась на угоре. Лиза ступила с крыльца босой, разогретой в избяном тепле ногой на пылающий от ночной росы лужок, сделала какой-то шаг и — Михаил. Как в сказке, как во сне из-за угла избы выскочил в синей домашней майке, в растоптанных тапках на босу ногу.

И тут ей вмиг все стало ясно: прощение принес. Сидели-сидели с Петром за столом, разговаривали да вдруг одумался: что же это, Петька, я с сестрой-то родной делаю, за что казню? А дальше — известно: никому ни слова — к ней.

— Где те?

Не слова — плеть хлестнула ее наотмашь, но она не могла сразу погасить улыбку. Она улыбалась. Улыбалась от радости, от счастья, оттого, что впервые за полтора года вот так близко, лицом к лицу, а не издали, не украдкой видит родного брата.

За считанные мгновенья, за какие-то доли секунды отметила для себя и разросшуюся на висках изморозь, и незнакомую раньше мясистую тяжесть в упрямом, начисто выбритом по случаю праздника подбородке, и новые морщины на крепком, чуть скошенном лбу.

— А-а, улыбаешься! Весело? Ребят на меня натравила и рада?

— Брат, брат, опомнись!..

Это не она, не Лиза закричала. Это закричал Петр, который, к счастью или к несчастью, в эту минуту вбежал в заулок с поля.

— Дак ты вот как на меня! Плевать? Позорить на всю деревню?

— Я без сестры не пойду, — сказал Петр.

— Чего, чего?

— Без сестры, говорю, не пойду.

— Не пойдешь? Ко мне не пойдешь? — Михаил вскинул кулачищи: гора пошла на Петра.

И вот тут Лиза опомнилась. Кинулась, наперерез кинулась Михаилу, чтобы своим телом закрыть Петра. Уж лучше пускай ее ударит, чем брата. Но еще раньше, чем она успела встать между братьями, сзади плеснулся какой-то детский, щемящий вскрик.

Лиза и Михаил — оба вдруг — обернулись. На крыльце стоял Григорий — весь белый-белый и весь в слезах...

Глава пятая

1

От ставровской лиственницы до Пинеге рукой подать: под угор спустился, перемахнул узкую луговину в белых ромашках — и вот прибрежный ивняк, пестрый галечник, раскаленный на солнце.

А Петр выбежал на луговинку, глянул на широкий голубой разлив пекашинского луга слева и вдруг порысил туда, к родному пещищу, — захотелось к Пинеге сбежать той самой тропинкой, по которой бегал в детстве.

Луг был скошен, сладко, до головокружения сладко пахло свежим сеном, но где же люди? Неужели какой-то десяток белых бабьих платков, затерявшихся на Монастырском клину, это и есть все сеноставы?

Ему не хотелось сейчас встречаться с пекашинскими бабами. Начнут пытать, выспрашивать про Михаила, про Лизу — ловчить? Ужом извиваться? И он решил дать крюк. Но там, на Монастырском клину, казалось, только этого и ждали. Закричали в один голос:

— К нам, к нам давай!

А потом со смехом:

— Девки, девки, держите его!

И вот уж две резвые девчушки, бойко выкидывая коленки из-под цветастых платышек, кинулись наперехват его. И он уступил.

Пекашинские бабы, а вернее сказать, старухи, похоже, не узнали его.

— Да вы кого, девки, привели-то? — с деланным ужасом на лице заголосила подслеповатая, высокая и сухая, как жердь, Ульяна. — Ведь это мужик-от чужой.

— А нам все равно, скажите, девки, хоть свой, хоть чужой: не проходи мимо! А нет — бутылку ставь!

— Околей ты со своей бутылкой! — На Маню-коротышку — это она отпечтала — обрушились все разом.

— Бутылка-то вишь до чего довела. Страда, а у нас вся деревня в лежку.

— Так, так ноне. Одни двадцатирублевки выползли да сколько школьниц прихватили с собой, а остальная публика с Петрова дня не может прийти в себя.

— Застонали! — огрызнулась Маня-коротышка. — Кто вас гнал? Лежали бы на печи да плевали в кирпичи.

— Да как на печи-то улежишь, когда сено тебе из-под горы глаза колет?

Из-за спины Ульяны высунулась Парасковья-пятница. Петр даже ахнул про себя: сколько же ей сейчас лет? Еще в войну была старухой.

— Ты откуда, молодец, будешь-то? Из каких краев-местов? У вас там поменьше нашего пьют?

Ульяна — всю жизнь скоморох — захохотала:

— Да это наш мужик-от, Фадеевна! Анны Пряслиной сын.

— Что ты, что ты, Уля! — заахали и заохали старухи. — Ты вот сразу узнала, а у нас глаза, как ворота полые, — ничего не задерживается.

Начались, как и ожидал Петр, расспросы: где живешь? где служишь? надолго ли приехал? у кого остановился — у брата или у сестры? И даже те, что были вчера на встречах, выпрашивали.

Школьницы быстро отвалили в сторону — чего тут интересно? — а затем вскоре и старухи оставили его в покое: кончился перекур.

Парасковья-пятница побрела к сенному валку, одной рукой держась за Ульяну. Переставлять потихоньку свои старые ноги вслед за граблями — это она еще кое-как могла, а ходить по земле просто, ни на что и ни на кого не опираясь, уже не могла.

Близко, совсем близко было пряслинское печище, уже, казалось Петру, он и тропинку свою, натопанную с детства, различает в пестрой чаще разнотравья — луг там был еще не выкошен, — но он посмотрел опять на Парасковью-пятницу, на ее черные старые руки, ярко горевшие на солнце, — старухи уже взялись за грабли — и ему расхотелось купаться.

2

Ветер рыскал по лугу, выпущенную рубаху вздувало пузырем, и все-таки пот лил с лица: старухи разошлись — на глазах росли санные валы. А копнить — кто? Он да Маня-коротышка.

Помощь Петру пришла от кого? От сестры.

Прибежала — глаза зеленые блестят, сарафан морошковый ко-локолом — сама удаль спустилась на луг.

— Вот как, вот как она! Как на праздник вышла! — одобри-тельно закивали, зашамкали беззубыми ртами старухи, со всех сто-рон разглядывая нарядную, сверкающую на солнце Лизу.

— Да ведь праздник сегодня и есть! — с задором ответила Ли-за. — Когда домашний сенокос в тягость был?

— Так, так, девка! — опять с одобрением закивали старухи. — Это мы все обасурманились — кто в чем пришел, а родители-то на-ши блюли обычай.

Но не только, как догадывался Петр, дело было в следовании обычаям: своим праздничным видом, своей разудалой беззаботно-стью Лиза хотела еще заткнуть всем рот насчет вчерашнего. Дес-кать, не шепчитесь, не мозольте языки. Ничего вчера у Пряслиных не случилось, никакого скандала не было — иначе я разве была бы такая бесшабашная?

— А как же дети? — спросил Петр.

— А дети не золото — не украдут!

И опять ответ Лизы пришелся старухам по душе:

— Верно, верно, Лизка! Смалу не испотешишь — человек вы-растет.

Старухи любили Лизу, просто на глазах у Петра стали жаться к ней, и он не понимал, как мог Михаил отвернуться от сестры. И из-за чего?

Но еще удивительнее было для Петра то, что Лиза оправдывала старшего брата. Утром она битый час ему за завтраком втолковыва-вала: дескать, пустяки все это. Разве не знаешь Михаила? Всегда кипяток был, всегда без углей закипал. А тут ждал-ждал вас в го-сти, барана зарезал, может, еще люди, Раиса подначивает — как все это стерпеть?

— Еще, еще один помощник идет! — радостно завизжали дев-чонки.

Петр — он укладывал очередную охапку сена в копну — глянул на пекашинскую гору. Оттуда спускался мужчина — рукава белой рубахи закатаны по локоть, тяжелые сапоги мечут жар — так и вспыхивает на солнце побитая железными гвоздями подошва.

— Завсегда вот так, дьявол! — хмуро заметила Лиза. — Как праздник, так и сапоги. Умираю, горю на работе!

— Кто это?

— Кто? Управляющий наш. Антон Таборский. Помнишь, бывало, на сплаве Таборский был? Младший брат его.

Таборский еще издали, от озерины, высоко вскинув кулак, одо-брительно загоготал:

— Хорошо! Гут, ол райт, товарищи старухи! Есть еще порох в пороховницах!

— Чего старух-то подзадориваешь? Старухи-то работают.

— Где твои механизаторы, рожи бессовестные? На какой работе убиваются?

— Старухи-то вымрут — на ком поедешь?

Таборский ни секунды не раздумывал:

— На работе!

— На ком, на ком?

— На работе, говорю. Ученым человек такой заказан. Желез-ный. Чтобы в любой момент работал и чтобы пить, есть не просил. И чтобы без этого... — Таборский ловко, как фокусник, щелкнул ниже подбородка.

И вот уж старухи — ох русский человек! — отмякли:

- Да уж так, так, железного надоть, раз живые робить не хотят.
- А коровы-то как? Может, и коров железных наделаете?
- Не, коровы будут обыкновенные, только другой породы.

Медвежатницы!

— Медвежатницы?!

— Да. Чтобы зимой лапу сосали, сена не просили.

— Ох, ох, вральна! — застонали старухи. — Как тебя и земля-то терпит.

С Петром Таборский поздоровался за руку и сразу по-свойски, как с давнишним приятелем:

— Приехал, говоришь, крепить смычку города с деревней? Давай-давай. А меня помнишь? Что? Не помнишь, как один моряк тебя с братом на моторке в город вез? Ну и ну! Вы еще, кажись, в ФЗУ опаздывали.

У Петра по-хорошему, по-доброму защекотало в горле. Было такое дело, точно. Они прибежали с Григорием в райцентре на пристань — парохода нет и неизвестно, когда будет. И вот в это самое время в старую ожидалку, где торговали проездными билетами, ввалился подвыпивший морячок с веселыми и наглыми глазами: «Что за слезы на берегу в мирное время!» Куда-то сходил, с кем-то поговорил — раздобыл моторку. И их с Григорием взял.

— То-то! — сказал довольный Таборский. — Взаимовыручка — закон жизни. Я и Михаилу, брательнику твоему, немало добра делал.

— Делал волк добро корове! — сердито фыркнула Лиза.

Таборский, однако, и бровью не повел на это, зычно, во все горло объявил:

— Час — перекур, пять минут — работа! Есть возражения?

Долгонькими оказались эти пять минут. Тридцать одну копну накопили — Таборский тоже бегал, как застоявшийся жеребец. И, наверно, еще бы погребли, да тут неожиданно из накатившейся тучи хлопыстнул дождь.

3

Девочешки первыми очухались — с криком, с визгом кинулись в гору, за ними, охая и крякая, посеменили старушонки, Антон Таборский показал свою прыть...

А им что делать? Домой далеко — через весь луг бежать надо, к чужим людям в мокрой одежде не хочется.

Петр крикнул:

— Чего ж мы ворон считаем? Давай на старое пепелище!

Воды в тучке хватило ровно настолько, чтобы отбить гребь да вспарить их, потому что едва они поднялись в гору, как дождь перестал и опять брызнуло солнце.

Петр с головы до ног закурился паром.

Прижимая к груди туфли, он подошел к разлившейся на дороге перед домом луже, песчаный бережок которой уже крестила своей грамоткой шустрая трясогузочка, попробовал ногой воду и вдруг, как в детстве обмирая от страха — такая бездонная глубь с белыми облаками открылась ему, — ступил в нее.

— Что, Петя, знакомая водичка?

— Ага, — сказал Петр и рассмеялся.

Сдал, очень сдал старый пряслинский дом. Сгорбился, осел, крыша проросла зеленым мохом, и такими жалкими, такими невзрачными были зарадужелые околенки, через которые они когда-то смотрели на белый свет. Видно, и вправду сказано у людей: нежилой!

дом что неработающий человек — живо на кладбище запросится. Или он у них и раньше такой был?

Ключ от дома нашли в прежнем тайничке, в выемке бревна за крыльцом.

И вот вороном прокаркали на заржавелых петлях ворота, затхлый запах сенцов дохнул в лицо. Не привыкшие к сутемени глаза не сразу различили черные, забусевшие на полках крынки и горшки, покосившуюся, в три ступеньки лесенку, ведущую на поветь, домашнюю мельницу в темном углу...

Страшно подойти сейчас к этим тяжеленным, кое-как отесанным камням с деревянным держакон, который так отполирован руками, что и сейчас еще светится в темноте. Но эти уродливые камни жизнь давали им, Пряслиным.

Чего-чего только не перетирали, не перемалывали на них! Мох, солому, мякину, сосновую заболонь, а когда, случалось, зерно молотило — праздник. Всей семьей, всем скопом стояли в сенях — ничего не хотели упускать от настоящего хлеба, даже запах...

Да не снится ли ему все это? Неужели все это было наяву?

Двери в избу осели — пришлось с силой, рывком тащить на себя. И опять все на грани небывальщины. Семь с половиной шагов в длину, пять шагов в ширину — как могла тут размещаться вся их многодетная орава?

Осторожно, вполноги ступая по старым, разошедшимся половикам, Петр обошел избу и опять вернулся к порогу, встал под полатами.

Бывало, только Михаил играл полатницами, а теперь и он, Петр, доставал их головой.

— Не забыл, Петя, свою спаленку?

Он только улыбнулся в ответ сестре. Как забудешь, когда доски эти на всю жизнь вросли в твои бока, в твои ребра!

До пятнадцати лет они с Григорием не знали, что такое постель. И может быть, самой большой диковинкой для них в ремесленном училище была кровать — отдельная, железная (Михаил спал на деревянной!), с матрацем, с одеялом, с двумя белоснежными простынями. И, помнится, они с Григорием, ложась первый раз в эту царскую постель, начали было снимать простыни — прикоснуться было страшно к ним, а не то что лечь.

Они присели к столу, маленькому, низенькому, застланному все той же знакомой, старенькой, совсем вылинявшей клеенкой, истертой на углах, с заплатами, подшитыми разными нитками, и опять Петр с удивлением подумал: как же за этой колымагой рассаживалась вся их многодетная, вечно голодная семья?

— Михаил заходит сюда? — На глаза Петру попала с детства памятная консервная банка с окурками.

— Заходит. Это вот он курил. А иной раз и с бутылкой посидит. Немало тут пережито.

Петр посмотрел в окошко — кто-то с треском на мотоцикле мимо прокатил.

— А что у него за отношения с управляющим?

— С Таборским-то? А никаких отношений нету — одна война.

— Н-да... — Петр натужно улыбнулся. — А я думал, он только с сестрой да с братьями воюет.

— Братья да сестра свои люди, Петя: рано-поздно разберемся. А вот с Таборским с этим я не знаю как они и разойдутся. Таборский плут, ловкач, каких свет не видал, и кругом себя жуликов развел. А Михаил, сам знаешь, какой у нас. Как топор, прямой. Вот у них и война.

— И давно?

— Война-то? Да еще в колхозе цапались. Бывало, ни одно собрание не проходит, чтобы они на горло друг дружке не наступали. Ну раньше хоть народ голос за Михаила подаст...

— А теперь?

— А теперь совхоз у нас. Кончились собрания. Вся власть у Таборского. — Лиза старательно разгладила руками складку на старенькой клеенке. — Да и Михаила не больно любят...

— Кого не любят? Михаила?

— А кого же больше?

Петр выпрямился:

— Да за что?

— А за работу. Больно на работу жаден. Житья людям не дает.

Петр не сводил с сестры глаз. Первый раз в жизни он слышит такое: человека за работу не любят. Да где? В Пекашине!

— Так, так, Петя! Третий год сено в одиночку ставит. Бывало, сенокос начнется — все хотят под руку Михаила, отбою нету, а теперь не больно. Теперь с кем угодно, только не с Михаилом.

— Да почему? — Петр все еще не мог ничего понять.

— А потому что народ другой стал. Не хотим рвать себя как прежде, все легкую жизнь ищут. Раньше ведь как робили? До упаду. Руки грабли не держат — веревкой к рукам привяжи да гребни. А теперь как в городе: семь часиков на лугу потыркались — к избе. А нет — плати втридорога. Ну а Михаил известно: сам убьюсь и другим передыху не дам. Страда! Страдный день зиму кормит — не теперь сказано. Вот и — не хотим с Пряслиным! Вот и ни он с людьми, ни люди с ним. — Лиза помолчала и закончила: — Так, так теперь у нас... Раньше людей работа мучила, а теперь людирабóту мучают...

Руки ее опять беспокойно начали разглаживать складки на старенькой клеенке, губы она тоже словно разглаживала, то и дело покусывая их белыми крепкими зубами — явный признак, что хочет что-то сказать. И наконец она оторвала от стола глаза, сказала:

— Ты бы, Петя, уступил немножко, а?

— Кому уступил? — не понял Петр.

— Кому, кому... — рассердилась на его непонятливость Лиза (тоже знакомая привычка). — Не Таборскому же! Сходил бы денька на два, на три на Марьюшу... Знаешь, как бы он обрадовался...

Надо кричать, надо орать, надо кулаками дубасить по столу, потому что ведь это же уму непостижимо! Михаил ее топчет, Михаил ее на порог к себе не пускает, а у нее только одно на уме — Михаил, она только о Михаиле и убивается... Но разве мог он поднять голос на сестру?

Лиза всхлипнула:

— Я не знаю, что у нас делается. Михаил врозь, Татьяна — вознеслась высоко — разговаривать не хочет, Федор из тюрем не выходит, вы с Григорием...

— Да что мы с Григорием? — Петр подскочил на лавке — не помогли зароки.

— Да ведь он боится тебя... Слово боится сказать при тебе. И ты иной раз глянешь на него...

— Выдумывай!

— Какие вы, бывало, дружные да добрые были... Все вдвоем, все вместе... Вам и сны-то, бывало, одинаковые снились...

И опять Петр против собственной воли сорвался на крик:

— Да как по-твоему нам всю жизнь двойнятами жить? Всю жизнь друг друга за ручку водить?

Он схватился за голову. Старая деревянная кровать, полати, чер-

ный посудный шкафчик, покосившийся печной брус, на котором он вдруг увидел карандашные отметки и зарубки — летопись возмужания пряслинской семьи, которую когда-то вела Лиза, — все, все с укором смотрело на него.

— Ну я же тебе писал... Григорий болен... Понимаешь? Душевное расстройство... Психика... Медицина не может ничего поделать... Понимаешь? — Петр махнул рукой. — В общем, не беспокойся: брата не брошу.

— А свою-то жизнь устраивать ты думаешь?

— А чего ее устраивать? Образование подходящее, работа, как говорится, не пыльная...

— Ох, Петя, Петя... Да какая же это жизнь — до тридцати шести лет не женат! Бабы-то вот и чешут языками... — Лиза грустно покачала головой. — Не пойму я, не пойму, что у вас деется. Ну, Григорий — большой человек, ладно. А ты-то, ты-то чего? Война когда кончилась, а у тебя все жизни нету...

Петр встал.

— Пойдем, Ивановна! Засиделись мы с тобой малость.

Сказал — и самому противно стало от фальшивого наигрыша, от той неискренности, которой он ответил на участие и беспокойство сестры.

4

В тот день вечером Лиза еще раз пыталась вызвать Петра на откровенный разговор. Провожая на ночь в передок — в просторные горницы, в которых он теперь разживался, — она как бы невзначай спросила:

— Одному-то в двух избах не скучно?

— А чего скучать-то?

— Я думаю, всю жизнь вдвоем, а теперь один...

— Ерунда! — опять, как давеча, отшутился Петр. — В мои годы пора уже и без подпорок жить.

А войдя в избу, он пал, не раздеваясь, на разостланную прямо на полу постель и долго лежал недвижно.

Все верно, все правильно: снились им в детстве одинаковые сны, жить друг без друга не могли. Да и только ли в детстве? Когда в армии разлучили их — в разные части направили, чтобы не путать друг с другом, — они, к потехе и забаве начальства, плакали от отчаянья...

Но верно и другое — неприязнь, ненависть к брату, которая все чаще и чаще стала накатывать на него. Потому что из-за кого у него вся жизнь вразлом? Кто виноват, что у него не было молодости?

Ох это вечернее образование, будь оно трижды проклято! Шесть лет на износ, шесть лет непрерывной каторги! Восемь часов у станка, четыре часа лекций и семинаров в институте. А подготовка к занятиям дома? А экзамены, зачеты? А сколько времени уходит на всякие разъезды, мотания по библиотекам, читальням? Экономишь часы и минуты на всем: на сне, на отдыхе (ни единого выходного за все шесть лет!), на еде (чего где на ходу схватишь, и ладно), даже на бане экономишь...

Григорий первый не выдержал — упал в обморок прямо на улице. Но и тогда они не сдались. Старший брат наказал учиться — какой может быть разговор! Только теперь они порешили так: сперва выучиться Петру, и обязательно на дневном, а Григорию — вторым заходом.

Петр выучился, получил диплом инженера. А Григорий... А Григорий к тому времени стал инвалидом. По две смены вкалывал он,

чтобы мог спокойно учиться брат. И кончилось все это в конце концов катастрофой.

В тот день, когда Григорий попал в больницу, Петр, сидя у его изголовья, дал себе слово: до тех пор не жениться, до тех пор не знать радостей в жизни, пока не выздоровеет брат.

Пять лет он держал свое слово, пять лет ни на один день не расставался с братом, даже когда его в деревню посылали на сезонные работы, брал с собой Григория. Ну а потом как землетрясение, как извержение вулкана: какой-то внезапный взрыв ненависти к брату, да такой силы, что Петру самому страшно стало...

Белая ночь плыла за окнами. Красные отсветы вечерней зари пылали на известке печного кожуха. Петр присел на постели. Сходить объяснить все сестре как есть?

Но что объяснить? Как вывернуть перед сестрой свое сердце, когда ему самому страшно заглянуть в него?

Глава шестая

1

Мост за Нижнюю Синельгу наконец-то сделали. Капитально. Из добротного соснового бруса, еще свежего, не успевшего потемнеть, на высоких быках, с железными ледорезами — никакой паводок не своротит.

Но куда девалась Марьюша? Где знаменитые марьюшские луга?

Бывало, из ельника выйдешь — море травяное без конца без края, и ветер волнами ходит по тому морю. А сейчас Петр водил глазами в одну сторону, в другую и ничего не видел, кроме кустарника. Все заросло. Прежние просторы да ширь оставались лишь в небе. И там, в сияющей голубизне, на головокружительных высотах, совсем как прежде, ходил коршун. Величаво, по своим извечным птичьим законам, без всякой земной суеты и спешки.

Мотаниху — старую, доколхозных времен избушку, которую Петр знал с малых лет, — он едва и разыскал в этом царстве ольхи, березы и ивняка. Да и то с помощью Лыска — тот вдруг с лаем выскочил из кустарника.

Михаил — он обедал — до того удивился, что даже привстал:

— Ты? Какими ветрами?

— Хочу внести свой вклад в подъем сельского хозяйства.

Шутка была принята, а о том, что они еще позавчера едва не разодрались, виду не подали друг другу.

Петр, сбросив с себя рюкзак, первым делом подал брату письмо от дочерей.

— Давай-давай! Почитаем... «Здравствуй, папа...». Так, это ясно. Во! — Михаил поднял палец, и улыбка во всю ряху. — «Тетя Таня нас встретила на аэродроме на машине...» Н-да, можно, думаю, так ездить в столицу нашей родины... «А завтра, папа, мы с тетей Таней пойдем в театр...»

Письмо было коротенькое, на одном листке из школьной тетрадки, и Михаил с сожалением отложил его в сторону, затем снова требовательный взгляд: еще что скажешь?

Петр не сразу сказал:

— Сестру в сельсовет вызывали... Анна Яковлева заявление подала. Требуется раздела ставровского дома, поскольку у нее сын от Егорши...

Михаил молча допил чай, встал.

— Ну, это меня не касается.

— Почему не касается? О ком я говорю? О сестре, нет?

— Нету у меня сестры! Сколько раз одно и то же талдычить?

Михаил схватил стоявшую у стены избы косу-литовку, сунул за голенище кирзового сапога брусок в черемуховой обвязке, пошел. Но вдруг круто обернулся, заорал благим матом:

— Ты племянника сколько раз в жизни видел? «Здравствуй, Вася, и прощай...» А я вот с эдаких пор, с эдаких пор его на своих руках... В шесть лет на сенокос повез... — И тут Михаил вдруг вскрикнул.

Петр отвернулся. Он в жизни своей не видел плачущим старшего брата.

2

И вскоре все, все стало так, как было прежде, как двадцать пять лет назад. Михаил — злость из себя выметывал — махал косой, ничего не видя и не слыша вокруг. А он, совсем-совсем как в детстве, старался угодить ему работой.

Петру не привыкать было к косьбе. Редкое лето не посылали его в подшефный колхоз от завода, и по сравнению с другими — нечего прибедняться — он был на все руки, его так и называли на заводе — «наш колхозник», но что такое тамошняя косьба? Гимнастика на вольном воздухе, упражнение с палкой среди благоухающих цветов.

А тут... А тут не человек — бык, танк прет впереди тебя! Без передышки, без роздыху.

Петр ругал, пушил себя: зачем ему это? Зачем устраивать добровольную каторгу? Ведь глупо же это, чистейший вздор — тягаться жеребенку с конем-ломовиком!

Да, да! Природа добрую половину того материала, который был отпущен на ихнюю семью, ухлопала на Михаила... Но какой-то бес вселился в него. Не отстать! Сдохнуть, а не отстать!

В пятидесятом году они с Григорием, два глупеньких желторотых дурачка, дали тлгу из ФЗУ. За четыреста верст. Чтобы посмотреть на щенка, на песика, которого завел дома Михаил, — Татьяна только и писала в письмах об этом песике.

До райцентра добрались хорошо. На пароходе. Зайцами. А от райцентра сорок верст пришлось топать на своих. И вот когда дотащились до Нижней Синельги, свалились. У самого моста. До того выбились из сил (за весь день несколько репок съели), даже на мост заползти не смогли — прямо на мокрую землю пали. Помогли им телеграфные столбы. Как-то все-таки поднялись они на ноги, захватились за руки и побрели, цепляясь глазами за белевшие в осенней темноте новехонькие, недавно поставленные столбы вдоль дороги.

И вот Петр вспомнил сейчас этот свой крестный путь в осенней ночи и обоими глазами вцепился в кумачово-красную, колесом выгнутую шею брата.

Пот заливал ему глаза, временами шея брата уплывала, будто ныряла в воду, в красный туман, но как только проходило это полубормочное состояние, он опять вскакивал глазами на крутой загибок брата...

Михаил первый опомнился:

— Ну и дурак же ты, Петруха, а еще институт кончал! Так ведь недолго и копыта откинуть. Я — что! Мне все едино: хоть с косой, хоть без косы по лугу расхаживать.

Петр не мог говорить. Он еле-еле доволоч ноги до тенистой березы, под которой расположился на перекур Михаил.

Сладко оплахнуло папиросным дымком, мокрая, разгоряченная спина просто прилипла к прохладному стволу березы. Голос брата благостно рокотал под самым ухом...

Проснулся он от суматошного крика:

— Петро, Петро, вставай! Проспали мы с тобой, парень!

И Петр попервости так было и подумал: проспали. А потом, поднимаясь на ноги, глянул случайно влево, туда, где только что сидел брат, и три папиросных окурка насчитал на примятой траве.

Кровь кинулась ему в лицо, и он вдруг почувствовал себя совсем-совсем маленьким, беспомощным ребятенком, которого по-прежнему опекает и выручает на каждом шагу старший брат.

Косить стало легче. Ветерок заходил по лугу. Начало перекрывать солнце.

— Может, к избе пойдешь аля по Марьюше пройдешься? — то и дело, оглядываясь назад, говорил Михаил и при этом широко, по-доброму скалил свой белый зубастый рот, ярко сверкающий на солнце. — Экзамен сдал — чего еще?

Не ругали Пряслиных за работу. И в ФЗУ, и в армии, и в институте, и на заводе — везде Петр получал благодарности да грамоты. И все-таки — вот какая власть была над ним старшего брата — ни одна премия, ни одна награда не доставила ему столько радости, столько счастья, как эта нынешняя, скупо, как бы между прочим брошенная похвала.

3

Вечер. Костер. Туман бродит вокруг костра...

Знакомая картина. Редкое лето не бываешь в этой живой картине. Но почему здесь, на Марьюше, все иначе? Почему на Марьюше сильнее пахнет трава? Почему такую радость вызывает обыкновенное кваканье лягушки за избой? Почему дым костра так непонятно сладок?

Михаил, весь малиновый от огня, приложил ко рту сложенные ковшом руки, раскатисто крикнул:

— Эхе-хей!

И тотчас взметнулись в ответ голоса — в одном углу, в другом, в третьем... Вся вечерняя Марьюша пришла в движение.

— Ничего музыка?

Петр заставил себя привстать с бревна.

Окрест по вечерним, облитым жарким закатом кустарникам вздымались белые дымы.

— Кто это?

— Единоличники! — Михаил захохотал: понравилась собственная острота. — Нет, верно, верно, Петро. Все разбрелись по норам. Каждый свил себе гнездо. Кто в старой избенке, кто в шалаше.

— А почему?

— Почему разбрелись-то? А потому что хорошо робим. Бывало, ты много видал куста на Марьюше? А сейчас ведь еле небо видно. С косилкой не развернешься. Вот и хлопаем вручную. А раз вручную — чего скопом-то жить?

— Н-да, шагаем... — покачал головой Петр.

— Я думал раньше — только у нас такой бардак. Ё-моё! В Архангельске на аэродроме разговорились — мужик из Новгородской области. «Что ты, говорит, у нас на тракторе еще кое-как до деревни доберешься, а чтобы на машине, на грузовике — лучше и не думай».

Куда это мы, Петро, идем, а? — Не дожидаясь ответа, Михаил махнул рукой. — Ну, с тобой, я вижу, каши не сварипшь. Может, Калину Ивановича проведедем? — Он указал рукой на небольшой огонек, призывно мигавший в конце свежей просеки, прорубленной через чащу кустарника. — Это я вечор коридор-то сделал. Человеку за восемьдесят — сам знаешь. А когда он у тебя на прицеле, поспокойнее. Верно?

У Петра глаза слипались от усталости, и у него одно было желание сейчас — как бы поскорее добраться до избы, до нар, застланных свежим сеном.

Глава седьмая

Из жития Евдокии-великомученицы

Избенка у Калины Ивановича не лучше и не хуже Мотанихи. Того же доколхозного образца: когда каменку затопишь, из всех щелей и пазов дым. Но местом повеселее — на угорышке, на веретейке, возле озерины, в которой и вечером и утром покрывает утка: толсто карася. В солнечный день с угорышка глянешь — медью выслано замшелое дно.

И еще была знаменита эта изба своим шатром — высокой раскидистой елью, которая тут с незапамятных времен стоит, может еще со времен Петра Великого, а может и того раньше. И с незапамятных времен из колена в колена пекашинцы кромсали эту ель ножом и топором: хотелось хоть какой-либо зарубкой — буквой, крестом — зацепиться за ее могучий ствол. И все зря, все впустую. Не терпело гордое дерево человеческого насилия. Все порезы, все порубы заливало белой серой. И подпись Михаила — еще мальчишкой в сорок третьем году размахнулся — тоже не избежала общей участи.

Дунаевы, когда они с Петром подошли к ихнему жилью, чаевичали. Под этой самой вековечной елью, возле потрескивающего огонька и под музыку: Калина Иванович по слабости зрения худо мог читать газеты и вот, как только выдавалась свободная минута, крутил малюсенький приемничек, который ему подарил райвоенкомат к пятидесятилетию советской власти.

— Привет стахановцам!

Калина Иванович в ответ на приветствие гостеприимно закивал и выключил свое окно в большой мир, как он называл приемничек, а Евдокия, злющая-презлющая, только стеганула их своими синими разъяренными глазами. Понять ее было нетрудно: пришла на гребь, шесть верст прошастала по песчаной дороге, а тут непогодь, дождь — как не вскипеть.

Михаил и Петр, на ходу отряхиваясь, нырнули под смолистые, разогретые костром лапы — под елью никакой дождь не страшен, — присели на корточки возле огня.

— Чего молчишь? Привет, говорю, стахановцам!

— Ты-то настаханил, а мы-то чего?

Зарод за избой, на который кивнула Евдокия, был только начат, от силы три копны уложено — видать, с меткой разобрались как раз перед дождем. Но Михаил, вместо того чтобы посочувствовать, опять ковырнул хозяйку:

— Это бог-то, знаешь, за что тебя наказывает? За то, что не с того конца начала.

— Пошто не с того-то? С какого надо?

— С бутылки. Ноне с бутылки дело начинают.

Не слова — булыжники посыпались на голову Михаила: лешаки,

сволочи, пьяницы проклятые!.. Всю Россию пропили... И все в таком духе.

Он поднял притворно руки, потянул Петра к скамейке: садись, мол, теперь не скоро кончит.

Скамейка — толстое сукроватое бревно на чурках — до лоска надраена мужицкими задами, и вокруг окурков горы: не обходит старика народ стороной.

Калина Иванович, как бы извиняясь за суровый прием жены, предложил гостям по стакану горячего чая и даже пошутил слегка:

— Поскольку ничего более существенного предложить не могу... Жена строгий карантин ввела... На период сеноуборочной...

— Ладно, не тебе по вину горевать. Попил на своем веку!

Калина Иванович смущенно кашлянул.

— Не кашляй, не кашляй! Кой черт, разве неправду говорю?

— Я полагаю, молодым людям неинтересно по нашим задворкам лазать...

— Неинтересно? Вот как! Неинтересно? А у меня эти задворки — жизнь!

— Брось, брось, Савельевна! Знаем твою жизнь. Весь век комиссаришь...

— Я-то комиссарю?

Михаил живо подмигнул Петру (тот, конечно, глазами влип в старика): подожди, мол, то ли еще будет. И точно, Евдокия завелась мгновенно:

— Я весь век комиссарю? Это я-то? Да я всю жизнь ломлю как проклятая! Шестнадцать лет замуж выскочила — чего понимала?

— Да уж чего надо, понимала, думаю, раз выскочила...

— Не плети! Он с гражданской приехал — весь в скрипучих ремнях, штаны красные... Как сатана повертывается. Жар за версту. А я что — сопля еще зеленая. Облапошил.

Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия и ему рот заткнула. И тогда Михаил заговорил уже на серьезе:

— Ты характеристику дай, а лаять-то у меня и Лыско умеет.

— Характеристиков-то у его ящик полон, в каждой газете к каждому празднику пишут, а я про жизнь рассказываю.

— Но, но! — Михаил даже брови свел. — Про жизнь... А один человек целый монастырь взял — это тебе не жизнь?

Петр вопросительно поглядел на Калину Ивановича, на него, Михаила, — видно, не очень-то знал эту историю, — и Михаил решил свое слово сказать, а то Евдокия — вождя под хвост попала — все в одну кучу смешает, из ангела черта сделает.

— В гражданскую, в одна тысяча девятьсот двадцатом дело было. Отступали наши. А в монастыре рота караульная восстала. Пулеметы, пушки на стены выкатили — ну нет ходу. А сзади, понятно, беяки, интервенты. Три раза наши на приступ ходили, да разве пробьешь стены каменные? А Калина Иванович пробил. Один. Ночью в монастырь через стену залез — и в келью, где этот заправила, ну, главарь ихний, в архиерейских пуховиках разлегся... Понял? Наган в спину: иди, сволочь, открывай ворота! Вот так, таким манером был взят монастырь. А ты говоришь — облапошил. — Михаил строго, без шутки поглядел на Евдокию. — Да за такого облапошельщика любая пойдет!

— Ладно, — сказала Евдокия, — и я не из последних была. Косяками парни бегали — кого хошь спроси, скажут.

И это так, можно поверить. Старуха по годам, когда уж на седьмой десяток перевалило, а какая баба в Пекашине, ежели хочет, что-

бы на нее посмотрели, о празднике рядом с нею станет? Высокая, рослая, румяная, зубы — как белые жернова, ну а глаза, когда без грозы, — небеса на землю спустились. Только редко, минутами у Евдокии бывает синь небесная в глазах, а то все молоньи, все разряды, как будто внутри у нее постоянно землетрясение клокочет, вулкан бушует.

Вот и сейчас — долго ли держала язык на привязи? Загремела, загрохотала — всё перестали вмиг слышать: и дождь, и потрескивание огня, и кваканье лягушек — разорались проклятые, не иначе как сырость накличут.

— Облапошил! Как не облапошил. Ну я глупа — велики ли мои тогда годы. Явился как не знамо кто... Как огонь с неба пал. При ордене. Тогда этих орденов, может, на всю Пинегу два-три было. А как речь-то в народном доме заговорил про нову жизнь — у меня и последний ум выскочил. Ну просто сдурела. Делай со мной что хошь, свистни только — как собачка побегу, красу девичью положу... Вот какое затемнение на меня пало! — Евдокия всегда резала правду-матку, всех на чистую воду выводила, но и себя никогда не щадила.

— А может, затемнение-то не только на тебя пало, а может, и на него? — плутовато подмигнул Евдокии Михаил: его опять на игривость потянуло.

— Черта на него пало! Кабы пало, разве бы молодую жену в деревне оставил? А то ведь он недельку пожил, ребенка заделал да на города — штанами красными трясти. Не пожимай, не пожимай плечиками! — еще пуще прежнего напустилась на мужа Евдокия. — Пущай знают, какой ты есть. Все всю жизнь: «Дунька-сука! Дунька-угар! Бедный, бедный Калина Иванович, весь век в страданье...» А того не знают, как этот бедный эту самую Дуньку тиранил? Это теперь-то он тихонькой да сладенькой, старичок с божицы, а тогда — ух! Глазами зыр-зыр — мороз у тебя по коже. А хитрости-то, злости-то в ем сколько было! Это ты зачем захомутал меня в шестнадцать-то лет? «Полюбил я навеки, полюбил навсегда...» Как бы не так. Старики были не пристроены, старики да девка — меня черт за вдовца понес (жену-то, бедную, насмерть белые замучили за то, что он монастырь с изменщиками взял) ровно в два раза старше, дочь на двенадцатом году, мне в сестры годится, вот он и нашел дурочку, на которую все свалить...

Тут Калина Иванович, до сих пор снисходительно, с легкой улыбкой посматривавший на свою распалившуюся жену, поднял голову, повел седой бровью — и права, права Евдокия, подумал Михаил: умел когда-то старик работать глазом. Но разве лошадь, закусившую удила, посреди горы остановишь?

— Да, да! Так говорю. Нашел дуру глупую: сыты, накормлены старики, обмыта дочь и сам гуляй на все четыре стороны! Я год живу, три живу в деревне, убиваюсь, ломлю за троих — здорова была. Муж в год на недельку заглянет, мне и ладно. Думаю, так и надо. Да! Потом та, друга на ухо: «Чего ты, женка, с мужиком нарозь?.. Смотри, Авдотья, наживешь беду». А подите вы к дьяволу! У меня мужик чуть не первый начальник в городе, революции служит, нову жизнь строит — слушать вас, шептунов, не хочу. Служит он... Строит нову жизнь... Да с кем? Со стервой крашеной, с буржуйкой рыжей! Ох, сколько у меня эта сука-белогвардейка жизни унесла, дак и страсть. Ведро крови выпила...

— Белогвардейка?

Евдокия не раз и не два выворачивала перед Михаилом свое прошлое, но, помнится, про белогвардейку не говорила.

— Ну, ученая, чики-брики, на высоком каблучку. Не деревенская же баба. Да! Не хочу своего серого. Поддай мне чистенькую, беленькую. С деколончиком. Ну не то мне сейчас обидно, что он мне изменил да продал — все вы, прохвосты, одинаковы! — а то мне обидно да нож по сердцу, что у меня-то тогда где ум был? Нынче баба-то учуяла: мужик загулял — вмиг оделась, обулась, на самолет, меры принимать. А мне Марья Николая Фалилеевича сказала — начальником милиции в городе служил: «Дуня, говорит, спасай себя и Калину, пока не поздно». Ни с места. Страда! Кто за меня с поля да с пожень убирать будет? Да, вот какая у меня сознательность была. Можно, думаю, с такой сознательностью коммунизм делать... Ладно, с пожнями, с полями рассчиталась, собралась в кои поры в город. Все правда, все как на бумаге. Ничего не соврано. За порог не успела перешагнуть — уборщица, Окулей звали: «Дуня, что ты наделала! Ведь ты разорила себя». А в комнату-то вошла — так и шибануло, так и вывернуло меня наизнанку. Постель не прибрана, в развал, подушка вся в помаде, в краске, деколоном разит... Ну, окошко открыла, сгребла все с кровати — к дьяволу, к лешакам! На полу, на голых досках спать буду, только не в этой грязи. А тут и он, грозный муж, вваливается: «Что делаешь? Кто тебе разрешил тут порядки наводить?» Вот как он меня встретил. Ребенок на кровати — не взглянул даже. «Приехала к законному мужу законная жена».

— Это ты сказала? — Михаил с сочувствием, чуть не с нежностью взглянул на Евдокию.

— Я.

— Вот тебе и серая баба. Нашлась.

— Найдешься, коли за глотку схватят.

Тут свою принципиальность решил показать Петр. Вскочил с бревна и волком на брата — это Петр-то! Как, мол, ты такое терпишь? О таком человеке и так говорят? А чего говорят? Подумаешь, собственная жена кое-какие не очень героические страницы из его автобиографии проявила.

— Сядь! — приказным голосом сказал Михаил. — С тобой, так сказать, опытом жизни старшие поколения делятся, а ты копытом бить.

— Это не опыт, а дурость наша, — тихо заметил Калина Иванович.

— А-а, дурость! У тебя дурость, а у меня от етой дурости жизнь враскат. Ничего, ничего, ноне не с тебя одного позолоту сьмают. Сталин уж на что вождь был — и то не смолчали. А тебя-то тогда еще надо было на чистую воду, на прикол взять. Не потерял бы орден, не исключили б из партии.

Петр вытянул шею и глаза колесом: ничего подобного не ждал. И Калину Ивановича зацепило. То сидел все с эдаким умственным видом, чуть ли не с улыбочкой поглядывая на свою разбушевавшуюся жену: пускай, мол, выскажется, душу отведет, раз такие струны в сердце заиграли, — а тут вдруг заводил старой головой. Еще бы! Такими снарядами начали бить. Правда, Михаилу все это было не внове, он еще и не такое слышал про своего знатного соседа. Ну а Петр? Как Петра, как молодое поколение — Калина Иванович любил торжественно выражаться — оставить в неясности?

И Калина Иванович дал разъяснение:

— Я тогда действительно в сложный переплет попал. Не разобрался сразу в политической борьбе двадцатых годов — и в результате серьезный срыв в личной жизни...

— Поняли, нет, чего? Запой не было, ордена не терял, со шлю-

хой буржуйной не знался — только срыв в личной жизни. Ладно, срыв дак срыв. Только кто тебя из этого срыва выволакивал? Друзья-товарищи? Нет, я — баба серая. Терпела-терпела, ждала-ждала: уймется же дале. Надоест же ему когда-нибудь это винище! Ведь до чего дошло — с подзаборниками спознался, все сапоги, все галифе пропил. Нет, вижу, не дожидаться. Во все колокола звонить надо. Пошла до самого высокого начальника в главную партийную контору. Так и так, говорю, человек всю гражданскую войну за советскую власть ломал, сколько крови пролил, белые жену до смерти довели, а тут оступись — все отвернулись. Да разве, говорю, это дело? Шкуры вы, говорю, после этого, а не коммунисты.

— Так и сказала?

— Та-ак. Где, говорю, тут у вас человек человеку брат и друг? А секретарь, хороший, Спиридонов фамилия, из ссыльных в царское время, смеется: «Ладно, говорит, дадим ему путевку в новую жизнь, а тебе спасибо, товарищ Дунаева. Всем бы таких жен иметь...» Да, не вру... Ну, чего там было, давал, нет накачку Спиридонов — не знаю: этот жук никак и скажет. Только на другой день является домой как стеклышко. Трезвый — за какие-то времена! «Все, Дуня, новую жизнь начинаем. В коммуны поедем». Ладно, в коммуны дак в коммуны, а покуда вот тебе мочалка, вот тебе веник — в баню отправляйся. Да! Раз новую жизнь начинать, сперва себя отмой да отпарь, сперва себя в чистоту приведи. А то ведь он, когда запил-то, опять с той сукой буржуйной связался. И вот как в жизни бывает! Только мы это на новую-то жизнь наладились — она. Прямо в дверях выросла, сука. Как, скажи, чула все. В шляпке. С сумочкой. И деколоном разит — с души воротит. «А, поздравляю, говорит. Опять на деревенщину потянуло». Ну, тут врать не стану. Ногой стоптал: «Это, говорит, не деревенщина, а моя законная жена. А ты, говорит, марш к такой матери! Чтобы духу твоего здесь никогда не было».

Евдокия шумно выдохнула из себя воздух, вытерла лицо клетчатым с головы платком. Щеки у нее пылали. Ничего вполсилы не делала. Всему отдавалась сполна: хоть работе, хоть разговору. Потом глянула по сторонам — и на старика:

— Чего не скажешь? Дождя-то кабыть больше нету?

— Не кипятись, — сказал Михаил. — Первый раз на позже? Мокрое сено будешь валить в зарод? Давай выкладывай про коммуны.

— А чего про коммуны выкладывать? Где она, коммуна-то? — Евдокия опять поглядела на пожню и то ли от обиды, что нельзя метать — с еловых лап капало, — то ли оттого, что внезапно перед глазами встало прошлое, опять завелась: — Где, говорю, коммуны-то? Людей сбивали-сбивали с толку, сколько денег-то государство свалило, сколько народу-то разорили (мы ведь выкупали дом-от! Да, свой дом выкупали, две тысячи платили) — стоп, поворачивай оглобли. Больно вперед забежали. Не туда заехали. Не туда шаг сделали. А куда? В какую дыру? В лес дремучий. На Кулой, где не то что человек — медведь-то не каждый выживет. — Евдокия покачала головой. — Да, через все прошла. Через леса и степи, через пустыни и болота. От жары погибала, песком засыпало, на Колыме замерзала. Ну а как ехала в коммуны «Северный маяк» — не забыть. Сейчас маячит. Сам поскакал-полетел налегке, прямо из города, на другой же день грехи замаливать, думает, и в коммуны ворота закроют, ежели на день опоздает, а жена домой. Жена вези хлеб да пожитки. Все до нитки приказал: не жалко, не сам наживал. Свекрова, покойница, как услышала — в коммуны записались (свекра, того уж в живых не было): «Нет, нет, никуда не поеду. Сама не поеду и внучку на муки не дам. На своей печи помирать буду». Братья, суседи меня

разговаривать: насмотрелись на эту коммуны, своя за рекой, в монастыре. А я реву да в дорогу собираюсь. У меня мужнин приказ, да. Ладно, собралась, поехала. Осень, грязища, снег над головой ходит. Телегу запрягла, на телегу сани. Впрок, про запас. Думаю, зима застанет — у меня сани есть. Ладно, дождь сверху поливает, корова на веревке, на руках ребенок: на воз не присесть — с лесами вровень хлеба наложено. Кто встретит, кто увидит — крестятся. Думают, грешница какая але чокнулась, с ума сошла. А один старичок, век не забуду, вынес берестышко: «На-ко накройся, бедная. Парня-то нарушишь...» — И Евдокия вдруг отчаянно разрыдалась.

Так всегда. Как только дойдет до сына единственного, убитого на войне в сорок третьем году, так в рев, так в слезы. И тут бесполезны разговоры и уговоры. Жди. Дай выплакаться.

— Вредительство! Самое настоящее вредительство!

От неожиданности — Евдокия как топором рубанула — Петр вздрогнул. А Калина Иванович, тот гнуть свое. Ангельское терпение было у старика. По часам могла молотить Евдокия — молчал. Иногда даже Михаилу казалось — спит старик. Просто с открытыми глазами спит. Но вот разбушевавшаяся Евдокия что-то лягнула не так, дала перекосяс на счет политики — и ожил.

— В те времена, — сказал Калина Иванович, — частенько наши неудачи и промахи списывали на вредительство.

— Ничего не списывали. В диком лесу, на глухой реке коммуны затеяли — как не вредительство? При мне сколько ни сеяли, сколько ни пахали, не доходило хлеба. Все убивало морозом.

— В смысле практическом, — вынужден был признать Калина Иванович, — действительно был допущен некоторый недосмотр. Но у нас мечта была — чтобы все заново. Чтобы именно в диком лесу, в медвежьем царстве зажечь маяк революции...

— Слыхали? Одна баба тоже без броду за реку хотела попасть — что вышло? Ох, да что говорить! — Евдокия махнула рукой. — Собрались портфельщики, всякая нероботь — какая тут жизнь? Хороший хозяин начал обживать новое место — об чем первым делом думает? Как бы мне скотину под крышу подвести да как бы себе како жилье схлопотать. А у них скотина под елкой, сами кто где — кто с коровой вмятах, кто в бараке, — красный уголок давай заводить. Да! Чтобы речи где говорить было. Ох и говорили! Ох и говорили. Я уж век в речах живу, век у нас дома люди да народ, а столько за всю жизнь не слыхала. До утра карасин жгут, до утра надрываются. Иван Мартемьянович в кой раз больше не выдержал: «Товарищи коммунары, которые люди днем работают, те по ночам спят. И нам бы спать надо...» Заклевали, затюкали мужика: «Темный... Неграмотный... Сознательности нету... На старину тянешь...» Да, не вру. Я в этот «Маяк» заехала — короба, лукошки одежды, а оттуда вышла в одной рубахе. И та рваная. Все поделила, все отдала.

— Налегке лучше, — пошутил Михаил.

— Да, пожалуй. Мы, как цыгане, как перекасти-поле, покатались на юг. На всех стройках побывали, все пятилетки на своих плечах подняли, до самых киргизцев, до границы дошли...

Евдокия опять сняла с головы плат, чтобы вытереть запотевшее лицо, и вдруг вскочила на ноги.

— О, к лешакам вас! Сижу, языком чешу, а того не вижу, что солнышко в спину барабанит.

Калина Иванович не бросился сразу вслед за женой — дал выдержку. Посидел, даже руками поразводил: извините, дескать, такой уж характер, такой уж норы, — и только после этого начал подниматься.

Не ахти какая картина — восьмидесятилетний старик, волокущий свои старые ноги в кирзовых сапожонках по мокрой выкошенной пожне. Но было, было что-то в этом старике. Притягивал он к себе глаза. И не на березы, не на солнце, не на Евдокию, уже орудовавшую вилами у зарода, смотрели сейчас Михаил и Петр, а на старика. На Калину Ивановича.

— А ты знаешь, как Петр Житов его зовет? — вспомнил вдруг Михаил. — Эпохой. Бывало, увидит — Калина Иванович под окошками идет, сразу команду: «Тихо! Эпоха проходит мимо».

— Хорошо, что Петр Житов понимает это, — буркнул Петр.

— Ясно. Петр Житов понимает, а брат твой ни бум-бум? Ты чего хочешь? Чтобы я на каждом шагу: герой, герой, на колени падал?.. А этот герой, между прочим, еще исть-пить хочет, и чтобы в избе тепло зимой было. А кто — ты его дровами выручаешь? А в бане обмыть надо? Вот я этими руками грязь смываю с его героического тела, на полку парю...

Михаил поглядел на отчужденное, закаменевшее лицо брата, хлопнул дружелюбно по плечу:

— Ладно, не считай меня за круглого-то идиота. Я хоть и сижу по самое брюхо в земле, а к небу-то тоже иногда глаза подымаю. Понял?

Глава восьмая

1

Нервная, сеногнойная пошла погода.

С утра жгло, калило, коршуны принимались за работу — красиво, стережцы, вычерчивали свои орбиты в небе, — кошеница начала санным духом томить — казалось, вот-вот надо браться за грабли. Нет, из-за леса выкатилась тучка одна, другая, дунул, крутанул ветришко, и вот уже заропотали, завсхлипывали березы.

И ведь что удивительно! Кабы так везде, по всем речкам. А то только у них на Марьюше.

Измотанный, издерганный ненастьем Михаил только что не запускал в небо матом: четыре гектара было свалено самолучшей травы — и четыре гектара гнило. Просто на глазах белела выкошенная пожня.

Душу отводили у Калины Ивановича, благо Евдокия из-за козы, сломавшей ногу, в эти дни сидела дома. Игнат Поздеев, Филя-петух, Аркадий Яковлев, Чугаретти — все хорошо знакомые Петру, заметно постаревшие, все, кто сенокосил на Марьюше, сходились под вечер к старику.

Сидели под елью, жгли сигареты и папиросы, ерничали, заводили друг друга, травили анекдоты, иногда слушали «клевету» (Михаил частенько захватывал с собой транзистор), а больше перетрахивали жизнь — и свою пекашинскую, и в масштабах страны, и в масштабах всего шарика.

Да, и шарика. А что? Газеты читаем, радио слушаем, людей, которые бывали за границей, видали — имеем понятие? А потом, кто мы теперь — ха-ха? Его величество рабочий класс. Гегемон. Хозяин страны. Положено, черт возьми, ворочать мозгой?

Ух и заводились! Ух и вскипали!

Почему, почему, почему... Целый лес «почему»!

Ничего нового для Петра в этих кипениях, пожалуй, не было. Где теперь не говорят об этом! Вся Россия — сплошная политбеседа.

Но Калина Иванович — вот с кого не спускал Петр глаз!

Он ведь раньше думал: комиссары, гражданская война — все это древняя история, обо всем этом только в книжках прочитать можно. И вдруг на тебе — живой комиссар. Да где! У них на Марьюше, в сенной избушке. С косою, с граблями в руках.

Распаленные мужики трясли и рвали Калину Ивановича нещадно: дай ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что ни про что столько лет отстучал в местах не столь отдаленных!

Калина Иванович отвечал: моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. Так и сказал:

— Да, в этом вопросе мы недоглядели.

Однажды, когда страсти особенно раскалились, Филя-петух, не без страха поглядывая по сторонам, заметил:

— Вы бы потише маленько, мужики. Вишь ведь, ель-то даже притихла — в жизни никогда такого не слыхала.

— Слыхала,— сказал Калина Иванович.— Тут жаркие разговоры бывали.

— Когда?

— А когда царское правительство политических на Север ссылало. У нас в Пекашине в девятьсот шестом году двадцать пять человек было.

— Это ссыльных-то двадцать пять человек? В Пекашине? — Чугаретти, лицо черное, как у негра, голова седая ежиком, подсел поближе к Калине Ивановичу.

Легкая, чуть приметная улыбка тронула впалый аккуратный рот старика:

— Я тогда еще совсем молодым был, лет семнадцати, и, помню, тоже побаивался.

— Крепко высказывались?

— Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от Пинегги отступали...

2

Ассамблеи под елью — Игната Поздеева придумка — обычно заканчивались песнями.

Пели про Стеньку Разина, про Ермака, пели старые революционные: «Смело, товарищи, в ногу», «Наш паровоз, вперед лети» и непременно «Ты, конек вороной» — любимую песню Калины Ивановича.

Запевал Игнат Поздеев — у этого зубоскала-пересмешника с длинной, по-мальчишечьи стройной шеей красивый был тенор. Тихо, мягко, откуда-то издалека-далека, будто из самых глубин гражданской войны, выводил:

Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...

Потом вступали остальные.

Удивительно, что делала с людьми песня!

Еще каких-то десять — пятнадцать минут назад сидели, переругивались, язвили друг друга, а то и кулак увесистый показывали, а тут разом светлели лица, голоса сами собой приходили в согласие, в лад.

Калина Иванович тоже подпевал, хотя его старого, надтреснутого голоса почти не было слышно. Но подпевал, пока дело не доходило до его любимого «Конька». А запевали «Конька» — и он плакал. Плакал беззвучно, по-стариковски, не таясь, не скрывая слез.

И тогда Петр вдруг замолкал и видел только одно лицо — лицо Калины Ивановича, старое, мокрое, озаренное пламенем костров — нынешнего, живого, и тех далеких-далеких, что горят в веках.

3

Часом-двумя позже они лежали в своей избе.

В темном углу у дверей металась малиновая папироска, слова летели оттуда раскаленными ядрами — Михаил всю жизнь прожившую выворачивал наизнанку.

А Петр молчал. Он не мог говорить. Он все еще был в песне, в молодости Калины Ивановича и, как молитву, шептал про себя предсмертные слова юного комсомольца:

«Ты, конек вороной, передай в край родной,
Что я честно погиб за рабочих».

Калине Ивановичу в гражданскую войну было столько же, сколько ему сейчас, даже меньше, а какие дела творил! На каких крыльях парил! И жалкой, и ничтожной представлялась Петру собственная жизнь.

ФЗУ, армия, ученье, работа на заводе... А еще что? Еще чем вспомнить свою молодость? Сверстники ехали на целину, на стройки, шатались по Крайнему Северу, Сибирь собственными ногами мерили, а он, как собака на цепи, возле больного брата...

— Кой черт молчишь? — Михаил заорал уже так, что песок посыпался со старого потолка. — Почему, говорю, после войны людей досыта нельзя было накормить? Боялись, что советский человек вместе с буржуйским хлебом буржуйскую заразу проглотит? Але тебя это не касается? Ты не голодал?

— Да не в голоде дело! — Петр тоже вспыхнул.

— Не в голоде? В чем?

— В чем, в чем... В гражданскую войну тоже немало голодали. Четвертушку хлеба получали. А про голод сегодня пели?

— А-а, дак ты вот о чем... — Михаил немного помолчал. — Песни-то мы все умеем петь. А тебя учили, я думаю, не песни петь...

Петр не сумел толком ответить. Он всегда терялся, когда брат взрывался и начинал кричать. Да и в двух словах тут не ответишь. О разном думали они сейчас с братом.

Михаил вскоре захрапел — он не любил неопределенности: говорить так говорить, спать так спать, — а Петр еще долго лежал с открытыми глазами.

Под ухом надоедливо попискивал заблудившийся в темноте комарик, поднять бы руку, прихлопнуть — заворожила песня, околдовали слова:

Он упал возле ног у коня своего
И закрыл свои карие очи.
«Ты, конек вороной, передай в край родной,
Что я честно погиб за рабочих».

И он, взрослый человек с залысинами на лбу, с отчетливо наметившейся проталинкой на темени, отчаянно завидовал молодому, безвестному, безымянному пареньку, его славной смерти.

Была белая ночь, когда он вышел из душной избы. Лежавший в сенцах у порога пес вскинул было голову и тотчас опустил: не хозяин.

Он перешагнул за порог. Холодная зернистая роса омыла босые ноги, разгоряченное тело зябко свело от ночной свежести.

Тихо, так тихо, как бывает тихо только в белую ночь.

Избушку Калины Ивановича на том конце просеки из-за тумана не видать. Но сама просека не в тумане. И белые верхушки наспех срубленного Михаилом кустарника горят в алом свете непотухающей зари, как кавалерийские пики...

Да, думал Петр, пройдут года, пройдут века. Будет все та же белая ночь, будет все та же Марьюша, наверняка расчищенная, разделанная, без этого нынешнего позора и запустения, а что останется от них, от людей? О них какую будут петь песню?

4

Сеногной кончился к пятнице. Огнистое светило с самого утра утвердило себя в небе и ни с места. Никаких уступок мокряди.

Сеноставы на Марьюше ожили, а Михаил, тот просто помолодел. Все дни были зарубы поперек лба, а теперь растаяли, смыло потом.

Но вот пошли времена! В субботу — шабаш. До обеда гребли, метали, делали каждый что надо, а с обеда запокрикивали: «Родька, Родька! Где Родька?»

— Да, так у нас ноне, — сказал Михаил. — Сев не сев, страда не страда, а в субботу двенадцать часов пробило — домой. В баню. А в воскресенье, само собой, вылежной.

— Но ведь есть постановление: в страдные дни рабочий день увеличивается, а отгул потом.

— Постановление... Постановление есть, да нынче люди сами постановляют...

Родька, конечно, перво-наперво подкатил к ним. И как подкатил! Напрямик, через ручьи и грязи, где и на телеге-то не скоро проскочишь.

Михаил, когда услышал надрывный вой и моторные выстрелы рядом в ольшанике, взвыл:

— Ну, сукин сын, завязнет! Придется всей Марьюшей вытаскивать.

Не завяз. Вырвалась из кустов машина — вся по уши в грязи, но с красной победной веточкой смородины на радиаторе.

— Тпру! — закричал Михаил весело. Он любил лихачей.

Родька еще поддал жару: сделал разворот во всю пожню. Перемял, перепутал грязными колесами все несгребенное сено. И Петр подумал: ну, сейчас достанется парню.

Слова не сказал Михаил — только головой покачал.

Родька выскочил из кабины — глаз черный блестит и улыбка во все смуглое запотелое лицо.

— Привет, привет, племянничек! — сказал Михаил, протягивая ему руку, и тоже начал улыбаться.

Петра Родька тоже зачислил в свои родственники:

— Как жизнь молодая, дядя Петя?

Не свои, чужие слова, даже фамильярные, а Петру было все-таки приятно.

— Ну, чаем тебя напоить, Родион? — спросил Михаил.

— Нет, нет! — Родька замахал обеими руками. — У меня еще сколько объектов! — Затем повертелся-повертелся чертом и вдруг — бутылку. Выхватил неведомо и откуда. Как фокусник. — А это тебе, дядя Миша. Персональный подарочек от меня.

— Ну это ты зря, зря, Родион. Ни к чему, — запротестовал было Михаил, но бутылку в конце концов принял: парень неплохо зарабатывает — не разорится.

Через минуту Родька уже восседал за рулем.

— Собирайтесь! А я моменталом. Через полчаса буду у вас.

— Я, пожалуй, воздержусь, — сказал Михаил. — И без меня полный кузов наберется. А вот его забери. — Михаил с доброй усмешкой кивнул на Петра. — Он ведь там, в городе, тоже привык к выходным.

— Ну это как сказать...

— Ладно, ладно, пошутить нельзя. Поезжай. Чего тут париться. Недельку повтыкал — и хватит.

Глава девятая

I

Родька подкатил к самому дому, и Петр, выскочив из кабины, только что не попал в объятия к своим.

Все — сияющая сестра с зареванными двойнятами на руках, кротко и, как всегда, виновато улыбающийся брат, Мурка, молоденькая черная кошка с белыми передними лапками, — все вышли встречать его. Встречать как своего кормильца, как свою опору, и вот когда он почувствовал, что у него есть семья...

— Что долго? Мы ждем-ждем, все глаза проглядели. У нас и баня вся выстыла.

Баня, конечно, не выстыла. Это сестра выговаривала ему по привычке, для порядка, и каменка зарокотала, едва он на нее плеснул.

Он не сразу решился взяться за веник. Прокалило, до самых печенок прожгло за эти дни, и уж чем-чем, а жаром-то он был сыт. Но свежий березовый веничек, загодя замоченный сестрой, был так соблазнителен, такая зеленая, такая пахучая была вода в белом эмалированном тазу, что он невольно протянул руку, махнул веником раз, махнул два — и заработал...

Его шатало, его покачивало, когда он вышел в открытые, без дверей сенцы.

Семейка молоденьких рябинок подступала к старенькому, до седловины выбитому ногами порожку, на который он сел. В прогалинах зеленого кружева листвы сверкала далекая, серебром вспыхивающая Пинега, лошадиное хрумканье доносилось снизу, из-под утора, и так славно, так хорошо пахло разогретой на солнце земляничкой...

Вдруг какая-то тень пала сверху на Петра. Григорий... Григорий вышел на угор...

Петр, пятясь, отступил в глубь сенцев, потом отыскал в пазу щель, припал к ней глазами, но Григория на угоре уже не было.

Зачем он приходил? Просто так на угор вышел, на реку, на подгорье взглянуть, как принято это в Пекашине? Или его проведать? По нему соскучился?

Когда у Григория начались припадки, врачи у Петра долго допытывались, не было ли у его брата какой-либо травмы черепа, ушиба. «Нет», — ответил Петр.

А сейчас бог знает почему вдруг вспомнил давнишнюю историю. Вскоре после того как они вернулись из армии, они с братом как-то работали в доке на сварке старого суденьшка, а точнее на сварке поручней на верхней палубе. Работа, в общем-то, была ерундовая, и они не больно-то беспокоились о технике безопасности. Какую-то дощонку приладили сбоку, и все. И вот вдруг, когда уж поручни были почти сварены, Петр поскользнулся на этой оледенелой дощонке (осенью дело было, в октябре), и с пятиметровой высоты полетел в ледяную воду. К счастью, все обошлось довольно благополучно, он отделался, как говорится, легким испугом, но когда он стал загребать руками, кого же увидел рядом с собой? Григория. Тот бросился вслед за ним, не раздумывая ни секунды.

Пользы от этого мальчишества, конечно, не было никакой, но сейчас, вспомнив этот случай, Петр вдруг подумал: а не с того ли самого времени началась болезнь у брата?

И еще он подумал сейчас: а сам он, если бы такое случилось с Григорием, сам он смог бы вот так же безрассудно, очертя голову броситься вслед за братом?

Ответа на этот вопрос он в себе не нашел, и тоска, тяжелая тоска навалилась на него, и все сразу вокруг как-то померкло.

2

Три дня разлагался Петр. Ходил на реку, купался, валялся в поле, в тени под старой лиственницей, пробовал читать «Роман-газету». Модно, почетно теперь в деревне иметь ее. Как сервант, как приемник, как ковер на стене, и у Михаила скопилось целая стопа пестрых книжек из этой серии. Новеньких, нечитанных! Но и Петр не очень залохматил их за эти дни. Страниц пять первых одолеет, ткнется глазами в середину, в конец — и в сторону. Все вроде бы правильно, речисто, а читать не хочется. И глаз сам собою тянулся к зеленой травинке, щекочущей кончик носа, к трудяге муравью, который для какой-то своей надобности с муравьиной основательностью и дотошностью изучал его морщинистую ладонь, к пузатому, разодетому в золото шмелю, беспечно, как в гамаке, покачивающемуся на белом душистом зонтике морковника.

Но больше всего, лежа вот так в траве под лиственницей, Петр любил смотреть на коня — на это деревянное чудо на крыше ставровского дома.

За эти дни он вдоль и поперек исходил, излазил дом. И его поражала добротность и основательность работы (он сам как-никак плотницкую академию — ФЗУ — кончил), поражал лес, из которого выстроен был дом. Отборный. Безболонный. Снаружи немного подгорел, повыветрел — шестьдесят лет все-таки постройке, — а изнутри как новенький. Янтарный. Звоном звенит. И Петр любил, проснувшись поутру (он один спал в передних избах-горницах), подать голос, и голос гулким эхом раскатывался по пустым, ничем не захлапленным избам. Эхом. Как по лесу на вечерней и утренней заре. И если бы он не знал вживе Степана Андреяновича, хозяина этого дома, он не задумываясь сказал бы: тут жил богатырь — до того все было крупно, размашисто — поветь, сени, избы. Хоть на тройке разъезжай. И какими скучными, какими неинтересными казались нынешние новые дома — однообразные, предельно утилитарные, напоминающие какие-то раскрашенные вагоны. И, увы, дом Михаила, может быть лучший из всех новых домов, тоже не был исключением.

А может, и в самом деле раньше жили богатыри? — приходило на ум Петру. Ведь чтобы выстроить такие хоромы — название-то какое! — какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство красоты!

Петр дивился себе. Родился, вырос среди деревянных коней — с редкого пекашинского дома, бывало, не глядит на тебя деревянный конь, — а не замечал, проходил мимо. Мал был? Глуп? Кусок хлеба все заслонял на свете? Или для того, чтобы запело в твоей душе родное дерево, надо вдосталь понюхать железа и камня, подражать на городских сквозняках?

Он запомнил ту весну, когда Степан Андреянович начал вырубать из матерой, винтом витой лиственницы этого коня, запомнил, как они с братом Григорием ножиками соскребали с комля кусочки розовой ароматной серки (никакая заграничная жевательная резинка не может сравниться с ней!), запомнил то время (они как раз тогда с братом прибежали из училища), когда охлупень с конем, уже готовым, вытесанным, лежал на белых березовых плашках у стены двора.

И вот сколько лет с тех пор прошло? Двадцать? Двадцать два? А конь нисколько не постарел — ни единой трещины в его необъятной шарообразной груди.

Но невесело, тоскливо смотрит деревянный конь со своей высоты. Отчего? Оттого что остался один во всем Пекашине? Один из всего бывшего деревянного стада?

Петр решил отстраивать старый пряслинский дом.

3

Лиза, когда он объявил о своем решении, только что не расплакалась от радости: кому не хочется, чтобы родной дом зажил заново. А потом, разве худо запасные стены иметь? Один бог знает, как у кого сложится жизнь. Может, еще и им с Григорием в Пекашине придется помыкать. А когда стены да крыша наготове, никакой заботушки.

Но, поразмыслив, она покачала головой:

— Нет, не советую, Петя. Там все сгнило, обветшало — ты и отпуска не увидишь с этим домом.

— Увижу! Отпуск у меня большой — за два года.

— Все равно не советую. Надо бревна, надо тес — где возьмешь? А коли охота топориком помахать, поправь лучше мне воротца назад. Который год как собаки лают да по земле волочатся.

Петр тут же на глазах у сестры расправился с воротцами — как новехонькие забегали по толстой смолистой чурке, врытой в землю, — а затем топор на плечо и на родное пепелище.

Осмотр дома — плотницкий — он начал почему-то со двора. Может быть, потому, что чувствовал свою вину перед Звездоней — в прошлый раз, когда были тут с Лизой, даже не вспомнили про свою кормилицу, а уж им ли, Пряслиным, про нее забывать?

Он не спеша, со знанием дела выстукал обушком топора стены двора изнутри и снаружи — вполне терпимы оказались, — затем, чтобы покончить с задней частью дома, поднялся на поветь, где они когда-то в летние ночи спали всей семьей, и там проделал то же самое, затем залез на избу, на чердак и вот тут застрял: на семейный архив Пряслиных наткнулся — целый ворох бумаг и бумаженок, которые сюда сваливали годами.

И чего только не было в этом архиве!

Налоговые извещения и обязательства на мясо, на молоко, на

шерсть, на яйца, которые в Пекашине не все даже и в глаза-то видели, потому что сроду кур не было; ихние с Григорием школьные тетради, сшитые из тогдашних толстых, как обертка, газет (да, на газетах писали они свои первые буквы, первые слова); какие-то почти совершенно выцветшие письма, среди которых он напрасно пытался отыскать хотя бы одно фронтное письмо отца; вдрызг затрепанные и растрепанные книжонки и брошюры тех давних лет и в числе их «Краткий курс истории ВКП(б)» — книга комсомольской молодежи Михаила да отчасти и ихней с Григорием...

Долго Петр перебирал все эти бумаги, которые когда-то были ихней жизнью, а потом наконец снова взялся за топор, снова, как дотошный доктор, начал выстукивать и выслушивать каждое бревнышко, каждую доску старого дома.

Работа, что и говорить, предстояла немалая. Крыша выгнила начисто, вся, до единой тесницы. Бревна под окошками — вечно текло на них с рам — тоже пропали. И совершенно заново надо было набирать сени, крыльцо.

Но не теперь сказано: глаза страшатся, а руки делают. А потом, черт побери, какой он породы? Разве не пряслинской? Разве через такие заломы и завалы ему приходилось проламываться в жизни?

4

Его первая тропа как строителя пролегла к совхозной конторе: пока не обеспечена, как говорится, материальная база, нечего и топор в руки брать.

Однако Таборский, когда он заговорил насчет теса (тес — голова всякой стройке), только заулюлюкал:

— Да ты что? Откуда такой взялся? С лунной тележки свалился? Нет, паря, мы бы теску этого самого сами где купили, да адреса не знаем. А ты с тесом-то чего хочешь робить? Похоронное бюро открывашь? — И опять взрыв крепкого, румяного смеха. — Это у нас Петр Житов придумал. Кредиты выбрал у старух начисто — что делать? Как снова раскарманить? Нашел! Ставь бутылку, а я домовину тебе сделаю, когда богу душу отдашь. И понимаешь, кое-кто из старушек клюнул: охота полежать в хорошем гробике, золотые руки у мужика.

Таборский покосился прищуренным глазом на солнце, размял затекшие плечи.

— С теском-то говорю, чего задумал робить? Ежели Лизавета там чего в части ставровского дома собирается колдовать, то мой совет не торопиться.

— Это почему же? Из-за претензий Анны Яковлевой?

— Хотя бы. Бориса ейного видал? Доказательства, как говорится, на лице...

Петр не стал дожидаться, когда Таборский перейдет на жеребятину — у того шало, похабно заиграл глаз.

— Я над своим домом собираюсь поколдовать.

— Это что — старую-то развалюху из пепла подымать? — И Таборский широко зевнул. — Не спал сегодня. Вечор, вишь, браконьеры соблазнили: давай за красенькой погоняемся. А красенькая ноне с высшим образованием — дуриком ее не возьмешь.

Откровенная присказка насчет запретного лова семги — это так, для игры, для щекотки нервов, а что касается существа дела, то тут Петру стало яснее ясного: не будет теса. И не жди. Чего мне надрываться ради какого-то гуся залетного? Какой от тебя толк?

Таборский достал папиросу, вдруг совсем запросто улыбнулся: — Я все удивляюсь, как ты целую неделю выжил с кипятком и угаром. На здоровье не отразилось?

Петр озадаченно пожал плечами: о чем это он? И тогда довольнехонький Таборский захохотал:

— Как, говорю, целую неделю с братцем своим на Марьюше выжил, да еще Евдокия под боком? У нас их долго никто не выдерживает. Ладно! — с неожиданной решимостью сказал Таборский. — Открою тебе один клад. Поезжай на Сотюгу. Знаешь бывший леспромхоз? Там сейчас, правда, пустошь, гарь — сгорел на хрен поселок. Но ежели как следует пошуровать... Водяны урвали, много оттуда добра всякого вывезли, это только мы, пекашинцы, — под ногами золото и лень нагнуться...

— И ты думаешь, — вдруг тоже на «ты» перешел Петр, — и тесом там можно разжиться?

— А то! — воскликнул, весь загораясь, Таборский и встал. — Дуй! И учти: тебе первому открываю сотюжский клад. Но насчет транспорта — извини. Договаривайся с шоферней сам. В частном порядке. А я знать ничего не знаю и видеть не вижу. Потому как за использование совхозной тяги не по прямому назначению в период заготовки сочных и консервированных кормов... — Дальнейшее содержание приказа Таборский передал жестом, коротко полоснув себя ребром руки по горлу.

Петр не настаивал. Он знал, с детства знал деревенские порядки. И уж за то был благодарен управляющему, что тот подсказал ему, как действовать.

Глава десятая

1

В таежном краю это сплошь и рядом: вырубил, выкосил окрест леса, вытоптали жизнь — и дальше. Если окажется под боком расторопный хозяин из тех же лесных организаций или, скажем, колхоз под рукой, тогда жильё не пропадет, все до последнего бревнышка, до последней доски приберут, а если вокруг на десятки верст лесная нежилка да еще наше расейское бездорожье — тогда что делать? Тогда годами, до скончания века стоят мертвые дома и бараки, мокнут под осенними дождями, скрипят, стонут в зимние метели и вьюги, и кустарник, кустарник давит их со всех сторон, карабкается на прогнившие стены и крыши, залезает внутрь.

Сотюгу постигла другая участь — пожар.

Пожар вспыхнул под утро в октябрьские праздники, и пока подгулявшие накануне люди приходили в себя да раскачивались, поселок сгорел начисто. Только на закрайках остались кое-какие хозяйственные постройки.

Было следствие, было дознание, но виновников не нашли: несчастный случай. Да виновников, как потом говорили, не больно-то и искали. Потому что с этой Сотюгой давно уж не знали, что делать. Лёса поблизости не было (на специальном языке это просчеты в определении сырьевой базы предприятия), план не выполнялся годами. А раз план не выполнялся — какая же жизнь и у рабочего люда и у начальства?!

Вид черных развалин, внезапно открывшихся глазам на высокой красной щелье за речкой, недобрый предчувствием сдавил Петру сердце. И даже словоохотливый Родька, всю дорогу развлекавший его всякими рассказами про пекашинское житье-бытьё, на

какую-то минуту примолк. А потом начался спуск с горы к пересохшей, сверкающей на солнце цветными камешками речонке — мост давно уже унесло весенним паводком, — и Родька опять затараторил.

По черным улицам поселка, уже кое-где заросшим травой и маинником, закрутился как черт.

— Вот! — Остановился возле барака, там, где когда-то неподалеку стояла кузница. — Здесь хоть всю крышу снимай — ничего почти не выгорело. Я уж тут разведку боем сделал. По специальному заданию управляющего.

Барак, в который они вошли, действительно не очень пострадал от огня. Стены изнутри были только закопчены — звонко, как железо, зазвенели под обухом топора.

— А ведь, пожалуй, ты прав! — обрадовался Петр. — Кое-что мы тут найдем!

— Да не кое-что, а что надо! — сказал тоном бывалого человека Родька. — Ну а у меня приказ — до телячьего отгона стогнать. Справитесь без меня? Сумеете топором доску оторвать?

— Валяй! Дуй куда надо.

— Ну тогда я моменталом! — И Родька пулей выскочил из обгорелого барака.

2

Была весна, было солнце, и была черемуха. Много черемухи. По всему зеленому мысу, по всей Сотюге кипели белые пахучие кусты. И была еще Зойка с телятами.

Телята — молоденькие, голубоглазые, на смешных шатучих ножонках — со всех сторон облепили Зойку, и она, смеясь, легонько шлепала их по мокрому розовым мордахам. Серебряное колечко сверкало на руке.

А что, если и ему попробовать наподобие теленка пристроиться? Не убьет же, в конце концов.

Зойка не убила Родьку и даже не оттолкнула. У нее не дрогнуло сердце, что парень на двенадцать лет моложе ее. А что ему дрожать, сердцу-то? У того злыдня вербованного больно дрожало, когда он ее одну с ребенком оставил? А солдат-грузин с черными усиками, которого она поила-кормила два года? Пожалел ее, сдержал свои клятвы? Ну так и от нее пощады не ждите!

Родьке на сей раз неслыханно повезло. Он еще издали, подъезжая к телячьему стану, увидел глухую Матрену, напарницу Зойки, на той стороне Сотюги среди черно-белой россыпи телят, а это значило, что Зойка сейчас одна в избе или около избы.

Все же, подъехав к избе, святой избе, как называли ее пекашинские зубоскалы, потому что она была сложена из останков пекашинской церкви, и с железным лязгом распахнув дверцу кабины, он по привычке на всякий случай крикнул:

— Эй, выходи, принимай груз!

В малюсеньком, с сенной затычкой окошке бледным пятном всплыло Володино личико, а сама Зойка — ни-ни, ни привета ни ответа.

Родька поглубже натянул на лоб кепчонку, глянул за реку — где Матрена? — зыркнул глазом туда-сюда и вперед, на амбразуру.

— Можно? Не помешаю?

В низкой закоптелой избенке с одним окошечком было сумрачно, но ему сразу бросилась в глаза белая Зойкина нога — на койке у дальней стены лежала, — и больше он уже ничего не видел.

— Зочка, здравствуй.

— Слыхали. Еще чего?

— Еще... — У Родьки, сам знал, глупо разъехались губы. — Еще... я приехал.

— Ох, какая радость! Сейчас заплашу.

Родька наконец, минуя скамеечку и длинный, на крестовинах стол, сколоченный из неоструганных досок, добрался до Зойкиной кровати, сел на край.

Зойка не пошевелилась.

Она лежала на спине, закинув за голову свои худые, тонкие руки, и серые глаза ее спокойно и хмуро смотрели на него. В общем, все было так, как в прошлый раз.

Управляющий Таборский как-то навеселе, когда они возвращались из района, целую лекцию прочитал ему насчет обхождения с женщинами. «Главное, — говорил Таборский, — глазами перебороть бабу. Переглядеть. Понимаешь? А все остальное — как по ма-слу».

Но как переглядишь Зойку, ежели не то что в глаза, — в лицо ей боязно глянуть?

Он ткнулся ей под мышку головой — Зойка любила порываться в его мягкой волнистой волосне. Сперва вроде бы так, нехотя: дерг-подерг, туда-сюда, а потом все глубже, глубже пальцами — и вот уж вцепилась намертво...

— Не лезь, не лезь! Ничего не будет.

Тяжелая рука у Зойки, хоть и костлявая. Вроде бы только отмахнулась, а у него слезы из глаз.

Родька нащупал в кармане эту круглую скользкую штуковину, покатав в запотевших пальцах...

Эх, была ни была! Трусы в карты не играют.

— Зочка, дай-ко мне сюда твой пальчик.

— Ну еще! Опять ты со своими телячьими нежностями. Может, еще сиси дать?

Он разжал кулак.

Золотой блеск ослепил Зойку, она смешно, как малый ребенок, захолопала донельзя изумленными глазами.

— Золотое? Настоящее?

Ей давно хотелось иметь золотое кольцо, в моде нынче они, и в последний раз она прямо сказала: без кольца больше не заявляйся. Она даже подсказала, где достать его. В городе. Туда ездят все новобрачные.

Догадался-таки.

Зойка сняла с большого пальца свое старое, истаявшее, как льдинка, серебряное колечко, надела на него золотое — в самый раз — и эдак красиво, как артистка, откинула в сторону окольцованную руку.

— Володя, иди на улицу. Поиграй.

— Мама, я не хочу.

— Я кому сказала?

Мальчик слез со скамейки, с которой, стоя, смотрел в окошко. Он был такой худенький, такой крошечный — в Пекашине все звали его карманным Володей, — что некоторое время в избе был слышен только шелест босых ножек, ступавших по полу, а самого его из-за стола не было видно. Потом вдруг неожиданно, как свеча, вспыхнула светлая головенка в сутемени над порогом.

Он не сказал ни слова. Но перед тем как проскрипеть старой дверью, обернулся, до самых пяток прожег Родьку своими черными сверкающими глазенками.

3

Машина летела как шальная. В ручьях и на поворотах гром раскатывался в башке — железная все-таки крыша над головой! — кустарник зеленым прутьем хлестал в открытые окна с обеих сторон, а он все жал и жал на газ. И так до тех пор, пока за мысом не полыхнула серебряная гладь Михейкина плеса.

Вот тут он затормозил, вылез из кабины и все, все до последней нитки сбросил с себя. Даже плавки красные с фасонистым якорьком и кармашком с «молнией» сбросил. А потом он долго, до полного изнеможения утюжил и молотил воду. Руками, ногами, головой. Терся и брюхом и спиной об илистый песок под развесистой ивой...

От Михейкина плеса дорога покатилась широким открытым наволоком. Травяной ветерок продувал открытую кабину, охлаждал мокрую голову, и мало-помалу, как дурной сон, начало рассеиваться все то, что недавно было в полутемной избе с низким закоптелым потолком.

А вскоре, когда впереди, лениво переваливаясь, дорогу перебежала большая бурая лосиха с маленьким теленком, у которого задорно блеснуло на солнце желтое копытце, к нему и вовсе вернулось хорошее настроение, и он, снова улыбаясь, игриво переглядываясь со смазливенькими артисточками — вся кабина была заклеена ими, — запел свою любимую «Хотят ли русские войны...».

Глава одиннадцатая

1

У старого пряслинского дома запахло смолистой щепой, белая стружка разлетелась по всему заулку.

Петр пропадал на стройке с раннего утра до поздней ночи. Но вот что значит работка по душе! Повеселел. А раз повеселел Петр, то и Григорий ожил. И тоже нашел себе занятие. Лиза все переживала — куда девать ребятишек, когда начнет снова работать на коровнике, а и зря: Григорий стал за няньку. Просто талант открылся у человека на детей. Миша у нее, у родной матери, сколько недель кис да чах, а дядя живо на ноги поставил.

В общем, тучи да темень вокруг Лизы мало-помалу стало разносить, и она теперь уже по-иному, без прежнего отчаянья взглянула и на свою размовку с Михаилом и Татьяной.

Но разве для нее солнце?

Не успела обжиться на скотном, заново приладиться к буренкам — Таборский. Навалился, как медведь: бери телятник за болотом.

А телятник за болотом это что? Прощай семья, прощай дом! Телята всё молодняк (постарше с весны на откорме на Сотюге), каждого чуть ли не с руки поить надо, с каждым за няньку быть. А корма? А вода? А уборка навоза? Проклянешь все на свете! Это ведь только на бумаге все гладко, все расписано, а на деле-то везде надо свой горб подставлять.

— Нет, нет, — наотрез отрезала она управляющему, — иди и больше не приходи! Мне со своими-то телятами дай бог управиться, — она кивнула на двойнят, ползающих по полу, — а ты еще такую обузу навязывать!

— Ну тогда хоть на недельку, — стал упрашивать Таборский. — Покамест Тонька с Северодвинска не придет.

(Да, вот какие пошли ноне работницы! Скотину бросила, а сама в город в загул — на свадьбу к подружке!)

— Не улещай, не улещай! — еще пуще разошлась Лиза. — На недельку! Одна я, что ли, в Пекашине, как банный лист пристал? — И тут она до того распалилась, что просто вытолкала управляющего из дому. А чего церемониться? Ей самой, правда, зла большого не сделал, да зато брату на каждом шагу палки в колеса ставит.

Не помогло.

На другой день утром — она как раз только что с коровника пришла да печь затопляла — снова на порог:

— Пряслина, выйдем на крыльцо.

— Зачем? Чего я не видала на крыльце-то?

Но вышла. Как не выйдешь, когда власть к тебе пришла!

— А теперь слушай, — сказал Таборский и кивнул на задворки. А чего слушать-то? Телята ором орут — за версту слышно.

— Второй день не поены и не кормлены...

— Да мне-то что...

— Я все сказал. Есть совесть — напоишь, а нету — пуцай подыхают.

До двенадцати часов дня не выходила Лиза из дому.

А в двенадцать вышла — рев за болотом пуще прежнего — и, что делать, пошла к телятам.

2

Телят она спасла.

Пять часов с Петром, с братом, таскала воду ведрами. По жаре. От колодца, который чуть ли не за версту от телятника. А что же было делать? Машины, как назло, все в разъезде, начальства никакого на месте нету — не смотреть же, как телята подыхают на твоих глазах?

Зато уж вечером, когда она добралась до управляющего, взяла его в работу. Разговаривала — стены конторские тряслись. Водовоза постоянного — раз. Для травы специальную машину — два. И чтобы завтра же был загон возле телятника, а то ведь это ужас — телята все лето взаперти. Как в душегубке задыхаются.

И загон завтра сделали — долго ли вкопать готовые, отлитые из цемента кольца да натянуть в три ряда проволоку? И был праздник у телят: первый раз в своей жизни вышли на волю, первый раз на своем веку увидели солнышко. И Лиза глядела-глядела на разгравшихся от радости телят да вдруг и расплакалась:

— Ох, ребята, ребята... (Все тут были, все притащились в этот вечер на телятник: Петр, Григорий, Анка с малышами). Мы вот с вами о телятах хлопочем, скотину из заключения вывели, а где Федор-то наш? Где он-то теперь, бедный?

Григорий — близко, как у нее, слезы — завсхлипывал, а Петр закаменел, слова не нашлось для брата. И она не осуждала его.

Хуже врага, хуже всякой чумы был для ихней семьи Федор. Они, Пряслины, все от мала до велика голодали, последней крохой делились друг с другом, а этот никого и ничего не хотел знать, из горла кусок рвал.

Но пока был дома Михаил, кое-как еще можно было жить. А взяли Михаила в армию — и хоть караул кричи, каждый день жалобы: там у ребятшек хлеб отнял, там у старухи деньги выкрал, там амбар обчистил... А потом надоело, видно, по мелочам промышлять — в склад у реки залез. И тут даже у нее, у Лизы, лопнуло тер-

пенью: судите, хоть в кандалы закуйте дьявола, раз человеком не хочет быть.

С этого времени Федор и пошел по тюрьмам да колониям. И напрасно братья и сестры пытались образумить его: на письма не отвечал, на свидания, когда приезжали к нему, не выходил.

И в конце концов Михаил сказал: хватит больше кланяться! Будем считать, что не было у нас брата. В дурном сне приснился...

3

На другой день за завтраком Лиза опять завела разговор о Федоре — она всю ночь не спала, всю ночь продумала о его злосчастной судьбе:

— Петя, а я ведь насчет Федора писала...

— Чего писала?

— Письмо. Самому главному начальству в Москву. Как-то ночью о Первом мае приснился мне сон — ужаси что за сон. Стою это я у Дуниной ямы, а в яме-то кто? Наш Федор. Ребенок. Барахтается, из последних сил выбивается, к берегу хочет попасть. И вот что, ты думаешь, я делаю? — Лиза тяжело перевела дух. — Отталкиваю, не даю ему на берег выдти. Ей-богу! Я проснулась — уревелась. Думаю, да что я за зверь такой — брата родного топлю? Вот тогда я и накатала письмо. Все описала — где чернилом, где слезой. Как в войну жили, как голодали, как робили... Говорю, помогите человеку встать на ноги. Хоть не ради его самого, дак ради отца, убитого на войне, ради мамы-покойницы, которая ведь высохла по нему, глаза проплакала... А потом как-то разговорилась с Анфисой Петровной: не так, говорит, ноне делают. Надоть, говорит, бумагу писать, а не письмо. Надоть, говорит, через прокурора, по всем чтобы законам было...

Петр старательно дожевал кашу, совсем как в детстве, облизал ложку, встал. И не велик, не тяжел был человек, разве сравнишь с Михаилом, а заходил по избе — половицы в дрожь.

— Давай, сестра, договоримся раз и навсегда: чтобы об этом бандите больше ни слова.

— Да пошто ты так-то, Петя? Кому бандит, а нам брат.

— Брат? А ты забыла, сколько мы беды с этим братом хлебнули? Корову из-за него продали, Васю без молока оставили... А как Михаил к нему ездил — забыла? Из армии, из Заполярья попадал, а он, скотина, даже не вышел к нему... Силой вытащить не могли...

— Да я ведь, Петя, не защищаю его. Я и сама так раньше думала. А тут как Михаил Иванович загородил мне дорогу к своему дому да Татьяна Ивановна отвернулась от меня... Время-то, время-то какое, Петя, было! Война, голод, отца убили... Да кабы другое время было, может, и он другой был.

— Но мы-то не стали бандитами!

— Не знаю, не знаю, Петя. — Лиза смахнула слезу, посмотрела в окошко на детей, игравших у крыльца с дядей, и с мольбой протянула руки. — Петя, бога ради... Ради отца нашего... ради нашей мамы-покойницы... Напиши письмо Татьяне. Пуцай она похлопочет за Федора...

— Нет-нет! — закричал Петр и даже ногой топнул. — Пальцем не пошевелю! Лучше и не проси.

А после полудня, когда пришел со своей стройки, первым делом бросил на стол сложенную вчетверо бумагу.

Лиза с загоревшимися глазами схватила бумагу, развернула — и, как она и догадалась сразу, то было письмо Татьяне насчет Федора.

4

Кажется, никогда в жизни она еще не бегала так быстро, так не спешила. У клуба на Феколу наскочила — даже не оглянулась. А когда влетела на почту да увидела — почтарихи сургучную печать на брезентовый мешок ставят, просто стоном застонала:

— Девки, девки, отправьте мое письмо! Я загадала: ежели сегодня уйдет, судьба повернется лицом и к моему брату.

И упросила, умолила соплюх — открыли мешок.

Повеселевшая, сразу воспрянувшая духом, Лиза вышла на улицу.

Народу возле почты еще прибавилось.

Тут, возле почты, каждый день праздник. Каждый день кого-нибудь встречают да провожают — семьями, компаниями, даже родами.

И первыми на этом празднике были, конечно, старухи. Запрудили танцевальную площадку, задавили бревна на лужку, в затишке развалились. Этим все едино, что свадьба, что похороны — лишь бы время убить, лишь бы языком почесать.

Лизе позарез сломя голову надо было бежать на телятник, а она стояла — приросли ноги к земле. Стояла и вся в какой-то непонятной тревоге и ожидании смотрела на задворки — на сосны, на недавно открытую чайную с большими белыми окошками, из-за которой вот-вот должен вынырнуть почтовый автобус. А когда почтовый автобус, старый, обтрепанный, насквозь пропыленный, подкатил наконец к пестрой шумной толпе, она просто кинулась к нему.

И кого же она увидела, когда распахнулась дверца? Кто первый прыгнул с подножки автобуса?

Егорша... Ее бывший муж, от которого двадцать лет не было ни слуху ни духу...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

Слухи о новой засухе на юге поползли еще в конце июня: все горит на корню — и хлеб и трава, скотину гонят на север; а потом и вовсе диковинное: Подмосковье горит, сама Москва задыхается от дыма...

Однако Пинежье, далекое приполярное Пинежье, укрывшись за могучим тысячеверстным заслоном тайги, еще долго не знало этой беды.

Ад на Пинеге начался дней десять спустя после Петрова дня, с сухих гроз, когда вдруг по всему району загуляли лесные пожары.

Дым, чад, пыль... Тучи таежного гнуса... Скотина, ревущая от бескормья — вся поскотина выгорела... А жара, а зной, будь они трижды прокляты! Нигде не спасешься, нигде не отсидишься — ни в деревянном, насквозь прокаленном доме, ни в пересохшей реке, где задыхалась последняя рыбешка.

Набожные старухи покаянно шептали:

— За грехи, за грехи наши... За то, что бога забыли...

А те, кто был помоложе, пограмотнее, те опять толковали про науку, про космос, про то, что человек вторгся в запретные вселенские пределы...

2

Петр Житов томился от другой засухи.

Уж он не поленился, не пожалел себя: все обшарил, все карманы наизнанку вывернул — больше сорока трех копеек не набрал. А что такое сорок три копейки по нынешним временам, когда бутылка самого дешевого винишка, кваса какого-то поганого стоит рубль двадцать! Правда, у него был один резерв — корзина пустых «бомб», или «фугасов», темных увесистых бутылок из-под красного «рубина», но что с ним делать, с этим резервом? Мертвый капитал. В сельпо не принимают: не марочный товар. Так что же, бить этот товар? А на заводах тем временем новые бутылки будем шлепать? Хозяева, мать вашу за ногу!

День пришлось начинать со стакана черного, как деготь, чая. Когда немного прочистились мозги, Петр Житов хмуро, как старый ворон, высунулся из окошка — нет ли поблизости какой поживы? нельзя ли кому крикнуть: выручай, брат, попавшего в беду?

Но пусто на улице, ничего отрадного на горизонте. Злым раскаленным пауком смотрит из дыма солнце, кумачом горят новые ворота у МишкиПряслина, а люди... Где люди?

За целый час проковыляла мимо одна душа, да и та из шакалей породы — Зина-тунеядка: так и стегала, так и шарила глазами по окошкам — не подвернется ли пожива?

Петр Житов покатился под откос три года назад, когда умерла Олена. Первое время еще изредка вставал на просушку, и день и неделю держал себя на привязи, а потом оглянулся — чем жить? Дети разлетелись кто куда, жениться второй раз и начинать жизнь заново в пятьдесят лет на одной ноге — э-э, да пропади все пропадом!

Сосновые брусья, заготовленные на прируб к дому новой горницы, пропилил, инструмент столярный и слесарный — в загон, мебель и посуду — по соседям, а потом во вкус вошел — объявил войну частной собственности по всем линиям. Все найжтое за долгую жизнь пустил по ветру и докатился до того, что перешел на «аванец».

Под печь, под раму, под крыльцо, под лодку — под все брал пятаки. И даже под гроб. Это уже он придумал нынешней весной, когда сидел на совершеннейшей мели и когда всякие обычные кредиты для него в деревне были закрыты. Вот тогда-то его и осенило.

— Аграфена, хочешь, чтобы тебя в хорошем гробу на кладбище отволокли? — начал он прямо, без всякого предисловия, войдя в избу к дряхлой соседке.

— Хочу, Петрышко, как не хочу.

— Тогда давай на бутылку — будет тебе гроб по первой категории. Фирма «Петр Житов» не подведет.

Аграфена выложила на бутылку без всякого торга, а остальной утиль — так Петр Житов крестил старушонок — оказался менее стоворчивым. Нет, нет, гроб надо. Против гроба не возражаем — плохая надея на нынешних сыночков. Да ты только сперва домовинку представь, Петруша, а уж за денежками мы не постоим...

Стакан за стаканом пил Петр Житов дегтярный чай, жег дешевенькие, по доходам, папироски «Волга», а где добыть проклятый рублишко, до-прежнему не знал. Не соображала старая, замшелая

башка. Да и трудно ей было соображать, когда на дворе страда и не знаешь, к кому сунуться.

Наконец он начал пристегивать старый протез. Придется, видно, топтать на почту да звонить сыну, начальнику лесопункта: «Сынок, отбей отцу хоть гривенник. По случаю засухи».

Случаи — всякие праздники, всякие торжественные даты, перемены в погоде (первый снег, первая стужа, затяжные дожди, весенний разлив) — частенько выручали его.

3

— Ресторан открыт? Принимают старую клиентуру?

Петр Житов не верил своим глазам. Филя-петух, Игнат Поздеев, Аркадий Яковлев... Три заслуженных ветерана сразу. Да как! Один метнул на стол «бомбу», другой «бомбу», а третий даже «коленовал», или «тещины зубы», — бутылку водки с устрашающей наклейкой, которая поступила в продажу года два назад.

— Ну, други-товарищи... — Петра Житова прошибло слезой. — Как в цирке.

— Это какой еще цирк? Цирк-то сейчас только начнется. — И с этими словами Игнат Поздеев, великий охотник до всяких забав и потех, распахнул двери.

За порог бойко, хотя и не очень твердо, переступил какой-то худявый, потрепанный мужичешко в капроновой шляпе в частую дырочку, каких навалом в ихнем сельпо.

— Не узнаешь? — Мужичешко подмигнул голубеньким, полинялым, в щелку глазом, и Петру Житову почудилось что-то знакомое в том глазе. Но все остальное...

— Нет, вроде не признаю вашей личности...

— Давай не признаю! — Игнат Поздеев, все еще скаля свои крепкие белые зубы, кинул взгляд туда-сюда. — Где у тебя перископы-то? Вооружись. Может, лучше дело-то пойдет.

Петр Житов — исключительно только ради того, чтобы поддержать игру, — надел очки в черной оправе и придал своему и без того страховидному, распухшему от пьянки лицу мрачное выражение.

— Смотрите-ко, смотрите, какой маршал Жуков! — рассмеялся Аркадий. — Живьем съест.

Розыгрыш наверняка продолжался бы и дальше, но его оборвал сам мужичешко, который, вдруг вскинув руку к шляпе, по-военному отрапортовал:

— Суханов-Ставров вернулся из дальних странствий. Так сказать, к пекашинским пенатам.

— Егорша?! — Петр Житов опять всхлипнул. Он вообще был слабоват теперь на слезу, а тут чувствительность его обостряли еще эти три бутылки, которые — он не сомневался — были куплены на деньги дальнего гостя.

Первый стакан — иной посуды в питейном деле Петр Житов не признавал — выпили, конечно, за блудного сына, за его возвращение в родные края, и тут уж Егорша дал течь:

— Да, други-товарищи, мать-родина, как говорится, за хрип взяла...

— Пюра! Ты и так сколько кантовался по чужим краям...

— А ни много ни мало — двадцать лет.

— Что? Двадцать лет дома не был?

— Да скинь ты свою покрывку! — предложил Петр Житов гостю (после стакана вина он опять зрячим стал). — Думаю, у меня уши не отморозишь.

— Да и где находишься? — в тон хозяину поддакнул Аркадий Яковлев. — Не в простой избе, а в ресторане «Улыбка».

Егорша снял шляпу — и — мать честная! — лысый.

— Да ты ведь уезжал от нас — вон какая у тебя пушнина была! Какие тебя ветры-ураганы били?

— За двадцать лет, я думаю, можно... — начал оправдываться смущенный Егорша.

— Под эту самую... под радивацию, наверно, попал? — высказал свое предположение Филя-петух.

— Да, ныне эта радивация много пуху с нашего брата сняла, — сказал Аркадий Яковлев. — Пашка Минин с флота вернулся — в двадцать два года аэродром на голове у парня.

— А я думаю, диагноз проще, — изрек Петр Житов. — В подушках растерял свой пух Ставров. — И первый заржал на всю кухню.

Против такого диагноза Егорша возражать не стал, и разговор на некоторое время принял чисто мужское направление. Везде побывал Егорша, всю Сибирь вдоль и поперек исколесил и бабья всякого перебрал — не пересчитать.

— А сибирячки... они как? Из каких больше нациев? — уточнял вопрос за вопросом Филя (он разволновался так, что заикаться начал).

— А всяких там нациев хватает. И русские, и казахи, и чукчи, и корейцы... Одним словом, мир и дружба, нет войны!

— И ты это... — У Фили голос от зависти задрожал.

— Да, да, это...

Игнат Поздеев хлопнул по плечу примолкшего Филю:

— Вот как надо работать, Филипп! С размахом. А ты ковыряешься всю жизнь в Пекашине да в его окрестностях.

— Надо, скажи, Филя, кому-то и здесь ковыряться. Не все на передовых позициях, — ухмыльнулся Аркадий Яковлев. — А вот ты, Ставров, как на Чукотке вроде был, да?

— Был, — кивнул Егорша.

— А на Магадане этом — чего теперь?

— Как чего? Валютный цех страны.

— Опять, значит, золото добывают?

— А чего же больше? — живо ответил за Егоршу Игнат Поздеев. — Знаешь, теперь сколько этого золота надо. Нахлебников-то у нас — посчитай! Тому помочь надо, этому...

— А верно это, нет, будто японцы через всю Сибирь нефтепровод тянут? Чтобы нашу нефть себе качать?

— А насчет Китая там чего слышно? Правда, нет, вроде как Мао двести миллионов своих китайцев хочет запустить к нам? В плен вроде как бы сдать...

Тут Петр Житов, давно уже озабоченно посматривавший на опустевшие бутылки, раскупорил окно — бесполезно теперь отделять избу от улицы. Накурили так, что из-за дыма дверей не видно.

— Засуха давит все живое, — изрек он с намеком.

Приятели его, увлеченные разговором, даже ухом не повели. И тогда он уже открытым текстом сказал:

— Орошение, говорю, кое-какое не мешало бы произвести, поскольку осадков в природе все еще не предвидится...

Егорша без слова выложил на стол два червонца.

Глава вторая

1

Его только что не вытащили из бани.

В кои-то поры выбрался с Марьюши смыть с себя страдный пот (жуть жара, съело кожу), в кои-то поры решил себя побаловать березовым веничком, так нет, не имеешь права. Поля, уборщица, вломилась прямо в сенцы: срочно, сию минуту к управляющему!

И вот что же он увидел, что услышал, когда переступил за порог совхозной конторы?

— Надоть повысить... Надоть поднять... Надоть мобилизовать...

Суса-балалайка брэнчала. А лучше сказать, лайка-балалайка (недотянул тут Петр Житов), потому что с музыкой-то она только кверху, а вниз — с лаем.

Михаил ошалело посмотрел на управляющего, на заседателей (человек одиннадцать томилось в наглухо запечатанном помещении) и — что делать — пошел на посадку, благо охотников до его деревянного диванчика возле печки-голландки не было.

На этот дряхлый, жалобно застонавший под ним диванчик он впервые сел еще тридцать лет назад четырнадцатилетним парнишкой, и тогда же, помнится, появилась в ихнем сельсовете Сусанна Обросова. И вот сколько с тех пор воды утекло, сколько всяких перемен произошло в жизни, а Суса как наяривала в свои три струны, так продолжает наяривать и поныне. И все равно ей, дождь ли, мороз на дворе или вот такая страшная сушь, как нынче, — бормочет одно и то же: надоть... надоть... надоть...

Прошлой осенью уж проводили было на пенсию, думали, наконец-то вздохнем — нет, не можем без балалайки: бригадиром по животноводству назначили...

На этот раз Суса брэнчала насчет пожаров. Дескать, большое испытание... стихия... и надо с честью выдержать... показать всему миру, на что способен советский человек...

Ясно, сказал себе Михаил и еще раз недобрый взглядом обвел контору: самонакачка идет. Так нынче. Сперва начальство себя распыляет, себе доказывает: то-то и то-то надо делать, к примеру сев весной провести, корма в страду заготовить, — потом уж выходит на народ.

— На пожар придется ехать, Пряслин,— объявил Таборский, когда кончила Суса. — Сами-то мы покамест не горим, за нас господь бог — хорошо молятся старухи, — но у соседей жарко, два очага. — Он поднял со стола бумажку. — Согласно этой вот разрядочке тридцать пять человек от нас требуется. Двадцать пять мы отправили, а где взять остальных?

— Хватает народу-то. — Михаил отер ладонью мокрое лицо. Нет ничего хуже, когда не пропаришься: изойдешь потом. — Я вечер с Марьюши ехал — ходуном ходит клуб. Кругом дым, чад, а там как черти скачут.

Таборский ухмыльнулся:

— Эти черти по другому ведомству скачут. Отпускники, студенты. Ты вот в Москве был — много тебя там на работу посылали?

Одобрительный хохоток прошуршал по конторе: ловко причесал управляющий.

— И учти, — строго кивнул Таборский, — не тебя первого посылают. Девятнадцать человек пришлось снять с сенокоса, так чтобы потом не было: Таборский со мной личные счеты сводит.

Михаил вскипел:

— Ты не со мной сче́ты сводишь! С коровами.

— С коровами?

— А как? Половину людей с пожни снял — что коровы-то зимой жрать будут? Але опять как нонешней весной — десять коров под нож пустим?

— К твоему сведению, Пряслин, нынешняя зимовка по всему району в труднейших условиях проходила. Понятно тебе?

Это уже Пронька-ветеринар, или доктор Скотт, как больше зовут его в Пекашине. Все время, гад, водил носом да кланялся (с утра под парами), а тут только на мозоль наступили — как из автомата прострочил. А раз Пронька отреагировал, то как же Сусе-бала-лайке не ударить в свои струны? Вместе на тот свет совхозную скотину отправляем, вместе весной акты подписываем.

— Я не знаю, как с тобой и говорить ноне, Пряслин. В Москву съездил — никто тебе не указ. Когда же это на пожар отказывались?

— Да я не отказываюсь! С чего ты взяла?

— Нет, отказываешься! — еще раз показал свои зубы Пронька. — Целый час базар устраиваешь.

— Кончать надо с этой колхозной анархией! Раз у человека сознательности нету, дисциплинка есть.

— Ты про колхозную анархию брось! Сознательный выискался! А где этот сознательный был, когда мы тут, в Пекашине, с голоду пухли? Ты когда в колхоз-то вернулся? После пятьдесят шестого, когда на лапу бросать стали?

Афонька-ГСМ, то есть завкладом горюче-смазочных материалов, — это он про сознательность завел — просто завизжал:

— Ты еще молокосос передо мной! У тебя молоко на губах еще не обсохло, когда я на ударных стройках темпы давал.

— Ти-и-хо! — во весь голос рявкнул Таборский, а затем озорновато, с прищуром оглядел всех. — Запомните: нервные клетки, учить медицина, не восстанавливаются. Давай, Пряслин, твое конкретное предложение. А размахивать руками мы все умеем.

Михаил понимал: все равно ему всех не переговорить. Да и кто он, черт ты дери, чтобы разоряться? Управляющий? Бригадир? И он встал.

— Ну вот видишь,— сказал Таборский,— дошло дело до конкретности — и в кусты...

— Да я хоть сейчас, не сходя с места, бригаду составлю!

— Ну-ко, ну-ко, интересно...

— Интересно? — Михаил глянул за окошко — вся деревня в дыму, глянул на ухмыляющегося Таборского (этому свои нервные клетки дороже всего) и вдруг, зло стиснув зубы, начал всех пересчитывать, кто был в конторе.

Одиннадцать человек! Целая бригада. Из одних только заседателей. А ежели еще добавить управляющего, ровнехонько дюжина получится.

2

Сколько раз говорил он себе: спокойно, не заводись! Почаще включай тормозную систему. Сколько раз жена его наставляла, упрашивала: не лезь, не суй нос в каждую дыру! Все равно ихний верх будет. Нет, полез. Не выдержал.

Да и как было выдержать?

Сидят, мудруют, сволочи, как бы кого с сенокоса выцарапать

да на пожар запихать, а то, что скотина без корма на зиму останется, на это им наплевать. Вот он и влупил, вот он и врезал. Внес конкретное предложение.

Ух какая тут поднялась пена!

— Безобразие! Подрыв!

— Докуда терпеть будем?

— Выводы, выводы давай!

Пронька-ветеринар надрывается — глаза на лоб вылезли, Устин Морозов кулачищем промасленным размахивает, Афонька-ГСМ слюной брызжет... Ну просто стеной, валом на него пошли. И только одна, может, Соня, агрономша, по молодости лет глотку не драла да еще Таборский ни гу-гу.

Есть такие: стравят собак и любят, гляючи со стороны. Так вот и Таборский: развалился поперек стола и чуть ли не ржал от удовольствия...

Вы не вейтесь, черные кудри,
Над моею буйной головой...

Что за дьявол? Почудилось ему, что ли? Кому приспичило в такое время про черные кудри распевать?

Не почудилось. Филя-петух в белой рубахе выписывал восьмерки на горке возле клуба. А где накачался, ломать голову не приходилось. У Петра Житова на Егоршиных встречах — Михаил еще вечер, когда приехал домой с сенокоса, узнал про возвращение своего бывшего шурина.

Он не закрыл в эту ночь глаз и на полчаса — всю жизнь свою перекачал, перебрал заново. И сегодня утром, когда только баню, а потом мылся, тоже ни о чем другом думать не мог кроме как о Егорше, о их былой дружбе...

Пожары, видать, совсем близко подошли к Пекашину. От дыма у Михаила першило в горле, слезы накатывались на глаза, а когда он, миновав широкий пустырь, вошел в тесную, плотно заставленную домами улицу, его даже потянуло на кашель.

Он хорошо понимал, из-за чего взъярились его друзья-приятели в-кавычках. Он насквозь видел этих прошелыг.

«Анархия... Безобразия... Подрыв...» Как бы не так! На пожар не хочется ехать — вот где собака зарыта. А все эти словеса для дураков, для отвода глаз. Вроде дымовой завесы. Как спелись, сволочи, еще в колхозе, так и продолжают жить стаей. И только наступит одному на хвост — сразу все кидаются.

Да, вздохнул Михаил и кинул беглый косой взгляд на вынырнувший слева аккуратненький домик Петра Житова, веселую жизнь ему теперь устроят. Выждут, устерегут, ущучат. Отыграются! Ежели же на нем самом, так на жене, а ежели не на жене, так на дочерях.

Три года назад — колхоз еще был — он вот так же, как сегодня, сцепился с Пронькой-ветеринаром на правлении. Из-за коровы. Сужин сын подбросил колхозу свое старье якобы на мясо, а взамен отхапал самую дойную буренку. И что же? Анна Евстифеевна, Пронькина жена, учительница, целый год отравляла жизнь его Вере, целый год придиралась по всякому пустяку.

У Петра Житова на крытом крыльце пьяно похохатывали — не иначе как травили анекдоты, — потом кто-то, расчувствовавшись, со слезой в голосе воскликнул:

— Егорша! Друг!..

И эх как захотелось ему сделать разворот да вмазать этому

другу! Заодно уж со всеми гадами рассчитаться. За все расплатиться. За Васю. За себя. За Лизку. Да, и за Лизку. От него, от Егорши, все пошло...

3

Раисе не надо было рассказывать, что случилось в совхозной конторе. По его лицу все прочитала.

— Я не знаю, что ты за человек. Думаешь, нет ты в Пекашине жить?

— Ладно, запела! Собирай хлеба — на пожар надо ехать.

— На пожар! — удивилась Раиса. — А сено-то как? Три гектара, говорил, скошено — кто будет за тебя прибираться?

— А это ты уж управляющего спроси. Я тоже хотел бы, между прочим, это знать, — сказал Михаил и зло сплюнул: когда он перестанет с егоршинскими выкрутасами говорить?!

Тут вдруг залаял Лыско — в заулочек с косой на плече вползала старая Василиса.

Раиса сердито замахала руками:

— Иди, иди! Не один мужик в деревне. Взяли моду — за всем переться к нам.

В общем-то, верно, подумал Михаил, старушонки, тридцать лет как война кончилась, а все тащатся к нему. Косу наладить, топор на топорнице насадить, двери на петлях поднять — все Миша, Миша... Да только как им к другим-то мужикам идти? К другим-то мужикам без тройка лучше и не показывайся. А много ли у этих старушонок тройков, когда им пенсию отвалили в двадцать рэ? Это за все-то ихние труды!

Он шумел где только мог: опомнитесь! Разве можно на две десятки прожить? Да этих старух за ихнее терпенье и сознательность, за то, что годами задарма вкалывали, надо золотом осыпать. А ежели у государства денег нету — скиньте с каждого работяги по пятерке — я первый на такое дело откликнусь.

— Егоровна! — крикнул Михаил старухе (та уже повернула назад). — Чего губы-то надула? Когда я отказывал тебе?

— Вот как, вот как у нас! Своя коса не строгана, я хоть руками траву рви, а Егоровна — слова не успела сказать — давай...

— Да где твоя коса, где?

Тут Раиса разошлась еще пуще:

— Где коса, где коса?.. Да ты, может, спросишь еще, где твои штаны?

Михаил кинулся в сарай с прошлогодним сеном — там иной раз ставили домашнюю косу, но разве в этом доме бывает когда порядок? Поколесил через весь заулочек в раскрытый от жары двор.

Коса была во дворе.

Весь раскаленный, мокрый, он тут же, возле порога начал строгать косу плоским напильником и вот, хрен его знает как это вышло, порезал руку. Среди бела дня. Просто взвыл от боли.

Глава третья

1

Лиза была в смятении.

Кажется, что бы ей теперь Егорша? В сорок ли лет вспоминать про сон, который приснился тебе на заре девичества? А она вспоминала, она только и думала что о Егорше...

Избегая глаз все видящего и все понимающего Григория (Петру было не до нее, Петр чуть ли не круглые сутки пропадал на стройке), она каждый день намывала пол в избе, каждый день наряднее, чем обычно, одевалась сама.

Но катились дни, менялись душные, бессонные ночи, а Егорша не показывался.

Встретились они в сельповском магазине.

Раз, придя домой утром с телятника, побежала она в магазин за хлебом и вот только переступила порог, сразу, еще не видя его глазами, почувствовала: тут. Просто подогнулись ноги, перехватило дых.

Говорко, трескуче было в магазине. Старух да всякой нероботи набралось полно. Стояли с ведерками в руках, ждали, когда подвезут совхозное молоко. Ну а тут, когда она вошла, все прикусили язык. Все так и впилась в нее глазами: вот потеха-то сейчас будет! Ну-ко, ну-ко, Лизка, дай этому бродяге нахлобучку! Спроси-ко, где пропадал, бегал двадцать лет.

Она повернула голову вправо, к печке, — опять не глядя почувствовала, где он. Улыбнулась во весь свой широченный рот:

— Чего, Егор Матвеевич, не заходишь? Заходи, заходи! Дом-от глаза все проглядел, тебя ожидаючи.

— Жду, говорит, тебя, заходи... — зашептали старухи в конце магазина.

Она подошла к прилавку без очереди (век бы так все немели от одного ее появления) и — опять с улыбкой — попросила Феню-продавщицу (тоже с раскрытым ртом стояла) дать буханку черного и белого. Потом громко, так, чтобы все до последнего слышали, сказала:

— Да еще бутылку белого дай, Феня! А то гость придет — чем угощать?

Бутылка водки у нее уже стояла дома, еще три дня назад купила, но она не поскупилась — взяла еще одну. Взяла нарочно, чтобы позлить старух, которые и без того теперь будут целыми днями перемывать ей косточки.

2

Егорша заявился по ее следам. Без всякого промедления.

С Григорием — тот сидел на крыльце с близнятами — заговорил с шуткой, с наигрышем, совсем-совсем по-бывалошному:

— Ё-моё, какая тут смена растет! А чё это они у тебя, нянька хренова, заденками-то суковатые доски строгают? Ты бы их туда, к хлеву, на лужок, на травку, выпустил.

Но за порог избы ступил тихо, оробело, даже как-то потерянно. Зыбки испугался? Всех старая зыбка, баржа эдакая, пугает. Анфиса Петровна уж на что свой человек, а и та каждый раз глазами водит.

— Проходи, проходи! — сказала Лиза. Она уже наливала воду в самовар. — Не в чужой дом входишь. Раньше кабыть небоязливый был.

Она не без натуги, конечно, рассмеялась, а потом — знай наших — вытерла руки о полотенце и прямо к нему с рукой.

— Ну, здравствуешь, Егор Матвеевич! С прибытием в родные края.

Было рукопожатие, были какие-то слова, были киванья, но, кажется, только когда сели за стол, она сумела взять себя в руки.

— Што жену-то не привез? Але уж такая красавица — боишься, слазим?

— А-а,— отмахнулся Егорша и повел глазом в сторону бутылки: не любил, когда словом сорили за столом допрежь дела.

— Наливай, наливай! — закивала живо Лиза.— В своем доме.— А сама опять начала его разглядывать.

Не красит время человека, нет. И она тоже за эти годы не моложе стала. Но как давеча, когда Егорша, входя в избу, снял шляпу, обмерла, так и теперь вся внутренне съежилась: до того ей дико, непривычно было видеть его лысым.

Многое выцвело, размылось в памяти за эти двадцать лет, многое засыпало песком забвения, но Егоршины волосы, Егоршин лен... Ничего в жизни она не любила так, как рыться своей пятерней в его кудрявой голове. И сейчас при одном воспоминании об этом у нее дрожью и жаром налились кончики пальцев.

— О'кей,— сказал Егорша, когда выпили.

— Чего, чего? — не поняла Лиза.

— О'кей,— сказал Егорша, но уже не так уверенно.

Она опять ничего не поняла. Да и так ли уж это было важно? Когда Егорша говорил без присказок да без заковырок?

После второй стопки Егорша сказал:

— Думаю, пекашинцы не пообидятся, запомнят приезд Суханова-Ставрова. Мы тут у Петра Житова, как говорится, дали копоты.

И вдруг прямо у нее на глазах стал охорашиваться: вынул расческу, распушил уцелевший спереди клок, одернул мятый пиджачонко, поправил в грудном кармане карандаш со светлым металлическим наконечником — всегда любил играть в начальников, — а потом уж и вовсе смешно: начал делать какие-то знаки левым глазом.

Она попервости не поняла, даже оглянулась назад, а затем догадалась: да ведь это он обольщает, завораживает ее.

А чем обольщать-то? Чем завораживать-то? Что осталось от прежнего завода?

И вот взглядом ли она выдала себя, сам ли Егорша одумался, но только вдруг скис.

Она налила еще стопку. Не выпил. А потом посмотрел в раскрытое окошко — Григорий с малышами все-таки перебрался к хлеву на травку, — обвел дедовскую избу каким-то задумчивым, не своим взглядом и начал вставать.

— Куда спешишь? Каки-таки дела в отпуску?

— Да есть кое-какие...— Он по-прежнему не глядел на нее.

— Ну как хочешь. Насилу удерживать не буду.— Лиза тоже поднялась.

Уже когда Егорша был у порога, она спохватилась:

— А дом-то будешь смотреть? Нюрка Яковлева, твоя сударушка, — не могла стерпеть: ущипнула, — избу через сельсовет требует. На Борьку заявление подала.

— Дом твой, чего тут рассусоливать.

— Сколько в Пекашине-то будешь? Захочешь, в любое время живи в передних избах. Татя хоть и отписал мне хоромы, а ты хозяин. Ты его родной внук.

Егорша как-то вяло махнул рукой и вышел.

3

Красное солнце стояло в дымном непроглядном небе, старая лиственница косматилась на угоре, обсыпанная черным вороньем. А по тропинке, по полевой меже шла ее любовь...

И такой жалкой, такой неприкаянной показалась ей эта любовь, что она разревелась.

Не счесть, никакой мерой не вымерить те зло и горе, которые причинил ей Егорша. Одной нынешней обиды вовек не забыть. Сидел, попивал водочку, может, еще на стену, на Васину карточку под стеклом смотрел — и хоть бы заикнулся, хоть бы единое словечушко обронил про сына!

И все-таки, видит бог, не хотела бы она ему зла, нет. И пускай бы уж он явился к ней в прежней силе и славе, нежели таким вот неудачником, таким горюном и бедолагой.

Глава четвертая

1

Хлев овечий? Келейка, в каких когда-то кончали свои земные дни особо набожные староверы? Каталажка допотопных времен?

Всяко, как угодно можно назвать конуру на задворках у Марфы Репишной, куда она загнала своего двоюродного братца за пьяные грехи. В переднем углу уголек красной лампадки днем и ночью горит, груда черных старинных книг с медными застежками — это добро разберешь: околелка сбоку. И еще разберешь бересту, солнечно отсвечивающую на жердках под потолком, — Евсей Мошкин кормился всякими берестяными поделками: туесками, лукошечками, солоницами, на которые теперь большой спрос у горожан, — а все остальное в потемках. И потому хочешь не хочешь, а будешь верующим, будешь отбивать поклоны, ежели не хочешь лоб себе раскроить.

А в общем-то, чего скулить? Есть крыша над головой. И есть с кем душу отвести. С любой карты ходи — не осудят. А то ведь что за друзья-приятели пошли в Пекашине? Пока ты их горючим заправляешь, из бутылки в хайло льешь, везде для тебя зеленая улица, а карманы обмелели — и расходимся по домам.

Одно бесило в старике Егоршу — Евсей постоянно ставил ему в пример Михаила: у Михаила дом, у Михаила дети, у Михаила жизнь на большом ходу...

— Да плевать я хотел на твоего Михаила! — то и дело взрывался Егорша. — Придмер... Подумаешь, радость — дом выстроил да три девки стяпал. А я страну вдоль и поперек прошел. Всю Сибирь наскрозь пропахал. Да! В Братске был, на Дальнем Востоке был, на Колыме был... А алмазы якутские дядя добывал? Целины, само собой, отведал, нефтью ручки полоскал... Ну, хватит? А он что — твой придмер? Он какие нам виды-ориентиры может указать? То, как на печи у себя всю свою жизнь высидел?

— Илья Муромец тоже тридцать лет и три года на печи сидел, да еще сидел-то сиднем, а не о прыгунах-летунах былины у людей сложены, а об ем.

— Не беспокойся! По части былин у меня ого-го-го! Я этих былин... Я всю Сибирь солдатами засеял! Кумекаешь, нет? Один роту солдат настрогал. А может, и батальон. Так сказать, выполнил свой патриотический долг перед родиной. Сполна!

Евсей отшатнулся, замахал руками: не надо, не надо! И это еще больше раззадорило Егоршу:

— Ух, сколько я этих баб да девок перебрал! Во все нации, во все народы залез. Такую себе задачу поставил, чтобы всех вызнать. Казашки, немки, корейки, якутки... Бугалтерию надо заводить, чтобы всех пересчитать. Мне еще смалу одна цыганка нагадала: «Ох, говорит, этот глаз бедовый синий! Много нашего брата погубит...»

— Нет, Егорий, нет, — сокрушался Евсей, — ты не баб да девок губил, ты себя губил.

— Чё, чё? Себя? Да иди-ко ты к беленьким цветочкам! Баба на радость мужику дадена. Понятно? Бог-то зря, что ли, Еву из ребра Адамова выпиливал? Не беспокойся, мы кое-что по части твоей религии тоже знаем. Слушали антирелигиозные лекции и на практике курс прошли. Одна святоша мне на Сахалине попалась — ну стерва! Без молитвы да без креста на энто дело никак!..

— Грех-то, грех-то какой, Егор!

— Чего грех? С молитвой-то в постель грех? Я тоже, между прочим, ей это говорил...

И тут уж Егорша открывал все шлюзы — до слез доводил старика своими похабными рассказами.

Мир всякий раз восстанавливали с помощью «бомбы». Совсем неплохое, между прочим, винишко, понравилось Егорше: и с ног напроць не валит и температуру нужную дает, а потом слово за слово — и, смотришь, опять на Михаила выплывали. Опять на горизонте начал дом его маячить.

— А главный-то дом, знаешь, у Михаила где? — как-то загадочно заговорил однажды старик. — Нет, нет, не на угоре.

— Чего? Какой еще главный? — Егорша от удивления даже заморгал.

— Вот то-то и оно что какой. Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов.

— Я так и знал, что ты свой поповский туман на меня нагонять будешь.

— Нет, Егорушко, это не туман. Без души человек яко скот и даже хуже...

— Яко, яко... Ты, поди, целые хоромы себе отгрохал, раз Мишка — дом? Так?

— Нет, Егорий, не отгрохал. Я себя пропил, я себя в вине утопил. Нет, нет, я никто. Я бросовый человек. Не на мне земля держится.

— А на Мишке держится?

— Держится, держится, — убежденно сказал Евсей. — И на Михаиле держится, и на Лизавете держится.

— На моей, значит, бывшей супружнице? — Егорша усмехнулся и вдруг грязно выругался.

— Ох, Егорий, Егорий! До чего ты дошел...

— Чего — дошел? Лизавета святая... На Лизавете земля держится... А она за кого держится? Ветром надуло ей двойню, а? Я по крайности грешу всю жизнь, дак прямо и говорю: сука! Люблю подолы задирать. А тут двоих щенят сразу с чужим мужиком схрыпала — все равно придмер, все равно моральный кодекс...

Плачущий, как ребенок, Евсей опять с испугом замахал руками: будет, будет! Бога ради остановись!

— Хватит! Потешились, посмеялись кому не лень. Ах, ох... постарел... лысина... Мы-де чистенькие, близко не подходи. Я покажу тебе — чистенькие! Я покажу, как Суханова топтать!

— Што, што ты надумал, Егорий?

— А вот то! — Егорша вскочил на ноги. — Ха, на ей земля держится! Они домов понастроили — не горят, не тонут. Посмотрим, посмотрим, как не горят. Посмотрим, как эти самые, на которых земля держится, у меня в ногах ползать будут! Вот тут, на этом самом месте!

— Егор, Егор! — взмолился Евсей. — Не губи себя, ради бога. Што ты задумал? На кого худо замыслил? Да ежели на Лизавету, лучше ко мне и не ходи. Я и за стол с тобой не сяду.

— Сядешь! Рюмочка у нас с тобой друг. А этот друг, сам знаешь, на разбор не очень. — И с этими словами Егорша выкатился из конуры.

2

Она не поверила, самой малой веры не дала словам Манечки-коротышки, потому что кто не знает эту Манечку! всю жизнь как сорока от дома к дому скачет да сплетни разносит.

— Не плети, не плети! — осадила ее Лиза и даже ногой топнула. — Избу Егорша продает... С чего Егорша будет продавать-то? С ума спятил, что ли?

А вскоре на телятник прибрела, запыхавшись, Анфиса Петровна, и тут уж хочешь не хочешь — поверишь.

— Бежи скорее к Пахе-рыбнадзору! Тот иуда избу пропивает.

И вот закружилась, задымилась пыль под ногами, застучали, захлопали ворота и двери. Паха в одном конце деревни, Петр Житов в другом... В селпо, в ларек заскочила, к Филе-петуху наведалься — тоже не последний пьяница. Всю деревню прочесала, как собака по следу за зверем шла.

Отыскала у Евсея Мошкина — за «бомбой» сидят.

— А-а, что я тебе говорил? Что? — Егорша закричал, заулюлюкал, как будто только ее прихода и ждал. — Говорил, что сама приползет? Вот тебе и дом не горит, не тонет. Все шкуры, все святоши, покуда огонек не лизнет в одно место!.. Думаешь, из-за чего она пришлопала? Из-за дома главного? Как бы не так! Из-за того, в котором живет. Из-за того, что я малость жилплощадь у ей подсократил...

Лиза молчала. Бесплезно звать к Егорше, когда он вот так беснуется (она это знала по прошлому), — дай выкричаться, дай выпустить из себя зверя. И тогда делай с ним что хочешь, голыми руками бери — как голубь, смиренхонек.

— Егорий... Лизавета Ивановна...

— Цыц! — заорал Егорша на пьяного старика и опять начал звать, на глазах обрастая шерстью.

И Лиза, как слепой котенок, тыкалась своими глазами ему в мутные, пьяные глаза, в обвисшие — мешочками — щеки, в опавший полусгнивший рот, чтобы найти лазейку к его сердцу — ведь есть же у него сердце, не сгнило же напрочь! — и Егорша, как всегда, как раньше, в те далекие годы, когда она соломкой стлалась перед ним, когда при одном погляде его тонула в его синих нахальных глазах, разгадал ее.

— Ну чё, чё зеленые кругляши вылупила? Не ожидала? Дурачки, думаешь, кругом? «Я ведь вон как тебя встретила... на постой к себе приглашала...» Я покажу тебе постой в собственном доме! Я покажу, как хозяина законного по всяким конурам держать! Я докажу... Имею... Закон есть...

Надо бы плюнуть в бесстыжую рожу, надо бы возненавидеть на всю жизнь, до конца дней своих, а у нее жалость, непрощенная жалость вдруг подступила к сердцу, и она поняла, почему так любуется над ней Егорша. Не от силы своей, нет. А от слабости, от неприкаянности и загубленности своей жизни, оттого, что никому-то он тут, в Пекашине, больше не нужен.

Но бес, бес дернул ее за язык:

— Ты меня-то казни как хошь, топчи, да зачем деда-то мертвого казнить дважды?

И этими словами она погубила все.

Сам сатана, сам дьявол вселился в Егоршу. И он просто завиз-

жал, затопал ногами. И она больше не могла выговорить ни единого слова.

Как распятая, как пригвожденная стояла у дверного косяка. Нахлынуло, накатило прошлое — отбросило на двадцать лет назад. Вот так же было тогда, в тот роковой вечер, вот так же кричал тогда и бесновался Егорша, перед тем как исчезнуть из Пекашина, навсегда уйти из ее жизни.

3

Михаила дома не было, иначе у нее хватило бы духу, преступила запретную черту, потому что не со своей доукой — ставровский дом на карту поставлен; Петра она сама проводила на пожар, чтобы отвести беду от Михаила (того, по словам Фили, чуть ли не судить собираются — будто бы на пожар ехать отказался); на Григория валить такую ношу — своими руками убить человека...

Что делать? С кем посоветоваться?

Побежала все к той же Анфисе Петровне — кто лучше ее рассудит?

— В сельсовет надо, — сказала Анфиса Петровна, ни минуты не раздумывая.

— Да я уж тоже было так подумала... — вздохнула Лиза.

— Ну дак чего ждешь? Чего сидишь?.. А-а, вот у тебя что на уме! Родной внук, думаешь. Думаешь, как же это я против родного внука войной пойду? Не беспокойся. Его еще дедко дома лишил. Знал, что за ягодка растет... Да ты что, дуреха, — закричала уже на нее Анфиса Петровна, — какие тут могут быть вздохи да охи? Для того Степан Андреянович полжизни на дом положил, чтобы его по ветру пускали да пропивали? Ты подумала об этом-то, нет?

Председатель сельсовета был у них новый, хороший мужик из приезжих, не то что Суса-балалайка. Все честь по чести выслушал, выспросил, но под конец сказал то, чего она больше всего боялась: в суд надо подавать. По суду такие дела решаются.

Нет, нет, нет, замотала головой Лиза. В суд на Егоршу? На родного внука Степана Андреяновича? На человека, которому она свою девичью красу, свою молодость отдала? Ни за что на свете!

Побежала еще раз к Пахе-рыбнадзору.

Паха Баландин все деревни окрест в страхе держал. Издали так и закон — половина штрафных денег рыбнадзору. А штрафы какие: за одну семгу восемьдесят рублей, за харьюса пять рублей, за сига десять. Вот он и люзует, вот он и сыплет штрафы направо и налево: за один выход на Пинегу двести рублей в карман кладет.

В прошлом году мужики припугнули ружьем: стой, коли жить не надоело! Не дрогнул. «Вихрь» свой с кованым носом разогнал — вдребезги разнес лодку у мужиков, те едва и спаслись.

И вот к такому-то человеку, а лучше сказать, нечеловеку, Лиза второй раз сегодня торила дорогу — давеча вусмерть упился, лыка не вязал.

— Где у тебя хозяин-то? На порядках ли? — спросила у жены, развешивавшей у крыльца белье.

— В сарае.

В сутемени сарая Лиза только по лысине и угадала: утонул, запутался в сетях. Как паук.

— Ну, Павел Матвеевич, и богатства у тебя. Хоть бы мне одну сетку продал.

— Марш с государственного объекта! Вход посторонним запрещен!

— Да не реви больно-то, я не жена, чтобы реветь-то. Откуда мне знать, что у тебя и сараи государственные?

Так вот со злой собакой разговаривать надо. Без страха.

Паха все же вытолкал ее из сарая, захлопнул дверь, прикрыл собой. Маленький, брюхатый, ножонки в спортивных объехавших штанишках кривые — непонятно, почему все и боятся его. И только когда встретилась с глазами—два ружья на тебя наставлены—поняла.

— Вопросы? — опять гаркнул Паха. Коротко, по-военному — разучился по-человечески-то говорить.

— А вопрос один: зачем в чужой дом вором лезешь?

— Дальше!

— А дальше вот что тебе скажу, Павел Матвеевич,— у меня бумага есть. Сам татя мне дом перед смертью из рук в руки передал.

— Все? — Паха сплюнул. — Теперь слушай сюда, что я буду говорить. Пункт первый: за вора привлеку к ответственности, поскоко оскорбление личности. Понятно тебе? Пункт второй: заткнись! Поскоко бумага твоя липовая.

— Липовая? Это завещанье-то липовое? Да ты обалдел?

— А я заявляю: липовое! — сквозь зубы процедил Паха. — А доказательства найдешь у себя дома в зыбке. Есть еще вопросы к суду?

Не было, не было у нее больше вопросов. Паха заткнул ей рот, сказал то, чего она больше всего боялась, о чем сама не раз про себя подумала.

Дети, дети у тебя чужие! Дети не ставровской крови — вот о чем сказал ей Паха. А раз дети чужие, какая цена твоему завещанью? Старик-то для чего оставил тебе свой дом? Чтобы ты чужих детей разводила?..

Отогнали, видно, пожары от Пекашина, на той стороне Пинеги впервые за последние дни проглянул песчаный берег, ребятишки высыпали на вечернюю улицу... А ей как из дыма выбраться? Ей что делать?

Дома ее ждал еще один удар — Нюрка Яковлева со своим Борькой в дом вломилась. Силой, без спроса заняла нижнюю половину передка.

Глава пятая

1

Лыско целыми днями, целыми сутками лежал вразвалку в заулке, пинком не оторвешь от земли, а тут, на Марьюше, будто подменили пса, будто живой водой спрыснули: весь день в бегах, весь день в рысканье по кустам, по лывам.

Но только ли Лыско ожил на сенокосе? А хозяин?

Сутки, всего сутки пробыл Михаил в деревне, а душу и нервы вымотал за год. Сперва причитания жены — то не сделано, это не сделано, хоть работницу для нее заводи, — потом эта новая схватка с Таборским и его шайкой, потом Егорша...

Сукин сын, мало того что из-за него всю ночь не спали, решил еще заявиться самолично. Под парами, конечно: всегда и раньше в бутылке храбрости искал. Подошел — он, Михаил, как раз собирался ехать на Марьюшу, — руку кверху, глаз вприжмур, как будто вчера только и расстались:

— Помнят здесь еще друзей молодости? Не забыли?

— Молодость помним,— с ходу, ни секунды не задумываясь, ответил Михаил,— и друзей помним, но только не подлецов!

А как еще с ним разговаривать? На что он рассчитывает? Может, думал, под руки его да за стол?

Потом, водой вышли все нервы и психи в первый же день, а потом в раж вошел — про все забыл, даже про больную руку. Просто осатанел — часами махал косой без передыху. И мнение о себе такое разыгралось, на такие высоты себя подымал, что дух захватывало.

И вот раз смотрел, смотрел вокруг — с кем бы помериться силой, кого бы на соревнование вызвать? Один на лугу, никого вокруг, кроме кустов да старого Миролюба, лениво помахивающего хвостом, и до чего додумался? Солнце вызвал...

Ну и жали, ну и робили! Солнце калит, жарит двадцать один час без передыху и он: три-четыре часа вздремнет, а все остальное время — коса, грабли, вилы.

2

Боль в руке началась ночью. Проснулся — огнем горит левая кисть.

Он вышел из избушки на волю. Встало солнце. Лыско хрустел костями в кустах — должно быть, поймал зайчонка или утенка.

Михаил развязал обтрепавшийся, посеревший от грязи бинт и поморщился: покраснела, вспухла ладонь, как колодка. Подумал, чем бы смазать, и ничего не придумал. Сроду не знал никаких лекарств, все порезы, все порубы заживали сами собой, как на собаке.

Все же он сделал примочку из холодного чая, оставшегося с вечера в чайнике, покурил и пошел косить: росы почти не было, но все-таки с раннего утра косить легче. По крайней мере, не так жарко.

За работой боль утихла, да и некогда было о ней раздумывать, а пришел к избе перекусить — и опять огонь в руке.

В обед он почти ничего не ел, только все нажимал на чай, полтора чайника выпил. Но что его особенно расстроило — не мог курить. А это верный признак того, что у него температура.

Еще работал полдня и назавтра полдня работал, потому что травы навалено было гектара три — как не прибрать, прежде чем отправляться домой? А вдруг зарядят дожди?

Не удалось прибрать. К полудню у него начало двоиться в глазах солнце, а потом уж и совсем чертовщина: черные колеса закатились перед глазами...

Собрав последние силы, Михаил отвязал с привязи Миролюба — иначе пропадет конь — и на большую дорогу.

Как продирался через кусты, через кочкарник, как лежал у дороги в ожидании попутной машины — помнил, и помнил, как в районную больницу входил, а дальше что было, надо у людей спрашивать.

После операции Евгений Александрович Хоханов, главный врач районной больницы, сказал:

— Ну, Пряслин, моли бога за тех, кто тебя так выковал. Другой бы на твоём месте пошел ко дну. А уж насчет того, что без руки остался бы, это точно.

3

Недолго, неполную неделю томился Михаил в больнице, а с чем сравнить то чувство радости, которое охватило его, когда за ним захлопнулись ворота больничной ограды?

Все вновь, все заново: земля, воздух, синь небесная над головой. На райцентровские мостки ступил — вприпляс. Но стой: больная рука! Такой вдруг болью опалило, что он закусил губу.

В нижнем конце райцентра Михаилу не доводилось бывать лет десять, а то и больше, и он теперь с изумлением и любопытством школьника вглядывался в новые улицы, в новые дома и магазины.

Разбухла, разрослась районная столица, уже в поля залезла, уже сосняк на задворках под себя подмяла, и все ей места мало — за ручей шагнула. А ведь он, Михаил, помнил ее еще деревней — с амбарами, с гумнами, с изгородями жердяными, с пряслами.

После войны райцентр стал набирать силу. Мужиков собралось людно — в первую очередь укрепить руководящие кадры районного звена! — а жить где? Вот они и начали по вечерам да по утрам топориком поигрывать, благо перышко конторское не очень-то выматывало за день. И было дико в те годы видеть: как грибы растут новые дома в райцентре и хиреют, пустеют с каждым годом деревни.

Самое видное здание в райцентре, конечно, райком. Просторный двухэтажный домина кирпичной кладки, или, как теперь принято говорить, в каменном исполнении (на веки вечные поставлен!), и внутри нарядно, как в храме: пол из цветной плитки, стены расписные, зеркала — с ног до головы видишь себя...

Кабинет Константина Тюряпина на первом этаже был закрыт, и Михаил, пожав плечами, пошел наверх.

— Здравствуй, здравствуй, товарищ Пряслин!

Северьян Матвеевич, инструктор райкома, сбегал с лестницы. Как всегда, чистенький, вежливенький, сладкоречивый, очень похожий на юркого воробья и своей проворностью, и своим острым личиком с черными бегающими глазками.

Михаил пожал протянутую руку.

— Слышал, слышал про твои дела. — Северьян Матвеевич участливо кивнул на больную руку. — С каким вопросом пожаловал?

— Да не знаю. В больнице сказали, чтобы к Тюряпину зашел.

— К Константину Васильевичу? На партактиве он, парень. Партактив у нас сегодня работает. Первый вопрос обсудили — заготовка кормов, сейчас к борьбе с алкоголем перешли. Советовал бы заглянуть в ожидании.

Глава шестая

1

Вот это да! — мысленно ахнул Михаил, когда вслед за Северьяном Матвеевичем вошел в зал.

Окна во всю стену, от пола до потолка, хоть на лошади въезжай, с занавесями белыми, шелковыми — как паруса, натянуты ветром, — люстры с хрустальными подвесами, красная ковровая дорожка через весь зал, от дверей до сцены, сиденья мягкие... Его в Москве как-то сват затянул к себе на заседание — куда там до этого зала!

А вот насчет бумажного бормотанья... Как зачалась у них эта канитель в районе после Подрезова, так и по сю пору продолжается.

Выходил на трибуну начальник сельхозтехники, выходила молоденькая совхозная доярка, выходил главный инженер леспромпхоза — все первым делом вынимали бумажку.

Михаил немного оживился, когда слово предоставили начальнику стройколонны Хвиюзову. Хвиюзовские гвардейцы по части пьянки давно уже первенство по району держат, да и сам Хвиюзов выпить не дурак. Две бутылки опростает — только во вкус войдет, только голос прорежется — страсть мастер анекдоты наворачивать.

Нет, и Хвиюзов не обрадовал. Подменили мужика. Отчитал что положено — и с колокольни долой. Даже на людей забыл взглянуть.

Сосед у Михаила, знакомый шофер с Шайвопы, дремал, уронив на грудь большую голову с подопрелым волосом. Другие вокруг тоже водили отяжелевшими головами. И ничего удивительного в том не было. Бумажная бормотуха кого угодно в сон вгонит, а тем более работягу, который, может, чтобы попасть на это совещание с дальнего покоса или лесопункта, всю ночь не спал. Да и вообще — кто это сказал, что у заседателей легкая жизнь?

Михаила в конце концов тоже укачало.

Очнулся он от толчка соседа:

— Вставай, начальство твое на трибуну лезет.

Точно, Антон Таборский взбежал на сцену.

Поначалу, как все, надел очки, развернул бумажку, дал запев:

— Товарищи, обсуждаемое постановление — это документ огромного исторического значения, новое проявление заботы... новый вклад...

В общем, не придерешься — не вышел из установленной борозды, сказал все нужные слова, а потом бумажку в сторону, бах:

— Для русского Ивана это постановление, скажем прямо, самое трудное постановление изо всех постановлений, какие были и какие еще будут, под корень режет...

Смех, хохот, топот. Даже в президиуме заулыбались — белой подковой просиял зубастый рот на смуглом лице первого секретаря.

— А чего смеяться-то, дорогие товарищи? — Таборский прикинулся дурачком: великий мастер по части прикидона. — Плакать надо. Ведь кабы мы как люди пили, кто бы нам чего сказал? А то ведь мы всё наповал, всё до схватки с землей...

Опять смех и хохот.

— Давай по существу, товарищ Таборский, — мягко поправил первый секретарь.

Таборский секунды не задумывался — всегда слово на языке:

— А по существу, Григорий Мартынович, все в докладе райкома сказано. А наше дело известно — выполняй. Ставь первым делом ограничитель у себя в горле да мобилизуй массы.

Тут уж не смех, одобрительный гул прошел по залу — всем понравилось, что Таборский не отделяет себя от других, не корчит из себя трезвенника.

— Ну а в части конкретных предложений, товарищи, — Таборский поискал кого-то глазами в зале, — то я целиком и полностью согласен с Марьей Федоровной, нашей заслуженной учительницей РСФСР. Замечательно, в самую точку сказала Марья Федоровна: одной силой бутылку не сокрушишь. Она сама кого хошь с ног валит. Надо, понимаете ли, культуру двинуть на эту зеленоглазую стерву. Да по всему фронту. А то у нас что получается? Пекатино взять, к примеру. Клуб новый построили — спасибо, а про самостоятельность и забыли. Вот наши мужики, понимаете, и прутся к Пет-

ру Житову в ресторан «Улыбка», чтобы свою самодеятельность развернуть...

Таборского проводили с трибуны аплодисментами. И, честное слово, будь у Михаила рука здоровая, он бы тоже ударил в ладоши. Прохвост, сукин сын, жулик из жуликов, а вышел на трибуну — и свежим ветром дохнуло.

2

С Костей Тюряпиным Михаила свела жизнь еще в сорок четвертом году на сплаве — тогда под Выхтемой они до самой ледяной шуги бродили с баграми в Пинеге, приказ родины выполняли: всю, до последнего бревна древесину пропихать через выхтемские мели. И попервости после войны, когда сталкивались в райцентре, всегда вспоминали те дни. Да и вообще им было о чем поговорить: у обоих отцы на войне убиты, обоим семьи многодетные пришлось вытаскивать на своем горбу. А потом начались кукурузные дела, Михаила с треском, с пропечаткой в районке и областной газете сняли с бригадиров, и Тюряпин замкнул свои уста: кивать при встрече кивал, а звук пропал начисто.

И вот сейчас, попыхивая папироской в шумном, переполненном людьми вестибюле — весь зал сюда высыпал, — Михаил припомнил все это и вдруг подумал: а может, не ходить? Может, дать поворот на сто восемьдесят градусов — и будьте-нате? В случае чего всегда можно отбрехаться: забыл, болен, на автобус торопился. Да и вообще с каких это пор у Тюряпина дела к нему?

Пошел. Терпеть не мог трусов.

— Заходи, заходи, товарищ Пряслин, — встретил его Тюряпин и кивнул на стул у дверей. — Присаживайся.

Михаил сел.

Тюряпин, не глядя на него, зашелестел бумажками. Ручищи большущие, суковатые, сразу видно, что не от карандашика жить начал, плечи в развороте на метр, а вот головка какой была, такой и осталась — малюсенькая, с рыжим хохолком, и Михаил невольно скосил глаз на вешалку в углу возле дверей, где висела шляпа: какой же, интересно, он размер носит?

Тюряпин прокашлялся.

— С тобой, товарищ Пряслин, первый собирался потолковать, да у Григория Мартыновича сегодня, вишь, народ, руководители производства...

Михаил ждал. Второй раз называл его Тюряпин товарищем, а это не предвещало ничего хорошего.

Так оно и оказалось.

— Претензии к тебе, товарищ Пряслин. И очень серьезные претензии. По части производственной дисциплины... — Тут Тюряпин поднял наконец свои глаза. — Работать людям мешаешь...

— Это кому мешаю? Таборскому? — Михаил сразу понял, откуда ветер дует.

— Таборский у нас, между прочим, не последний человек в Печашине. Может управляющий работать, когда рабочие не едут на дальние сенокосы? А пожар? Имей в виду: за уклонение от пожара у нас закон ясный — суд. — Тюряпин разжег наконец себя. И глаз поставил — в упор смотрел.

Но и Михаила заколотило. Потому что все это вранье и брехня от начала до конца. Русским языком было сказано этому Таборскому: нынче на Верхнюю Синельгу не поеду. Может он за тридцать лет хоть одну страду возле дома потолкаться, тем более что братья при-

ехали? А насчет пожара и вовсе ерунда. Когда это он от пожара уклонялся? Как он мог с порезанной-то рукой на пожар ехать?

— А на Марьюшу мог? — опять прижал его Тюрятин.

— И на Марьюшу не мог. Да потому что осел, потому что дурак законченный. Думаю, хоть одной рукой сколько пороблю. А Таборскому, видишь, лучше, чтобы я и на Марьюшу не ездил. Ничего, придет время, вот помяните мое слово, сами погоните этого жулика. Баснями-то все время сыт не будешь.

Тюрятин спросил:

— Яковлева Ивана Матвеевича знаешь?

— Знаю. А чего?

— Хороший тракторист?

— Ничего, крутит колеса.

— А Палицын Виктор?

Михаил пожал плечами.

— А Сергей Постников?

— На порядке парень. Бутылку стороной не обходит, но нет этого, чтобы по неделям зашибать.

— Дак вот, товарищ Пряслин. — Тюрятин сделал выдержку. — Не управляющий жалуется на тебя, а механизаторы. Вот под этим заявлением, — Тюрятин приподнял бумагу, — девять подписей. «Примите меры... Срывает и дезорганизует производственный процесс...» Такие заявления, скажем прямо, не часто поступают в райком.

Михаил был оглушен, сражен наповал. С механизаторами, правда, у него бывали стычки — погано пашут, семена только переводят, да ведь без стычки какая жизнь? Неужели безобразие видишь — и молчать?..

— Дак съездил, говоришь, в Москву? Побывал в столице нашей родины?

Михаил поднял глаза на Тюрятину и себе не поверил: Тюрятин улыбался. И в голубых меленьких глазках его с желтыми цыплячьими ресничками чуть ли не мольба: дескать, не взыщи. Служба есть служба. А теперь, когда дело сделано, можно поговорить и по-товарищески, по душам.

Михаил решительно встал. Нет, такие фокусы не по нему. Либо — либо. Либо ты вместе с Таборским и со всей его жулябией, либо против. А крутить хвостом и вашим и нашим — не выйдет.

3

Редко кто из председателей так нравился ему, как Антон Таборский.

Колхоз принял — все счета в банке арестованы, колхозникам за полгода ни копейки не плачено.

Не растерялся. Нашел деньги.

С леспромхоза арендную плату за склад у реки (десять лет с лишним не платили) взыскал, покосы по Ильмасу и Тырсе как заброшенные райпотребсоюзом загнал и еще сорок тысяч — новыми — слупил за лесок — украинцам продал, так сказать, в порядке братской помощи.

Любо стало при новом председателе и в колхозную контору зайти, а то ведь у Андреяна Матюшина, старого обабка, как было заведено? Я язвой желудка мучаюсь — и все кругом мучайтесь. Ни пошутить, ни посмеяться в конторе. Курить за дверь выходи. А с водворением Таборского, казалось, само веселье в Пекашино въехало. И никаких прижимов, никаких притеснений: сам цыган и другим цыганить не мешаю. Только не попадайтесь.

Вот по этому-то пункту у Михаила и начались первые «стыковки» с новым председателем. Раз сказал — механизаторы свое добро с колхозным путают, а попросту все домой тащат, что попадет под руку: бревна, запчасти, инструмент, сено, картошку,— два сказал, а третьего раза сами механизаторы ждать не стали — стеной, валом пошли на общем собрании: Пряслин технически малограмотен, Пряслин не обеспечивает руководство бригадой, Пряслин вносит разлад в коллектив...

Но окончательно раскусил Михаил Таборского позднее, когда началась эта кукурузная канитель.

Поверил попервости: хрен его знает, может, и в самом деле придумали наконец, как хлебом засыпать страну. Сделал все как требовалось: земля — самолучшая, навозу — навалом и садили по веревочке — сам каждое зернышко в землю влихивал.

Не далась царица полей. Летом стали пропалывать — от сорняка не отличишь. И на второй год силу свою не показала. А на третий Михаил сказал: хватит! Без меня играйте в эту игру!

— Да ты с ума спятил! — попытался вразумить его Таборский. — Платят тебе по высшему тарифу — не все равно, какой гвоздь куда забивать?

— Не все равно.

— Ну смотри, смотри, Пряслин. За такие дела, знаешь как у нас шлепают?

И шлепнули.

С этого времени у Михаила и пошла война с Таборским. И к нынешнему письму механизаторов — Михаил не сомневался — приложил свою лапу и Таборский. Расчет тут простейший: руками народа заткнуть глотку своему недругу. На всякий случай. Впрок. Загодя.

4

Водку в сельпо не продавали: нельзя! Собрание сегодня против водки, а ты вишь чего захотел? Но вскоре явилась знакомая продавщица и кое-как удалось выклянчить.

Михаил выпил бутылку не закусывая, прямо на ящиках за магазином — в это «кафе» он и раньше наведывался не раз. — Подождал, пока всю сегодняшнюю муть не смыло с души, и тихий, успокоенный размеренным шагом пошел к заветному дому рядом с двухэтажным зданием, где когда-то помещалась школа.

Немо, пустынно было в заулке, поросшем зеленой травой, и он не таясь встал посреди него, поднял глаза к горнице на втором этаже, к двум небольшим окошкам, в которые когда-то смотрела на белый свет она.

Здравствуй, сказал про себя. Я пришел. А затем он, как всегда, сидел на старом бревне у забора, где еще с прошлого раза валялись его окурки, и мысленно, как молитву, читал письмо, которое получил в бытность свою в армии.

«Миша, я долго не хотела тебя расстраивать, две недели думала, как быть, писать, нет, потому что кто не знает, какво солдатскую службу служить, ну больше не могу. Раз сам наказывал все писать как есть, без утайки, напишу. Хуже будет, ежели другие напишут. Да и чего, думаю, тебе больно-то убиваться, переживать — дело прошлое, семейный теперь человек. Жена эдакая краля — по всему району такой не сыщешь. И как любит тебя — я не знаю, каждый день высчитывает, только и говори у ей, что о тебе. Миша, по-

убавилось у нас народу в Пекашине, нет больше Варвары Иняхиной, царство ей небесное. И Григорий Минин, ейный проживатель, вскоре вслед за ней убрался.

Я эту Варвару, врать не стану, кляла всю жизнь, всю жизнь самыми последними словами называла, а теперь, думаю, может, и зря называла. Может, и ее не очень солнышко на этом свете обогрело. Мужа убили на войне, Григорья не любила, от нужды связалась. Ладно, не давай ты мне плести чего не надо. Это ведь я на бабью-то слезу настроилась — себя пожалела. Все нет весточки от того лешака, второй уж год пошел как гулят.

Ох, Миша, Миша, не знаю, как тебе все и сказать. Ведь Варвара-то у меня сидела за час до смерти. Я пришла с коровника, пью чай с Васей, вдруг дверь открывается — она. Я не видела, как и под окошками прошла. «Не выгонишь?» Что ты, говорю, ничего-то скажешь. Заходи, заходи. Садись чай с нами пить. Как мне гнать-то, когда я сама выгнана? Ну ладно, чаю попили, поговорили, веселая такая и все в окошко, все в окошко на реку смотрит. Чего, говорю, не видала, что ли, Пинегу-то, из окошка глаза не вынимаешь? «Хочу, говорит, на родные места в последний раз досыта наглядеться. Далеко, далеко уеду. Новую жизнь начинать буду. Как думаешь, получится у меня новая жизнь?» Получится, говорю. Вишь ведь, говорю, парень-то мой вцепился в тебя. А Вася и вправду, как взяла она его на руки, так и прилип к ней, на меня не взглянет. Я еще подивилась тогда. Ну, думаю, чудеса какие. С первого раза к чужому человеку пошел.

Вот чаю мы скорехонько попили, сам знаешь, какая у скотницы жизнь — все некогда, все на бегу, стали прощаться. «Лизавета, говорит, можешь ты, говорит, уважить мою последнюю просьбу?» А я со своими коровами и не думаю, что за последняя. Я уж потом вспомнила, что она «последнюю-то» сказала. Давай, говорю, говори скорее, какая твоя просьба. И вот, Миша, не надо бы теперь это говорить, ни к чему тебя расстраивать, да раз я пообещалась покойнице, как не сказать. Меня схватила за обе руки выше локтя, сама вся трясется, в глаза мне заглядывает: «Лизавета, говорит, скажи, говорит, Михаилу, что я всю жизнь одного его любила, всю жизнь. Пушай, говорит, он будет счастлив и за себя и за меня». И тут я и сказать ничего не успела, меня обняла, поцеловала в щеку и вон. А через час какой Александра Баева на скотный двор прибежала: «Бабы, говорит, ведь Варвара Иняхина потонула. За реку переезжала, из лодки выпала...»

Глава седьмая

1

Есть, есть все-таки радости на этом свете!

Еще не успело отыграть в воротцах стальное кольцо, еще не успел он как следует войти в заулок да потрепать здоровой рукой Лыска, который со всех ног бросился навстречу хозяину, а в доме уж загремели, загрохали двери, и вот уж все три дочери виснут на нем.

— Руку-то, руку-то, сатанята!

Эх, жаль, не может он сейчас подхватить их на руки да на руках втащить в дом. Любил он раньше, возвращаясь домой, проделывать такие штуки!

Стол по случаю семейного праздника — и дочери из Москвы приехали, и хозяин из больницы вернулся — накрыли в столовой, а

не на кухне. Но первым делом, конечно, не еда, а домашний смотр: кто как за это время вырос.

— Давай, давай, выходи на показ! — весело скомандовал умывшийся, освеживший Михаил, занимая свое хозяйское место за столом.

Кареглазая, рослая Вера выскочила в джинсах, в одном лифчике (чтобы не заставлять ждать отца), и мать по этому поводу высказалась:

— Срамница! Не стыдно — растелешилась?

— А чего стыдно-то? — несказанно удивилась Вера. — Это перед папой-то стыдно?

Она круто тряхнула темными косами, повернулась так, повернулась эдак — еще чего, папа?

Да, эта вся нараспашку — никаких секретов от отца. Зато уж Лариса без кривлянья обойтись не могла — клевакинская порода! Вдруг ни с того ни с сего начала закатывать голубые наваксенные кругляши, вилять задом — как будто вовсе и не отец перед ней сидит, а какой-нибудь парень или мужик. А в общем-то, подумал Михаил, и эта ничего. В городе ее ровня такие номера откалывает — ой-ой! Сам видел.

Под конец всех уморила младшая — тоже стала вертеться перед отцом. И тоже в брючках.

— Так, так, девки, — сказал Михаил. — Штанами обзавелись. Теперь еще матери осталось разжиться.

— Вот, вот! Только и не хватало матери этого добра.

— А что? — Михаил подмигнул Раисе, — социалистические накопления не позволяют?

— Ой, папа! — взвилась со своего стула Вера. — Я и забыла. Тебе подарок от Бориса Павловича.

И вот на столе уже три бутылки самолучшего пивка. Чешского! Со знакомыми яркими наклейками. И Михаил подряд, без роздыху осушил две бутылки.

Начались расспросы и рассказы о Москве, о том, что видели, где были, как принимала своих племянниц тетка.

Лариса, конечно, была без ума от Москвы, по ней тамошня жизнь, и, надо полагать, куда со временем и уберется. Сумеет приласкаться, прильнуть к тетке. А Вере Москва не понравилась.

— Да ты что? — только и мог сказать Михаил.

— А чего — все одно и то же, никуда не выйдешь.

— В Москве-то никуда не выйдешь?

— Ну! Плюнуть негде, все народ. Вот, папа, то ли дело у нас! У нас хоть босиком можно досыта набегаться, луку свежего до отвала поисть. — И как начала-начала уминать зеленую траву за обе щеки с хрустом, с прищелкиванием белыми крепкими зубами — любо смотреть.

— Ну а что-нибудь-то тебе понравилось все-таки? — продолжал допытываться он.

— Понравилось, — кивнула Вера. — Мотоцикл гонять. Ой, папа, какой мот у мальчишки с соседней дачи — в обморок упадешь! Когда мы купим?

— Игрушка тебе мотоцикл-от! — сразу же осадила ее мать. — Знаешь, нет, сколько он стоит?

— Когда-нибудь купим, доча, — сказал Михаил, а про себя подумал: до чего же похожа на него Вера!

Ведь и ему, откровенно говоря, \скучно было в Москве. Жил, конечно, глядел на все, в каждую щель нос совал, но господи,

как же он обрадовался, когда сошел с самолета на архангельском аэродроме! А когда под его ногой запели деревянные мостки райцентра, он ведь как самый последний дурак — прослезился.

2

Целый месяц было тихо по вечерам возле пряслинского дома, целый месяц никто не буровил воздух вокруг, а сегодня Михаил вышел на крыльцо — мотоциклы фыркают: кавалеры на своих железных кониках подъехали. Сразу трое — Родька Лукашин в белой рубашке да Генка Таборский с Володей Фили-петуха.

Последних двух он обычно не замечал — сопленосые еще, оба в школу ходят, катают Лариску, и ладно, — но с Родькой приходилось считаться. Взрослый парень, его ровня уже в армии отслужила.

— Привет, привет, Родион! — поднял здоровую руку Михаил, спускаясь с крыльца.

Родька — все одинаковы ухажеры — просто расцвел от его ласки.

— Как жизнь молодая?

— Не жалуясь, дядя Миша.

— Мать как?

— Мама ничего, болеет все, — ответил, улыбаясь, Родька и вдруг весь вытянулся: Вера из дому вышла, Михаил по звону покотившегося с крыльца ведра узнал дочь — всегда торопится, всегда спешит.

Его тоже охватила какая-то непонятная спешка: быстро затоптал недокуренную сигарету и в дровяник — чего смущать молодежь?

— Папа, ты куда?

Вот девка! Вот отцово золото!

Он часто разорялся, пил жену — нет наследника, а может, и зря? Может, плюнуть надо на этого наследника? Ну девка, ну не парень. Да какому парню уступит его Вера! Косить, дрова рубить, на лошади ездить — любого парня заткнет. А осенью из школы придет, ружье за плечо, за мной, Лыско! — и пошла шастать по лесам-борам.

— Папа, папа, посмотри-ко!

Вера подбежала к Родькиному мотоциклу, с ходу завела его и в седло. Описала круг, описала другой, и только ее и видели. В общем, показала отцу, чему научилась за месяц в Москве. А про кавалера своего и забыла, и Михаилу как то неловко было смотреть на приунывшего Родьку.

3

Кончился праздник, кончился отпуск у жизни. Пора было приниматься за дело. И, войдя в дом, Михаил спросил у жены:

— Ну что тут у вас? Сено не прибрала?

— Прибрала. Родька помог.

— Ну это хорошо, хорошо, жена. — У Михаила просто гора свалилась с плеч. Все время, пока лежал в больнице, с ума не шел недометанный зарод. — А как Калина Иванович?

— Была даве Евдокия за молоком. Лежит, говорит.

— Врачей из района не вызывали? Не установили, какая болезнь?

— Какая болезнь у восьмидесятилетнего старика. Помирать, надо быть, собрался.

Калину Ивановича, насквозь больного, Михаил привез с Марью-

ши еще больше недели назад, когда приезжал мыться в бане, и сейчас решил, что самое время проведать старика, а то начнется житейская толкотня — когда выберешься?

— Я быстро. — сказал он жене, мывшей посуду, и тотчас же нахмурился: по лицу понял, что та что-то скрывает от него.

Он терпеть не мог этих клевакинских недоговорок, по нему — вытряхивай, ежели что есть, и потому спросил нетерпеливо:

— Может, не будем в прятки-то играть? Муж домой приехал але дядя?

— Этому мужу надо подумать, еще как и сказать.

— А ты не думай, лучше будет.

— Сестрица твоя дорогая рехнулась — дом бросила. Жила-жила двадцать лет але боле, да дурь в голову ударила — пых из своего дому.

Михаил — убей бог, если что-либо понимал. И тогда Раиса перешла на крик:

— Да чего понимать-то! Тот, пьяница, шурин твой разлюбезный, верхнюю половину дома дедкова продал. Пахе-рыбнадзору. А Нюрка Яковлева разве будет глазами хлопать? Силой вломилась со своим отродьем — другую половину заняла. У меня, говорит, законные права, ставровской крови сын... Вот твоя сестра и психанула, в хоромы Семеновны перебралась...

— Постой, постой... Да ведь дом-то чей? Дом-то кому отписан?

— А я об чем говорю? Я чего битый час толкую? Бумага на руках, страховку двадцать лет плачу, да я бы такой разгон дала...

— А Петро? А Петр куда смотрел? — Михаил все еще не хотел верить.

— Когда Петру-то смотреть? Петр-то на пожаре был. Да разве сестрица твоя и стала бы кого слушать, раз в голову себе забила...

— Ну а люди, люди? — заорал вне себя Михаил. — Есть у нас в Пекашине еще люди? Але все кругом одне жулики да мерзавцы — делай что хочю?

Он опустился на стул, схватился здоровой рукой за голову. Нет, нет, он и пальцем не пошевелит. Сама выезжала, сама и въезжай как знаешь. Да и вообще, сколько еще будут на нем ездить дорогие братья да сестры? Всю жизнь? До тех пор, пока не сдохнет?

А спустя полчаса, кляня и себя и всех на свете, он подходил к старому дому. Не ради сестрицы-идiotки, нет. А ради старика, ради его памяти. Старик ведь в гробу перевернется, когда узнает, что Нюрка да Паха в его доме хозяйничают.

4

Всю дорогу он крепил тормоза, всю дорогу говорил себе: спокойно, не заводись, не устраивай дарового спектакля. — а вошел в заулок старого дома да увидал райскую картинку: Петр топориком поигрывает — бревно тешет, Григорий в сторонке на красном одеяле с малыми забавляется, та на вечернем солнышке как ни в чем не бывало белье постирывает — и полетели тормоза.

— У тебя есть, нет мозги-то, инженер хреновый? Та дура вековечная — известно, а ты-то чего ждешь? Милицию бы вызвал да в шею ту стервюжину!

— Михаил... Брат... — расстоналась, расплакалась Лиза. — Да разве я думала... да разве я хотела....

И тут Михаил просто полез на стену, заорал на весь конец деревни. А какого дьявола? Кто заварил всю эту кашу?

— Тихо, тихо, Пряслины! — В заулок откуда ни возьмись с треском въехала улыбающаяся Вера.

Михаил заорал и на нее:

— Да заглуши ты к чертям свою керосинку! Взяли моду зазря бензин жгать.

Вера нажала на газ еще сильнее.

— Брось, говорю, эту чертову трескотню! Кому говорю? Бревну? Вера опять треском заглушила крик отца.

— Имей в виду, папа, в Москве за нарушение тишины штрафуют.

— В Москве, в Москве... Здесь не Москва, а Пекашино!

Михаил еще огрызался, еще продолжал рыскать вокруг разъяренными глазами, но запал уже прошел и в конце концов он махнул рукой и на ставровский дом и на своих братьев и сестер — сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.

Глава восьмая

1

Из дому, то есть из деревни, вышли порознь, Лиза даже кузов с собой прихватила — вроде как за травой в навины отправилась, потому что не приведи бог напороться на Паху-рыбнадзора: и бредень отберет и штрафом огреет.

Сошлись у Терехина поля. Быстро спрятали кузов под рябиновым кустом, быстро разобрали меж собой бредень, старый берестяной туес, с которым ходили по рыбу, сумку с хлебами — и дай бог ноги.

Дух перевели, когда вышли на лесную дорогу. Тут Вера два пальца в рот и соловьем-разбойником засвистела на весь лес.

— Ну, девка, девка! — пожурила ее Лиза. — До каких пор в парня-то играть будешь?

Вера стрельнула в тетку своим карим бедовым глазом, и Лиза рассмеялась. Не могла она долго сердиться на племянницу. Все — Михаил, Раиса, Лорка — все отвернулись от нее, когда родила она своих несчастных двойнят, а Вера прибежала ее поздравлять — с цветами, с конфетами, как в кино. И вчера только из Москвы приехала — тоже к тетке объявилась.

Сверху сильно припекало. По еловым стволам, всегда с обрубленными сучьями возле дороги, белыми ручьями стекала смола, злые оводы жгли сквозь напотевшую кофту, слепили глаза. И пыль, пыль била из-под ноги. Это на лесной-то суземной дороге, где всегда, и летом и осенью, бредешь по колено в грязи...

Вера и Родька скоро убежали вперед. Какое-то время они кричали, дурачились — звон стоял по всему лесу, — а потом голоса стали тише, тише, а потом и вовсе смолкли. Лиза осталась сама с собой.

Она шла, склонив голову, по лесной дороге, пересчитывала босыми ногами коренья и валежины, и иные дни, иные времена вспоминались ей. И перво-наперво вспоминался тот день, когда она впервые по этой дороге шагала на Синельгу. С братьями — с Михаилом, с Федюхой, гордо восседающим на коне, со своими любимыми близнятами, которые, как синички, всю дорогу щебетали и тенькали от радости. И было ей тогда семнадцать лет. И она вся трепетала, вся искрилась, как молоденькая березка на солнце в летний день. Вся была ожиданием новой жизни, нового счастья. И думалось, верилось тогда и ей и братьям: не просто на Синельгу комариную идем. Не

просто лесную дорогу топчем. В жизнь, в большой мир прокладываем — свою, пряслинскую.

А теперь? Что случилось теперь со всеми ими? Где та дружная пряслинская семья?

Она не оправдывала себя, не обеляла. И Михаил вечер шумел и топал ногами — заслужила. Нет ей прощенья! Никакими молитвами, никакими покаяньями не замолить вину перед Степаном Андреевичем. Человек надеялся на нее как на стену, как на скалу, все, что было самого дорогого в жизни, отдал ей — дом отписал свой. На, бери на веки вечные, будь хозяйкой животу моему. А она? Что сделала она?

Лиза присела на старый еловый выворотень, на котором испокон веку отдыхают люди, и навзрыд зарыдала.

Все, все она пережила, все вынесла: измену мужа, смерть взрослого сына, немилость старшего брата, позор и стыд за незаконно-рожденных детей, а вот видеть в своем заулке Борьку — нет, нет, эта пытка была свыше ее сил.

Все эти двадцать лет уговаривала себя: что ей Борька? Какой смысл убиваться из-за того, что он доводится сводным братом Васе? Да разве впервой ей такое? В Заозерье еще раньше Борькиного рождения сводная сестрица объявилась — когда близко к сердцу приняла!

Ничего, никакие уговоры не помогли. Увидит, встретит на улице Борьку — так и оборвется сердце, так и бросит в немоchь, потому что не Вася ее, а он, Борька, всеми выходками, всеми повадками вышел в Егоршу. Даже слюну сквозь зубы, как Егорша, сплевывал.

И вот в тот вечер, когда она, возвращаясь от Пахи-рыбнадзора, увидела в своем заулке Борьку с матерью, увидела, как они втаскивают в переднюю избу комод, она сразу поняла: не жить ей под одной крышей с Борькой. Ночи одной не выдержать. Любую муку, любую казнь готова принять ради дома, но только не эту...

Лиза сняла с головы плат, вытерла за жарелое, разъеденное потом и слезами лицо, встала. Нельзя давать волю слезам. Не затем пошла она на Синельгу, чтобы сидеть в лесу да лить слезы.

— Ве-е-ра-а! Родька-а-а!

Ответа она не дождалась: далеко убежала молодежь. И Лиза зачастила ногами, стала все больше и больше разгонять себя.

2

Анфиса Петровна говорила им: нету ноне в Синельге рыбы. Не меряйте зря дороги — без вас давно вымерены. И верно: они с добрую версту проволокли бредень — и хоть бы какая-нибудь рыбешечка запуталась. Да и мудроно быть рыбешечке в нынешнюю жару. Плесы и ямы пересохли, заросли тиной и ряской, а о перекатах да протоках и говорить нечего: где вода жиденькой косичкой заплетается, а где и совсем нету.

— Может, домой пойдём? — предложила Лиза.

Родька сразу согласился: надоело продираться сквозь дремучие кустарники да бить и колоть ноги о камешник. Но Вера и слышать не хотела.

— Возвращаться домой с пустыми руками? Да вы что! Не знаете, что такое рыбалка да охота? Час зря, два зря, а на третий — озолотились.

И опять побрели вниз по речонке, опять начали буровить пересохшие ямы и плесы, греметь дресвой в порогах.

Жара нещадная, травища, выломки (лет десять уж не ставят

сена на Синельге) и гнус. В те годы у гнуса была все-таки очередность: днем, в солнцепек, овод разживается, а комар по вечерам да ночью. А нынче все вдруг — и оводы и комары. И никакая мазь не помогала от них.

Когда добрались до крутой, красной, как раскаленная печь, щельи, сделали передых. Бредень и туес оставили в лопухах у воды — сил не было тащить в пригорок, — а сами нырнули в белопенную пахучую таволгу — может, хоть тут немного отдышатся.

Лиза так набродилась, так вымоталась, что, как только почувствовала вокруг себя травяную свежесть, так и в дрему, да и Родька, привалившийся к ней сбоку, похоже, запосвистывал носом, а Вера... Что за неугомонная девка? Откуда в ней столько силы?

Живо натаскала сучьев, живо запалила огонь.

— Вставайте, сони! У огня надо спастись от гнуса.

И тут они и в самом деле ожили. От смолистых еловых лап — это уж Родька постарался — повалило таким густым дымом, что ни один овод, ни один комар не мог к ним подступиться.

Лиза разложила еду на белом платке, принесла ключевой воды из ручья, и начался пир: слаще всякого пирога показался ломоть ржаного, круто посоленного хлеба, запиваемый холодной водой.

— Место-то знаете, нет, как называется? — спросила Лиза, окидывая глазами белую от ромашек поляну, на которой они сидели. — Ставровская изба. Тут вот она, изба-то, стояла, у леса. После войны мы тут нашей семьей сено ставили...

— Слыхали, слыхали, Ивановна! Голодали, работали не разгибаясь от зари до зари, а мы не ценим. Давай, тетка, что-нибудь поновее. Я дома от папы этого наслышалась. И в школе на общественном ведении хватает.

— У меня мамаша эти политинформации тоже мастерица читать, — сказал Родька.

— Да ведь эти политинформации — наша жизнь! — рассердилась Лиза.

Но больше распространяться о прошлом не стала. Хорошая девка Вера, и Родька по нынешним временам неплохой парень, но говорить о старых временах, о войне, о том, какого лиха хлебнули их отцы, матери после войны, — это они с одного слова на третье слушают. Не могут поверить, что так можно было жить, мучиться. Да, по правде сказать, она и сама иной раз ловила себя на том, что все пережитое когда-то ими сегодня кажется ей каким-то бредом и небылью.

Вера вдруг ни с того ни с сего начала снимать с себя кофту.

— Ты чего? Не загорать ли вздумала на оводах да на комарах?

— Хочу холодный душ в ручье принять.

— Не смей, не смей этого делать! Долго простуду схватить?

Вера и ухом не повела. Раз что втемяшила, вбила себе в голову, лоб расшибет, а сделает.

Скинула кофточку, скинула шаровары и к ручью. А за ней всю прыть Родька.

Затрещали, закачались кусты, смех, визг, водяные брызги радугой вспыхнули над ручьем. А потом Вера и Родька, оба голые, мокрые, с вениками в руках, выскочили на пожню и со смехом, с криком стали гоняться друг за другом. И Лиза, глядя на их молодую игру, вдруг вспомнила тот день, когда на этой вот самой пожне Михаил нещадно лупил хворостиной Федюху. Лупил за то, что тот, поставленный на уженье, с голодухи тайком от них съел какую-то рыбешку...

И опять она стала думать о жизни, о пережитом, о том, как вот

тут, на этих самых пожнях, заросших дикой травой и кустарником, страдали они, Пряслины, свою первую страду.

Не приведи бог еще раз пережить голод, который они пережили в войну и после войны, не приведи бог, чтобы еще раз вернулись те страшные времена, когда ребята всю зиму, сбившись в кучу, отсиживались на печи. И все-таки, все-таки... Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни. Одна только первая их страда чего стоит! Выехали на Синельгу — все мал мала меньше, думалось, и зарода-то им никогда не поставит: ведь первый раз, когда с косками вышли на пожню, и косарей не видать. С головой скрыла трава. А поставили. Один зарод поставили, другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого убрано сено, стал для Лизы самой большой красой на земле.

Но только ли одна она со сладким замиранием сердца ворошила в своей памяти то далекое прошлое? А старухи, вдовы солдатские, бедолаги старые, из которых еще и поныне выходит война? Уж их-то, кажись, от одного поворота головы назад должно бросать в дрожь и немочь. Тундру сами и дети годами ели, похоронки получали, налоги и займы платили, работали от зари до зари, раздетые, разутые... А ну-ка, прислушайся к ним, когда соберутся вместе? О чем говорят-толкуют? О чем чаще всего вспоминают? А о том, как жили да рбили в войну и после войны.

Вспоминали, охали, обливались горячей слезой, но и дивились. Дивились себе, своим силам, дивились той праведной и святой жизни, которой они тогда жили. А все дрязги, все свары, вся накипь житейская — все это забылось, ушло из памяти, осталось только чистота, да совесть, да братская спайка и помощь. И недаром как-то нынешней весной, когда собравшиеся у нее старухи по привычке завели разговор о войне, старая Павла со вздохом сказала: «Да ведь тогда не люди — праведники святые на земле-то жили».

3

Первую щучонку — на пол-аршина — заарканили под Антипиной избой, возле старых выломок, где на веку никакой рыбы не бывало. Место темное, непроглядное — да с чего пойдет туда рыба? Но Вера настояла: должна же где-то быть! Не могла вся передохнуть.

И вот с первого груза щука. А потом за черный топляк перевалили — опять щука, да побольше первой, с доброе топориче.

Ну уж тут они порадовались — и смеялись, и скакали, и чуть ли не обнимались, а Вера, та даже поцеловала щуку в склизкую морду: так, мол, скорее рыба пойдет на них.

После этого они с новыми силами, с новым запалом еще часа два бороздили речонку. И ничего. Ни единой души.

— Дураки мы, вот что! — рассудила неунывающая Вера. — Да рыба-то вся давно скатилась к устью. С чего она тут будет, когда все пересохло? Айда на Пинегу!

— На Пинегу? — ахнула Лиза. — Да ведь это верст пять шлепать.

— Ну и что? Нечего, нечего, Ивановна, лениться. Раз пошли за рыбкой, терпи.

Лиза обернулась за поддержкой к Родьке — тот всех пуще вымотался, один через все мысы и заросли мокрый бредень таскал, — но разве Родька вояка против Верки?

Пожни, слава богу, пошли пошире, комара стало меньше, ветерок начал прополаскивать зажарелое тело. Молодежь ожила. Опять пошли шутки, игры: бросят бредень, бросят туес в траву и носятся как шальные по некошенным пожням. А для Лизы была пытка, мука мученская идти по задичалой Синельге.

Она как-то уже свыклась с мыслью, что сена по верховью речонки не ставят, но чтобы то же самое запущенье было и в пониловье, в самых сенных пекашинских угодьях,— нет, это для нее было внове.

Да что же это у нас делается-то? — спрашивала она себя то и дело. Куда же это мы идем? В войну все до последней кулижки выставляли одни бабы, старики, ребятишки, а сейчас в совхозе полно мужиков, полно всяких машин, всякой техники — легче работать стало. А почему дела-то в гору нейдут? Может, оттого, что постарому робить разучились, а до машин, до всей этой техники умом еще не доросли?

Зря, зря они топали пять верст. Зря она уступила племяннице, не настоящая на своем. Бывало, к устью-то Синельги подходишь — песни петь хочется: коромыслом радуга. А сейчас подошли — и воды живой нет. Лужи, курейки, заросшие ряской, — все русло завалило, засыпало песком.

Вера, однако, не думала сдаваться.

— Рыбы нет, за красной смородиной на Марьюшу пойдём. Да за малиной.

— Какая по нынешней жаре малина? — попыталась образумить ее Лиза.

— Пойду! — заупрямилась Вера. — Да я еще и папины зароды сейгод не видала.

— Ну как хошь, как хошь, — сказала Лиза. Тут она ничего не могла возразить племяннице, потому что, по правде сказать, ей и самой хотелось бы взглянуть на труды брата, но дома ее ждали дети малые, братья — пришлось взнуздать себя.

4

Зачем она пошла берегом?

Чтобы речной свежести вдохнуть? Чтобы людям на глаза не попадаться?

Людей возле реки не было — редко кто нынче шастает песчаной бережиной, но куда уйдешь, где скроешься от собственных дум?

Обступили, начали жалить — хуже злых оводов.

Сколько она за эти дни передумала, сколько пыталась уяснить хоть себе самой, что натворила, наделала, и не могла. Нет таких слов в языке человеческом, чтобы все это объяснить. И что же удивительного, что все, все — Анфиса Петровна, Петр, Михаил, доярки, — все ругали и осуждали ее. Все, кроме Григория.

Григорий понял ее, сердцем почувствовал, что она не может иначе.

— Гриша, я ведь к Семеновне надумала перебираться, — так она сказала брату на другой день после того, как в ставровский дом въехала Нюрка с Борькой. — Что скажешь?

— Ну и ладно, сестра, — ответил Григорий.

Раскаленный песок и дресва немилосердно жгли босые ноги (тапочки не спасали), душной смоляной волной окатывало сверху, с утра, где рос ельник, глаза резало от воды, от солнца, и она шла этим адищем как последняя грешница, как пустынножительница Мария

Магдалина, о которой, бывало, любила рассказывать покойная Семеновна.

Судиться, судиться надо. И с Егоршей и с Нюркой судиться, твердила себе Лиза. Но стоило ей только представить въяве — она и Егорша на суде, — и у нее подкашивались ноги, голова шла кругом.

Она мучила, терзала себя всю дорогу, всю дорогу думала, что ей делать, но так ни на что решиться и не могла. И когда она вышла на пекашинский луг и впереди на косогоре увидела ставровский дом, она пала под первый куст и отчаянно заплакала.

Уж коли голова нисколько не варит, не работает, так надо хоть выплакаться. И за сегодняшний день и за завтрашний. Потому что дома ей нельзя плакать, потому что из-за всей этой истории с домом у Григория вот-вот начнутя опять припадки.

Глава девятая

1

Утро на пряслинской усадьбе начиналось с птичьего гомона. Едва только из-за реки брызнут первые лучи солнца, как вся пернатая мелюзга, прижившаяся возле нового дома на угоре, принималась славить жизнь. На все голоса, на все лады.

Михаил любил эту птичью заутреню. Хороший настрой на весь день. А уж утром-то по дому бегаешь — ног под собой не чувствуешь.

Сегодня он сходил к колодцу за водой (сроду не любил, когда из застоялой воды чай), отметал навоз у коровы (одной рукой изловчился), подмел заулочек (Лыско линияет — везде шерсть), а его барыня и не думала вставать. Да и вся остальная деревня дрыхла.

Наконец, рано ли, поздно ли, из трубы у Дунаевых полез дым, и Михаил пошел в дом.

— У тебя что — забастовка сегодня лежащая?

Раиса, зевая, потягиваясь, на великую силу оторвала от подушки раскосмаченную голову, глянула на часы.

— Да ты одичал — еще семи нету...

— А корову кто доить будет?

— Ох уж эта мне корова! Жизни из-за ей никакой нету.

— Может, нарушим?

Раиса опустила полные ноги с кровати — его так и опажнуло теплом разогретого женского тела, — ответила не задумываясь:

— Да хоть сегодня! Не заплачу.

— Ты не заплачешь, знаю. А что жрать будем? Чай один хлестать да банки?

Он не вышел — выскочил из спальни, потому что известно, чем кончится этот разговор — криком, руганью. Осатанела баба — два года ведет войну из-за сна. Сперва выторговала полчаса, потом час, а теперь, похоже, уже на два нацелилась.

За завтраком Михаил, как всегда, начал подтрунивать над Ларисой — у той опять разболелась голова. И, как всегда, за свою любимицу вступилась мать:

— Чего зубы-то скалить? У девки опять давление.

— А когда давление, до трех часов утра в клубе не скажут.

— Ладно. Не одна она скачет, все скажут.

— И рожу с утра тоже не малюют, — вдруг вскипел Михаил.

А что, в самом деле? Голова болит, давление, а глаза уже наваксила. Когда только и успела.

Пошатнувшийся мир в семье восстановила Бера — она умела это делать.

— Папа,— блеснула белыми зубами,— а ты давай-ко бороду отпусти, что ли, пока на больничном. Мы хоть посмотрим, какая она у тебя.

— Думаешь, хоть занятие у отца будет? — сказал Михаил и первый рассмеялся.

С улицы донеслись бесшабашные позывные — не иначе как Родька подъехал на машине.

Вера высунулась в открытое окно, замахала рукой:

— Сейчас, сейчас! — И начала укладывать хлебы в сумку.

А потом натянула шаровары, натянула пеструю ковбойку — рукава по локоть,— ноги в старые растоптанные туфли — и будьте здоровы! — покатила на сенокос. Всегда вот так. Сама насчет работы договаривается, сама себя собирает.

Вскоре после отъезда дочери ушла на свой маслозавод, прихватив с собой младшую, мать, у Ларисы тоже нашлось занятие — завалялась в огороде под кустом на подстилке (московский врач, видите ли, прописал воздушные ванны для укрепления нервной системы), а ему что делать? Ему куда податься?

Сходил к фельдшернице на перевязку, потолкался сколько-то возле баб у магазина — с утра толкуются в ожидании какого-то товара из района — и опять свой дом, опять все тот же вопрос: как убить время? Какую придумать работу, чтобы одной рукой делать?

Подсказали овцы, лежавшие в холодке у бани: иди, мол, в навины да ломай для нас осиновые веники. Зимой за милую душу съедим, да и корова морду от них не отвернет.

2

Чего-чего, а осины в пекашинских навинах ныне хватает, и он как свернул за Терехиным полем в сторону, так сразу и попал в осинный рай: лист крупный, мясистый, со звоном.

И тут уж он развернулся: горы наломал осинника, благо трещит, едва рукой дотронешься. А затем посидел, покурил и пошел в лес: не удастся ли разжиться каким грибом-ягодой?

Худо, худо было нынче в лесу. Он добрых два часа кружил по выломкам, по ельникам, по радам, в общем, по тем местам, где раньше навалом было всякой всячины, — и ничего. За все время три сыроежки ногой сбил, да и то дотла истлевших, а черникой даже рта не вымазал.

У него горело лицо — комарья тучи, пересохло в горле — признаков воды нигде не было, и только когда выбрался к Сухому болоту, кое-как смочил рот. Смочил в той самой ручьевине, где когда-то он напоил умиравших от жажды пекашинцев. И вот с первым же глотком этой черной болотной водицы все вспомнилось, все ожило. Вспомнился пожар в том страшном сорок втором, вспомнилась обгоревшая Настя Гаврилина...

Он два раза обошел закраек Сухого болота, пытаюсь найти ту злополучную сосну, на которую он полез тогда, чтобы спасти гнездо большой коричневой птицы, канюка, как он узнал после, и не нашел. Давно на Пинеге изведен строительный лес, за стоящим деревом за пятнадцать и за двадцать верст ездят, а тут такое золото под боком — разве будут ворон считать?

Не нашел Михаил и пекашинских гектаров Победы.

Господи, с какими муками, с какими слезами раскапывали, засеивали они тогда тут поле! Помирали с голоду, а засеивали. Из глотки вырывали каждое зернышко. И вот все для того, чтобы тут всколотился осинник.

Хорошо растет осинник на слезах человеческих! Такая чаща вымахала, что он едва и выбрался из нее.

Бывало, с Сухого болота домой правишь, из суземов выходишь — сердце радуется. Все шире, шире поля, все меньше и меньше перелесков, кустарников, а когда за Попов-то ручей перейдешь да на Широкий холм поднимешься — и комар прощай. Такая ширь, такое раздолье вдруг откроется.

Сегодня Михаила задавили осинники и березняки, и он, как зверь, проламывался, продирался через них. Исчезли поля, исчезли бесчисленные пекашинские навины, тянувшиеся на целые версты, а вместе с ними исчезла и пекашинская история. Потому что какая у Пекашина история, ежели забыть Калинкину пустошь, Оленькину гарь, Евдохин камешник, Екимову плешь. Абрамкино притулье и еще много-много других полей-раскопок?

И Михаил, сгибаясь под тяжестью своих раздумий, чувствовал себя виноватым перед Степаном Андреевичем, перед Трофимом Лобановым, перед всеми пекашинцами, которых он знал вживе и которых не знал, которые жили задолго до него, сто и триста лет назад...

Одна навина возле Попова ручья все-таки еще держалась — Гришина вятка, давнишняя небольшая раскопка с жирной землей, на которой даже без навоза родился хлеб.

Молодец поле! — подумал Михаил, выходя из кустарника. Осина да береза со всех сторон напирают на тебя, а ты как солдат во вражеском окружении — насмерть стоишь!

Но что за чертовщина? Почему оно, это поле, средь лета голое, без единой травинки?

Он подошел ближе, и то, что казалось издали невероятным, диким, стало явлю: Вятка была вспахана. И мало того — засеяна рожью: вдоль всего замужка рассыпано зерно. Это сейчас у всех трактористов так — никогда не заделывают концы полей.

Нет, не может быть! — покачал Михаил головой. Не может быть, чтобы в такую сушь рожь сеяли. Ведь это все равно что в горящую печь бросать семена.

Он вышел на поле, с трудом отвалил здоровой рукой тяжелый, вывороченный вместе с глиной пласт земли, и сомнений больше не оставалось: засеяно поле. Семь коричневых зерняток насчитал под пластом.

Долго стоял ошеломленный Михаил над ямой, в которой сиротливо и неприкаянно лежали крохотные зерна на самой поверхности земли, даже не вдавленные в нее, и вдруг уже другие мысли, не связанные с засухой, начали ворочаться у него в голове.

Да ведь это же могила для семян! — подумал. Разве когда тут прорастет зерно? Разве росток семени пробьется через пласт?

Михаил отвернул еще один пласт, отвернул другой, третий... — везде одно и то же: в глубокой борозде, как в могиле, лежат зерна, придавленные глиняной плитой.

Так вот как мы загубили навины! Дорвались до трактора и давай вгрызаться в землю.

Да, да, да. Покуда пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, только верхний слой ее подымали. А появился трактор — начали наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше. Ан нет, не лучше. Верхний слой живой у поля, почва родит, в ней сила, а под почвой-то песок-желтяк, глина мертвая. И вот мы почву-то зарыли на аршин в песок да сверху еще глиной, каменной плитой придавили. Врешь, не выскочишь!

Да, да, говорил себе Михаил, так, так мы умертвили навины.

Глубинной вспашкой. И вот когда он пожалел, что малограмотный. Вот когда вину свою почувствовал, что железного коника не оседлал! Ведь на его глазах все это делалось, на его глазах списывались навинны в залежи как нерентабельные земли, да он и сам, когда бригадиром был, требовал, чтобы их списывали — какой толк семенато зря переводить?

И еще он вспомнил сейчас, как одно время потешался над сибирским агрономом Мальцевым: тот, говорилось в статейке, чуть ли не отказался в своем колхозе от всякой вспашки полей...

Эх, темнота, темнота пекашинская! Не тебе бы зубы скалить, не тебе бы на ученых людей со своей кочки вниз смотреть!

3

Гром загрохотал, когда Михаил продирался через чащобу кустарника в Поповом ручье.

Он поднял голову кверху: самолет сверхзвуковой летит? От самолетов нынче гром с ясного неба среди бела дня. Но голубая просека над березами была удивительно чиста — ни белой ленты, которую оставляет за собой самолет, ни серебряного крестика, самого самолета.

Гром шел от гусеничного трактора, его увидел Михаил на крайке поля, когда вышел из ручья.

Поле еще не было вспахано, только один круг был сделан, надо думать, тут тракториста застало обеденное время: по часам нынче работают. Правда, на работу могут и опоздать, это за грех не считается, но что касается окончания работы, да еще работы несдельной, — тут ни одной минуты лишней, точно по графику.

Тракториста, взгромоздившегося на радиатор (лобовое стекло протирал тряпкой), Михаил узнал по волосам — таких чернющих волос, как у Виктора Нетесова, в деревне больше нет. От матери достались. Ту, бывало, все чернявкой да чернышем звали.

Виктор Нетесов был парень не из последних. Не пил (может, один-единственный в его возрасте во всем Пекашине). Ударник — все годы, как сел за руль, с красной доски не сходит. И жена — учительница. И вот такой-то парень такие номера откалывает!

— У тебя, Витька, чего с головой-то? — налетел на него Михаил. — Мозги на жаре высохли?

Виктор спокойно довел до конца протирание стекла, выключил мотор и только тогда спрыгнул на землю.

— Я говорю, с ума сошел — в такую жарину пахать? Знаешь, как это, бывало, называли? Вредительством!

— Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика.

— А это тоже приказ --- землю гробить? — Михаил здоровой рукой махнул за Попов ручей.

— Пояснее нельзя?

— Ах пояснее тебе!.. — И Михаил опять сорвался на крик: — Ты это землю пашешь але каменоломню из поля устраиваешь? Глину наверх вывернул на полметра, да ее не то что ростку — мужику ломом не пробить!

Виктор — железный мальчик — и тут не вышел из себя:

— Насчет глубины вспашки к агроному обращаться надо. Она дает команду. — Затем губы втянул в себя, одна черточка на месте рта осталась, на глаза спустил козырьки век --- весь убрался в себя. Не за что уцепиться.

— Да, с тобой, вижу, много не наговоришь. Это отец у тебя, бывало, за общее дело убивался...

Моментально разрядился — как капкан:

— Отец-то за общее дело убивался, да заодно и мать и сестру убил...

— Как это убил? Ты думаешь, нет, что говоришь, молокосос!

— Думаю. Двенадцать лет отец могилы для матери да для сестры устраивает, а я хочу не могилы для своей семьи устраивать, а жизнь.

Больше Виктор не стал терять время на разговоры. Залез в кабину, завел мотор, и огромная туча черной пыли поднялась над полем.

Михаилу вдруг пришло на ум: как же это он не спросил Виктора, подписывал ли тот письмо, что показывал ему Тюрятин?

4

А может, плюнуть на все эти навины да повернуть лыжи во свояси? Ведь все равно толку никакого не будет. Все равно глотку заткнут: не твое дело... Не имеешь права, раз не специалист...

Михаил остановился на верхней площадке крыльца, тяжело, как запаленная лошадь, вода боками — жара все еще не спала, — и выругался круто про себя: как это он не имеет права? На твоих глазах убивают человека — неужели не вступишься? А тут не человека, — жизнь в Пекашине убивают.

Таборский, увидев его в дверях, выскочил из-за стола, забил ногами от радости: надоело, видно, канцелярское томление в одиночестве.

— Заходи, заходи, Пряслин! С чем сегодня? С веткой мира или с мечом? — И захохотал сытно, румяно. — С мечом, с мечом! По глазам вижу. Даю справку: к письму механизаторов никакого отношения не имею. Я бы лично в суд на тебя подал. За отказ от выхода на пожар, чтобы подтянуть тебе подпруги. Даже прокурору звонил. В райкоме не посоветовали. Возни, говорят, много: ветеран колхозного дела...

Было время — сбивали с толку Михаила такие вот нараспашку речи, но сегодня он и ухом не повел. Разве что еще раз утвердился в своих догадках насчет того, что именно он, Таборский, приложил свою лапу к письму.

На ходу расстегивая ворот запотелой рубахи, он подошел к столу, выпил три стакана теплой, нагретой на солнце воды из графина.

— С похорон иду.

— С похорон?

— Да. Смотрел, как поля у нас хоронят.

Таборский покачал лысеющей головой.

— Так. Все ясно: народный контроль. А конкретнее?

— Конкретнее? А конкретнее караул кричать надо! С тебя, к примеру, шкуру содрать — долго протянешь? А мы что с полями делаем? Разве не ту же шкуру кажинный год с их сдираем? — И тут Михаил хватил еще один стакан тепловатой воды и понесся, как конь под гору: все выложил — и то, что только что видел в навинах, и то, что думает по этому поводу.

А Таборский? Что сделал Таборский? Кинулся в навины, чтобы немедленно остановить пахоту? В район стал названивать? Тревогу бить? Таборский сказал:

— Механизаторов, Пряслин, советую не трогать. В данный момент, когда специалисты отделения только что высказывали свои критические замечания в твой адрес, твое заявление знаешь как

можно расценивать? Подумай, подумай хорошенько. А что касается навин, не беспокойся. Партия маленько пораньше нас с тобой подумала. Слышал про постановление насчет Нечерноземной зоны? Вторая целина, миллиарды большие выделены. Так что очередь дойдет и до нас. Придет время — раскорчуем все эти навины.

— А сами-то мы будем, нет что делать? Але сложа руки будем сидеть, пока очередь дойдет до нас?

— Сами мы, Пряслин, постановления партии выполнять будем. План. А план — знаешь, что это такое? Железный закон нашей жизни...

— Да что ты мне на трибуну вылез?

— Спокойно, спокойно, Пряслин. Нервные клетки не восстанавливаются...

Михаил больше не слушал: Таборский за день не уробился — сейчас ему одно удовольствие языком почесать.

Глава десятая

1

Не мала деревня Пекашино — на три версты по горе вытянулась и народу как в Китае. Одних мужиков до четырех десятков собирается по утрам на разводе. Рублик-батюшко всему причина. Как перевели на совхозы Пинегу да стали платить северные, так и покотил мужик в деревню.

Да, народу ныне в Пекашине полно, а к кому зайти? С кем отвести душу?

Раньше бы минуты не раздумывал: к Петру Житову. Уж он, Петр Житов, рассудит все как надо, по полочкам все разложит. А теперь к Петру Житову если и можно зайти, то только с бутылкой: совсем с панталыку сбился человек.

По той же причине Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей — Аркадия Яковлева, Игната Поздеева и Филю-петуха. И с ними без бутылки не состыкуешься. Да и на хрен им сдались какие-то навины! Хлеба, что ли, в сельпо тебе не хватает, скажут?

А может, до старого дома прогуляться да с братом Петром поговорить? Грамотный, с высшим образованием — должен в политике разбираться, а потом — свой, одна кровь: без опаски, на всю катушку, как говорится, разматывайся.

Нет, сказал себе Михаил, зря ноги наминать. Как же с Петром про политику, про Россию толковать, когда Петр не может вбить в башку дорогой сестрице такого пустяка насчет дома, как суд? Ведь те скоты, ежели делу не дать законного хода, не сегодня-завтра дом на распыл пустят.

Пошел к своему соседу. Не хотелось бы мучить старика, болен Калина Иванович, редкий день «скорая помощь» из района не приходит, да ежели ему сейчас не выговориться — взорвется. Взорвется, как котел, переполненный парами: столько всякой накипи, столько всякой неразберихи скопилось в сердце.

2

Из жития Евдокии-великомученицы

У Дунаевых с ходу крыльцо не возьмешь: впокат, вперекос и ступеньки и верхний настил, так что хочешь не хочешь, а начнешь иматься руками за стену.

Но крыльцо хоть по видимости крыльцо, а про сени и того не скажешь. Пола и потолка нет. От ворот лесенка — как в яму, как в погреб спускаешься, затем доски, прямо на землю набросаны, затем опять лесенка и только после этого дверь в избу.

Яркий, ослепительный свет ударил Михайлу в глаза — вся изба была залита вечерним солнцем, — но брата Петра он увидел сразу.

Обида, гнев взыграли в нем. Он десять раз сперва подумает, прежде чем зайти к старику — болен же человек, как не понять этого! — а тут не стесняются, прут когда вздумается.

— А гостей-то, думаю, можно и побоку, раз неможем! Ты-то куда смотришь?

Евдокия — она сидела с шитьем у стола — сердито кивнула в сторону лежавшего на койке мужа:

— На его громы-то мечи! Я, что ли, всю жизнь дверь нараспашку держу?

— Гость мне не помеха, — сказал Калина Иванович и откашлялся. — У нас тут интересный разговор идет. Про жизнь в космосе, на других планетах.

— Во-во! Про жизнь в космосе, на других планетах. Очень интересно! А то, что на русской планете делается, — плевать?

Калина Иванович и Петр — оба с удивлением уставились на него, и Михаил, уже выходя из себя, закричал:

— Не ясно выражаюсь? Кустарником, говорю, все кругом заросло, людей скоро кустарник топтать будет, а Таборский мне знаешь что на это? «Береги нервные клетки, Пряслин... Постановление есть... Вторую целину подымать будем...»

— Да, я читал об этом, — сразу оживился Калина Иванович: на политику, на любимую тропу вышли. — Большая программа работ...

— Программа-то большая, я тоже читал. Да почему ей делать надо было? Да мы, бывало, в войну у Сухого болота сеяли. А я сегодня от Сухого болота до Широкого холма прошел — что видел, кроме кустов?

— Господи, нашел с кем из-за навин слезы проливать. Кой черт ему пекашинские-то навинны! Да он забыл, когда там и был. Вот кабы ты про революцию, про Китай заговорил, вот тогда бы он распелся...

— Моя жена, как всегда, меня разоблачает, — пошутил Калина Иванович.

— Да как тебя не разоблачать-то? Тебя не разоблачать да за ноги не держать — с голоду подохнешь. Ты ведь как журавей: все в небе, все в небе. На землю-то спускаешься ишь, да пить, да навоз сбросить.

На это Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия не стала дожидаться. Как танк пошла в наступление:

— Молчи, молчи! Разве неправду говорю? У тебя и отец такой был. Зря, что ли, Иванушко-шатун звали? Шатун... Всю жизнь по святым местам шатался, праведной жизни искал. Домой-то только на зиму и отъезжался. Придет, зиму отлежится, ребенка жонке задает, а чуть солнышко пригрело, снег стаял — опять в поход, опять в шатанье. Жена дура была почище меня. Я всю жизнь страдаю из-за этого лешего, по всему свету за ним таскаюсь, а та дура опять всю жизнь провожала. Со всем выводком, бывало, из дому выйдет. Да еще в брюхе ребенок, да на плече котомка... А он налегке. Идет, вышагивает с батогом, как пророк... Слова не обронит. Как же, на великое дело собрался — монастырям иду пороги обивать... А как тут будет жена с бороной малых ребят — не его дело. Нет думушки о доме. И мой такой же! Шатунова завода. Всю жизнь

у нас наперекосяк: он из дому, я в дом... — Евдокия гневыми глазами обвела старую избу. — Вишь ведь, в каких палатах на старости лет живем. А пошто? Дом никак построить? Деньгами сбиться не мог, ребята малы одолели? Да после гражданской все льготы, все послабленья красным партизанам. Лес руби самолучший. Задаром. Стройся, живи как душеньке угодно. Твоя власть, твое время пришло. Люди-то — пройди-ко по деревням — дворцы, а не дома строили. А моему разве до дому? Говорю, отец шатуном всю жизнь прожил и сын на ту же меть...

— Да, я за свой дом не держался, — сказал Калина Иванович. — Мне вся страна домом была.

— Слышали, слышали? Вся страна ему домом... А живешь-то ты где? Где спишь, ночуешь, от дождя, от снега укрываешься? Во всей стране?.. Ох и поносило же нас, помытарило по этой стране! И где мы только не были, чего не видали, чего не делали! Трактора строили, советскую власть киргизцам подымали, капиталистов-сволочей улещали, с клопами насмерть воевали...

— С клопами? — недоверчиво переспросил Петр и посмотрел на Михаила.

— А как ты думал? Раз социализм строим — и клопов нема? — Михаил рассмеялся: он все-таки успокоился к этому времени. Его всегда как-то успокаивала своими рассказами Евдокия.

— Ох, этих клопов что тогда было — жуты! Кабы в бараках там, на вокзалах — ладно. В вагонах клопы. Мы с Архангельска до Сталинграда месяц попадали — вот как тогда по железным-то дорогам было ездить — загрызли клопы. Ничего, думаем, нам бы до места добраться, а там отстанут, дьяволы, отдохнем...

Михаил кивнул в сторону Петра:

— Ты объясни ему, зачем вы в Сталинград-то поехали.

— Трактора строить, сицилизм. Я — из коммуну выползли, поедем домой, Калина. Сколько еще будем маяться на чужой стороне? А он — в газетах вычитал, всю жизнь по газете живет: «На самый ударный фронт поедем. Трактора строить». А какие от нас трактора? Я неграмотная, он железа, кроме ружья, в жизни в руках не держал. Трактора-то строить не команды подавать. Вот и бери лопату да корыми клопов в барак. Ох, сколько клопов тогда этих было, дак и страхи страшные. Вологодские, архангельские, сибирские, от киргизцев... Со всех сторон люди съехались. Я уж об себе не думаю: жорите, паразиты, стерплю, да, думаю, я ребенка-то нарушу. За ночь-то на стенах набьют-надавят — ручьями кровь. Красные стены-то.

Я своему скажу: клопа надо изводить, другим скажу — только ухмыляются. Смешно. Что ты, баба глупая, мы жизнь переворачиваем, землю вверх ногами ставим, а ты о каких-то клопах. Ударный труд у нас... А я вижу: люди умаются за ночь — на ходу спят. Как мухи сонные днем-то ходят. Да какой же от них ударный труд? Того и гляди в машину попадут. Ладно, однежды с утра кипятку нагрела, все на улицу высвистала — топчаны, тюфяки, лопотину, котомки — все, ничего не оставила. И людей высвистала. Кого сонного, после смены спал, прямо на руках вынесли. Ладно. Двух самых здоровых мужиков в двери поставила (хорошие ребята, один — Ломиком звали, из-под Саратова, другой Ваня, Масляк прозвище, вологодский) — никому ходу. А сама с тремя бабами давай шпарить да чистить барак. Вычистили. Вход в рай по билетам: покуда в баню не сходишь да штаны, лопотину не выжаришь, хоть на улице ночуй. У меня бунт. Какое право имеешь? Вредительство! Началь-

ство прибежало: темпы нам, ударный труд срываешь! Не пуцать, Ломик! Насмерть стоять!

А через день меня на самые верха, к самому главному начальству: «Спасибо, товарищ Дунаева, за ударный труд». Да, сам Косарев руку жмет. Вы, поди, и не слыхали про такого? Всем комсомолом командовал, по всей стране. Вот вам и темная Дунька. «Покуда, говорит, с клопами не покончим, не будет тракторов». Верно, оказывается, Дунька-то за чистоту взялась. А то ведь ударный труд, ударный труд — люди по неделе в бане не бывали. Непкогда. Время жалко... Буржуазная зараза — чистота. Да. А иные сицилизм строить собрались — о горяшко горькое, и бани-то в своей жизни не видали. Не понимали, что и в бане мыться надо. Съехались со всех концов, со всех берлог — как тут не клопы! Одежда общая. Я из коммуны уезжала, а куда приехала? Опять в коммуну. Опять штаны снимай да товарищу отдай. Так ведь тогда жили. Ну дак после этой бани было радости в бараке. Как дети малые, люди-то! Самой-то любо на них посмотреть. Один казах, Ахметкой звали, — и смех и горе. Понравилось в бане мыться — каждый день дай талон. А какие талоны, когда весь завод через баню пропустить заданье дадено? Да к хитрю опять, на отбой: нельзя, говорю, каждый день в бане мыться. Кожу смоешь, волосы выпадут.

Ладно, Косарев смеется: «Теперь на какой прорыв кинем? На питание?» А питание — вредительство одно, суп — вода с сеном. Кабы не тогдашняя сознательность да люди на пятилетке не были помешаны — близко к столовке не подошел бы. Ладно, говорю, хоть на питание. Всяко, говорю, хуже того, что есть, не будет. А Орджоникидзе, вот каких я людей знавала, как раз о ту пору в кабинет вошел: «У меня, говорит, для товарища Дунаевой поважнее участок имеется». Какой? А буржуев холить да ублажать, грязь изпод их выгребать...

Михаил захохотал:

— Ничего себе участочек, а?

— Да, в доме специалистов чистоту наводить, тряпкой да вехтем орудовать. Специалисты — мериканцы да немцы, трактора учить делать выписаны. За большие деньги. Я на дыбы. Нет, нет, озолотите, не буду! Для того, говорю, буржуев своих свергали да революцию делали, чтобы чужих холить да ублажать. «Надо, говорит. Эти буржуи, говорит, нам сицилизм строить помогают, и вы, говорит, должны за има ухаживать». Пошла. Как не пойдешь, когда партия говорит: надо. Господи, каких-то сто метров прошла — на тот свет попала. Да! Живут чисто, все блестит, ковры везде, а еды-то всякой — завались. Я в жизни ничего такого не видала. Мне пихают консервные банки, хлеб белый, зубы скалят: «Раш голод... раш коммуна...» А идите вы к дьяволу! В жизни никогда не кусочничала, а тут буду побираться. А потом, чего, думаю, сдеется, ежели я немного подкормлю своих. У меня ребенок чахнет, сам весь черный как холера. Не больно на столовских-то харчах разбежишься, говорю, суп — сено с водой. Да у него еще красная питимья...

— Питимья? — Михаил не понял.

— Питимья. Как в монастырях раньше было. Добровольное мученье на себя наложил. За то, что проштрафился — руку не ту на собранье поднял...

Калина Иванович, смущенно улыбаясь, пояснил:

— Я уже говорил, по-моему, вышла у меня осечка, проголосовал не за то...

— Поняли, как все просто? Осечка. А у нас из-за этой осечки половину жизни унесло. Ладно, все пережито, все травой

заросло, а я, как про тот белый хлеб да про гуляш вспомню, — теперь слезами обольюсь. Я унижалась, от всей души старалась — думаешь, легко мне было с буржуйского-то стола взять? Да ради ребенка да отца чего не сделаешь? Ладно, принесла. Хлеб белый — я такого больше и не видала никогда, гуляш из мяска самолучшего — ох, вкуснота! А он глазищами уперся в газету, чего жует-ест, все равно. Сицилизм на уме, и мать, и жена, и еда — все побоку. Да ты, говорю, посмотри, чего ешь-то. Посмотрел. «А, такая-сякая, меня буржуйской отравой кормить!» Ногами стоптал, тарелка на пол, хлеб на пол. Ребенок в слезы: не смей и ребенок исты!

— Трудно теперь это понять, — сказал Калина Иванович.

— А-а, трудно!.. Ох, да голод-то бы уж ладно, не мы одни тогда голодали; да как супротив дунаевского-то шатанья бороться? Ведь мы только-только начали на заводе устраиваться, комнатку каку-никаку дали, барахлишком обзаводиться стали, стол завели — нет, не сидится на одном месте. Жизнь ему не в жизнь, коли все ладно да хорошо. «Поедем, Дуня, киргизцам советскую власть ставить».

Петр удивленно повел глазами:

— В тридцатые годы советскую власть ставить?

— Ну! На самой на границе. Басмачи лютовали — беда. Все — день, солнышко шпарит-жарит, и без того жизни нету, по целым часам в землянке глиняной спасаешься, да вдруг они. Ох! Как обвал каменный — с горы-то падут. На конях, сабли сверкают. А лютости-то, зверства-то сколько! Своих, черноволосых, и тех не пощадят, а уж нашего-то брата, русского, всех подчистую, да мало того что посекут, поубивают, еще изгиляться всяко, с живого ремни вырежут.. Да... «Поедем, Дуня, советскую власть ставить». Не навоевался в гражданскую, опять руки зачесались. Облатко сманил. Такой же шатун был, как мой. Да еще и почище, может. Ох коммунист был! В котловане землекопом работал: ладно, Облат, сколько можешь, столько и ладно, непривычна твоя нация насчет лопаты. Глазищами черными засверкает — сгрызть готов. Не по ему такие слова. Во вторую смену останется, а задание сделает. И все с моим, все возле моего: «Моя русский язык хочет... Моя жизнь новый хочет...» И вдруг однежды видим... Облат расчет берет. Что такое? Куда собрался? Домой. Письмо из дому получил — председателя сельсовета басмачи убили, советскую власть порушили. Мой ночь не спал — забурилась, заходила шатуновская закваска, а наутро: «Поедем, Дуня... младшему брату помогать...»

— Да, я считал, что братская помощь — это первейший долг, — подал голос Калина Иванович.

— Черта ты считал! Бродяга потому что, шатун. Завод пущен, жизнь налаживаться стала, работать надо, жить надо — да разве это по тебе? Я десять ден не просыхала, по железной дороге ехали, а там жара зачалась — и плакать нечем, все слезы выгорели. Да, вот куда он нас завез. На край света, в пески раскаленные. Животину и ту скорезило, вот такие горбыли у верблюда, а человеку как в таком аду жить? Я сперва долго не понимала: чего, думаю, у людей глаза не как у нас — одни щелины? А потом, как в пески-то попала сама, в эти бури-то песчаные, поняла. С чего же тут глаза будут, когда все вприжмур, все сквозь щель смотришь... О, думаю, мы-то и подохнем — ладно, а ребенок-то за что такие муки должен принимать? Беда, беда. Губы запеклись, кора на губах нарастет вот такая, как у сосны, надо бы какое слово Фельке сказать, ребенок малый, а у матери и язык не ворочается. Дак я как немая, только руками к себе прижимаю с тобой, Фелька, с тобой, не даст ма-

терь тебе пропасть. А ночи-то в пустыне ночевать! Облат да отец как на песок пали, так и захрапели, а я всю ноченьку глаза нараспашку. Пауки всяки ползают, змеи. Так и шипят, так и трещит все кругом. А афганец-то, ветер-то тамошний! Раз, кажись, это уж в поселке было, на границе, все крыши подняло. Листы-то железные в воздухе летают, как мухи. А в пустыне-то эти ветра! Так засыплет, так залижет песком-то — на завтра едва и откашляешься.

Месяц пять ден мы попадали. На верблюдах, на лошадях, так. Все высохли, все выгорели, как шкилеты стали... Бедный, бедный Облат... Хошь не наша нация, хошь завез нас на край света, а слова худого не скажу. Коммунист! Ох какой коммунист! В песках, бывало, ночь застанет: «Я, моя... моя у себя дома...» Ватник мне сует: сына, сына накрой. Что ты, Облатко, с ума сошел! Ночью в пустыне стужа, зуб на зуб не попадает, ты ведь тоже не железный. Нет, бери ватник. Сам замерзаю, а ребенок чтобы был в тепле. Да-а... Але насчет там еды — последнюю крошку отдаст. «Моя сыта, моя сыта... Моя дома...» Дома... Вылезаем на другой день из землянки: Облат — одна голова...

— Чего — одна голова? — переспросил Михаил. Он-то уже знал про страшный конец Облата, а Петр-то первый раз слышит эту историю.

— Убили, звери. Голову человеку отрубили. А мы с дороги спали как убитые, ничего и не знаем. Да. Приехали в темноте, нас в землянку завел: спите, отдыхайте с дороги. Моя дома, моя к своим пойдет... Вот и к своим. Сколько потом тело искали, не нашли, так одну голову и похоронили. Я обеима руками мужика обхватила: не пуцу! Давай обратно, покуда живы! Малому ребенку ясно: предупреденье. Убирайтесь, откуда пришли! А то и вам секир башка. Глазищами заводил: «Не смей, такая-раздакая, позорить меня! Умру, а отомщу за Облата». И вот где ум у человека? Из конца в конец поселка прошел, в каждую землянку, в каждый дом стучится: выходите! Брат ваш врагом убит. А братья и не думают выходить. Что ты, они так запуганы этими басмачами — на глаза показаться не смеют. Только уж когда пограничники приехали, человек пять вышло... Да, вот в какие мы ужасы заехали. Я, три года жили, ночи ни одной не спала. Все прислушиваюсь, все думаю: вот, вот вьются, шаги учую. И сам не расставался с наганом. Спать ложимся, о чем первая забота? Где наган. Да, сперва оружие, а потом подушка, одеяло. Вот какая у нас жизнь была. А чего наган? На краю поселка жили — долго ли головы снести? Але сколько у меня переживаний было, когда он на стройку свою уйдет? Клуб первым делом решили делать, красный храм воздвигать. Не знаю, не знаю, как живы остались. Три года в обнимку со смертью жили. Абдулла, председатель сельсовета, бывало, смеется: «Шибко, шибко храбрый Калина! От храбрости пули отскакивают». А то опять начнет молоть, когда кумыса своего налакает: «Тебя, Дунька, любим». Да, мой-от потаскун едва не продал меня этому Абдулле. Да!

— Моя жена не может без концертов.

— Концерты? — Евдокия вскочила, грохнула по столу. — Это я-то говорю концерты? Я-то — концерты? Две старухи, Абдулловы жены, приходили: пойдём к нам третьей женой, красоваться будешь. А сам-то Абдулла как кумыса накачается да котел плова ввалит в себя — барана целого с рисом — и почнет языком прищелкивать: «Ай Дунька! Карош Дунька! Пойдем ко мне в жены». У них ведь запросто: одна жена але десять, лишь бы ты прокормил. А мой — ладно. Моему так и надо: Абдулла девку свою взамен дает...

— Абдулла Казыбеков действительно иногда любил подзадо- рить жену. Мол, ты за меня пойдешь замуж, а я за твоего мужа дочь отдам. Веселый был человек.

— Очень веселый. И девка у него веселая. Четырнадцать-то лет, не знаю, было, нет, а такая шельма — так и стрижет глазищами, так и стрижет. А мой и рад: всю жизнь штанами тряс, ни одной юбки не пропустил, а тут молодая гадюка из чужих наций — интересно... Ох, чего было, что пережито, теперь и не вспомнишь. Про одну до- рогу, как обратно в Россию попадали, день рассказывать надо. А на Магнитке-то как жили? Его ведь от киргизцев-то куда понесло? На Урал. На Магнитку. «Там самый ударный труд теперь, Дуня». А на Магнитке два года прожили, начали только корешки выпускать — опять в поход. Опять поедем, Дуня. На север, в Карелию. В какой-то газете вычитал — вишь, ничего нет сейчас важнее удобрений, иначе не исть нам досыта хлеба. Ну тут уж я гириями на плечах не висела: в Карелию дак в Карелию, все ближе к дому. Страсть как надоело на чужой стороне. К Вологде-то стали подъезжать, я глаз из окошка не вымаю. Наши, северные дома-то. Люди-то наши, говоря-то наша. И ехать бы, ехать бы нам напрямки, без всякой остановки, сгинуть бы, захорониться до поры до времени в этой самой Карелии — ма- ло там лесов, гор, дак нет, сам, своей охотой полез в капкан...

Михаил знал, о чем сейчас заговорит Евдокия — о том, как Калина Иванович, узнав в Вологде об аресте своих боевых товари- щей, кинулся на их выручку в Архангельск. И все равно к горлу подкатило — дышать нечем.

— Да, смерть по земле ходит, все затаились, запрятались по норам, по щелям — пронеси, господи, мимо меня. А у нас сам на ро- жон полез: неправильно арестовали. А-а, неправильно? Ну дак полу- чай свое, поучись уму-разуму.

Евдокия заплакала.

Михаил ждал: вот-вот заговорит Калина Иванович. Старик ни- когда не оставлял без своих объяснений такие речи жены. Но Ка- лина Иванович молчал.

Красный вечерний свет заливал тесную горенку. Красным ог- нем пылала белая подушка, на которой лежала старая голова с за- крытыми глазами, а слова не было. И Михаил впервые вдруг тоскли- во подумал: недолго заживется на этом свете Калина Иванович.

3

Они вышли на улицу вдвоем.

— Ну, слышал про жите Евдокии-великомученицы?.. — с де- ланной улыбкой заговорил Михаил. — Вот сколько она на своем веку хлебнула! Дак ведь это ковш из бочки — то, что она рассказала. Я иной раз скажу: с умом надо было замуж выходить, Дусенька! Вышла бы, к примеру, за такого навозного жука, как я, всю жизнь бы красовалась да во спокойе жила. Дак знаешь она что? Как почнет- почнет чесать меня — на себя смотреть тошно. Такой букашкой вдруг сам себе покажешься. А чего? Что бы она без Калины-то Ивановича? Да ей с Калиной-то Ивановичем свет открылся, на какие моря-ветры вынесло...

Михаил ждал: вот-вот заговорит Петр, прояснит, найдет нужные слова тому большому и важному, что смутно и неопределенно бро- дило, ворочалось в нем в эту минуту, — ученый же человек! Но Петр молчал, и он вдруг заорал как под ножом:

— А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? Ждешь, когда Паха за него примется? Ну да... Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой

дом. А между прочим, Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили...

Он махнул рукой — бесполезно сейчас с Петром говорить о ставровском доме. Не домом у него голова занята. Да он ведь и сам в эту минуту меньше всего думал о ставровском доме.

Глава одиннадцатая

1

Первые позывные с зареченских болот донеслись 12 августа, ровно через месяц после того, как они с Григорием приехали в Пешакино, а еще через неделю утром, когда Петр поднялся с топором на дом, он увидел и самих журавлей — семейную пару с двумя сеголетками...

У журавлей шло ученье. Неторопливо, деловито ходили над Пинегой, над выкошенными лугами — вразброс, клином, цепочкой, и Петр, глядя на них из-под ладони, позавидовал им. Все у них просто и ясно, у этих журавлей. Обучили молодежь, обговорили, обсудили на своих общих собраниях, когда и как лететь, — и в путь. А ему что делать? Ему как быть?..

Отпуск на исходе, две недели осталось, а старый дом в развале, под крышу еще не подведен; со ставровским домом все та же неразбериха, заколодило — ни взад, ни вперед, страшно подумать, что тут будет с сестрой без него; Михаил осатанел — слова доброго не услышишь, все в крик, все в рев, а хуже всего — с Григорием...

Все давным-давно было решено, обговорено на семейном совете: Григорий останется с Лизой. Потому что какое житье больному человеку в городе? Целыми днями один взаперти, в клетушке каменной — да от такой жизни здоровый взвоят, а тут сестра, брат, близнята, родная деревня... Одним словом, жизнь. И надо сказать, сам Григорий больше всех радовался такому повороту дела. Но радовался только на первых порах. А потом, как заговорили в доме об его, Петра, отъезде, и заканючил, заскулил: не могу без брата Пети. С ним хочу, с Петей, иначе с тоски помру...

Конечно, ничего такого на самом-то деле Григорий не говорил, да разве это лучше — таять и сохнуть на глазах? И потом, что это еще за мода такая — глаз с брата не спускать? За столом глянешь — на тебя смотрит, на дому работаешь — смотрит, и сейчас, если глянуть на землю, — Петр был уверен в этом — не на журавлей в небе смотрит Григорий, не на двойнят, которые копошатся возле него, а на него, на Петра...

Он взялся за топор. Красиво, вольготно летают журавли, глаз бы от них не отвел, но кто будет за него махать топором? Вряд ли ему за оставшееся время удастся привести в полный порядок старый дом, но крышу поставить он обязан.

2

О приходе Лизы с телятника Петр догадался еще до того, как глянул на землю: весь день не слышно было близнят в заулке, а тут всполошились вдруг, как утята на озере.

Первым делом, конечно, Лиза взяла на руки их, своих ревунов, иначе житья никому не будет, перекинулась словечком с Григорием — тот так весь и просиял — и только потом закивала Петру:

— Ну как поробилось сегодня?

— Да ничего!

Петр быстро слез с дома. Он любил эти первые минуты встречи с сестрой по вечерам, любил ее не очень веселое, но улыбающееся лицо, ибо с некоторых пор Лиза — и об этом она просказалась как-то сама — положила себе за правило: без улыбки домой не приходить.

Но сегодня, похоже, она и в самом деле чем-то была неподдельно обрадована. Во всяком случае, Петр давно не видел, чтобы у нее так ярко, так зелено блестели глаза.

Все разъяснилось, когда сели за стол.

— А я, знаете, что надумала своей глупой-то головой? — заговорила Лиза и вдруг зажмурилась: самой страшно стало.

— Ну! — подстегнул Петр.

— А уж не знаю, как и сказать, ребята. К Пахе на поклон идти надумала. Чего ему дом-то разорять? Пушай берет боковуху, раз у его тот деньги забрал. — «Тот» — это Егорша, иначе его Лиза не называла.

— А ты?

— А чего я? Без крыши над головой не останусь. — Лиза кивнула на старый дом. — Вон ведь ты какой дворец отгрохал. Да его не то что на мой век хватит — ребятам моим останется. А покамест я и у Семеновны в доме поживу — все равно также пустой стоит.

Григорий согласно закивал — для этого все хорошо, что бы ни сказала и ни сделала Лиза.

— Я уж и так и эдак, ребята, прикидывала, ночи ни одной не сыпала — все об этом доме думушка, ну все худо, все не так. Господи, да помру я, что ли, без дома! Мне само главное — чтобы дом целехонек был, чтобы память о тате на земле стояла. Верно, Петя, я говорю?

Вот теперь Петр понял все. Понял — и такое вдруг ожесточение охватило его, что он взмок с головы до ног. Ну почему, почему она всегда уступает, жертвует собой? Отдать свой дом каким-то подлецам просто так, за здорово живешь... Да что же это такое? А с другой стороны, он и понимал свою сестру. Можно отсудить дом. Все можно сделать, на все есть законы — и Нюрку Яковлеву с Борькой из дому выгнать и Егоршу обуздать. Да только она-то, сестра, живет по другим законам — по законам своей совести...

— Ну, достанется же нам опять от Михаила! — сказал Петр.

— А я уж подумала об этом, Петя. Ну только что мне с собой поделывать? Не могу же я с тем судиться?

— Ну правильно, правильно! — живо поддержал сестру Петр. Ибо как бы там ни бесился Михаил, а самочувствие сестры ему было дороже всякого дома.

3

Сколько дней она не хаживала по деревне, сколько дней бегала задворками, не смея взглянуть людям в глаза? Полторы недели? Две? А ей казалось, целая вечность прошла с того часа, как она, наскоро поскидав на Родькину машину самые нужные вещишки и одежонку, выехала из ставровского дома. Зато теперь, когда она знала, что ей делать, она больше не таилась. Среди бела дня шла по Пекашину.

Жарко и знойно было по-прежнему. Кострищами полыхали окна на солнце, душно пахло раскаленной краской. Все под краску теперь берут: обшивку дома, крыльцо, веранду, оградку палисадника, культурно, говорят, жить надо, по-городскому. А она кистью не притронулась к ставровскому дому. Все оставила, как было при

Степане Андреяновиче и снаружи и внутри. Чтобы не только вид — запах у дома оставался прежний. И тут ее прошибло слезой — до того она истосковалась по дому, по своей избе, по всему тому, что свыше двадцати лет служило ей верой и правдой.

Она выбежала на угорышек у нового клуба, привстала на носки — и вот он, дом-богатырь: за версту видно деревянного коня.

И она с жадностью смотрела на этого чудо-коня, летящего в синем небе, ласкала глазами крутую серебряную крышу, зеленую макушку старой лиственницы и шептала:

— Приду, сегодня же приду к вам. Вот только схожу к Пахе и приду...

Паха Баландин со своей семьей чаевничал. Семья у него немалая. Пять сыновей при себе да два сына в армии. Самому малому, сидевшему на коленях у отца, не было, наверно, еще и года, а у Катерины, как отметила сейчас про себя Лиза, уже опять накат под грудями.

— Садись с нами чай пить, — по деревенскому обычаю пригласила хозяйка гостью к столу.

— Нет, нет, Катерина Федосеевна. Мне бы Павла Матвеевича. С Павлом Матвеевичем хочу пошептаться.

— Пошептаться? — Паха широко оскалил крепкие зубы с красными мясистыми деснами. — А Павел-то Матвеевич захочет с тобой шептаться?

— А не захочет шептаться, можно и собрание открыть. У меня от жены секретов нету. — И тут Лиза выхватила из-под кофты бутылку белой — нарочно прихватила в сельпо, чтобы Паха податливее был, — поставила на стол.

Паха завывобенивался: один не пью, — и Лиза — дьявол с тобой! — осушила целую стопку.

Осушила и больше хитрить не стала — пошла напролом:

— Сколько ты, Павел Матвеевич, за верхнюю-то избу тому выложил?

— Кому тому? Суханову? А тебе какое дело?

— Дело, раз спрашиваю. Хочу деньги тебе вернуть. — Лиза и на это решилась. Есть у нее на книжке пятьсот рублей, за корову когда-то выручила — неужели ради дома пожалеет?

Паха захохотал:

— Не ерунди ерундистику-то! Ротшильд я, что ли, деньгами-то играть?

— Ладно, — сказала Лиза, не очень рассчитывавшая на такой исход, — раз совести нету, бери боковуху.

— Боковуху? Это твое-то гнилье? Ха-ха! А ты, значит, барыней в перед? Ловко!

— Да ведь дом-то мой! Я и так себя пополам режу. А ты сидишь-расхохатываешь...

Глазом не моргнул Паха. Хлопнул еще полнехонький стакан ейного вина, обвел хмельным взглядом притихших за столом ребят:

— Глупая баба! У меня на плане-то знаешь что? Проспект Баландиных. Каждому сыну дом поставить. Да! В деревне хочу деревню сделать. Чтобы Баландины — на веки вечные! Понятно тебе, нет, для чего живу?

Захлопала, заширкала носом Катерина. Возражать мужу не осмелилась, но и разбойничать с ним заодно не хотела. А вслед за матерью заплакали и ребята.

Она не пошла к ставровскому дому. Сил не было глянуть в глаза окошкам, встретиться взглядом с крыльцом, с конем, которых она предала. Но и домой к своим братьям и детям ей тоже сейчас ходу не было. Не совладеет с собой, разревется — что будет с Григорием?

Спустилась под угор, побрела к реке. Старая Семеновна все, бывало, в молодости ходила на реку смывать тоску-печаль (неудачный мужичонка достался) — может, и ей попробовать? Может, и ей полегче станет?

Вслед ей с горы тоскливо, с укором смотрел деревянный конь — она спиной чувствовала его взгляд, — старая лиственница причитала и окала по-бабьи, баня и амбар протягивали к ней свои старые руки... Все, все осуждали ее. И она тоже осуждала себя. Осуждала за горячность, за взбрык, за то, что так безрассудно бросила дом: ведь потерпи она какую-то неделю да прояви твердость — может, и опомнилась бы Нюрка, сама забила отбой.

Вертявая, натоптанная еще Степаном Андреяновичем и Макаровой дорожка вывела ее к прибрежному ивняку. На время перестало палить солнце — как лес разросся ивняк, — а потом она вышла на увал, и опять жара, опять зной.

И она стояла на этом открытом увале, смотрела на реку и глазам своим не верила: где река? где Пинега?

Засыпало, завалило песком-желтяком, воды — блестящая полоска под тем берегом...

Долго добиралась Лиза до воды, долго месила ногами раскаленные россыпи песков, а когда добралась, пришлось руками разгребать зеленую тину, чтобы сполоснуть загорелое лицо.

Она села на серый раскаленный камень и заплакала.

Каждую весну, каждое лето миллионы бревен сбрасывают в реку. Тащи, волоки, такая-разедакая, к устью, к запани, к буксирам. А силы? Какие у реки силы? Откуда, от кого подмога? От малых речек, от ручьев? Да они сами давно пересохли — все леса на берегах вырублены. Вот и мытарят, вот и мучат все лето бедную. Пехом пропихивают каждое бревно, волоком, лошадьми, тракторами. Боны-отводы в пологих берегах и на перекатах ставят, а там, где боны, там и юрово, там и крутоверть песчаная...

Ни одна рыбешка не выиграла в реке. И Лиза подумала: да есть ли в ней она вообще? Может, вымерла, передохла вся?

Вдруг гром, грохот расколол сонную речную тишь, каменным обвалом обрушился на нее: офимья, или амфибия по-ученому, почтовый катер-вездеход, похожий на ярко раскрашенную лягушку. Вынырнул из-за мыса, вмиг взбуровил, взбунтовал воду у ног Лизы — возле самого берега, чуть ли не по суше проскакал. Высунувшийся из окошка молодой паренек со светлыми, распластанными по ветру волосами помахал ей рукой, оскалил зубы в улыбке: рад, доволен дурачок. А чему радоваться-то? Из-за чего скалить зубы? Из-за того, что реку замучили, загубили?

Ей было чем вспомнить Пинегу. Она-то на своем веку испила из нее радости, пользовалась от ее щедрот и милостей, в самые тяжкие дни шла к ней на выручку.

Бывало, в войну ребята приступом приступят: дай исть, дай исть! — хоть с ума сходи. А пойдете-ко на реку! Мы ведь сегодня еще у реки не были...

И вот забывался на какое-то время голод, снова зверята становились детьми. А потом, когда подросли немного близнята. Петька

и Гришка, Пинега стала для них второй Звездоней: с весны до поздней осени кормила рыбешкой, да еще и на зиму иной раз сушья оставалось.

Мать, мать родная была для нас Пинега, думала Лиза, а кем-то она станет для ее детей, для Михаила и Надежды?

Глава двенадцатая

1

Черно-пестрая Звездоня, весело блестя на утреннем солнце круглыми гладкими боками, выкатила из красных ворот, встала посреди дороги и давай трубить в свою трубу.

— Иди, иди, глупая! Кто тебе откликнется? Во всем околотке ты, да я, да мы с тобой...

И вот так одна-одинешенька и поплелась в поскотину.

Прошла одно печище, говоря по-старому, прошла другое и только у Мининых обзавелась товаркой — комолой малорослой Малешей. Потом через несколько домов выпустили еще одну коровенку от Васьки-лесника — Красулю, или Полубарыню, как ее больше зовут в Пекашине, по прозвищу хозяина, потом братья Яковлевы, рабочие с подсочки, сразу две головы подкинули, потом была Пловчиха Лобановых (в Водянах куплена, где все коровы плавают, как утки), а всего к концу деревни собралось четырнадцать буренок. Четырнадцать буренок на деревню в двести пятьдесят дворов! А ведь еще каких-нибудь лет десять назад в сто с лишним голов стадо было. По деревне идет-топает — праздник, стекла в окнах дрожат. А рыку-то сколько, музыки-то коровьей!

Михаил не стал спускаться к Синельге. Пристроился к обвалившейся изгороди у спуска с пекашинской горы, неподалеку от заколоченного дома Варвары, и долго провожал глазами красное облако пыли, в котором взблескивали то рога, то копыта. Снова отчетливо разглядел свою корову, когда стадо перевалило через Синельгу.

В память той незабвенной кормилицы, которая выручала пряслинскую семью всю войну, Михаил всех своих коров называл Звездонями, хотя ни одна из них не походила характером на ту, военную Звездоню. Та, бывало, проводи ее хозяин до поскотины, глотку бы надорвала от своей коровьей благодарности, а эта не то что мыкнуть — головы не соизволила повернуть на прощанье.

Да, подумал он с ухмылкой, в войну и коровы-то сознательнее были...

Все-таки убей его бог, если он что-нибудь понимал в этой коровьей политике. Всю жизнь, сколько он себя помнит, войной шли на корову колхозника. Налогами душили — отдай задарма триста пятьдесят литров молока, — покосов не давали, контрабандой по ночам траву таскали. Частная собственность! Зараза и отравы...

Нет, извините, только дураки с портфелями так думают. А партия прямо сказала: не помешает лишняя корова, лишняя овца. Заводи. И насчет кормов никаких препятствий нету.

И тут Михаил по привычке мысленно заспорил уже с местными умниками. Прошлой осенью, когда Виктор Нетесов повез свою коровенку в район в госзакуп, он, Михаил, и спроси:

— А как же ты, Витя, без молока-то будешь? У тебя ведь как-никак двое под стол ходят.

— Это с чего же я без молока буду? — кивнул на совхозный коровник. — А там рогатки для чего?

— Да ведь те рогатки, парень, испокон веку на государство работают.

— Ничего, ежели надо, чтобы я на земле работал, будут и на меня работать.

И верно, разрешили теперь продажу молока для совхозников. По утрам вся деревня со светлыми ведерками к сельпо стекается. И час и два стоят, до тех пор, пока молоко не привезут. А молока нету, и на работу не спешат. Вот какие времена настали в Пекашине.

А может, так и надо, подумал Михаил. Конечно, покупное молоко против своего вода, да ведь корова — это каторга. Все лето только и забот, только и хлопот что о сене. Такие старорежимные ослы, как он, тянут еще по привычке этот воз, а разве нынешняя молодежь, все эти механизаторы будут с коровой возиться? Тот же Виктор Нетесов как живет? По-городскому. Сколько положено часов по закону, отработает на совхозной работе, а дальше извините — знать ничего не хочу.

2

Торопиться домой было не к чему: не все ли равно, где и как время убивать? Да и Раиса еще на работу не ушла. А раз не ушла — опять руготня. Это уж обязательно. Давно прошли те золотые денечки, когда Раиса и на работу провожала его в обнимку и с работы встречала в обнимку.

Михаил порысил в кузницу: еще в мае заказаны Зотьке скобы для дровяника (верхняя обвязка у столбов сдала) — сколько будет копаться?

Старой кузницы, кривобокого, наполовину вросшего в землю сараишка с черными обгорелыми стенами, в котором они когда-то с покойным Николашей из разного хлама собирали сенокосилку, давно уже нет. Вместо нее — дворец. Толстые кирпичные опоры по углам, электричество — не надо надрываться, вручную мехи качать, только кнопку нажимай, уголь каменный вместо древесного... Все новое.

Но и порядки тоже новые. Бывало, в старенькой колхозной кузне самый-пресамый азарт в это время. Кузнец за ночь силенок поднакопил — просто пляшет вокруг наковальни. А нынче вокруг чего пляшет Зотька? Вокруг бутылки. Очередную совхозную годовщину справляет.

Три года назад не подумали хорошенько, объявили совхозы в самое страдное время — думали, трудовой подъем будет, кормов с радости нароют горы. А люди с радости за бутылку. Неделю обмывали, как выразился Петр Житов, «переход на высший этап» да неделю свою домашнюю канцелярию в порядок приводили. Потому что совхоз — это не только денежка в лапу, но и пенсия. А пенсия — это справки, куча бумаг и бумажек, где и когда работал. В общем, в ближайшую весну пятнадцати коров из-за бескормья недосчитались — вот во что обошелся «переход на высший этап» для Пекашина.

Михаил пошел на развод. Каждое утро, как вернулся из больницы, беспокойно себя спрашивал: чего же ему не хватает? Почему все кажется, что что-то забыл, не сделал самого главного? И вот сейчас вдруг понял: развода не хватает. Людей.

Быстро привились у них эти разводы, эти ежедневные сходки перед работой. Пока то да се, пока сборы да разборки, пока каждому наряд дадут, всего наслушаешься, все самые последние пекашинские новости узнаешь.

Михаил попервости начертился напрямик: метров сто от кузницы до зернотока, где летом бывают разводы,— но пришлось сразу же выбираться на дорогу. Легче зимой по целине, по снегу протопать, чем сейчас по песку, размолотому машинами: пыли — как на Луне. Даже постройки обросли пылью, как мохом.

Страсть сколько наворочено этих построек в Пекашине за последние годы. Бывало, на задворках напротив маслозавода что было? Коровник возле болота, конюшня, бывшее гумно, сколь-то банек по-черному, а остальное — песчаный пустырь, пекашинская Сахара, как говорит Петр Житов. Место, где зимой объезжают молодых лошадей.

Теперь на пустыре с лошадаками не порезвишься. Пилорама, мельница, электростанция, всякие мастерские, гаражи, зерносушилка, склады — не пересчитать всего, что понастроено. И это, конечно, хорошо — какой дом без хозяйственных построек! Да только вот чего Михаил никак не может взять в толк: совхоз-то убыточный! В прошлом году государственная дотация составила двести пятьдесят тысяч. Два с половиной миллиона по-старому.

Таборскому весело:

— Не переживай! Слышал насчет планово-убыточных предприятий? Ну дак мы в этот разряд зачислены. А чего ты хочешь? Первые шаги совхоз делает. Так что по закону, не контрабандой живем.

Ладно, по закону, не контрабандой. Но ведь не можем же мы все время на иждивении у государства быть!

3

Не густо было под навесом у зернотока: два старика пенсионера да три пенсионерки. Эти по колхозной привычке приперлись ни свет ни заря — с малых лет в башку вбито: страдный день зиму кормит.

Илья Нетесов, как всегда, пришел во всеоружии — топор, вилы, грабли: на любую работу посылай. И допотопная Парасковья-пятница с граблишками. Только зря они, и Илья и Парасковья, наминают старые ноги. Нет для них теперь работы. На дальние покосы ехать сами по себе, то есть единоличниками, как это сейчас принято, не могут, а в мехзвено, где трактора да всякие машины, кто их возьмет? Только в те дни, когда получка в совхозе, да загул, да сено под горой гниет, — только в те дни выпадает им праздник. Тогда — давай, ветераны, тряхнем стариной!

Михаил с ходу махнул всем пятерым здоровой рукой, сел на свое кресло — увесистую листовничную чурку. Много этих кресел под навесом, и все разные: у кого ведро старое, у кого ящик, прихваченный от сельпо, у кого бочка из-под бензина, а у кого и просто бревешко или жердинка — кто как постарался. Был даже один камешек эдак пудиков на двадцать — Коля-фунтик на тракторе от реки привез. Для форсу, понятно.

— Что-то не очень торопится его величество, — усмехнулся Михаил, закуривая.

Илья Нетесов и Парасковья ухом не повели: не чувят, хоть из пушки пали. А Василий Лукьянович, тот только сплонул: двадцать лет человек прожил в городе, а все равно не привык к городским порядкам.

Зато вчерашние колхознички ох как быстро усвоили эти порядки! Каждый год перед страдой объявляют приказ под расписку: в семь часов выходить на работу. Прочитают, распишутся, а придут в восемь.

Первым появился Виктор Нетесов, и это означало: восемь. Из минуты в минуту — можешь на часы не глядеть. Весь какой-то не по жаре свежий, чисто выбритый, подтянутый. Под навес не зашел, а молча кивнул всем сразу и к своей машине: с вечера еще договорился с бригадиром, что делать.

Да, этот не работяга, а рабочий, подумал Михаил и сразу оживился, услышав железный перезвон щеколд и кованых колец в воротах и дверях ближайших домов.

Это всегда так. Словно выжидают, словно высматривают пекашинцы из своих окон, когда пройдет мимо зернотока Виктор Нетесов, и только тогда вслед за ним повалят сами. Дорог не признают, от каждого дома тропа натоптана. И вот запыхали, задымили в десять — пятнадцать троп сразу — самый большой околоток теперь вокруг бывшего пустыря. Потом вскоре затрещали мотоциклы — это уже молодежь. За шик считается прикатить на работу на железном конике. А потом уже цирковой номер — Петр Житов на своей «инвалидке» пожаловал. Да не один, а с Зотькой-кузнецом: не иначе как в надежде раздобыть пятак на опохмелку.

Шумно, говорливо стало под навесом. В одном углу схватились из-за расценок, в другом спор насчет космоса, а большинство перемалывало вчерашний день — совхозную годовщину.

Митя-зятек, из приезжих, прозванный так за то, что сам по виду воробей, а бабу отхватил пудов на шесть (для того чтобы поправить свою породу, как он выразился однажды сам), — Митя-зятек рассыпался подзвонком:

— А у меня, мужики, супружница попервости ни в какую: сперва службу сослужи, а потом бомбу.

— Ну и сослужил, Митя? — скорчил сухую рожу Венька Иняхин. Этот любой разговор на жеребятину переводил.

— Сослужил, — простодушно ответил Митя. — Сбегал на реку. Три окушка ничего, годявых принес.

Митя не врал. Ни для кого сейчас нет рыбы в Пинеге из-за этой жары, а Митя окуней берет голыми руками — Михаил сам видел. Забредет это на луду, на камешник, туда, где окунь держится, руки до плеча в воду и шась-шась вверх по течению, а потом раз — как капкан сработали руки, и вот уже красноперая рыбина в воздухе.

— Ну а после-то бомбы что было, Митя? — не унимался Васька. — Сенцо але кроватка?

Белобрысенькая Зоя-зоотехник — за спиной у Михаила стояла — тихонько отступила в сторону: поняла, какая сейчас служба пойдет.

Но тут ударила в свои струны Суса-балалайка. Михаил давно уже заметил: строгость на себя напускает (и лоб свой прыщеватый хмурит и губами перебирает) — верный признак того, что на речу себя настраивает, и вот выиграла:

— У нас, товарищи рабочие, худо выполняется важнейшее постановление... в части увеличения скота в личном пользовании.

— Это чего, Сусанна Федоровна? — удивленно раскрыл рот Фля-петух. — Опять, значит, чтобы коров у себя заводили?

— Совершенно верно, товарищ Постников. Подсобное хозяйство колхозника и рабочего — это важный резерв увеличения сельскохозяйственной продукции в стране...

— Интересно, интересно! — сказал Михаил.

— Тебя это, Пряслин, не касается. Ты это постановление хорошо выполняешь.

— Нет касается! — Михаила — в жару, в засуху — так всего и затрясло. — А пять лет назад что ты брэнчала? Корова картину нам портит... Грязь да вонь от коровы... Культурно жить не дает...

Суса будто не слышала. Отыскала глазами Зою-зоотехника — и к ней как секретарю комсомольской организации:

— Ты, товарищ Малкина, думаешь, нет, чего? У нас двадцать восемь комсомольцев налицо, большая сила, а где ваша авангардная роль в данном вопросе?

— У них авангардная роль еще полностью по части сенотерапии не выполнена.

Смех, хохот сразу в сорок глоток. Даже Петр Житов, только что вывернувшийся из-за угла с двумя холостягами в обнимку — кумачово-красный, с пронзительно-светлыми глазами (не иначе как только что отбомбились), — даже Петр Житов заржал. Потому что Таборский — это он, конечно, ввернул — попал в точку: непонятная какая-то привычка появилась у нынешней молодежи — как вечер, так и под угор на луг сено нюхать, хотя при нынешней жаре близко к этому сену подойти нельзя: как от печи, от зародов зноем несет.

Суса не дрогнула, а и управляющему мозги вправила:

— Тебе бы, товарищ Таборский, тоже не мешало сделать серьезные выводы. У кого до четырнадцати голов поголовье крупного рогатого скота в личном секторе доведено...

Тут уж Михаил прямо заорал:

— Оба вы хорошо поработали! А ты дак, Обросова, на каждом собрание: кончать надо с частным сектором. С частным! А не с личным. Это ты сегодня с личным-то запела, потому что пластинку переменили, другой настрой балалайке твоей дали...

— Попрошу без оскорблений, Пряслин! — предупредил Таборский.

Кто-то было хохотнул — ловко, дескать, мазанули по Сусе, побавили спеси, — но Михаилу было не до похвал. Вся жизнь, все муки и беды, весь бедолом, связанный с коровой, поднялся изнутри, и он отвел душу, все высказал, что думает про Сусанну и Таборского. И тут, конечно, заработала машина Таборского: один, другой кусанул Михаила, третий. Дескать, чего ты навалился на Обросову? Разве не знаешь, что она не свою бочку катит, а указания выполняет?

— Надо бы немножко-то учитывать, поскольку она линию проводит. — Это Максим Заварзин пробормотал. Один из немногих в деревне, с кем Михаил до сих пор ладил.

— А ты не вертись, как навоз в проруби! — всыпал и ему Михаил. — Сегодня вмиг, завтра другое... Так и будет всю жизнь?

Таборский вмиг перестал улыбаться: политика! И уже не сказал, а врубил:

— Совхозное дело у нас, Пряслин, молодое, и подрывать его тебе никто не позволит.

— Я подрываю? Я? Ну это мы еще поглядим...

— А я прямо тебе скажу, Пряслин. — Суса тоже в наступление пошла. — Служила партии и буду служить!

— А я кому служу? Не партии? Только вы мне голову не задуривайте: совхозное дело новое... Вишь как у вас все просто...

Таборский не дал договорить Михаилу. Зычно, по-командирски рванул:

— По коням, мальчики! Живо! А ты, Пряслин, до полного выздоровления — запрещаю являться на развод. Понял? Страда у нас, а не говорильня. Рабочий график срываешь.

Да, вот такой поворот дал всему делу Таборский: ты, мол, Пряслин, во всем виноват, ты, мол, нам палки в колеса суешь! И пока Михаил собирался с мыслями, люди уже встали.

Потом вскоре заревели, зарычали моторы, и он с завистью начал смотреть на людей, бойко рассаживающихся по машинам.

На медпункте, как всегда, в утренний час очередь. Жуть как пекутся о своем здоровье нынешние пенсионерки! Не ветошь, конечно, не двадцатирублевки — тем дай бог концы с концами свести. Нет, за здоровьем следят молодки. В пятьдесят лет нынче выходят бабы на пенсию в ихнем районе. В пятьдесят! Иные просто кровь с молоком, хоть замуж выдавай. Да и был в прошлом году в Водянах такой случай. Привезла девка из города жениха своей маме показать. Встретились, угостились, ночь переспали, а наутро жених ультиматум: на матери согласен жениться, а дочь с глаз долой — смотреть не хочу!

Михаил, как рабочий, сидел недолго — до выхода первой старухи.

— Какова ноне? С настроением, нет?

Симу-фельдшерицу в деревне побаивались все: хамло баба! До рук дело, пожалуй, не доходило, а запустить матом в больного, а тем более в пенсионерок, которых она терпеть не могла, — запросто.

— А вроде нету большого-то настроения.

— С чего у ей настроенье-то будет? Полон хлев коз, а сено еще не ставлено. Поминала в прошлый раз.

С Михаилом Сима тоже не церемонилась. Начала с больной руки бинт сдирать — как мясник с быка кожу. Не глядя.

— Потихе маленько...

— Чего потихе-то? Сколько еще будешь в куколку играть? — А потом увидела разбинтованную руку и глаза на взвод: — Ты чего это? Вредительством занимаешься?

— Каким вредительством? Рехнулась!

— Не вижу разве? Ты опять робил!

Михаил не то чтобы для оправдания — просто так, по-человечески хотел объяснить: нет, мол, на свете страшнее муки, чем не работать, это сплошной ужас, а не жизнь, когда целый день ничего не делаешь, ну и начал он в последние дни больную руку на работу настраивать. А как же иначе? Надо же как-то вводить себя в прежние берега. Но Сима — глаза мутные, с красниной, в углах губ белая накипь — уже завелась не на шутку:

— Ты думаешь, у нас тут шатай-валяй, шарашкина контора? А у нас тоже план и показатели...

— А ты в нужник каждый день ходишь?

— Чего?

— Я говорю, в нужник ты каждый день ходишь? А еще спрашиваешь, почему человек без работы жить не может... Доктор называется.

— Ну вот что, Пряслин! Я на тебя докладную куда надоть напишу. Ты мне ответишь, как оскорблять при исполнении служебных обязанностей! И биллютен как знаешь... Поезжай в район, раз не желаешь лечиться. А я тебе не частная лавочка, у государства на службе...

Михаил все-таки сумел заткнуть пасть Симе:

— Ты мужику своему много даешь сидеть без дела?

— Чего? Како тебе дело до моего мужика?

— Ванька, говорю, много сидит у тебя без дела? Не калишь ты его с утра до вечера?

И вот Сима мало-помалу стала принимать человеческий вид. Понравилось, что сказал насчет Ваньки. Хотя на самом-то деле всем

известно, как Ванька ее утюжит. Оттого, может, и на больных кидается.

— А моя холера, думаешь, не из того же теста, что ты? — Михаил и себя не пощадил. — Все вы одинаковы стервы. Как начнет-начнет калить — рад к черту на рога броситься, а не то что про больную руку помнить.

— Ври-ко давай, — сказала Сима, но больше уже насчет вредительства не разорялась.

5

Корову в поскотину проводил, на разводе побывал, с Сусой-балалайкой заново расплевался, с Симой-фельдшерницей, можно сказать, тоже бабки подбил не в свою пользу, потому что хитрая же bestия — сообразит, как над ней издевались...

Еще чего? Чай утренний? Был! С женой прения утренние? Были. Из-за Ларисы копать подняли. Отец, видите ли, ребенка тиранит, воду от колодца заставляет таскать, чтобы хоть слегка картошку под окошками побрызгать, а ребенок только по ночам в клубе ногами молотить может...

Да, все переделано, план по ругани за день выполнен, а время еще подходило только к одиннадцати...

Михаил недобрыми глазами поглядел из-под навеса с высокого крыльца медпункта на сельпо — пожар от солнца в окошках — и начал спускаться в дневное пекло.

Чья-то собачонка, вроде Фили-петуха, попалась под ногу у нижней ступеньки крыльца — все живое теперь лезет в тень — пнул. Не загораживай дорогу, сволочь! Развелось вас теперь — проходу нет. Собачник из деревни сделали.

Не хотел он сегодня с «бомбой» разбираться, Раиса и так всю плешь проела, но надо же как-то себя в норму привести! Разве он думал, что с утра с лайкой-балалайкой схватится да этого хряка Таборского за хрип возьмет? А потом, как не заглянуть в это время в сельпо? Клуб. Вся пекашинская пенсионерия в сборе. Все — худобно — развлечение.

Спокойным, размеренным шагом, старательно, прямо-таки на показ держа больную руку в повязке, — Сима наверняка из своего окошка за ним зырит — Михаил поднялся на крыльцо, открыл дверь и — что такое? Где люди?

Светлых алюминиевых ведерок да разноцветной пластмассовой посуды полно, весь пол по левую сторону от печки до печки заставлен, а людей — одна Зина-продавщица в белом халате за прилавком.

— Что это у тебя ноне за новый сервис?

Зина — невелика грамота, пять классов — не поняла, да, признать, он и сам до поездки в Москву не очень в ладах был с этим словом.

— На новое обслуживание, говорю, перешла? — Михаил кивнул на посуду. — Без клиентов?

— Не, — замахала руками Зина. — Какое, к черту, обслуживание. Это все улетели — посудный день сегодня.

— Посудный, — повторил Михаил и больше ни о чем не спрашивал. Разворот на сто восемьдесят — и дай бог ноги.

Посудный день, то есть прием посуды из-под вина, бывает раза два в году, и тут уж не зевай — пошевеливайся: в любую минуту могут отбой дать. Не хотят продавцы возиться с посудой. Хлопотно, заделисто, а для выполнения плана — гроши.

Деревня взбурлила на глазах. Бабы, старухи, отпускники, студенты, школьники — все впряглись в работу. Кто пер, тащил, обливаясь потом, кузов или короб литого стекла на себе, кто приспособил водовозную тележку, детскую коляску, мотоцикл. А Венька Иняхин да Пашка Клопов на это дело кинули свою технику — колесный трактор «Беларусь» с прицепом. Чтобы не возиться, не валандаться долго, а все разом вывезти.

А как же они с работой-то? С пожни удрали, что ли? — подумал Михаил. Ведь каких-нибудь часа два назад он своими глазами их на разводе видел.

Но ломать голову не приходилось. Надо было о собственной посуде позаботиться, а кроме того, еще Петру Житову сказать. Где он со своей «инвалидкой»? Кому и потеть сейчас как не ему? У кого еще в Пекашине посуды столько?

«Инвалидка» Петра Житова сидела, зарывшись по самые оси, в песках напротив клуба. И было одно из двух: либо Петр Житов заснул за рулем (случается это с ним, когда переберет), либо моторишко забарахлил: частенько и зимой и летом житовский «кадиллак» возят на буксире трактора, автомашины, а больше всего выручает Пегаха, коняга, на котором Филя-петух возит хлеб с пекарни в сельпо. Тот всегда под рукой, всегда в телеге стоит или у пекарни, или у магазина.

Петра Житова в «инвалидке» не было (значит, на ногах, или, лучше сказать, на ноге), и Михаил свернул к маслозаводу — предупредить насчет посуды жену: может, он и сам бы потихоньку справился, да ежели его за этим делом увидит Сима-фельдшерница — будет крику.

К маслозаводу ихнему без противогаза не суйся: душина — мужи дохнут. А все потому, что всю жижу, все отходы выливают на улицу: лень, руки отпадут, если эту проклятую химию отвезти в сторону метров на сто.

— Кликни-ко мою! — крикнул Михаил издали Таньке, жене Зотьки-кузнеца, которая обмывала бидоны возле крыльца, и тотчас же зажал нос: никогда не мог понять, как все это выносит Раиса.

— Ушла. Кабыть не знаешь свою благоверную.

Он встретил жену неподалеку от дома Петра Житова. Идет — кузов с посудой на спине, пополам выгнулась и скрип на всю улицу:

— Занял, нет очередь?

— Нет, я бежал тебя предупредить.

— Кой черт меня-то предупреждать! Неуж у меня мозгов-то совсем нету? В очередь надо было вставать. Я, что ли, это напिला? Одной мне надо!

Михаил что-то невнятно забормотал (действительно ерунда получилась) — покатила, как танк, слушать не захотела.

Глава тринадцатая

1

Пообедали мирно. Оба были довольны — с посудой разделались. А то ведь столько ее, окаянной, за год скопилось, что в кладовку зайти нельзя: везде, и на полу и на полках, бутылки.

Но Михаил вылез из-за стола да глянул на часы — и туча накрыла лицо. Три с половиной часа. Только три с половиной!

Раньше такое бы случилось, ором орал: на работу опаздываю! А сегодня в страх бросило: что до вечера, до кино буду делать?

Работы по дому навалом. Из каждого угла работа кричит. И можно бы, можно кое-что и одной рукой поковырять. Да ведь фельдшерница дознается — опять скандал, опять про вредительство начнет ляпать. А потом, надо, видно, и самому себя на цепь садить, а то сколько еще на больничном проканителишься?

Ковыряя спичкой во рту (вот какая у него теперь работа!), Михаил подумал: а не пойти ли в мастерскую? Не придавить ли на чашок подушку?

Нет, ночью не спать, ночью опять мозоли на мозгах набивать.

Нет, нет, нет! Вкалывать в лесу у пня без передыху, без выходов, по месяцам дома не бывать, как это было в войну и после войны, не дай бог, а думать, жерновами ворочать, которые у тебя в башке, еще хуже. Из всех мук мука! Начнешь вроде бы с пустяка, с того, что каждый день у тебя под носом, — почему поля запущены, почему покосы задичали, а потом, глядь, уж за деревню вылез, уж по району раскатываешь, а потом все дальше, дальше и в такие дебри заберешься, что самому страшно станет. Не знаешь, как и обратно выкарабкаться! Без болота вязнешь, без воды тонешь, как, скажи, в самую-самую распуту, когда зимние дорогие пали и летние еще не натоптаны, — все так и ползет, все так и расплывается под ногой...

Раиса, принявшаяся за мытье посуды, показалось Михаилу, подозрительно покосилась на него (неработающий человек всегда бревно в глазах у работающего), и он понял, что надо куда-то поскорее сматываться.

А куда?

В гости к кому-нибудь податься да язык размять? Калину Ивановича проведать?

Все не годилось. Одни лентяи да пьяницы зарезные середь бела дня по гостям шатаются, а к старику дорога и не заказана, да большого человека хорошо ли постоянно трясти?

А вот что я сделаю! — вдруг оживился Михаил. Дойду-ко до старого дома. Чего там Петро натворил? Да и насчет дома Степана Андреевича что-то надо делать. Сколько он ни говорил себе, сколько ни втолковывал: мое дело сторона, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, — а нет, видно, без него ни черта не выйдет. Тот сукин сын — он имел в виду Егоршу — у Пахи Баландина, говорят, уж деньги под верхнюю половину дома взял, а Паха долго раздумывать не будет: ради своей корысти не то что дом разломает — деревню спалит.

Но тут Михаил вспомнил, как давеча утром Петр прошел мимо ихнего дома. И не то чтобы повернуть к брату старшему — не взглянул. Глаза в землю, вроде бы задумался, ничего не видит. Не видит? За ту, за сестрицу, счет предьявляет. Раз ты не хочешь признавать сестру, и мне нечего делать у тебя.

Нет, рано, рано старшего брата учить, вскипел вдруг Михаил. Больно много чести, чтобы я первый пошел на поклон.

И он побрел на угор к амбару, где в последнее время привык на вольном воздухе подымить сигареткой.

2

Сведенный в щелку глаз, едва приземлился за амбаром на умягой, пожелтевшей траве, по привычке заскользил по серому, как войлок, лугу, по выжженным суховею полям. У Таборского нынче праздник: не надо с полей убирать.

Да, вот до чего дошло: управляющий отделения радуется, что на полях ничего не уродилось. Сказать это кому нормальному — глаза на лоб полезут. А он, Михаил, сам в прошлом году слышал, как Таборский клял все на свете. Хлеба навалило неслыханно — стеной рожь стояла по всему подгорью. На круг, по подсчетам, двадцать два центнера выходило. И вот караул! Куда девать такую прорву зерна? Ни токов нет, ни складов. И Михаил, конечно, высказался по этому поводу: мол, в кои-то поры урожай пришел, дак ты в панику! «Да пойми ты, черт ты задери,— завелся Таборский,— у нас животноводческое направление, а не хлебное! За то, что мы хлеб завалим, прогрессивку с нас не снимут, а вот ежели с молоком запоремся — не то что прогрессивку, головы оторвут».

Да, подумал Михаил, в этом году у Таборского не будет забот, и вдруг вздрогнул: каждый день в это время над головой пролетают реактивные самолеты, а все равно каждый раз врасплох гром, который с небесных высот на землю падает.

Он проводил взглядом крохотный серебряный крестик, поглядел на реку, на желтый песок, где бесновалась крикливая мелкота, или малоросия, выражаясь по-пекашински, поглядел на чью-то бабу в красном платье, выпагивающую босиком по меже (только пятки сверкают), и в конце концов ульнул глазом в лошадей, томившихся на привязи под самым спуском.

Тоска смертная смотреть на нынешних лошадей. Не шелохнут-ся. С ноги на ногу не переступят. Как мертвые стоят. У иных еще кое-как болтается хвост-веник, а у Тучи да у Трумэна и эта штука выключена — хоть заживо сожрите мухи да комары.

Да что они, вознегодовал Михаил, совсем от жары очумели? Или это у них какая-то своя лошадиная молитва?

Есть, есть о чем молиться нынешним лошадям. Задавили машины, смертный приговор вынесли коняге.

Но и лошади, пес их задери, тоже хороши. Попервости, в тридцатые годы, когда машины на Пинегу пришли, хоть бунтовали. Страхи страшные, что делалось, когда с трактором или автомобилем встречались: из оглобель лезли, телегу вдребезги разносили. А теперь... А теперь машину завидят, сами с дороги сворачивают, сами путь уступают. Ну а раз сам себя не уважаешь, раз сам на себя смотришь как на отжившую дохлятину, кто же с тобой будет считаться?

Михаил резко встал, затоптал недокуренную сигарету. Не из-за жары, не из-за молитвы стоят замертво лошади, а из-за того, что с утра не поены. Нюрка Яковлева за посуду выручила — разве ей до лошадей сегодня?

3

— Бежи под угор, перевяжи лошадей, — сказал Михаил Ларисе, войдя на кухню (та на столе что-то гладила), и вдруг заорал на весь дом: — Да сними ты к чертям эти уродины! — Он терпеть не мог, когда дочь надевала фиолетовые очки, большие, круглые, во все лицо. Никогда не видишь глаз — как улитка в своей скорлупе запряталась.

— Чего, чего ты опять гремишь? — подала голос из-за занавески от печи Раиса. — Куда ее посылаешь?

— Лошадей напоить да перевязать.

— Лошадей? Каких лошадей?

— Живых! Под угором которые.

Раиса вышла из-за занавески.

— Ты одичал, отец? С чего она пойдет-то? Конюх есть.

— Да где конюх-от? Посуду сдала — кверху задницей где-нибудь лежит.

— А это уж ейно дело. Ей деньги за лошадей платят.

— Да люди вы але нет? — еще пуще прежнего разорался Михаил. — Лошади с голоду, с жажды подышают, весь день глотка воды не видали, а ты про деньги... Неужли не жалко?

— Всех не нажалешь. Нас много с тобой жалеют?

— Ну-ну! Давай око за око, зуб за зуб... Вот как в тебе Федор-то Капитонович заговорил...

— Ты моего отца не трожь!.. — Раиса так разошлась, что кулаком по столу стукнула. — Федор-то Капитонович первый человек в Пекашине был.

Михаил захохотал:

— Первый! Как же не первый. Он и в войну всех как первый потрошил...

— Умному все во грех ставят, что ни сделай. А тебе бы не поносить отца надо, а век за него молиться. Кабы не он, с голыми стенами жил.

— Че-е-го? — Михаил выпрямился.

— А то! На чьи денешки вся мебель куплена? Много ты нажил за свою жизнь! Да кабы не отец-от, доселе как в сарае сидели...

Михаилу попался на глаза стул с мягким сиденьем — вмиг в щепу разлетелся. И он наверняка бы так же расправился и с другой мебелью, да тут в дом вошел Григорий.

4

Это было как чудо. Ничего не слышали, ничего не чули — ни звона кольца в калитке, ни шагов на крыльце — и вдруг он.

Долгожданной свежестью дохнуло в раскаленную кухню, праздник вошел в дом, глаза заново мир увидели... Как угодно, какими хочешь словами назови — все правильно будет, все верно.

— Ох, ох, кто пришел-от к нам, кто пожаловал... Садись, садись, Григорий Иванович... Где любю, там и садись...

Раиса заливалась соловьем, новенькой метелкой бегала вокруг Григория, и она не притворялась. Григория все любили в доме. И не только люди. Животина любила. К примеру, Лыска взять. Зверь пес. Никого не пропустит, всех облает. Даже хозяйку, которая кормит его, кажинный раз лаем встречает. А у Григория будто особый пропуск: звука не подаст.

С Михаила будто сто пудов сразу свалили — вот как его обрадовал приход брата, и он, закуривая и добродушно скаля зубы, спросил:

— Ну как, братило, живем?

— А хорошо живем. Ходить нынче начали...

— Кто ходить начал?

— А Михаил да Надежда. — И пошел, и пошел рассказывать про близнят: как первый раз встали на ноги, как сделали первые шаги, как развернулись теперь.

Раиса вывернулась — вспомнила про Звездоню.

— Ты что, отец, меня не гонишь? Ведь у меня корова не доена.

Ну а что было делать ему, Михаилу? Сидел, попыхивал сигареткой и слушал. Слушал про двойнят, которых не хотел знать, слушал про Петра, про сестру. Потому что у Григория не было своей жизни — он жил неотделимо от брата, от сестры, от двойнят. И вот

благодаря его рассказам да рассказам Анки — для той тоже никаких запретов не существовало — в доме Михаила решительно знали все, что делается там, у той.

— Да что, брат, чай будем пить але как?— И Михаил, не очень-то прислушиваясь к рассказам Григория, принялся за самовар: терпеть не мог электрические чайники, которые теперь были в ходу в Пекашине, — все не то, все казалось, что на столе какая-то мертвечина.

Вернулась от коровы Раиса человеком, с улыбкой на своем красивом румяном лице (да, не обделил бог красотой), первым делом начала угощать парным молоком Григория — полнехонькую, с шапкой пены налила кружку.

— Пей, пей! Хорошо молочко-то из-под коровы. Надо бы тебе каждый раз к нам приходиться к доенке — сразу бы эту бледность скинуло.

Самовар вскипел быстро (все быстро делается, когда Григорий в доме), и Михаил сам принялся накрывать на стол.

К самому чаю вернулись с реки Вера с Анкой. Крик от радости на весь дом: «Дядя Гриша пришел!» — затем почти вслед за ними пожаловала Лариса. Эта всем обличьем, всеми повадками была в Клевакиных, а вот нюх на обед, на чай от ихнего Федора. Тот, бывало, где бы ни шатался, ни проказил, а к жратве как из пушки. Но Лариса при виде дяди неподдельно, по-хорошему улыбнулась, и это сразу примирило Михаила с дочерью.

Самую неслыханную доброту, однако, выказала Раиса — «бомбу» на стол выставила.

— Берегла к бане, да ладно, вонне жарынь такая — каждый день баня.

Григорию Михаил налил только для приличия — в рот не берет, но, что никогда не случалось, — Раиса попросила для нее плеснуть. И тут Михаил ничего не мог поделать с собой — отмяк сразу. Что ты будешь делать с ней, с дурой... Такой уж характер. Сама не рада, а сказать прямо: виновата — ни за что. Как угодно будет перед тобой оправдываться — ползком, на коленях, делом, но только язык не повернуть в твою сторону. По крайности на первых порах.

Чтобы пристать к мужнину берегу, встать на его якорь, начала загребать чуть ли не от Водян.

— Вы думаете, нет чего своей башкой? Картошка-то не видите, вся сгорела. — Это слово к дочерям.

— Чего о ней думать? — фыркнула Лариса. — Не у нас одних сгорела — у всех.

— У всех! Все-то, может, помирать собираются, и ты вслед за има? Сколько вам отец говорил: поливать надо.

Ого! — ухмыльнулся про себя Михаил.

— Сегодня чтобы у меня тридцать ведер было нашоено! — И вдруг на свою любимицу, на Ларису, которая в это время носом передернула: — Тебе, тебе говорю! Кой черт носырей-то задержала. Не кивай, не кивай на Веру-то, Вера-то целый день на жаре как проклятая работала, а ты ведь со своей лежкой забыла, что и за работа такая. Раз, говоришь, у тебя давленье, дак давленье-то не скоком в клубе лечат, а работой. В старину-то люди до упаду робили, ни про како давленье не слышали.

— В старину-то давленье-то не мерили! — весело рассмеялась Вера. — И аппаратов таких не было.

Досталось и Вере:

— А ты ротище-то попридержи. Не ворота у тебя, не телега едет. У отца рука болит, сколько в бане не мылся, а они, кобылы, и не подумают.

— Подумаем, подумаем! — опять с той же прытью отозвалась Вера. — Везде воды наносим. Только нервные клетки береги, Федоровна!

— А ты брось мне эту привычку! — Раиса не закричала, вся просто затряслась, надо же на ком-то сорвать злость. — Завела: Федоровна, Федоровна! Мати я тебе, а не Федоровна.

— Ну уж и пошутить нельзя.

— Нельзя! Все с шуток начинается, да слезами кончается.

— Хорошо, мам! Твое ценное указание будет выполнено. И со своей стороны берем дополнительное обязательство: вместо тридцати ведер принесем сорок.

Михаил примиряюще махнул рукой:

— Ладно, завтра насчет воды. Сегодня, говорят, кино интересное.

— Вот, вот! — запричитала Раиса. — Завсегда у нас так: мати что ни скажет, все не так, все неладно. Да разве будет у нас что хорошо в дому...

— Папа, папа! — Вера всплеснула руками. — А дядя-то Гриша...

Все глянули на угол стола, туда, где недавно сидел Григорий. И все увидели: нет Григория. Всегда вот так: войдет неслышно и уйдет неслышно.

А может, так и надо? — подумал Михаил. Чего ему с нами делать? Склеил, слепил ихний семейный горшок, давший трещину, вспрыснул всех живой водой — и живите на здоровье.

Непонятный человек, хоть и брат родной! С одной стороны, как малый ребенок, как дурачок блаженный, а с другой, как подумаешь хорошенько, — умнее его на свете нет.

Глава четырнадцатая

1

Выдохлась наконец дневная жара — полегче стало дышать.

На Раису напал трудовой зуд — это всегда случается после очередной домашней перебранки, — начала все перетряхивать, все перелопачивать: мыть полы, заново переставлять мебель, подметать заулок. А ему что делать?

Для видимости потолкался по дому, туда-сюда заглянул, обошел усадьбу, прошелся с дочерьми до колодца и кончил тем, что отпустил их в клуб, а затем и сам пошел.

Кино уже началось — Михаил еще на крыльце услышал рев и грохот, доносившийся из зрительного зала, — не иначе как военную картину показывали.

Он постоял-постоял в пустом фойе и пошел в читальню, в которой еще недавно хозяйничали ребятишки и молодежь. Журналы и газеты вразброс по всему столу, на полу опрокинутые стулья, рваная бумага, песок и, конечно, настезь двери: всем скопом, всем стадом кинулись на выход, когда раздался звонок.

Михаил плотно прикрыл двери, поднял с полу стулья, навел кое-какой порядок на столе и только после этого подошел к спилу погибших на войне.

Сто двадцать восемь человек. Целая рота. Это только те, что не вернулись с фронта. А ежели к ним прибавить еще тех пекашницев, которые приняли смерть во время войны тут, на Пинеге,—

кто от работы, кто от голода, кто от простуды на сплаве, кто от пересады в лесу? Разве они не заслужили того, чтобы тоже быть в этом списке? Разве не ради родины, не ради победы отдали свои жизни?

Тоня-библиотекарша (это она рисовала список) поначалу размахнулась круто — за версту видать первые фамилии. А потом увидела — бумаги не хватит, и начала мельчить-лепить так, что последние фамилии без очков и не прочитать.

Ивану Пряслину в этом списке тоже не очень повезло (Тоня еще на букве «н» включила тормоза), но Михаил уже привык — сразу уперся глазом в отцовскую фамилию.

Где-то он читал или в кино видел: тридцатилетний сын в трудную минуту смотрит на карточку молодого безусого паренька, каким был его отец, убитый на войне, и просит у него совета.

Помнится, это до слез прошибло его тогда, и с той поры не было случая, чтобы он, подойдя к этой пекашинской святыне, не подумал бы, что и он уже чуть ли не в полтора раза старше своего отца. А все равно, глядя на родное имя, выведенное от руки черными, уже полинялыми чернилами, он чувствовал себя всегда маленьким недоростком, тем лопухим пацаном, каким он провожал отца на войну...

2

После разговора с отцом у Михаила всегда легчало на душе. Он выходил из читальни как бы весь, с ног до головы, омытый родниковой водой.

Сегодня этого привычного ощущения не было. Почему? Неужели все дело в Коте-сопле, подслеповатом племяннике Сусы-балалайки, который под парами незванно-непрощенно вкатился в читальню? Михаил, конечно, тотчас выставил его вон — не смей, мразь эдакая, с пьяным рылом к святыне! — но настроиться на прежний лад уже не смог.

А может, подумал он, шагая по темной деревне и вглядываясь в освещенные окна, из-за осени все это? Из-за того, что осень опять подошла к Пекашину?

Сколько лет уже как кончилась война, сколько лет прошло с той поры, как отменили налоги и займы, а его все еще и доселе с наступлением августовской темноты будто в ознобе начинает трясти. Потому что именно в это самое время начиналась, бывало, главная расплата с налогами и займами.

Михаил прошел мимо своего дома — хотелось хоть немного успокоиться — и вдруг, когда стал подходить к старому дому, понял, отчего у него муторно и погано на душе. Оттого, что не в ладах, не в согласии со своими. С Петром, с братом родным, за все лето ни разу по-хорошему не поговорил. Парень старается, старый дом, сказывают, перетряс до основания, а он даже не соизволил при дневном свете на его дела посмотреть. Да и с сестрой что-то надо делать. Ну дура набитая, ну наломала дров и с домом и с этими детками — да ведь сестра же! Какая жизнь вместе прожита!

Эх, воскликнул про себя Михаил, загораясь, вот вломлюсь сейчас неожиданно-негаданно и прямо с порога: ну вот что, ребята, посмешили людей — и хватит! А теперь давай докладывай старшему брату что и как.

Он сделал полный вдох, как перед прыжком в воду, решительно оттолкнулся от угла старого дома, откуда смотрел на знакомые занавески с кудрявыми цветочками в домишке покойной Семеновны, налитые ярким электрическим светом изнутри, и снова прилип

к углу, потому что как раз в эту минуту из дома Семеновны, громко разговаривая и посмеиваясь, вышли люди.

— Ну, спасибо, спасибо, Лизавета! Опять, слава богу, отвели душу.

— Бесстыдница, убежала-ускакала от нас — мы хоть помирай без тебя.

— Дак ведь не за границу ускакала, — ответил Лизин голос, — а вы не без ног. Версту-то, думаю, всяко одолеть можете.

— Можем, можем, Лизавета! Теперь-то живем. Трудно первый раз тропу проторить, а по натопанной-то дороге и слепая кобыла ходит.

Понятно, понятно, сказал себе Михаил, старушонки из нижнего конца. Видите ли, осиротели было, бедные, — негде языком почесать стало, когда та из дому своего удрала. А теперь возликовали — можно и у Семеновны горло драть.

А сестрица-то, сестрица-то какова! — продолжал заводить себя Михаил. Он расчувствовался-расслонявился, чуть ли не с повинной хотел заявиться. А она: ха-ха-ха, заходите в любое время, а про дом-горемыку и думы нет.

Закипая злостью, Михаил круто сплюнул и пошагал домой.

3

Дома все сияло и сверкало, как в праздник: и крашенный намытый пол, и начищенный никелированный самовар, который в ожидании хозяина словно паровоз бурлил на столе, и дорогая полированная мебель, отделанная медью. И блестела и сверкала Раиса. За сорок лет бабе перевалило, на иную в ее годы и взглянуть тошно, а этой никакие годы нипочем. Как молодая девка.

Михаил сам молодец в такие вечера. Он гордился своим новым, по-городскому обставленным домом, всеми этими красивыми вещами, которые окружали его, и, чего лукавить, гордился своей красивой румянощечкой женой.

В нынешний вечер ничто не радовало его, ничто не ворохнуло сердце. И он как перешагнул порог с насупленными бровями, так и сидел за столом.

— Что опять стряслось? Какая муха укусила?

Раиса спрашивала мягко, дружелюбно, но он только вздохнул в ответ. А что было сказать? Как признаться в том, что вот он сидит в своем расчудесном новом доме, а душой и сердцем там, в старой пряслинской развалюхе?

Глава пятнадцатая

1

— Где Лизавета? На телятнике все убивается?

Петр глянул сверху вниз: Анфиса Петровна. Стоит в заулке и, как рыба, открытым ртом хватается воздух.

— Что случилось? — закричал он: Анфиса Петровна с ее здоровьем просто так не прибежит.

— Как что? Разве не слышал? Ведь те разбойники-то дом хотят рушить. Сидят у Петра Житова, храбрости набираются...

Петр не слез — скатился с дома.

— А брат.. Михаил знает?

Гневом сверкнули все еще черные, не размытые временем глаза.

— Черт разберет вашего Михаила! Не знаешь разве своего братца? Удила закусил — с места не своротишь!

— Пойдем, — сказал Петр.

— Брат, брат... — плеснулся вдогонку плаксивый голос.

— Чего это он? — Анфиса Петровна посмотрела в сторону крыльца, где с двойнятами нянчился Григорий.

— Большой человек — известно: всего боится, — уклончиво ответил Петр, но сам-то он хорошо знал, чего боится Григорий.

2

Редкий день не появлялся в ихнем заулке Егорша.

Крикнет снизу, махнет рукой: «Привет строителям! Помощников не треба?» А потом своей прежней вихляющей походкой беззаботно, как будто так и надо, подойдет к Григорию, поздоровается за руку, поглядит, потреплет своей темной, загорелой рукой по голове детей, а иногда даже по конфетке даст...

И что бы надо было делать ему? Как разговаривать с этим подонком, с этим подлецом? Вмиг спуститься с дома и бить, бить. Бить за Лизу, за деда, за племянника, за дом, за все зло, которое он причинил им.

А Петр с места не двигался. Петр смотрел со своей верхотуры на этого жалкого, суемящегося внизу человека в нейлоновой, поблескивающей на солнце шляпчонке, на то, как он заискивающе, пособачьи заглядывал в глаза больному брату, даже детям, угодливо оборачивался к нему, к Петру, и каждый раз с удивлением, с ужасом спрашивал себя: да неужели же это Егорша, тот неуемный, неунывающий весельчак, который как солнце когда-то врывался в ихнюю развалюху?

Да, брат-отец — Михаил. Да, Михаилом жила семья. Михаилом и Лизой. Но что было бы с ними, со всей ихней пряслинской оравой, кабы не было возле них Егорши?

Михаилу родина сказала: стой насмерть! Руби лес! И Михаил будет стоять насмерть, будет рубить лес. И месяц и два не выйдет домой. А им-то, малявкам, каково в это время? Им-то кто какой-нибудь затычкой заткнет голодный рот? Их-то кто обогреет, дровиной стужу в избе разгонит?

И это было счастье для них, великое благо, что Егорша мот и сачкарь. Все равно раз в десятидневку выйдет из леса. Хоть самый ударный-разударный месячник (а им, этим месячникам, числа не было в войну и после войны), хоть пожар кругом, хоть светопреставление. Под любым предлогом выйдет. А раз выйдет — как же к ним-то не заглянуть?

И вот так и получалось: свои интересы, свои удовольствия, об ихней ораве и думушки не было, а все чем-нибудь помог: то дровишками, то горстью овса, который прихватывал у лошадей (лошадям, чтобы воз с лесом тащили, в самые тяжкие дни войны выписывали овес).

Но дело даже и не в дровишках и горсти овса. Одно появление Егорши в ихнем доме все меняло, все перевортывало.

Сидели, помирали заживо на печи — в темноте, во мраке (лучину сэкономили — в лесу растет!), вслушивались в нескончаемый голодный вой зимней метели в трубе, да вдруг на пороге Егорша.

Сейчас-то быть веселым да безунынным чтр. А ты попробуй смеяться, скалить зубы, когда с голоду и холоду умираешь.

Егорша умел это делать — и в войну, где он, там и жизнь.

Да и только ли в войну? А после войны, когда Звездоня пала, кто выручил их? Конечно, Лиза, конечно, сестра пожертвовала собой ради них, да ведь и он, Егорша, при этом не сбоку припека был. Не важно, как у него это вышло, что было на уме, но он, Егорша, взамен Звездони привел к ним новую корову.

И вот почему, когда они стали уходить из заулка с Анфисой Петровной, заплакал, зарыдал больной Григорий: «Брат, брат, не горячись!.. Брат, брат, не забывай, что сделал для нас Егорша...»

Нет, забыть, что сделал для них, для ихней семьи Егорша, нельзя. Никогда! Даже на том свете. А с другой стороны, надо же что-то делать. Надо же как-то обуздать его, спасти ставровский дом.

3

Анфиса Петровна не иначе как по старой председательской привычке сразу, как только они переступили порог кухни, взяла в работу Петра Житова и Паху Баландина — они тут были за главных: дескать, люди вы или не люди? Опомнитесь! Что собираетесь делать?

— А чего мы собираемся делать? Чего? — пьяно икнул Петр Житов и вдруг широко раззявил грязную, обросшую седой щетиной пасть, в которой редко, как пни на болоте, торчали остатки черных, просмоленных зубов, захохотал:— По-моему, ясно, чего мы делаем. Вносим свой вклад для борьбы с засухой.

Ликующий вой и рев поднялся в продымленной, как старый овин, кухне:

— Правильно, правильно, папа!

— А мне дак еще Чирик помогает, — ухмыльнулся Вася-тля, застарелый холостяк с красными рачьими глазами, и вслед затем начал вытаскивать из-под стола черную упирающуюся собачонку нездешней породы — маленькую, кудрявую, с обвислыми ушами.— Ну-ко, Чирко, покажи, как ты с засухой борешься.

— Цирковой номер в исполнении заслуженного артиста Василья Обросова и его четвероногого друга-ассистента...— опять, к всеобщему удовольствию, сострил Петр Житов.

— Я тебе покажу цирковой номер! — Анфиса Петровна схватила ухват от печки, стукнула об пол.

Вася-тля то ли с перепоя, то ли ради забавы заорал на всю кухню:

— Чирко, Чирко, враги!

Собачонка отчаянно залаяла, а потом под общий смех и хохот залаял и сам Вася-тля: встал на четвереньки и гав-гав—с подвывом, с выбросом головы, не хуже своего песика.

И вот от этого содома, надо думать, и очнулся лежавший на голом топчане возле двери справа Евсей Мошкин. Очнулся, поглядел вокруг ничего не понимающими глазами.

— Ребята, вы чего это делаете-то? Пошто вы свиньями-то да скотами лаετε, образ человеческий скверните?

— Лекция во спасение души, — коротко объявил Петр Житов, а добродушный Кеша-руль, тоже из застарелых холостяков-пьяниц, смущенно улыбаясь, сказал:

— А ты, дедушко, лучше выпей, не ругай нас. Ну?

Евсей трясущейся рукой взял протянутый стакан с красным вином.

— Ну, Евсей Тихонович, не знала, не знала я. Вот до чего ты дошел, с кем связался...

— Грешен, грешен, Анфиса Петровна. Хуже скота всякого живу...

— Да ты, может, и на разбой с има пойдешь?

— На разбой?.. — Евсей беспомощно оглянулся вокруг себя.

— За оскорбление личности штраф! — зычно, не то полушутя, не то всерьез крикнул Паха Баландин.

Анфиса Петровна на этот раз даже не удостоила его взглядом.

— Давай, давай, — снова навалилась она на старика. — Только тебе и не хватало взять топор да с этими бандюгами самолучший дом в деревне разорять.

— Какой дом?

— Да ты что — ребенок! Ставровские хоромы зорить тебя поведут. Затем и поят, вином накачивают.

Евсей поставил на топчан сбоку от себя стакан с вином, искал глазами в красном углу Егоршу. Но Егорши там уже не было. Егорша выскочил из-за стола, как только Анфиса Петровна начала отчитывать Петра Житова и Паху Баландина: сроду не мог сидеть да выжидать. Выскочил, шляпу на глаза, руки в брюки: ко мне все претензии, я здесь парадом командую! Но Анфиса Петровна не видела, не замечала его, сколько он ни скакал, ни прыгал перед ней. И это для самолюбивого Егорши было хуже всякого наказания, всякой пытки. И вот наконец нашелся человек, в которого можно было разрядить свою ярость.

— Чё башкой крутишь? — подскочил он к Евсею. — Меня давно не видал? Соскучился? А может, тоже мораль читать будешь?

— Неладно, неладно это, Егорий...

— Чё неладно? Чё неладно? Неладно, что свое законное беру? А это ладно — родного внука как последнюю падлу на улице? Ловко получается. Дед, понимаешь, рвал, рвал из себя жилы, а тут с офицериком с одним сколотышей нахряпали — лады, законные на следнички...

Все время, с первой минуты своего появления в доме Петр держал себя в руках. Кипятилась, выходила из себя Анфиса Петровна, задира л гостей на потеху себе и собутыльникам Петр Житов, кривлялся Вася-тля, Егорша раза два подскакивал к нему, тыкал в бок специально для того, чтобы вызвать на скандал, — ни единого слова. Зажал себя как в тиски. А тут, как только Егорша задел сестру, моментально словно капкан сработал.

Удар был не такой уж сильный, не с размаху, тычком бил, но много ли пьяной ветошке надо? Кубарем полетел на заплеванный, заброшенный окурками пол. Но тотчас же вскочил, и в руке у Егорши сверкнул нож-складень.

— Робята, робята! — что было силы завопил Евсей, потом с неожиданным для его возраста проворством бросился меж Петром и Егоршей, пал на колени. — Что вы, что вы это надумали-то? Да вы уж лучше меня бейте. Я во всем виноватый, я... — И слезно, как малый ребенок, заплакал.

Егорша вялым движением руки отбросил нож в угол кухни, где стоял железный ушат с водой, поднял с пола свою шляпу.

— Вставай. Здесь не церква, чтобы на коленях стоять, а мы не боги.

— Нет, нет, не встану, Егорий, покудова с Петром не помиришься...

— Кто это будет мириться с таким бандитом, — сказала Анфиса Петровна. — Он ведь вишь из каких теперь... Сразу за нож...

А добродушный Кеша-руль, чтобы поскорее восстановить в

компании прежний мир, начал наливать Евсею и Егорше вина — иного средства примирения он не знал.

Но Евсей замахал руками:

— Нет, нет, не буду на иудины деньги пить.

— Это еще чё? — рявкнул Егорша.

— А то, Егорий, что грех великий на душу взял...

— А ты не взял? Один я пропивал эти самые иудины пятаки?

— И я взял. Я еще грешнее тебя... Мне-то уж совсем нету прощенья.

— Ну а раз нету, бери склянку!

— Нет, не возьму, не возьму, Егорий.— Евсей поднялся с пола.

— Да ты, дедушко, больно-то не капризь, ну? Пей, покудова дадут, — опять к примирению воззвал Кеша.

— Вот именно! — мрачно процедил Петр Житов и вдруг сплюнул, когда увидел вновь опускающегося на колени старика.

А Евсей опустил ся, осенил себя крестом и начал отвешивать земные поклоны с пристуком о пол. Всем поклонился. Тем, кто сидел за столом, Анфисе Петровне, Егорше, ему, Петру.

— Простите, простите меня, окаянного. Я, я во всем виноват...

Егорша первый не выдержал:

— Ну хватит! Не на смерть идешь, чтобы башкой в половицы колотить.

— А может, и на смерть, — тихо сказал Евсей.

Затем поднялся на ноги и, не сказав больше ни слова, вышел.

4

Петра встретила сестра у порога, под низкими полатями. Зашептала с испугом, кивая на открытую дверь на другую половину:

— У Гриши опять припадок...

— Знаю.

— Знаешь? Да откуда тебе знать-то? Тебя и дома-то не было, когда его схватило.

Эх, сестра, сестра! Разве ты про себя не знаешь? Не знаешь, что с тобой делается в ту или иную минуту? Так как же ему-то не знать, что с Григорием? Ведь они с братом один человек, разделенный надвое, на две половины. И все, все у них одинаково. Им даже сны в детстве одни и те же снились — разве ты забыла про это?

Устало, как старик, волоча ноги, Петр прошел к столу, на котором теплилась с привернутым фитилем керосиновая лампешка, сел.

— Чай пить будешь?

— Потом, потом...

— Да ты сам-то хоть здоров?

— Ты лучше к нему иди, к брату. Пить дай...

— Да я недавно давала.

— Еще дай.

Вскоре с той половины донесся приглушенный голос Лизы:

— Полегче немножко, нет?

Григорий — он знал, хотя и не расслышал его голоса, — отвечал: конечно, полегче. А какое там полегче, когда он, здоровый человек, весь был измят и измочален!

Да, каждый раз, когда с Григорием случался припадок, бросало в немочь и его, Петра. И так было уже девять лет...

Он заставил себя встать. Зачерпнул ковшом воды из ведра — его тоже мучила жажда, — напился, потом достал из старенького, перекошенного шкафика, который служил для старой Семеновны и комодом и посудником, тетрадку.

Нет, больше так невозможно. Анфиса Петровна отвела топор от ставровского дома — вслед за Евсеем Мошкиным все наладились восвоаяси, — но надолго ли?

Нет, нет, говорил себе Петр, без вмешательства властей не обойтись. А иначе все они перегрызутся. Все: и братья, и сестра, и деревня вся...

Глава шестнадцатая

1

Евсея искали три дня.

Первым хватился старика Егорша. На другой день после попойки у Петра Житова он целый день выходил вокруг Пекашина, а под вечер заявился даже в сельсовет: примите меры, человек пропал.

— Убирайся, пьяница! — закричала на него секретарша. — Пьют, жорут без памяти, а потом еще: примите меры...

Через день, однако, Егорша снова пришел в сельсовет, и тогда уж из сельсовета начали обзванивать окрестные деревни: не видно ли, мол, у вас нашего попа? Не потрошит ли где ваших старушенок? (После похмелья Евсей частенько наведывался к своей клиентуре.) Нет, ответили оттуда, не видали вашего попа.

Стали искать в Пекашине. Обошли все задворье — старую конюшню, старую кузницу, места, куда в летнее время частенько наведывался пьяный народишко, заглянули даже в бани — нет старика.

А нашел Евсея Мошкина Михаил Пряслин.

2

Михаил в тот день с утра отправился в навины. Рука пошла на поправку, руке стало лучше — неужели сидеть дома? Неужели немедля не выяснить, в каких он теперь отношениях с косой?

Сена у него поставлено пустяки, до великого поста не хватит, а ведь уже август на исходе. Да и дожди вот-вот зарядят, не бывало еще такого, чтобы летнюю засуху осень не размочила.

Эх и покосил же он всласть! Травешка остарела, вся высохла-перевысохла, как проволока звенит, в другое время еще подумал бы, стоит ли овчинка выделки, а сейчас, после месячного безделья, кажется, кустарник готов был косить.

Сперва он щадил, оберегал больную руку, так и эдак применялся к рукоятке, к державу (ведь узнает медичка, что опять работал, — заживо съест), а потом про все забыл: и про больную руку, и про отдых, и про еду.

Курил на ходу. Костра не разводил, чайника не грел — бутылку молока стоя выпил. И все равно вдосталь не наработался. Когда солнце село и вокруг стала разливаться вечерняя синь, такая досада взяла, что хоть плачь. И тут он вспомнил, как работали в старину.

Степан Андреевич — он сам слышал от старика, — когда смолоду на Верхней Синельге страдовал, один раз неделю не разжигал огня — жалко было тратить время на приготовление горячей пищи. Сухарем, размоченным в ручье, пробаивался. Или взять

Ефрема из Водян, старика, который в прошлом году помер. Как человек дом свой, бывало, строил? До того за день вымотается, что вечером сил нет на крыльцо подняться. Ползком вползал в избу. И все равно — не набился, все равно, сказывают, каждый раз со слезами на глазах пенял богу: «Господи, зачем ты темень-то эту на земле развел? Пошто людям-то досыта набиться не дашь?»

Августовская темень застала его посреди дороги. Поповым ручьем пробирался — исхлестало, иссекло кустарником, того и гляди глаза выстегают. А он чуть ли не улюлюкал, не кричал от удовольствия. Хорошо отделили березы да осины запотелое, зажарелое за день лицо, освежили и отшлепали на славу — ни в одной парикмахерской так не сумеют. И вообще он первый раз за все время, что был на бюллетене, был по-настоящему счастлив и ни о чем не думал.

Да, и ни о чем не думал.

Это ужас, оказывается, чистое наказание, когда голова работает. Все видишь, все замечаешь. В совхозе не так, дома не так. Газеты читаешь — опять из себя выходишь.

А вот сейчас — благодать. Пусто и ясно в голове, как в безоблачном небе. Все вымело, все вычистило работой. И даже то, что он косил сегодня на тех запущенных полях в навинах, о которых еще вчера кипел и разорялся, — даже об этих полях он ни разу за день не подумал.

Эх, болван, болван! — говорил себе Михаил с издевкой, как бы со стороны. Наишачился, начертоломился досыта — и рад. Немного же, оказывается, тебе надо. Ну да удивляться тут нечему. Всю жизнь от тебя требовали рук. Рук, которые умеют пахать, косить, рубить лес, — так с чего же тебе голова-то в радость будет?

3

Лыско залаял, когда Михаил подходил уже к старой конюшне. Залаял яростно, во весь голос в том самом месте, где когда-то стояла силосная башня, и ему ничего не оставалось как свернуть с дороги, потому что беда с этой силосной башней, а вернее с ямой, которая от нее осталась: постоянно кто-нибудь сваливается — то корова, то теленок, то овца. Лень засыпать, завалить. Бросят успех какую-нибудь некорыстную дощонку-жердину сверху — и ладно.

И вот так оно и оказалось, как думал Михаил, когда осветился спичкой: опять не была закрыта как следует яма. Со стороны деревни дыра такая, что страшно взглянуть.

Однако сколько он ни чиркал спичек, не мог прощупать глазом черноту ямы до дна — глубокая была, метров на шесть.

— Замолчи! — прикрикнул он на пса.

Тот прыгал и ярился вокруг так, что песок и камни летели вниз. С гулом, с грохотом.

Михаил на ощупь ногой нашарил в темноте бревешко, лежавшее возле ямы, отыскал таким же образом две жердины — надо было хоть маленько прикрыть яму, долго ли до несчастного случая? — и вот только он начал укладывать весь этот хлам, как снизу, из непроглядного чрева, донесся отчетливый человеческий стон.

— Кто там? — крикнул Михаил в ужасе.

Молчание. А потом, когда он во второй раз спросил, совсем-совсем запросто:

— Я, Миша... Я...

— Ты-ы? Евсей Тихонович? — Михаил сразу узнал старика по голосу. — Да как ты сюда попал?

— Ох, ох, Миша... Господь наказал...

— Водочка наказала, а не господь. Это ведь ты с пьяных глаз в яму-то залез, да? Ноги-то у тебя хоть целы?

— А не знаю, три дня и три ночи лежу как распятый...

— Подожди немного. Что-нибудь придумаем.

Он сбегал к скотному двору за лестницей и заодно прихватил там, в запарочной, открытой настежь для проветривания, «летучую мышь».

Наконец по лестнице с зажженным фонарем Михаил начал спускаться в яму. Страшная душина и зловоние ударили ему в нос. Он на секунду остановился, заорал:

— Да ты что — навоз решил тут разводиться? Почему не кричал, не орал что есть силы?

— А пострадать хотел...

— Пострадать?

— Страданьем, Миша, грехи избывают...

— Да какие же у тебя, к дьяволу, грехи? Всю жизнь по тебе ходили, ноги вытирали, а ты — грехи...

Михаил поборол в себе брезгливость и отвращение, заставил себя спуститься на дно ямы.

— Миша, ты не возись со мной, ладно? Оставь меня тут, в яме... Хочу, как пес шелудивый, издохнуть в нечистотах...

— Замолчи, к дьяволу! Голоса надо было не подавать, раз в этом нужнике решил сдохнуть...

— А не мог, не мог, Миша, совладать с плотью. Плоть голос подала... Не я... Пить, пить мне дай...

— Погоди с питьем-то. Питье-то там, наверху...

У Евсея оказались сломанными обе ноги — криком закричал, когда Михаил попытался посадить его, — и как было одному справиться! Пришлось бежать за помощниками — за Кешей-рулем и Филей-петухом: те жили ближе других.

И вот после долгой возни, после того как сколотили из досок помост да помост этот обвязали веревками, они наконец вытащили старика.

Глава семнадцатая

1

Доктора из района привезли на другой день после обеда.

Он не осматривал больного и минуты — ему достаточно было взглянуть на его ноги, фиолетово-синие, распухшие как колодки.

— В больницу, отец, надо ехать. Срочно.

— Резать будешь?

Доктор посмотрел в глаза старику и сразу понял, что этому человеку врать нельзя.

— Буду.

Евсей на секунду закрыл глаза, затем, собравшись с силами, поискал глазами Егоршу.

— Выйди, Егорий, ненадолго. Оставь нас вдвоем...

А когда тот вышел, спросил:

— Сколько мне житья еще дашь?

— А вот починим, подремонтируем — поживешь еще...

— Ну дак я тебе точно скажу: через три дня меня не будет. Сегодня какой день-то? Среда кабыть?

— Среда.

— Вот-вот. Субботу-то я еще проживу, промаюсь, а потом, как суббота истухнет да воскресенье Христово настанет, я и отойду. Взгляну последний раз на солнышко и отойду.

— Отойдешь? Так решил?

— Так. Так господу угодно.

— Ладно, дед. Хватит морочить мне голову. Надо срочно ехать. Каждая минута дорога.

Евсей вдруг расплакался, как малый ребенок:

— Да что я тебе худого-то сделал? Пошто ты послушать-то меня не хочешь? Оставь ты меня во спокойе, дай умереть человеком.

— А я на то и на свете живу, чтобы не давать людям умирать.

— А нет, нельзя мешать человеку, ежели он хочет помереть. А я все равно помру. Три дня, три ночи лежал в яме, в скверне, как Лазарь во гнойнице,—зачем? А затем, чтобы очиститься перед смертью, грехи с себя снять...—Евсей передохнул немного и сделал заход с другой стороны:—Умный человек, науки учил, а подумал, нет, зачем мне жить-то? Ноги отрежешь—кому я такой надо? Людей-то ты пожалей, коли меня не жалеешь...

Доктор задумчиво в который уже раз оглядел темную срубчатую келейку, посмотрел на красную лампадку, теплящуюся в переднем углу, на черные ящики божественных книг, грудой сложенных на лавке под лампадой.

— Дети у тебя есть, отец?

— Нету. Никого нету. Было два сына, оба воителями преставились.

— На войне погибли?

— На войне.

Доктор опять помолчал, опять поводил вокруг глазами.

— Ладно, отец,—сказал он глухо.—Будь по-твоему: помирай человеком...

2

Приходили люди—свои пекашинские, из окрестных деревень, крестились, бухали на колени, говорили всякие болезные слова—Евсей оставался в забытии. И Егорша, все эти дни безотлучно находившийся при нем, уже начал было думать, что он так и не услышит больше старика.

Но услышал. Услышал, когда поздно вечером в субботу в избенку влез Михаил.

— Вот и дождался я тебя, Миша,—вдруг заговорил Евсей и, к великому изумлению Егорши, даже открыл глаза.—Все люди бензином да вином пропахли, а от тебя дух травяной, вольный. С поля, видно?

— С поля,—ответил Михаил.

— Трудник ты великий, Миша. Много людям добра сделал... А вот одно нехорошо—от сестры родной отвернулся.

— Ну об этом что сейчас говорить.

— Последние часы у меня на земле остались—о чем же и говорить? Все хочу, чтобы у людей меньше зла было... Ну да с сестрицей-то вы поладите, у меня тут сумненья нету. С Егором помирись...

— Я? С Егором?—Михаил покачал головой.—Нет, давай что-нибудь полегче проси.

— А легкое-то человек и сам осилит. В трудном помогать надо. Помирись, помирись, Миша. Утешь старика напоследок...

Михаил долго молчал. Потом посмотрел, посмотрел на Евсея—тот из последних сил глядел на него—и протянул руку Егорше.

У Егорши слезы вскипели на глазах. Он жадно, обеими руками схватил такую знакомую, такую увесистую руку, но ответного пожатия не почувствовал. И он понял, что примирение не состоялось.

3

Евсей умер как сказал: в воскресенье на рассвете.

Только солнышка в тот час не было. Пушечные грозовые раскаты грома сотрясали небо и землю, а потом хлынул яростный долгожданный ливень. И набожные старушонки увидели в этом особый знак:

— Вот как, вот как наш заступник! Господу богу престал — первым делом не о себе, об нас, грешных, забота: не томи, господи, людей, даждь им влаги и дождя животворяня...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1

Родьке Лукашину три раза давали отсрочку от армии. И все из-за матери, из-за ее здоровья. В последние семь лет Анфиса Петровна редкую зиму не лежала в районной больнице.

В этом году здоровья у Анфисы Петровны не прибавилось, но Родька просто взбесился — весь август один разговор: отпусти да отпусти в солдаты. Надо же ему когда-то белый свет повидать!

И вот Анфиса Петровна поупиралась-поупиралась да в конце концов и махнула рукой: ладно, не буду твою жизнь заедать. Как-нибудь два года промучаюсь.

Родька — огонь парень! — за один день ухлопотал все дела в военкомате и вечером того же дня, дурачась, уже рапортовал матери:

— Разрешите доложить, товарищ командующий. Рядовой подводного флота Родион Лукашин прибыл в ваше распоряжение в ожидании отправки по месту службы... — И вслед затем, не дав матери опомниться, выпалил: — Так что собирай стол на тридцать первое августа сего года.

— На тридцать первое? — удивилась Анфиса Петровна.

— А чего?

— Да когда у нас в армию-то провожают? В сентябре — октябре, кажись?

— Ну, мам, я думал, ты у меня подогадливей. Верка Гряслина, к примеру, должна быть за столом или нет?

Так вот оно что! — догадалась наконец Анфиса Петровна. Веру Гряслину задумал посадить за стол своей девушкой — такой нынче порядок, непременно чтобы девушка провожала парня в солдаты, а Вере к 1 сентября надо в школу в район, вот он и порет горячку.

— А отец-то как? — подумала вслух Анфиса Петровна. — Согласится?

— Дядя Миша? — ухмыльнулся Родька. — Уговорим!

— Всех ты уговорил... Вера-то, не забывай, ученица.

— Ну даешь, Анфиса Петровна! Верка — ученица... Да в проклятые царские времена такие ученицы уже со своей лялькой на руках ходили.

— Ну не знаю, не знаю, — вздохнула Анфиса Петровна. — У тебя все не как у людей. Тридцать первого стол... Да ты подумал, нет, сколько до тридцать первого-то осталось? Три дня. Кто это тебе за три дня стол сделает?

— Сделаешь, сделаешь, маман! — подмигнул Родька. — Ты все сделаешь. В войну самого Гитлера на лопатки положила — разве мы забыли про эту страницу в твоей героической автобиографии?

— Ладно, ладно,— замахала руками Анфиса Петровна,— не подлизывайся. Знаем мы эти разговоры.

Но тут Родька шаловливо, как девку, сгреб ее в охапку, смачно поцеловал в губы, и что она могла поделаться с собой? Растаяла. Об одном только не позабыла напомнить сыну:

— С Пряслиными разбирайся сам. На меня тут не надейся.

— Ты это насчет того, чтобы мама Лиза тормоза дала?

— А уж тормоза не тормоза, а подумать надо. Лиза мать тебе вторая, не позвать — срам, а позвать — что опять с Михаилом делать? Разве сядет он нынче за один стол с родной сестрой?

Родька снисходительно сверху вниз посмотрел на мать и улыбнулся:

— Не беспокойся, маман. Этот вопрос у нас уже подработан. Мама Лиза не придет.

— Как не придет? Откуда ты знаешь?

— Знаю, раз говорю. В общем, так: беседа на эту тему проведена. Есть еще к суду вопросы?

Анфиса Петровна подняла глаза к передней стене, посмотрела на увеличенную карточку Родькиного отца:

— Ну, Иван Дмитриевич, а ты что скажешь? Будем провожать сына в солдаты?

С пятьдесят пятого года, с той самой поры, как пришло известие о гибели мужа, она во всех важных случаях советовалась с ним. И обязательно вслух, обязательно при сыне: чтобы не забывал, помнил отца.

2

Михаил выбрался из дому уже после полудня. Не мог раньше. В молодые годы с утра ни разу не бражничал — так неужели сейчас, на пятом десятке, ломать себя. Делов, что ли, в жизни не стало?

А другая причина, почему он со всеми не в ногу, — женушка. Заладила: не пойду, и баста — бульдозером не своротить. «Да ты подумала, нет, какая это обида Анфисе Петровне будет?» — «А мне не обида — дочь родную во грязи валять?» — «Дочь в грязи? Веру?» — «Проснулся! Родька кой год по бабам ходит, баско это — ученица с таким кобелем рядом?» Михаил тут только руками развел: подумаешь, преступление — человек смолоду молод! И вот стружка полетела уже с него: «А-а, дак ты защищать, защищать! Ну ясно, кобелина кобелине глаз не вырвет!» Никак не может забыть Варвару.

В общем, испортила праздник: Михаил тучей выкатился из заулка.

Но какая же благодать на улице!

Еще недавно задыхались от жары, от пыли, еще недавно все на свете кляли, когда надо было шастать деревней, — в пепел размолот песок! А сейчас идешь — вроде бы и не та дорога. Ни пылинки, ни порошок. Хорошо поработали недавние ливни. Хорошо промыли землю и небо. И зелень, молодая зелень брызнула на лужайках. Как, скажи, лето заново началось в Пекашине.

А может, еще и гриб какой на бору будет? — подумал Михаил и услышал песню: у Лукашиных пели.

Родька выбежал встречать его на улицу. Грудь белой рубахи расшита серебром, рукава с кружевами, как у девки, пояс металлический, с золотым отливом... Разодет-разукрашен по самой последней моде.

— Ну, брат, я таких и в Москве не видал.

— Стараемся, дядя Миша! — весело тряхнул волосатой головой Родька и закричал: — Музыка!

В распахнутом настезь коридоре разом грохнули два аккордеона, и Михаил так на волнах музыки и въехал в дом.

А дальше все было как по писаному. Было громогласное «ура» в честь опоздавшего, был штрафной стакан — прямо у порога, были расспросы — почему один, где супружница...

Вера не стала дожидаться, когда отца затюкают. Тряхнула косями, вскочила на ноги:

— Песню, песню давайте!

И кто устоит перед ее напором, кого не подымет волна веселья и задора, которая хлынула от нее! Запели все — и молодняк и пожилые, благо всем известна была песня про солдата:

Не плачь, девчонка,
Пройдут дожди,
Солдат вернется,
Ты только жди.
Пускай далеко твой верный друг,
Любовь на свете сильнее разлук.

Михаил глаз не мог отвести от дочери.

Не в мать, не в мать, думал. Да и не в меня, конечно. Не умели мы так радоваться. И вдруг, любуясь черными разудальными глазами Веры, вспомнил Варвару. Неужели, неужели все радости, все муки тех далеких-далеких лет вдруг ожили, проросли в родной дочери?

Михаил перевел взгляд на другой конец стола, туда, где сидела Лариса со своими подружками. Визг, смех — из-за чего?

Таборский! Когда успел забраться в этот недозревший малинник? Вроде бы, когда он, Михаил, заходил в избу, его там не было. Но разве в этом дело? Разве не все равно, когда втесался?

В диво другое — соплюхи от него без ума. Лапает, щупает принародно — и хоть бы одна по рукам дала: опомнись! ты ведь в отцы нам годишься.

Не дождешься от нынешней молодежи. Вот уж правду каждый день бренчат: поколения у нас в ладу друг с другом.

Ну а Таборский еще, помимо всего прочего, запал молодежи умеет дать. Как Подрезов, бывало. Правда, у Подрезова все от души, от сердца. У того слово — дело. А этот артист. Говорун. И поди разберись, где игра, где дело.

А Петр так и не пришел, сказал себе Михаил, водя глазами по пестрому буйному застолью, и ему вдруг стало не по себе.

Он новым стаканом вина залил тоску.

— Родька, а где у тебя мать? Не вижу.

Родька, как тетерев на току, заслышав какой-то непонятный звук близости, на секунду поднял рывком голову и снова запел.

3

...Пили за новобранца, за будущего солдата, за то, чтобы он верой и правдой служил родине, пили за нее, Анфису Петровну, пили за Таборского, пили за Шумилова, председателя сельсовета, за друзей-товарищей — за всех пили, никого не обошли.

А когда же, когда же отца-то вспомнят? — изнывала от ожидания Анфиса Петровна.

Она глаз не сводила с сына, умоляла, заклинала его: скажи! Но разве до отца было Родьке, когда рядом Вера, друзья-товарищи?

И вот кто же догадался сказать про родителя? Александра Баева, старушонка, которая помогала ей угощать гостей.

— Ну теперека, думаю, не грешно и Ивана Дмитриевича добрым словом помянуть.

И тут Анфисе Петровне вдруг стало так горько, такое удушье подступило к горлу, что она едва добралась и до повети...

Прибежал Родька («Мам, мам, что с тобой?»), прибежала фельдшерица — тоже была на проводах, — Таборский, Шумилов заходили.

— Ничего, ничего, отлежусь. Гуляйте на здоровье, веселитесь, — говорила она всем.

И так же она ответила и Михаилу, когда тот ввалился на поветь.

Но Михаила не проведешь.

— Эх и дура же ты, Анфиса, дура! Кажинный день провожаешь сына в армию? Да ведь потом волосы будешь на себе рвать: ах, недоглядела, ах, недосмотрела свое сокровище...

Анфиса Петровна встала. Верно, верно сказал Михаил: наступят такие дни, и скоро настанут, когда она за один погляд на сына согласна все отдать, что у нее есть.

Опираясь на Михаила, она вышла с повети в сени и тут увидела Нюрку Яковлеву, пьянющую, чуть не на карачках пробирающуюся вдоль стены к раскрытым дверям избы. Раздумий не было. Вмиг загородила дорогу:

— Тебе, Анна, нету хода в мой дом.

— В твой дом нету хода? Мне? Это за что же такая немилость?

— А за то, что в чужой дом нахрапом залезла.

— Я залезла?

Анфиса Петровна не стала больше разговаривать — выставила непрошеную гостью на крыльцо, захлопнула за собой двери, да еще и рукой на дорогу указала:

— Уходи, уходи, Анна! Видеть тебя не могу после того, что ты сделала с Лизаветой, а не то что принимать в своем доме.

Нюрка откинула назад голову, захохотала:

— А родню в этом доме принимают? К примеру, когда родной сынок напакостил... Непонятно выражаюсь? Пойди посмотри... Вещественные доказательства налицо...

— Чего мелешь? Какие доказательства?

— А-а, какие... Какие бывают, когда парень брюхо натолкает?..

Она не охнула, не пошатнулась от этих слов — ни минуты, ни секунды не поверила, но и отмахнуться не могла: сплетни, как огонь, в зародыше гасить надо.

— Веди к Зойке! — приказала.

Зойка жила отдельно от матери, в старом колхозном курятнике на задворках у медпункта. При виде нежеланных гостей, переваливших за порог ее маленькой неказистой избенки, удивленно выгнула тонкие подрисованные брови — она лежала на кровати, но не встала.

— Проходи, проходи, мамочка званая! — с издевкой сказала Нюрка. — Ну мамочкой не хочешь, а бабкой-то, хошь не хошь, станешь. Верно говорю, Зойка?

— Загинь, к дьяволу! Налилась опять, нажоралась. Кто тебя звал?

— Да как! Она не верит.

— Чего не верит?

— Не верит, что ейный сынок тебе прививку сделал.

Зойка зло улыбнулась своими тонкими сухими губами, хотела что-то сказать, но передумала и только вяло махнула рукой.

Свет потух в глазах у Анфисы Петровны: на Зойкиной руке она увидела золотое кольцо, и ей сразу стало все ясно.

Господи, господи! Она целое утро сегодня искала это кольцо, все перерыла, перевернула кверху дном, думала, потеряла, а оно вот где, оказывается, — у Зойки на руке...

Зойка что-то кричала матери, мать кричала Зойке, а что? Ничего не слышала, не понимала — чудом выбралась на улицу.

Нет, знал, знал сынок дорогой, что такое это кольцо, какая святыня в ихнем доме. Сто раз рассказывала, как отец подарил его. Родила сына, надо идти записывать в сельсовет, а сыну и фамилии отцовской нельзя дать, потому что мать не в разводе. Ну как тут с ума не сойти! И вот Иван, чтобы хоть как-то успокоить, утешить ее, надел ей на руку это кольцо, нарочно заказывал в городе.

Пятнадцать лет она не снимала кольцо с руки и, конечно, в гроб легла бы с ним, да четыре года назад начали пухнуть пальцы в суставах, и ей волей-неволей с великими муками пришлось его снять...

4

Танцевали, садились за стол, снова танцевали — под радиолу, под аккордеон, на улице, в доме, на крыльце... И так до темени, до тех пор, пока не зажгли свет и не вспомнили про клуб.

И все это время Анфиса Петровна была на ногах, ни на минуту не присела и не прилегла. Нашла в себе силы. Выстояла. Не испортила праздника, не уронила фамилии Лукашиных. И только когда опустел дом, тяжело рухнула на стул к столу.

— Останься, — сказала сыну.

— Ну мам...

— Останься, говорю! И ты, Михаил, останься.

Под окнами заревели, зарычали мотоциклы, крик, смех, визг, затем весь этот шум-гам выкатился из заулка на дорогу и побежал в сторону клуба.

— Ну, сын, доволен проводами? Хороший стол справила мать?

— Спрашиваешь!

— А теперь другой стол будем справлять, — сказала Анфиса Петровна.

— Это в честь чего же? — спросил Михаил с усмешкой.

— А в честь того, что сына буду женить.

Михаил, зевая, устало махнул рукой: давай, мол, в другой раз пошутим. Сегодня и без того веселья было предостаточно.

— А я не шучу, — сказала Анфиса Петровна. — Какие тут шутки, когда криком кричать надо! — И тут она и в самом деле разрыдалась. Прорвало плотину, которую с таким трудом воздвигала. — Он ведь с кем, с кем спутался? С Зойкой-золотушкой. У той брюхо от него...

Михаил круто обернулся к Родьке:

— Это правда?

— Чего — правда? Разведут всякую муть — слушайте...

— А кольцо, кольцо отцовское? Самая дорогая память об отце, а ты... а ты что сделал?

— Да чего я сделал? — вдруг зло засверкал черными глазами Родька, сам переходя в наступление. — Подумаешь, дал поносить... Убудет его? Ну возьму обратно... Сейчас взять? Завтра?

— Гад... Сволочь! — выдохнул Михаил.

— Но, но, потише, потише, дядя Миша! Чья бы мычала, а твоя-то бы молчала. Я еще не дошел до того, чтобы и тетке и племяннице фигли-мигли делать...

— Родька... Родька, что говоришь? — умоляющим голосом простонала Анфиса Петровна.

Ничто не остановило Родьку. Пиджак с вешалки сдернул, дверью бабахнул так, что стаканы забренчали на столе, а на мать даже и не взглянул. И тут Анфиса Петровна опять расплакалась:

— Все, все вложила в него... Ничего не пожалела... Думаю, мы с отцом жизни не видели, пушай хоть он за нас поживет...

— Вот и зря! Этой-то жалостью и испортила парня! — рубанул сплеча Михаил.

— Да что же по-твоему, хороший человек только в беде родится? Хорошая жизнь человека портит?

— А черт их знает, что их портит!

Михаил забегал по избе. И вообще у него у самого кругом шла голова: где теперь Вера? что причитает Раиса? Ведь наверняка все Пекашино теперь только и делает что треплет имя его дочери.

Глава вторая

1

Сережа Постников, сын Фили-петуха, нынешней весной вернувшийся из армии, ровно в полшестого, из минуты в минуту, как договорились, дал гудок.

Михаил, конечно, был уже начеку. Он выбежал из дома, кинулся в мастерскую будить дочь.

— Вставай, вставай, невеста! — с шуткой начал теребить ее. — Женихи приехали!

Вера поднялась, не проронив ни слова. Лицо у нее было бледное, осунувшееся, хмурое, и он понял: не спала. А ведь вечер, когда он, прибежав от Анфисы Петровны, заговорил с ней о Родьке, виду не подавала, что переживает. Даже оборвала его, когда он стал слегка выгораживать парня — дескать, бывает это в молодости, заносит по глупости. «Давай, папа, договоримся раз и навсегда: подлецов не защищать. Хорошо?» «Хорошо», — сказал Михаил и был очень доволен, что все так легко обошлось.

Не обошлось.

Однако утешать и вразумлять дочь было некогда — с улицы один за другим долетали гудки, да и что сказать? Где найти нужные слова?

Кое-чего перехватили, попили чаю.

— Ну, прощайся иди с матерью, — сказал Михаил, но тут Раиса, тягуче зевая, выкатила на кухню сама.

— Говорила я: поезжай, девка, заране, дак нет, на проводы надо...

— Ну ладно, ладно, — замахал жене Михаил. — Опять ты за свое?

— Да как! Уехала бы вчера-то, знаешь, как хорошо! В школу бы пришла вовремя, свеженькая, чистенькая, а то ведь ты носом клевать на уроке-то будешь, а не учиться. Да и опоздаешь еще.

— С чего она опоздает-то? Два часа до района ехать, а сейчас только шесть.

— А дорога-то? Забыл, какая у нас шасае? Да еще машина сломается.

Михаил схватил чемодан и сумку, пошел на выход, потому что все равно жену не переговоришь. Выспалась, подкрепила за ночь силы — кого хошь теперь на лопатки положит.

Из будки весь в сене, сладко потягиваясь, вылез Лыско. Но вдруг увидел свою любимицу, собравшуюся в дорогу, и завыл.

Вера расплакалась, обеими руками обняла пса, бросившегося ей на грудь. Не вчерашняя ли боль и обида выплескивались в этих слезах?

— Давай-давай! Не навек уезжаешь!

Вера оттолкнула Лыска, затем бегло, торопливо обняла мать; Райса обиделась:

— Вот как у нас! Собаку готова съесть, час целый жала, а до матери едва дотронулась.

Сережа сам залез в кузов, чтобы увязать Верины вещи, затем с игривым полупоклоном раскрыл дверцу кабины:

— Прошу пассажиров!

— Нет, я в кузове, — сказала Вера.

— Да почему в кузове-то? — удивился Михаил. — В кабине-то мягче, меньше трясти будет.

Но Вера уже поставила длинную ногу на колесо, потом подтянулась на руках и легко перекинула тело за борт. Сережа обиженно закусил губу, совсем как отец, и Михаил сказал себе: понятно, понятно, и тебе моя девка задурила голову. То-то вчера сам стал навязываться — не надо ли утром отвезти Веру в район?

Грузовик тронулся. Вера встала в кузове во весь рост — второе солнышко засияло над землей, свое, доморощенное, только что омытое слезами. И Михаил смотрел, смотрел на это солнышко да и не выдержал — со всех ног бросился догонять машину. Решил хоть немного проводить дочь. Есть время! До развода еще целых два часа, да если и опоздает на развод, не беда: работа известна — ремонт старого коровника. На худой конец, отстучает лишний час после работы.

2

— Ну как, как, доча? Хорошо?

Машину качало и бросало как пьяную: распсиховавшийся Сережа гнал не разбирая дороги. А Михаил все кричал и кричал Вере, обхватив ее правой рукой, а левой держась за кабину:

— Да улыбнись же, улыбнись! Смотри, какое сегодня утро!

И вот наконец добился своего — когда выехали на Нижнюю Синельгу да впереди увидели Марьюшу, всю раскрашенную осенним пестрым кустарником, робкая улыбка осветила Верино лицо.

Тут бы ему и проститься с дочерью, тут бы ему и повернуть на сто восемьдесят градусов, тем более что как раз возле нового моста за Синельгу повстречали знакомую попутку из Заозерья. Так нет, давай дальше! Давай с ветерком по Марьюше! А насчет машины чего переживать? Встретили одну, встретим и другую.

Не встретили. Пехом пришлось отмахать семь верст.

Но зря, зря он вгонял себя в пот. Зря разорялся из-за того, что на работу опаздывает. Его напарнички тоже не очень изнуряли себя на трудовом фронте. Сидели под навесом, папироска в зубах и ха-хо-хо да хо-хо-ха!

— Михаил, слышал, у нас два писателя завелось?

Он подозрительно стрельнул прищуренным глазом в сторону Фили-петуха, обежал взглядом остальных: с какой стороны подвох? что за загадку ему загадывают?

— Да ты что — ничего не знаешь? — с запалом вскинул лысеющую голову Филия. — Начальство из области приехало. Нашего управляющего чесать.

— Его начешешь! — усмехнулся Михаил.

— Вот Фома неверный! Мужики, вру я?

— Правда, правда, Михаил. Виктор Нетесов да Соня-агрономша заявление накатали в область. До ручки, мол, дожили. Принимайте срочные меры.

Михаил опять усмехнулся:

— Хорошо бы! Только Виктор-то Нетесов с каких пор стал на амбразуру кидаться?

— С каких... Разве не слышал, как они сено принимать на Пашу ездили? Таборский: пиши тридцать тонн для ровного счета, а Виктор: нет, тут, на Паше, и в травные-то годы двадцати тонн не было. Вот у них расстыковка и вышла.

— Ясно, — сказал Михаил и полез на коровник: не кричать же во все горло от радости.

Но за работой его снова стали одолевать сомнения, и он едва дождался обеда.

— Ребята, за папиросами хочу сперва забежать! — махнул рукой в сторону селпо, чтобы объяснить напарникам свой необычный маршрут.

А на самом-то деле порысил к Виктору Нетесову, чтобы от него, из первых рук, узнать все как было.

3

Виктора Нетесова не зря прозвали немцем. Машина-человек. На работу ни на минуту не опоздает, но и на работе лишней минуты не задержится. Было четверть второго, когда Михаил перешагнул за порог нетесовского дома, а он уж за столом сидел.

На гостя посмотрел хмуро, с нескрываемой досадой: дескать, что за пожар — пообедать спокойно не дадут? И Михаил даже растерялся от такого приема.

— Заправляйся, заправляйся, а я покурю тем временем.

На улице с любопытством огляделся: а ну-ко, немец, нрав-то ты свой показывать научился, а чему меня твоя усадьба научит?

Научила.

Перво-наперво деревянные мостки. Невелик труд — от крыльца к хлеву, к сараю, к бане доски перекинуть, а ведь толково. Всегда, в любую погоду, под ногой сухо, и грязи не натащишь в дом. А второе, что он тоже сразу принял на вооружение, — ягодники. В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину — дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода, нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь на нашем бору, а у Виктора Нетесова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черной смородины столько навалило, что кусты ломаются.

В сарае тихонько позвякивало железо — молотком били, — и Михаил пошел туда.

Старик — Илья Нетесов — трудился. А над чем — не надо спрашивать. Железную ограду собирал, чтобы заново, в который уже раз обнести могилы дочери и жены.

Да, так вот. Люди хлопочут о живых — о себе, о детях, о внуках, — а у Ильи Максимовича одна забота: как бы получше устроить могилы дочери и жены. И устраивает. Каждое лето что-нибудь меняет, то столбики, то оградку, то надгробия, нынче специально в город ездил по половодью, гранитные привез.

— Где оградку-то делали? (Старик расширял на наковальне железное кольцо.) Не в леспромхозе? — закричал Михаил.

Илья повернул к нему худое бородатое лицо, заморгал по-детски голубыми глазами.

— Где, говорю, такую шикарную ограду раздобыл? — крикнул он еще громче.

Но в ответ старик только улыбнулся беззубым ртом. Артиллерист, всю войну из пушек палил — ничего ушам не делалось, а умерла дочка, умерла жена — и за один год оглох. Начисто.

Да, вот как бежит время, подумал Михаил. Давно ли еще вся деревня бегала к Нетесовым, чтобы посмотреть на живого победителя, а сегодня этого победителя самого подпорками подпирать надо.

— Пряслин! — подал голос с крыльца Виктор.

— Иду! — живо откликнулся Михаил и, как мальчишка, кинулся к нему. Потом вспомнил, что тот на добрых пятнадцать лет моложе его, и притормозил.

Сели на скамейку под дощатый раскрашенный грибок неподалеку от крыльца, и Виктор первым делом взглянул на свои часы.

— Без двадцати два, — объявил деловито. — То есть учти: разговаривать с тобой могу не больше десяти минут.

— Ясенько, — без всякой обиды сказал Михаил.

А чего обижаться? Да надо бога молить, что такой человек в Пекашине завелся. Ведь нынешние работники что за народ? Утром иной раз на разводе заведутся, начнут анекдоты травить — про всякую работу забыли. А Виктор Нетесов без десяти девять, хоть земля под ним провалилась, заведет свой трактор. А раз один завел, что же остается делать другим?

В общем, Михаил хорошо был знаком с причудами Виктора Нетесова, а потому начал без всякой прокладки:

— Это верно, что вы с Соней-агрономшей письмо накатали?

— Верно, — кивнул Виктор.

— Думаю, не о том, что хорошо живем по сравнению с довоенным? — Михаил слегка подмигнул.

— Не о том. Мы проанализировали наиболее важные показатели пекашинской экономики за последние годы и пришли к выводу, что тут у нас явное неблагополучие...

— Неблагополучие?! — с жаром воскликнул Михаил. — Скажи лучше: бардак!

Виктор выждал, пока Михаил немного успокоился, и все тем же ученым языком (не иначе как наизусть свое письмо шпарит) продолжал:

— В частности, мы подробно остановились на вопросе о кормовой базе как ключевом вопросе всей нашей экономики...

— Ерунда все эти ключевые вопросы! — опять не выдержал Михаил. — Ключевой-то вопрос, знаешь, какой у нас? Таборский! Покамест Таборский да его шайка будут заправлять Пекashiном, считай, все ключевые вопросы — одна трепотня...

И вот в это самое время, когда они только-только разговорились, Виктор поднялся: вышло время.

Михаил на чем свет стоит клял про себя эту двуногую машину, но что делать? — скорее солнце повернет с запада на восток, чем Виктор изменит себе.

Уже дорогой, заглядывая Виктору в лицо сбоку, Михаил спросил:

— А чего же мне-то не дали подмахнуть свою бумагу? Думаю, лишняя подпись не помешала бы. Мы, бывало, с твоим отцом когда-то одной стеной шли. Дак времена-то тогда какие были!

— У вас с Таборским больно нежные отношения. — Тут Виктор вроде как улыбнулся. — А это, знаешь, всегда лазейка — личные счета сводит...

— Понятно, понятно, Витя! Ну и жук же ты колорадский! Все продумал, все учел, голыми руками тебя не возьмешь.

С похвалой, от всего сердца сказал Михаил, но у Виктора к этому времени кончились последние минуты обеденного перерыва, и он свернул к механическим мастерским, на свой объект, как он любил выражаться.

Михаил на мгновение задумался: а ему что делать? Бежать домой да хоть что-нибудь бросить на зубы?

Пошел на коровник. Можно до вечера потерпеть, можно. Зато когда драка в Пекашине пойдет, а он теперь верил в это, ему не заткнешь с ходу глотку. Не скажешь: «Ты-то чего надрываешься, когда у тебя у самого с производственной дисциплиной минус?»

И тут Михаил еще раз посмотрел на Виктора Нетесова, подходившего в эту минуту к окованным дверям мастерской. Посмотрел нежно, с любовью. А как же иначе? Ведь этот самый Виктор Нетесов, можно сказать, веру в человека у него воскресил.

Да, думал, в Пекашине все исподличались, всех подмял под себя Таборский, а тут на-ко: дай ответ по самой главной сути!

Глава третья

1

Жизнь Пекашина вот уже несколько лет катилась по хорошо накатанной колее. Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками и сервантами, обзавестись железным коником, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку... А что еще работяге надо?

Теперь вдруг все это отошло, отодвинулось в сторону, вспомнили, что, помимо рубля и своего дома, есть еще Пекашино, земля, покосы, совхоз.

Разговоры вскипали на работе, за столом, в магазине — везде ООН.

У Пряслиных прения открыла Раиса. Утром, когда пили чай, как указание дала мужу:

— Язык-то там не больно распускай. У Таборского оборона от Пекашина до Москвы.

— Ну уж и до Москвы! — хмыкнул Михаил.

— А как? Сколько раз ты на него наскакивал, а чем кончалось?

— Значит, худо наскакивал.

Раиса по-бабьи всплеснула руками:

— Ну-ну, давай! Лезь на рожон. Умные люди будут в сторонке стоять, а ты опять горло драть изо всех сил.

— Да плевать я хотел на твоих умных людей! — Михаил тоже начал выходить из себя. — Умные люди, умные люди! Больно много этих умных людей развелось — вот что я скажу. Кабы этих умных людей поменьше было, небось не рос бы лес на полях.

— А раньше не рос, да что с этих полей получали? — без всякой заминки отрезала Раиса.

— Это другой вопрос, — буркнул Михаил.

— Какой другой-то?

— А, какой! Ты с четырнадцати лет землю не пахала, не сеяла, дак тебе все равно. Пущай лесом зарастает. А у меня эти поля — вся жизнь. Понимаешь ты это, нет?

— Что ведь, тако время. В других деревнях не лучше.

— В других деревнях другие люди есть. Иван Дмитриевич Лукашин как, бывало, говорил? Во всей стране навести порядок — это нам, говорит, из Пекашина не под силу, кишка тонка, а сделать так, чтобы в Пекашине бардака не было, — это наш долг.

— Ну наводи, наводи порядок, — вздохнула Раиса. — На войне вырос, месяца без войны прожить не можешь...

— Да чего ты хочешь? — закричал Михаил, уже окончательно выходя из себя. — Чтобы я ни гу-гу? Чтобы Таборский со своей шайкой еще пятнадцать лет в Пекашине заправлял? Да меня дети мои презирать будут, верно, Лариса?

Лариса — она как раз в эту минуту вошла в кухню — поставила ведро с водой у печи, но ничего не сказала. Это не Вера. Этой отцовские дела неинтересны.

2

В это утро на разводе только и разговоров было что о начальстве, которое понаехало в Пекашино. Небывало, неслыханно! Пять головок сразу, да каких! Второй секретарь райкома (первый был в отпуске), начальник районного управления сельского хозяйства, директор совхоза — этих-то, положим, видали, может, только не в таком скопе. А завотделом обкома да главный зоотехник области! Ну-ко, когда, в какую деревню заплывали такие киты?

— Н-да, крепко, видно, клюнул Виктор Нетесов.

— Вот тебе и немец!

— Этот немец научит жить, ха-ха!

— А что, у нас отец, бывало, с войны пришел, об етой Германии много рассказывал.

— Где Виктор-то — не видно сегодня.

— Хо, где Виктор... Виктор теперь на самом юру. С директором совхоза да с начальством из области на Сотюгу поехал.

— Насчет сена?

— А насчет чего же? Коров-то темà тоннами, которые у Таборского на бумаге, кормить не будешь.

— Ну на этот раз за Таборского взялись.

— Вывернется! Не впервой.

— Не знаю, не знаю. Шуруют по всем линиям. На скотных дворах были, на телятнике были. А сегодня с Соней-агрономшей в навины собираются.

— Да ну?!

— Да ты понимаешь, нет — из самой области приехали! Когда это было?

Филя-петух, когда плотники, работавшие на ремонте коровника, после развода потащились к болоту, дорогой попризадержал Михаила, оглянувшись на всякий случай по сторонам и под большим секретом (у Фили всегда секреты) сообщил:

— Вчерась, говорят, уж кое-кого вызывали.

— Куда вызывали?

— В совхозную контору. К начальству приезжому.

— Ну и что?

— Да ничего. Я думаю, раз в разрезе всей жизни пашут, дак тебя перво-наперво спросить должны.

— Спросят, когда дойдет очередь, — отмахнулся Михаил, хотя сам-то в душе был того же мнения. С сорок второго года в сельском хозяйстве вкалывает — кого и спрашивать как не его!

Однако не спрашивали.

В томлении, в постоянных поглядах на деревню (вот-вот запылит оттуда уборщица) прошел один день, прошел другой. Забыли про него? Таборский, его дружки постарались?

Михаил пошел в контору сам. Прямо с работы, когда кончился рабочий день.

3

Поговорили...

Три часа без мала молотили. Всю пекашинскую жизнь перебрали, всем главным отраслям пекашинской экономики обзор дали: животноводству, полеводству, механизации. А к чему пришли? Кто виноват в том, что в Пекашине все идет через пень-колоду? А Михаил Пряслин. Потому что с сорок второго года как сукин сын вкалывает. Бессменно.

Конечно, никаких «сукиных сынов» не было, это он уж сам сейчас, выйдя из конторы, на ходу краски навел. Вежливенько встретили: заходи, заходи, товарищ Пряслин! Тебя-то нам и надо. И вежливенько разговаривали. Без крика, без стука кулаком по столу, это вам не подрезовские времена.

А по существу? А по существу оглоблей по башке.

— Как же вы допустили, товарищ Пряслин, до такого развала ваше хозяйство?

Да, так вот поставил перед ним вопрос Копысов, завотделом обкома, и поначалу у него голова пошла кругом, язык заклинило. А потом вдруг такая ярость накатила, пошел крушить направо и налево:

— Да вы что же — Таборского выгораживать? Его шайку? За этим сюда приехали?

— Спокойно, спокойно, товарищ Пряслин. С Таборского мы спросим, не беспокойтесь. Ну а вы, вы лично несете ответственность за положение дел в Пекашине? Вы использовали свои права хозяина?

— Какие, какие права? Хозяина?

— А вы не знали, что рабочий человек у нас хозяин?

И вот пошли и пошли свою ученость показывать. Ты ему из жизни, из практики — дескать, когда колхоз был, хоть на общем собрании можно было отвести душу, а сейчас что?

— А сейчас что, советская власть у вас отменена?

И так, о чем бы ни зашла речь. В общем, нечего, дорогие товарищи пекашинцы, все валить на дядю, когда сами во всем виноваты.

А может, и виноваты? — вдруг пришло Михаилу в голову. Может, потому все и идет у них через пень-колоду, что они сами колоды лежачие?..

На деревне уже зажгли огни. И у Калины Ивановича тоже огонь был в окошке. Надо бы зайти проведать старика, подумал Михаил, но зайти нетрудно, да как выйти. Начнется разговор, начнется кипенье, а старик и так на ладан дышит. В восемьдесят с лишним лет плохо рысачить.

К Петру сходить? С ним потолковать, отвести душу? И вообще, сколько еще обходить друг друга? Братья они или нет?

Но внезапно вспыхнувший порыв как-то сам собой погас, и Михаил пошел домой.

Глава четвертая

1

Целую неделю ждали, гадали: что будет? Чем закончится нынешний наезд начальства?

Таборский не кочка на ровном месте, с ходу не сковырнешь.

Крепкая у него корневая система. До района разрослась. Да и не только до района. Племянник в области какой КП занимает — неужели будет смотреть, как дядю бьют?

А кроме того, Таборский и сам не сидел сложа руки. Против него бумажной войной пошли, а разве сам он не умеет играть в эту игру? Полетело письмо в район и область. От имени народа. Тридцать семь подписей. Тридцать семь человек взывают к районным и областным властям: оставьте нам Антона Таборского! Пропадем без него, жизни не будет в Пекашине...

В общем, было из-за чего покипеть, поволноваться в эту неделю.

И вот наконец узнали: Таборского сняли.

— Да ну?!— Михаил (он пил чай после бани) просто подскочил на стуле, когда Филля-петух влетел к нему с этой новостью.

— А новым-то управляющим, знаешь, кого назначили? Виктора Нетесова.

— Мати!— залопил Михаил. — Давай пятак на бутылку!

Раиса со вздохом покачала головой:

— Господи, и когда только ты поумнеешь! Как малый ребенок. Сколько на твоём веку этих председателей сымали — не пересчитать, а ему все заново, все как праздник. Целую неделю теперь будет приглядываться да приноживаться.

— Давай-давай! Потом доклады.

Михаил не стал допивать стакан. Горючливо вытер полотенцем мокрое, зажавшееся лицо (после бани он всегда пьет чай с полотенцем на шее), надел праздничную рубашку, а затем надел и новый костюм, который подарила Татьяна: да, праздник у него сегодня и он не скрывает этого!

Ха-ха-ха! Когда поумнеешь, когда перестанешь разоряться из-за того, дурака аде человека в управляющие назначили?..

А никогда! Всю жизнь!

За сорок два года он усек твердо: каков поп, таков и приход.

В самые худородные, в самые тугие времена Лукашин поворот колхозу дал. А почему? А потому что твердо на ногах стоял, потому что не гнулся, как лоза, при всяком ветришке сверху, не был кнопкой, которую надавили — и запела. И он, Михаил, не раз удивлялся, никак в толк взять и сейчас не может, почему этого часто не понимают те, кому положено понимать, кто за это деньги получает.

Правда, насчет Виктора он сам промашку дал. Не разглядел. Давно бы надо шумнуть, давно бы надо во все колокола бить: Нетесова на отделение! А он не то чтобы недооценивал его, а все как-то с усмешечкой поглядывал. Потому что больно уж все заковыристо у него, все из стада вон. То пикники какие-то, чаи на природе придумает — с женой да с дочкой в выходной день за деревню на лодке катит, то опять насчет кино заведет городские порядки. Раньше, к примеру, с этим кино и думушки ни у кого не было: когда наберут пятаков более или менее подходяще да когда киномеханик более или менее на ногах держится, тогда и начнут крутить (и в девять и в десять часов — когда как придется). А теперь нет: ровно в девять из тютельки в тютельку — такой закон на сессии сельского Совета принят. И уж будьте-наде — депутат Нетесов сумел вколотить этот закон всем: целый год без передышки на каждое кино выходил.

Подтянет, подтянет Виктор подруги, думал Михаил, размашистым шагом шагая с посоловевшим Филей, который, пожалуй, на радостях малость перебрал.

В конторе, как в старые колхозные времена, полным-полно было народу. Дымили сигаретками, перекидывались шутками, скалили зубы, а на прицеле-то у всех был он, новый управляющий: как-то покажет себя? с чего начнет? кому выдаст серьгу, кому хомут? Бывало, в колхозные времена, когда новый человек за председательский стол садился, это целый спектакль. Тут тебе и всякие посулы и обещания райской жизни, тут тебе и зажигательные призывы, тут тебе и гроза. А иной раз и бутылка. Был такой у них один чувак — с братания, то есть с повальной пьянки начал свое правление.

От Виктора Нетесова ничего такого не дождалось. Сидел за столом, подписывал какие-то бумаги, передавал бухгалтеру, кладовщику, а на то, что в конторе продыху нет от людей, ноль внимания.

И все-таки спектакль был.

— Михаил Иванович, давай-ко поближе.

Все сразу примолкли, притихли: ну, какой пост сейчас отвялят Пряслину? чем вознаградят за многолетнюю войну с Таборским?

Михаил наспех вдавил в пепельницу сигарету, весь подтянулся, только что не строевым шагом двинул к столу.

— Что скажешь, Михаил Иванович, если за тобой закрепим конюшню?

Михаил не успел еще и сообразить что к чему, а уж кругом — ха-ха-ха! го-го-го! И добро бы потешались, глотку надрывали его недруги, скажем такой прохвост и жулик, как Ванька Яковлев, первая опора Таборского среди механизаторов, а то ведь и Филя-петух блеял, и Игнат Поздеев зубы напоказ.

И напрасно Виктор пытался доказывать, что без коня им никуда, что конь в условиях Севера незаменим, — не помогло. Потому что что такое конюх сейчас, в машинный век? А самый распоследний человек в деревне, вроде Нюрки-пьяницы. Да если говорить откровенно, конюху и в старые, колхозные времена не ахти какой почет был. Зимой трудовая повинность — всех в лес от мала до велика, а на конюшню какого старичонка сунули, и ладно. Лошади не коровы. Сена охапку бросил, к колодцу сгонял — вот тебе и весь уход.

Михаил не дал согласия. Но и отказываться наотрез не отказывался. Нельзя было принародно. Сам сколько лет кричал: долой Таборского, дайте другого управляющего, а дали — и задом к нему? А второе — Нюрка Яковлева опять загуляла: лошади с утра не поены, не кормлены. И Виктор Нетесов так ему и сказал под конец: мол, не настаиваю, только хоть сегодня оприют, а то ведь они с утра караул кричат.

2

За стеной урчал трактор, глухо постукивали моторами утомившиеся за день грузовики, звенькала наковальня в новой кузнице, матерная ругань доносилась с зернотока, где, судя по голосам, Пронька-ветеринар сцепился с доярками... Все слышно, что делается вокруг, — впритык старая конюшня к хозяйственным постройкам. И все-таки тут была тишина. Особая, лошадиная тишина с хрустом травы, с пофыркиванием, с перестуком копыт, с сытым урканьем голубей под дырявой крышей...

Михаил — после раздачи корма он отдыхал на старом ящике из-под гвоздя — затоптал сапогом окурков, недобрый взглядом покосился на балку над головой, белую от голубинного помета. Беда с этой птицей мира. Житья от нее нету. Все загадила, все запакостит-

ла. И все законы природности под себя подмяла. Слыхано ли когда было, чтобы круглый год без передышки плодилась? А теперь так — зимой свадьбы, особенно в таких теплых помещениях, как конюшня и коровник. И уже Таборский, сказывают, на каком-то совещании не то в шутку, не то всерьез брякнул: важный мясной резерв не учитываем.

Вот и все, думал Михаил, покусывая стебелек травинки. Как начал свою жизнь с лошадей, так и кончаю ими.

Ужас, ужас это — загнать себя на конюшню. Все на тебе поставят крест: люди, жена, дети. Кличка до скончания века Мишка-конюх, и кончится все тем, что и сам конягой станешь. Одичаешь. А с другой стороны, если он откажется, конец бедолагам. Так и не проживут никогда по-человечески. Потому что кто, какой стоящий человек пойдет сегодня в конюхи?

Задумавшись, он не сразу услышал, как на другом конце конюшни заскрипели старые ворота.

Вера! Он по шагам узнал ее.

Он быстро вскочил с ящика, на котором сидел: ну сейчас бурей налетит на отца — целую неделю не виделись.

Не налетела. Подошла тихонько, кивнула:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, — ответил Михаил и спросил прямо: — Крепко ругается?

— Ругается.

Он так и знал: материна работа. Мать довела девку чуть ли не до слез, на чем свет ругая его.

— Ну а ты что скажешь?

— Я за.

— Что — за? — Михаил вдруг вспылил, закричал: — За, чтобы над отцом твоим все потешались, чтобы тебе проходу не давали: «Верка конюхова идет»?

— Ну и пускай не дают... Да конь лучше всякой машины! Вот. Коня-то кликнешь — он к тебе сам бежит... А помнишь, папа, как мы с тобой Миролуба объезжали?

— Не подлаживайся. Это ведь ты коня-то почему расхваливаешь? Потому что отец в конюхи попал.

— Ну да!.. Да я когда вырасту, сама себе коня заведу!

— Может, и заведешь, да только железного.

— Нет, не железного, а живого!

— В частном пользовании иметь лошадь у нас не положено.

— Почему?

— Почему, почему. Закон такой.

— Ерунда! Машину иметь можно, а лошадь нет?

Вера вызывала его на спор. Черные глаза сверкают, голова откинута назад. Заядлая спорщица. И революционерка. Все бы давно уже переделала, кабы ее воля.

Михаил, так ничего и не решив, сказал:

— Пойдем-ко лучше домой. Нам с тобой еще наступление материно отбить надо.

— Ой, папа, я и забыла! Дядя Петя приходил. Калину Ивановича надо нести в баню.

Калина Иванович любил попариться. Сам худущий, в чем душа держится, а жару дай, чтобы каменка трещала, чтобы с ужомом, чтобы веник вращеп, а зимой так еще и с вылетом в снег.

Сегодня старик на полку не был.

— Воздуху, воздуху нету...

И вот Михаил с ходу обмыл-оплескал маленько, бельишко свежее натянул и в сенцы — с рук на руки поджидавшему Петру. Как малого ребенка.

Сам он тоже не стал размываться: Петр первый раз выносит старика из бани, мало ли что может случиться.

Но, слава богу, все обошлось благополучно.

Когда он вошел к Дунаевым, Калина Иванович уже немножко отошел — с открытыми глазами лежал на кровати. И в избе праздник: стол под белой скатертью, самовар под парами и, мало того, бутылка белой. Неслыханное дело в этом доме!

Михаил с удивлением глянул на хозяйку, тоже по-праздничному одетую, спросил по-свойски:

— Ты ради чего это. Дуся, сегодня разошлась?

— Сына в этот день убили, — ответил за Евдокию Петр.

— А-а, — понимающе сказал Михаил. — Поминки по Феликсу.

Сели за стол. Евдокия сама налила в рюмки, одну рюмку поставила рядом с собой — для сына (так нынче в Пекашине поминают убитых на войне), первая выпила и сразу же в слезы:

— Ох, Фелька, Фелька... Не видал ты жизни, не спознал радости. Что тебе пришлось перенести, вытерпеть, дак это ни одному святому не снилось...

— Ты не разливайся, а толком говори, раз заговорила, — сказал Михаил.

— Чего толком-то? Первый раз слышишь?

— Я-то не первый. да он первый. — Михаил кивнул на брата.

— И он не в иностранном царстве родился. Слышал, какие времена были. Я говорю: откажись, парень, от отца, пропадем оба (тогда ведь тем, кто от отца отказывался, послабленье давали). «Нет, мама, не откажусь. Ни за что не откажусь». И вот два года все как от чумы от нас шарахались. Кто с испугу-перепугу, кто от вони. Я ведь сортиры выгребала: для меня другой работы нету. Весь город обошла, во все конторы стучалась. Вечером-то домой прихожу, меня сын первым делом: «Мама, мойся. Я воды горячей нагрел». Говорю, вся сортирами пропахла, и он пропах — в школе никто за парту за одну не садится. А какой водой отмоешься? Ну нашелся добрый человек, подсказал: уезжайте вы, бога ради, отसेлева. Поехали. В Карелию. В самую распоследнюю дыру — может, там люди есть? Ну, тут зачалась война — ожили. Да, все кругом кричат, вся земля воем воеет: война, война... а мне война, грех сказать, послабленье. Меня на работу взяли. В военную часть белье стирать. Ну я ломила, ох ломила! — Евдокия показала свои изуродованные, развороченные ревматизмом руки. — Это вот от стирки, коряги-то. По двадцать часов сряду в сырости стояла. Забыла, что на руках и кожа бывает. Да, два вклада вношу: за отца и за сына. Рада, что до работы допустили. Белье стирать — все не сортиры чистить. И Фелька рад-радешенек — на войну взяли. Да, раз приходит ко мне на работу днем, улыбается. Что ты, говорю, Фелька, с работы середь дня ушел — грузчиком на станции робил, — ведь тебя засудят. Забыл, что война у нас? «Не засудят. Я проститься пришел, мама. На фронт ухожу». Как на фронт? Семнадцати-то лет на фронт? «А я добровольцем, мама». Оказывается, он только и делал целый год, что заявленья в военкомат носил. Взяли. Разрешили помирать. «Мама, говорит, сын Калины Дунаева... — Евдокия заплакала, — мама, говорит (да, так слово в слово и сказал), сын Калины Дунаева завсегда, говорит, первым будет. Запомни это, мама, и всем другим ска-

жи. Я, говорит, докажу, что у меня отец не враг...» Все верил в отца, все говорил — придет правда... Он, он сгубил парня! — вдруг истошно закричала Евдокия и вся затряслась в рыданиях.

Он — это, конечно, Калина Иванович, который у Евдокии за все был в ответе: и за то, что было, и за то, чего не было.

Обычно Калина Иванович не терпел понапраслины. Негромко, без крику, но ставил на свое место супружницу, а сейчас даже глаз не открыл. Задремал? Худо опять стало? Не нравился он сегодня Михаилу. Когда это было, чтобы Калина Иванович от рюмки отказался, а тем более после бани? А сегодня капли внутрь не принял, только по губам помазал.

— Из-за его, из-за его Фелька сунулся добровольцем. Ребята, годки его, на год после пошли, сейчас которые живы...

Михаил строго прикрикнул на Евдокию, которая головой билась о стол:

— Не сходи с ума-то! У нас отец с войны не вернулся, по-твоему, я виноват? Парень, понимаешь, жизнь за родину отдал, а ты понесла черт те что...

— Не защищай, не защищай! Весь век я у вас виновата, весь век жизнь ему заедаю, а разве я жила? Я весь век у его заместо лошади. Через всю жизнь на мне проехал. Он помрет — ему слава, ему памятники, а мне чего? А меня ты же первый обругаешь да облаешь... — Евдокия вытерла рукой мокрое от слез лицо. — Война замиралась, все стали устраиваться, то-се, вить гнездо заново — а я не могла? Ко мне подвернулся человек, свой дом полная чаша, холостой, не пьет... Эх, думаю, брошу все, еще сорок лет, хоть немного, хоть год да как люди проживу. Нет, пошла искать его. Думаю, как же я на себя задумала? Феликс-то, сын-то, что бы мне сказал? Перед евонной-то памятью я какой ответ держать стану? Был у нас в части полномоченный из особого отдела, которые людей судят. Хороший мужик, все у меня белье стирал, знал, что я жена врага народа. Вот я думала-думала, давай схожу к нему. Искать мужа надо, а где? Ни одного письма не было. Пришла. Так и так, говорю, Василий Егорович, ты видел, как я в войну робила, кожа на руках по месяцам, по неделям не зарастала. Пособи мужа найти. Не ради, говорю, его самого, ради сына. «А как же, говорит, я тебе помогу, раз, говорит, права переписки лишен? Большая у нас, говорит, страна, не пойдешь же от лагеря к лагерю». Пошла...

Михаил уж не первый раз про это слышит, не первый раз Евдокия принимается при нем рассказывать про свои хождения по мукам, и пора бы, кажись, привыкнуть. А нет, только произнесла это простое, такое обыденное слово — *п о ш л а*, которое на дню каждый десятки раз произносит, и сдавило горло, стало нечем дышать.

— Нет, нет, — взмолилась Евдокия, тряся головой, — не могу. На том свете отчета потребуют, что видела, где была, — не сказать. Тут кою пору старая Фадеевна стала говорить (по обвету пешком в молодые годы в Соловки, к Зосиму да Савватию, тамошним угодникам, хаживала): не плети! Из ума выжила. А я-то ведь всю Расеюшку, всю Сибирь наскрозь прошла-проехала. Да тайно. Чтобы комар носу не подточил, чтобы никто и не подумал, зачем я от лагеря к лагерю шастаю. Глаза-то у начальства как прожектора — так и рыщут, так и рыщут, все видят, оцупом тебя оцупывают. И со своим братом, с вольняшками, с наемными, не проговорись. Я во сне тараторю — не сыпала с открытым ртом, все платком на ночь рот перевязывала. А как по морю-то, по окияну-то на Колыму попадала, дак это аду такого нет. Кишки наружу выворачивало. Нет, нет, — опять замотала

головой Евдокия, — меня хоть золотом озолоти, не рассказать, где была, чего видела. Во сне приснилось.

Калина Иванович, шумно, тяжело дыша, подал с кровати голос:

— Воздуху бы мне...

— Какой тебе воздух-то? У меня труба открыта с утра, а окошко и дверь нельзя — живо прохватит.

Михаил, чтобы хоть как-то приободрить старика, сказал:

— Про Колыму говорим... Не забыл еще, как тебя жена из ямы вытягивала?

— Да уж верно что из ямы, — сказала Евдокия. — Я попервости на эту Колыму попала, нарадоваться не могу.

— Понимаешь, — Михаил живо кивнул Петру, — разыскала!

— Да, легче было иголку в зародке сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут — он. По буденовке узнала. Все идут одинаковы, все в ушанках, все в бушлатах, а он один — шишак в небо. Сердце екнуло: мой. Едва на ногах устояла. А потом неделя проходит, другая проходит — нету. Не видать буденовки. Опять с ума сходи, опять пытка: жив ли? помер? Тогда ведь этих эзков мерло, как мух. На этап угнали? Думала, думала, открылась сестре из лазарета. Хорошая женщина, из Ленинграда, сама десять лет отсидела. Так и так, говорю, Маргарита Корнеевна, закапывай живьем в землю але помогай. Ты в зону доступ имеешь, узнай — что там с моим мужем Калиной Дунаевым? «С Калиной Дунаевым? — говорит. — Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит, не сегодня-завтра помрет. Понос, говорит, у него кровавый».

О господи, господи! Сколько лет искала, сколько мук приняла — и все напрасно, все ради того, чтобы узнать: муж помирает. Нет, нет, землю переверну, небо сокрушу, а не дам мужу умереть. Все сделаю, на все пойду, сама себя живьем закопаю, по косточке воронам отдам, а спасу мужика! А спасенье-то, господи... в стеклянной баночке из-под компота стояло. У кладовщика. В каптерке на окошке. Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть. А рису нигде не было ни зернышка. Только у кладовщика был, да и то с какой-то стакан в этой компотной скляночке. Весна была, старый привоз израсходован начисто, а новых пароходов когда дождешься... Пошла к кладовщику. А кладовщик рожа красная был, издеватель. И уж как он надо мной не измывался, чего не говорил — рот не откроется, чтобы все сказать. А тут еще в это время сам начальник в каптерку влетел. Увидел меня не в положенном месте — две морды из охраны свистнул, на допрос. Ну тут уж я не запырлась. Все рассказала как на духу и про себя, и про сына, и про Калину — один лешак, думаю, помирать. И вот чего, бывало, про этих начальников не слушаешься, чего не наговорят, а были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти нам письма писал. Он, он спас Калину. Насмотрелась, навидалась я за те годы всякого народушку — и зверья лютого и святых вживе видела.

В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Калина Иванович. Потом его дыхание заглушил дождь, со всхлипами, со стонами забарабанивший в рамы. Петр подошел к левому окошку, у которого в погожие вечера любил посидеть Калина Иванович, уткнулся лбом в холодное стекло, а Михаил смотрел-смотрел прямо перед собой и вдруг потянулся к водке: может, от нее, стервы, полегче станет?

Евдокия, уже хлопотавшая возле мужа, спросила:

— Чего так за воздух-то грабишься? На дождь, наверно?

— Свет зажгите...

— Чего? Свет? — Евдокия переглянулась с Михаилом и Петром. — Да у нас когда электричество пылат.

— А у меня ночь в глазах...

— Дак, может, «скору» вызвать?

Калина Иванович долго не мог отдышаться, в горле у него булькало, потом все услышали:

— Спойте мою песню...

Тут уж Михаил и Петр посмотрели друг на друга: неладно со стариком. Да и кому пойдет на ум песня после того, что тут только что рассказывалось?

Евдокия первая запела. Правда, не с начала, через рыдания, но запела:

«Эх, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...»

Да, так всегда, всю жизнь: ругает, на все лады клянет мужа, а что ни скажет тот, все сделает, на край света пойдет за ним.

Петр, давась слезами, тоже начал подтягивать, а потом переломил себя и Михаил.

Когда под потолком растаял последний звук песни и стало снова слышно, как за окошком всхлипывает дождь, он спросил:

— Хватит одного раза але еще спеть?

Ответа не было.

Он подошел к кровати.

Калина Иванович уже не дышал. Жизнь, может, сколько-то еще теплилась в широко раскрытых глазах — в них, показалось Михаилу, было еще что-то от света. Как знать, может, Калина Иванович, вслушиваясь в слова любимой песни, последний раз видел отблески того великого зарева, в пламени которого он входил в большую жизнь.

Михаил подождал, пока глаза старика совсем не потускнели, и закрыл ему веки.

Глава пятая

1

Таких похорон в Пекашине еще не бывало. Впервые гроб с телом покойного, весь заваленный цветами, венками еловыми, перевитыми красными лентами, венками жестяными, поролоновыми — всякими, — был выставлен посреди клубного зала.

Но и это не все. Приехала специальная воинская часть с медным, до жара начищенным оркестром, с новенькими поблескивающими автоматами (то-то было разглядов и разговоров у ребятишек и мужиков), приехали делегации, как это в газетах сообщают, когда хоронят знатного человека, — из области, из района, из леспромхозов. А уж сколько простого люда собралось, дак это и не сосчитать. Своя деревня, конечно, высыпала вся от мала до велика, но и соседние деревни пришли да приехали чуть ли не всем гуртом.

Местные, свои, чувствовали себя неуверенно — как и что делать на таких похоронах? Когда своего деревенского хоронят — мужика, старуху там или еще кого, — просто: вой, реви во всю глотку, и ладно.

А тут?

Солдаты, бравые, с иголочки одетые, брякают ружьями, музыка, какой многие сроду не видали, — все эти трубы серебряные, тарелки раззолоченные... И вот одни намертво заморозили себя, истукана-

ми стояли, а другие молча, как затяжной дождь, обливались слезами.

Михаил — он с ног сбился в эти дни — и гроб с Петром Житовым колотил (тот впервые, наверно, за два года трезвый был), и пирамидку сооружал, и тело обмывать да наряжать помогал, и еще могилу копал.

Сколько он этих могил на своем веку выкопал! Десятки, а может, даже сотни. С четырнадцати лет, с сорок второго года начал заниматься этим делом. В обычное время работа как работа, а были годы — страшно сказать, — когда даже рад ей был. Потому что в самый лютей голод в дом, где покойник, что-нибудь подкидывали из колхоза, из магазина, а значит, и сам худо-бедно подкормишься, да иногда еще какую-нибудь картошину, какую-нибудь хлебную кроху домой принесешь ребятам. Зато уж в мороз, в стужу крещенской все проклянешь на свете: на полтора, на два метра земля промерзла, все ломом, все кайлом. Взмокнешь так, что пар идет.

В общем, привычно было для Михаила могильное дело, можно сказать, спец в этом деле был, а сегодня лопата в землю не лезла: трясутся руки, и все. Из-за этого, между прочим, да из-за пирамидки — красной краски, в последнюю минуту выяснилось, в сельпо нет — он и на траурный митинг опоздал, так что когда вошел в клуб, главные ораторы уже выговорились, пионерия свой голосишко проговала.

Шумилов, новый председатель сельсовета, не успел он перевалить за порог, замахал рукой: сюда. А когда он, горбясь, приседая на носки, подгреб к изголовью — там табунилось все приезжее начальство да местная знать, — сказал:

— Становись в почетный караул.

Суса-балалайка — она по старой памяти повязки красные с черной каймой крепила — пришла в ужас: как? в таком виде — в кирзовых, перепачканных землей сапожищах, в мятом-перемятом пиджачонке (не в параде же рыть могилу!) — и в почетный караул?

Но Михаил встал. Встал в голову, неподалеку от стула, который был специально поставлен для Евдокии. Но Евдокия отказалась сесть. Она будто бы сказала:

— Всю жизнь перед ним стояла, дак неуж у гроба буду сидеть? В последний прощальный час...

Вот тут Михаил впервые за последние два дня разглядел более или менее Калину Ивановича. Усох, нос выпер во все лицо, на верхней губе царапина (Петра подвела рука — он брил покойника), щеки и рот провалились (забыли вставить зубы, пока еще не зачоченел совсем, — все воздуху не хватало)... И Михаил, скошенным глазом водя по лицу старика (сам он стоял как вкопанный), подумал: да неужели это тот самый человек, который когда-то один монастырь с мятежниками взял?

Но со стороны Калина Иванович на своем красном помосте выглядел внушительно, и тут надо благодарить Петра Житова. Он, Петр Житов, забраковал первую домовину, которую начал было Михаил кроить у себя в сарае. Смерил хмурым взглядом длину уже заготовленных, распиленных досок, перевернул одну, другую и плюнул:

— Ты думаешь, кого хоронишь?

В общем, пошли на пилораму, выбрали из груды бревен толстенную лиственницу (очень устойчива к сырости), распилили и такую гробницу отгрохали — ахнешь!

Гроб попервости хотели везти на партизанское кладбище на гру-

зовике, тоже обито красным сатином, — тут, наготове, у крыльца клуба стоял, — но Михаил запротестовал:

— Да что вы, господа? Неужели такого человека да на руках не снесем?

И вот подняли красный гроб на плечи, взмыл в последний раз Калина Иванович над толпой. И все было как положено, все на самом высоком уровне: венки, музыка, воины. Только вот когда Суса опять по старой привычке команду подала: «Ордена и медали вперед!» — вдруг обнаружилось, что ни орденов, ни медалей у Калины Ивановича нет.

Вышла заминка, всем стало как-то неловко, не по себе.

Шумилов, новый председатель, спасибо, нашелся:

— Вынести знамена вперед.

Суса — она все законы, все правила знала — строго замахала руками:

— Нельзя ведь. Не положено.

— А я говорю, вынести знамена вперед! — Шумилов не прокричал, в трубу протрубил. — Все! До единого! Какие есть в клубе и в деревне!

И молодежь на веревкой бросилась исполнять его приказание. И лес красных знамен взметнулся впереди гроба, по сторонам, и Калина Иванович так в этом красном полыхании и поплыл на партизанское кладбище.

У могилы опять говорили речи. Но тут слушали уже вполуха — большое начальство отговорило, а от таких ораторов, как Суса, и так давно с души воротит. А главное, все — и малые и большие — ждали, когда солдаты дадут залп.

И вот когда стали гроб опускать в могилу, двадцать пять автоматов разом разрядили.

Сверху, с сосен, зеленым дождем посыпалась хвоя, золотые гильзы полетели в разные стороны, и тут не обошлось без конфуза: старушонки (эти теперь везде первые — и на праздниках и на похоронах) подняли папику, заорали: «У-у, убьет!» — а потом вместе с ребятишками кинулись загребать гильзы.

Михаил (он опуская гроб на веревке в могилу) тоже накрыл одну гильзу сапогом: решил взять на память.

Напоследок, уже когда могила была зарыта и вся завалена венками, запели «Интернационал». Но запели как-то неумело, недружно, а когда над головой вдруг вынырнуло солнце, тогда и вовсе умолкли.

Да, три дня не было солнца, три дня все вокруг было затянуто непроглядным осенним обложником, а тут вышло — встало в караул.

2

На поминки и за Евдокиной тесени позвали только начальство (и то не все, а призрачнее) да тех, кто делал гроб да копал могилу (этих не позвать — скандал), а все прочее народонаселение, пожелавшее почтить память Калины Ивановича на общественных началах, то есть в складчину, собралось у Петра Житова: у того просторно, кухня да передняя — как зал, на всех места хватит.

Начальство попервости чувствовало себя неловко. Никак не ожидали, что в такой скудости жил покойник, которого только что возносили до небес. Да и хозяйка на всех тоску черную наводила.

Евдокия за эти три дня стала старухой — вот что значит из человека вынуть душу. А из нее вынули. Кляла, ругала всю жизнь мужа, а что без него? Дель без солнца, ночь без луны.

В общем, если бы не Раиса да не её обходительность — хоть беги из дунаевского дома. Потому что Евдокия как села к печи у рукомоиника, так и сидела. Ничего не видела, ничего не слышала. Только время от времени вздрагивала всем телом да коротко вскрикивала: ой!

А Раиса (она подавала на стол) одному ласковое словцо сказала, другому (умеет, когда захочет) — смотришь, и поуютнее на душе стало (все люди), а потом, когда стопки две пропустили и вообще пришли в норму, кое-кто даже глазом за Раису цепляться стал. В черном, как положено, вся в черном, да разве бабью красу тряпкой ужроешь?

Михаил — они с Филей-петухом, да с Ваней-трактористом, да с Ванечкой-механизатором (так называли Ивана Рогалева да Ивана Яковлева меж собой) сидели на озадках, почти у самых дверей — все ждал, когда начнутся разговоры. Большие мужики собрались, а поминки настраивают; даже у ихнего брата, работяг, иной раз бывает, костры загораются, но нет, ничего особенного не услышал. Не раскачались еще? Время не подошло?

А его товарищам и дела до всего этого не было. Начальство само по себе, по своим свычаям-обычаям поминает, а мы по своим. Опрокинули один стакан, опрокинули другой, и пошла беседа: какой в этом году будет осенний полаз у семги, удастся ли освежиться, удастся ли хоть раз пошарить в Пахиных владениях.

Михаил не пил. Он только пригубил, когда сказали: да будет покойному земля пухом. Не мог пить. Не такие сегодня поминки, когда вино само рот ищет. Все ему не по себе было. И то, что на поминках всё люди, которых он ни разу у живого Калины Ивановича не видел, и то, что у Петра Житова за дорогой уже запели (черт знает что за порядки пошли — на похоронах петь!), и то, что Таборский опять выпередился.

В клубе да на кладбище на глаза не лез — сгинул, сквозь землю провалился. Не у дел. Калина Иванович не жаловал, а Евдокия, та и вовсе терпеть не могла, просто отворачивалась, просто крестилась, когда мимо проходил, — чего выставлять себя напоказ? А тут только кое-как у Дунаевых угнездились (человек двадцать пять набилось в маленькую горенку) — он.

Евдокия, как ни была убита, глаза вытаращила. Да что — не простой день: не дашь от ворот поворот. Вот так Таборский и попал за поминальный стол.

Сперва пристроился к ним, работягам, на самой камчатке, у порога, а потом пропел слово вовремя — сразу царские ворота распахнулись. Потому что начальство на сей раз попало какое-то недотепистое, ни мычит, ни телится. Сидят за столом, поглядывают вокруг да вздыхают: да, вот большевистский стиль жизни, да, вот как покойник жил, — а где ихняя команда, кто возгласит: почтим минутой молчания?

Вот Таборский и дал запев. «Вечняя память рыцарю революции... Пушай земля будет пухом... Сохраним и приумножим боевые традиции...»

Михаил тихонько встал из-за стола и потянул на выход — покурить, пронолоскать дымком легкие да хватить свежего воздуха: духотища в избе была, хоть и окошки открыты. Ну и, конечно, отдохнуть от Таборского — тот в раж вошел, опять за речь принялся, опять равнение на него.

У Петра Житова уже совсем с ума посходили — орали «Катюшу». Михаил сел на скамейку под стеной двора за утайм крылечком, где они столько с Калиной Ивановичем сживали, закурил. И не успел и пяток раз затянуться — Таборский.

Хохотнул, кивнул на скамейку:

— Давай посидим рядком да поговорим ладком. Раскурим напоследок трубку мира.

Пришлось подвигнуться. А что? Куда денешься. Не побежишь же!

— Дак что, Пряслин, спихнул, говоришь, Таборского — и сразу повышение?

— Какое повышение?

— Ну как же! Маршал лошадиных сил всего Пекашина. — Таборский не захохотал. Подковыр при серьезной роже больше жалит.

Но и Михаил, в свою очередь, не вскипел, не взвился. Будет, переживал из-за этой конюшни — не хочешь ли вот так, Антон Васильевич: плевков на твоего лошадиного маршала с высокой колокольни, ни слова в ответ? В общем, сделал выдержку и только затем, да и то эдак спокойно, с усмешкой:

— Насчет того, что тебя Пряслин спихнул, это слишком большая честь для Пряслина. Не заслужил. Жизнь тебя спихнула, а не Пряслин.

— Пой, соловушко, пой! А у жизни-то чьи руки? Не твои?

— Виктора Нетесова недооцениваешь.

— Хо, Виктора Нетесова! А Виктора-то Нетесова кто завел? Все знаем, Пряслин. Разведка работает неплохо. Знаем даже, что ты комиссии пел.

— А я и не скрываю. То же самое и тебе в глаза говорил.

Таборский докурил «беломорину», закурил вторую: все-таки ходили нервишки.

— А жалко, черт возьми, что мы с тобой не сжились. Веселее, когда дерево упрямое гнешь.

— Не жалею.

— Это почему же?

Михаил рывком вскинул голову, врубил:

— А потому что мы с тобой не то что в одном совхозе — на одной земле не уживемся.

— Да? — Таборский только раз и то чуть заметно ворохнул глазами, а потом опять все нипочем. — Рано хоронишь Таборского. Только что начальником стройколонны назначен. Всем строительством в районе заправлять — неплохо, думаю?

Тут из окошка горницы кто-то высунул лохматую голову (кажется, секретарь райкома), позвал:

— Долго ты еще кворум нарушать будешь?

Таборский живо ткнул Михаила в бок:

— Чуешь, начальство без меня заскучало. — И вдруг захохотал: — Никуда без Таборского. Подождите, еще и в Пекашине пожалуют Таборского.

Да уж жалеют, подумал Михаил, провожая глазами крепкую, выветленную солнцем красную шею, согнувшуюся под притолокой дверей, и тут же выругался про себя: ну что мы за люди? Что за древесина неокоренная? Когда поумнеем? Прохвост, жулик, все Пекашино разорил, а мы жалеем, мы убиваемся, чуть ли не плачем, что от нас уходит!

Да, такие разговоры уже идут по деревне, и при этом что больше всего удивляло Михаила? А то, что он и сам теперь, пожалуй, не очень радовался уходу Таборского. А придет время — он знал это, — когда он даже скучать будет по этому ловкачу, по этому говоруну.

Вот что вдруг открылось ему сейчас.

3

Сперва спустился под угор по делу — перевязать лошадей на лугу, — а потом вышел к реке, к складам и пошел, и пошел... Берегом вверх по Пинеге, через Синельгу, через Каменный остров, который отгораживает курью от реки... Куда? Зачем? А несите, ноги. Куда вынесете, туда и ладно. Мутит, сосет что-то в груди — места не найдешь себе.

Под ногами гулко, по-вечернему хрустела дресва, рыба мелочишка сыпала серебром по розовой глади реки, иногда из травянистых зарослей тяжело и нехотя взлетала утка, не иначе как устроившаяся уже на ночлег, а в общем-то, не рыбой, не уткой красна ныне Пинега. Лодками с подвесными моторами. Страшное дело, сколько развелось этой нечисти! Бурвят, пашут Пинегу вдоль и поперек, вода кипит ключом, и что стелется поверх воды — туман вечерний или газы вонючие, не сразу и разберешь. И вот когда Михаил дошел до Ужвия, мелкого ручьишка с холодной водой, отвернул от реки в луга: сил больше не было терпеть железный гром.

Пошла густая, шелковая, как озимь, отава, в которую по щиколотку зарывался сапог, кое-где видны были еще белые коряги и щепы — остатки от костров, которые тут жгли косари и пастухи, — а потом все синее, синее стало вокруг, все гуще и гуще темень, а потом глядь — где ельник с поскотиной слева, из которого все время доносился неторопливый перезвон медного колокола на чьей-то загулявшей корове? Пропал ельник. Черная непроглядная стена, как в сказке. И корова больше ни гу-гу. Поняла, видно, дуреха, что затаиться надо, а то живо угодишь лесному хозяину на ужин — его теперь пора настала.

Некоторое время еще светлела вдали река, но затем и ее затопила темень. И если бы не гул и завыванье последних лодок да не малиновые росчерки папиросок — где Пинега, в какой стороне?

Михаил нагреб возле старого кострища каких-то дровишек — щепы, жердяного лому, полешек березовых, — принес две охапки сена от ближайшего зарода, свалил все это в кучу.

Понимал: преступление делает, грех это великий — сено жечь, все равно что хлеб огню предать, да какой сегодня день-то? Кто умер?

Собрались, расселись за столом да давай водку хлопать — разве это поминки по такому человеку?

Огонь взлетел до небес, алыми полотнищами разметался по лугу, жарко высветил черный ельник.

Михаилу стало легче. Вот и он справил поминки по Калине Ивановичу. Свои, особые. Свой дал салют в честь старика.

Глава шестая

1

Сидит на крыльце старик, на старике шапка зимняя с отогнутыми ушами, валенки серые до колена, а глаза у старика в небе — рад, видно, что после двухдневного дождя выглянуло солнышко.

Егорша недоверчиво повел вокруг глазами — не ошибся ли он?

Нет, дом крайний, черемушка за домом растет, скворечница на высоком шесте — все так, как говорила встреченная на улице старуха.

— Дед, где тут Евдоким Поликарпович живет?

— Да ты откуда будешь-то? Разве не знаешь Евдокима-то Поликарповича?

Из сарая, что за самым крыльцом, вышла немолодая уже женщина, и Егорша сразу узнал Софью: все такая же крепкая, сбитая, хоть в сани запрягай. И тут уж сомнений больше не оставалось.

Он назвал себя, обнялся со всплакнувшей Софьей, затем на лицо улыбку радости — и не в таких переделках бывал! — и к Подрезову:

— Ну, принимай блудного сына, Евдоким Поликарпович!

Подошел, лихо щелкнул каблуками, руку к шляпчонке — Подрезов любил дисциплинку! — и только после этого протянул руку.

— Ты сам, сам руку-то у его возьми. Ему ведь не поднять, — подсказала Софья.

Егорша и это проделал не моргнув глазом — жамнул холодную, совком свесившуюся с колена, недвижную кисть руки с фиолетовым окрасом.

Подрезов улыбнулся.

— Узнал, узнал тебя! — обрадовалась Софья. — Ну приглашай, Евдоким Поликарпович, гостя в избу.

Подрезов что-то промычал.

— Так, так мы ноне, — вздохнула Софья. — Не говорим. Да и не ходим. — И тут она подошла к мужу, приподняла, поставила его на ноги, затем крепко обхватила рукой в поясе и, как куль, поволокла в сени.

Егорша сразу узнал подрезовские апартаменты по инструменту. Вся стена от порога до первого окошка, где обычно ставят кровать, была забита поблескивающими стамесками, долотами, напарьями, сверлами, и тут же стоял немудреный верстак. И еще из прежнего в избе были агитационные плакаты Великой Отечественной, расклеенные по всем стенам, уже выгоревшие, поблекшие, кое-где надорванные: разгневанная Родина-мать, «Идет война народная», «Что ты сделал сегодня для победы?»...

Меж тем Софья сняла с Подрезова ватник, шапку, посадила к столу на хозяйское место, а сама стала накрывать — не по годам быстро, проворно и при этом еще ни на минуту не спуская глаз с мужа.

Эх, по-бывалошному какое бы это счастье — сидеть за одним столом с самим Подрезовым! Рассказов потом на полгода: «Подрезов сказал... Подрезов посмотрел... Подрезов дал прикурить...» А сам-то подрезовский бас, когда хозяин в настроении! Как майский гром раскатывается.

Сейчас Подрезов будто какой святой, давший обет молчания: ни слова не услышишь. Да и вообще Егорша никак не мог привыкнуть к его нынешнему виду: голова острижена, плешь на голове, голубенькие, небесные глазки как у блаженного и все улыбается, все улыбается, как будто он решил задним числом отулыбаться за всю прошлую жизнь.

Но раз все-таки Подрезов показал свою прежнюю натуру — это когда Софья хотела взять у него рюмку. Вмиг полетела на пол чашка, сахарница и рык на всю избу.

— Ну-ну, не возьму, — перепугалась Софья. — Я ведь думаю, чтобы все ладно-то было.

А Егорша в эту минуту просто расцвел, в один миг двадцать лет с плеч долой — так и дохнуло теми счастливыми временами, когда он с Подрезовым на одной подушке сидел, когда перебрасывал его из одного конца района в другой. И если какую-то секунду спустя он вступился за Софью (она-де за тебя, Евдоким Поликарпович, переживает, ей-де положено как хозяйке останавливать нашего брата), то вступился скорее по обязанности, чем по зову сердца.

Подрезов ноль внимания на его слова. Он будто не слышал, даже головы не повернул в его сторону, и в этом, к радости Егорши, тоже угадывалась его прежняя натура: шептунов не слушаю, своя голова на плечах есть.

Время тянулось томительно.

Егорша опрокидывал рюмку за рюмкой (по знаку Подрезова Софья каждый раз подливала ему), посматривал в окошко (ничего видок, дыра, конечно, жуткая, но летом, кто любит природность, можно жить), а сам все ждал, ждал с трепетом, с пересохшим, заклепанным, как земля в засуху, горлом: когда же, когда же Подрезов подаст сигнал рассказывать про Сибирь, про дальние странствия? Ну говорить не может — свалилась беда непоправимая, что поделаешь. Но понимать-то ведь понимает — вон ведь как глазом-то водит, Софью поучает.

Подрезов сигнала не давал. И Егорша начал уже терять терпение, начал приходиться в отчаяние. Да что же это такое? За каким он дьяволом всю Пинегу прошагал? Затем, чтобы рюмки эти хлопать?

Егорша только что не рыдал — про себя.

Ну как он не понимает, как не догадывается, зачем он к нему попадал? Да он к отцу родному, будь тот жив, к матери так не бежал бы, как к нему!..

А может, Евдоким Поликарпович не узнал его? — пришло ему вдруг в голову. Может, он его за кого другого принял?

Выяснить это так и не удалось, потому что Подрезов, на его беду, вдруг начал зевать, а потом даже глазами слепнуть, и Софья в конце концов потащила его отдыхать на другую половину.

2

Софья не выходила из дома долго — может, двадцать минут, может, полчаса, — и все это время Егорша, сидя на крыльце, лениво попыхивал сигареткой (в Пиляди и днем комары) и посматривал на затравеневшую улицу: пройдет ли хоть одна живая душа? Ну, взрослые на работе — в лесу, на поле, где еще, — а ребятишки-то где?

И он спрашивал себя: как всю эту глухоту и нелюдь переносит Подрезов? Зачем забрался сюда, на край света?

Самое простое объяснение, которое приходило в голову, — пенсионерская блажь. Развелось нынче стариков — хлебом не корми, а дай речку, лесок и все такое прочее, а тут этого добра навалом. Но ведь Подрезов-то из другой породы. Подрезов не будет, как тот ученый хмырь, с которым он, Егорша, один месяц в Сибири по тайге кантовался, целыми днями сидеть у муравейника да смотреть на него через лупу. Ему человеческий муравейник дай, да чтобы в том муравейнике он на самом видном месте был, да чтобы самые тяжелые бревна таскал!

Наконец выползла из дома Софья. Задом, босиком и на цыпочках — вот как ее вымуштровал муженек. И двери в избу и в сени оставила открытыми — чтобы по первому зову быть под рукой у хозяина.

Присев рядом, облегченно перевела дух:

— Ну, слава богу, утихомирился.

— Давно это с ним?

— Паралич-от? Десятый год.

— Десятый год?! И все это время без языка?

— Все.

Егорша вмиг вскипел:

— А медицина-то у нас есть? Медицина-то куда смотрит?

— Что медицина? Где взять такую медицину, чтобы Подрезова лечить? Разве не знаешь подрезовский норов? Зарубил чего — не своротишь. Сам, сам загубил себя. Речь да язык вернуть нельзя было, это с самого начала врачи сказали, а ногу-то можно было заставить ходить. Не захотел. Гордость. Как это Подрезов да на виду у всех людей будет волочить ногу?

— Да какие тут у вас люди? Я всю деревню прошел, одну старуху встретил.

— Что ты, когда с ним все это вышло, со всей Пинеги народ повалил. Вспомнили — каждый день гости. Все лето. Вот он и упустил время-то. Надо бы ходить, надо бы ногу-то расхаживать, а он дальше крыльца ни на шаг. Лучше без ноги останусь, а Подрезова не увидите в слабости.

Тут Софья повела головой в сторону открытых в сени дверей, прислушалась. Ни единого звука не донеслось оттуда. И тогда она предложила:

— Пойдем сходим на стройку-то. Посмотрим, где нарушил себя Евдоким Поликарпович.

Егорша встал, пошел вслед за Софьей. А вообще-то обрыдли, до смерти надоели ему эти стройки. Потому что вся Пинега помешалась сегодня на домах. Куда, в какую деревню ни зайдешь, с кем ни встретишься: а мой-от дом видел? И потому когда в Пекашине ему сказали, что Подрезов на доме своем надорвался, он просто взвыл от тоски. Как — и Подрезов в том же стаде? и Подрезов на ногах не устоял?

Новый подрезовский дом был заложен по верхнюю сторону нынешнего жилого дома. Место красивое — высокий чистый угол, речка под угором, — и работа на совесть: по линеечке выведен угол. Но что особенно поразило Егоршу, так это фундамент — валуны под углами. Просто скалы, просто столбы красnojарские. Непонятно, кто их и ворочал. Не иначе как лешего в работники нанимали.

— Нет, не нанимали, — всерьез, без улыбки отвечала Софья. — Все сам. Воротом подымал. Вон оттуда, снизу, видишь?

И Егорша глядел на каменные глыбы, разбросанные по руслу искрящейся на солнце речки, пытался себе представить, как доставал их оттуда Подрезов, и нет, не понимал, зачем все это. Зачем рвать жилы из себя, когда казенных домов в наше время навалом? В том же райцентре — неужели такому человеку, как Подрезов, не нашлось бы какой-нибудь халупы?

Софья, когда он высказался в этом духе, никак не прореагировала. Потому что для Софьи разве существует что-либо, кроме Подрезова? Не только ушами — глазами вслушивалась, что там делается, в доме. И Егорша снова сорвался на крик:

— Я говорю, за каким дьяволом вас в эту дыру понесло? Нынче каждая сопля на столицу глаза наострила, а вы куда на старости лет забрались? В самое верховье района, в пинежский ад — разве не слышали, как у нас Пилядь зовут?

— Мы попервости-то не здесь жили. На Выре, на лесопункте. Слышал про родину-то Евдокима Поликарповича? Начальству не понравилось.

— Чё не понравилось?

— Да все. Он ведь кем на Выру-то приехал? Простым плотником. А нутро-то подрезовское. Не может тихо жить. Все не по ему, все не так. Начальнику лесопункта — распек, бригадирю колхоза — распек. Пошли жалобы: Подрезов народ поджигает, Подрезов рабо-

тать и жить мешает. Ну Подрезов терпел-терпел да и пых: а-а, раз людям жить мешаю, поеду к елям! Вот так мы и попали на Пилядь.

— А дети у вас где? Ни одного не вижу.

— А дети известно: выросли и на крыло. Когда что от отца надо, заглянут, а когда все хорошо, и письма не дожدهшься.

— Ясно,— сказал Егорша,— современные детки.

— А уж не знаю, современные але несовременные, да на Пиляди жить не собираются. Я думаю, он и дом-то строить начал, чтобы домом детей к себе привязать. Да разве нынешних детей домом к себе привяжешь?

3

Софья ушла домой. Подошло время — Подрезов должен проснуться, и бесполезно было с ней толковать. Оглохла и ослепла баба.

Егорша остался на угоре один.

Он набрался терпенья — все обсмотрел, все проутюжил глазами: речку, пожни (серые от некошенной травы), черные мохнатые ельники, со всех сторон подступившие к деревушке, — вообразил, как все это годами мозолило глаза Подрезову, и ему стало не по себе.

Нет, нет, к хренам такую природность. К людям! На просторы жизни выгрести надо, покуда совсем не очумел.

И вот он обошел еще раз подрезовский сруб без крыши, без окон, уже основательно почерневший за эти десять лет, глянул на жилой дом своего бывшего кумира, за один погляд которого готов был жизнь отдать, и быстро в обход деревни пошагал на пинежский тракт.

Да, в обход, не заходя к Подрезовым, потому что хватит сопли на кулак мотать, хватит растревлять сердце. Потому что, сколько ни смотри, сколько ни вздыхай, все равно это не Подрезов. Не тот Подрезов, который в войну водил их в атаки, за которым они, молодняк, готовы были в огонь и в воду. Того Подрезова давно нет. О том Подрезове можно только сегодня вспоминать да рассказывать.

Глава седьмая

1

Вставало солнце, растопляло густые сентябрьские туманы, расчищало небо, и на земле сызнава начиналось лето. И так было не день, не два, а целую неделю.

Мимо с грохотом проносились жаркие пропыленные грузовики, лесовозы, останавливались: залезай! — а он только улыбался в ответ, приподымал слегка своего помощника, легкий черемуховый батожок, выломанный из старой заброшенной засеки, и шагал дальше сосняками, ельниками, лугами, рекой и мысленно не переставал благодарить бабку-странницу, которая открыла ему этот полузабытый способ передвижения по родной земле.

На бабку-странницу они наткнулись с молодым парнишкой-шофером, который подхватил его на пинежском тракте вскоре после пилегодской росстани, нежданно-негаданно. Ехали, тряслись на корневницах старой, вдрызг разъезженной, размолотой дороги — и вдруг впереди картинка из времен царя Гороха: древняя бабка, вышагивающая с клюкой. Вмиг догнала, дали тормоза.

— Садись, старая!

— Спасибо, родимые. Своим ходом пойдау.

— Садись, говорят. Кто теперь пешком ходит!

— Нет, нет, спасибо, христовые. Меня и свои могли подвезти. И у сына и у зятя железные лошадки есть. Да я по обвету.

— По обвету? — Шофер захлопал мальчишескими глазами: слыхом не слышал ничего такого.

— По обвету. На могилке у Евсея Тихоновича положила побывать.

— Зачем?

— Зачем на могилке-то? А для души. Праведник большой был.

— Это тот-то старик большой праведник, который по пьянке в силосную яму залез? — Парнишка больше не пытал старуху. Ему сразу все ясно стало: чокнутая. Дал газ и покати далше.

А Егорша вдруг присмирел, притих, задумался, а потом и с машины слез. Вдруг все накатило-нахлынуло разом: смерть Евсея, встреча с Подрезовым, дом, Лиза, дед... — нечем стало дышать в кабине, петлей перехватило горло.

И вот началась какая-то небывалая, ни на что не похожая доселе жизнь...

Шел пехом, ничего не желая и никуда не спеша, весь настезь распахнутый и раскрытый, первый раз в жизни не стыдясь своей лысины. Да, шляпу с головы долой — и кали, жарь, солнце, смотри-те, сосны и ели.

Первую ночь он провел у костра возле порожистой речонки, где чересчур загляделся на играющую на вечерней заре рыбешку, а потом ночлег под открытым небом, под звездами, у зарода, в лесной избушке вошел у него в привычку. И питался он тоже когда чем придется — когда размоченным в ручье сухарем, когда печеной картошкой, ягодой. Но удивительно — никогда еще он не чувствовал себя так легко, так бодро, как в эти дни, и никогда еще не доставляли ему столько радости, столько счастья такие пустяки, как запах дыма, шорох падающей с дерева сухой, прошлогодней шишки, как полыхающая на солнце рябина. Ну а когда он по утрам слышал тоскливые, прощальные песни журавлей, у него на глазах выступали слезы.

Господи, как он, бывало, не издевался и не потешался над Михаилом, над Лизой, когда те заводили свои молитвы насчет всей этой природности! А что сам сейчас делает? Неужели нужно было двадцать лет побродяжить по Сибири, по Дальнему Востоку, пройти через смерть Евсея Мошкина, заживо потерять Подрезова, чтобы и у него защемило сердце; чтобы и у него глаза заново увидали мир?

2

На Усть-Сотюге он разжег огонь, полежал на зеленом лужку, зарывшись босыми разгоряченными ногами в прохладную шелковую отаву, посидел у речки — нельзя было не посидеть у реки своей молодости, на которой держал фронт в Великую Отечественную, — а потом свежий, передохнувший пошел на свидание с Красным бором.

Да, на свидание. На свидание с красноборскими соснами. Потому что — что это такое? Прошел-прошагал добрую треть Пинеги — и ни одного стоящего соснового бора. Попадался кое-где жердяк, попадались в ручьях отдельные деревья, а чтобы сосновый лес верстами, километрами, да по обеим сторонам дороги, как это было в войну и после войны, да чтобы в том лесу птицы, зверя полно было — нет, такого леса не видел. Все вырублено, все пни и пни на десятки,

на сотни верст. И вот наконец-то он, думал, отдохнет глазом в Красноборье да заодно отдохнет и душой, потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь. Жизнь с Михаилом, с Лизой, с Раечкой...

По новому, еще не потемневшему мосту он перешел за Сотюгу, поднялся в пригорок — и что такое? Где Красный бор? Налево вырубки, направо вырубки.

Нет, нет, не может быть. Это только по закрайку погулял чей-то шальной топор, а сам-то бор не тронут. В войну, в послевоенное лихолетье устоял старик, а нынче-то какая нужда сокрушать его?

Сокрушили.

Лесная пустошь, бесконечные, бескрайние заросли мелкого кустарника открылись ему, когда он перебежал темный еловый ручей, в который упирались вырубки.

Долго, несчитанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину былого могучего бора, а потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал.

Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он заседал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?

Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы.

В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое — и вперед, на новые рубежи. И что там оставалось позади — слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота — плевать.

Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предьявлять счет за пинежские леса?

3

В Водянах, на том берегу, было какое-то гулянье: из-за реки слышно, как в две гармошки наяривают, пьяные песни орут. Справляют, должно быть, какой-то праздник, а то и без всякого повода веселятся. Потому что у этих водянинцев всегда все наоборот. Бесперспективная деревня, смертный приговор вынесен — надо бы плакать, убиваться, слезы лить, а они не унывают, день прошел, и ладно.

А может, закатиться? Стряхнуть с себя дорожную пыль? Под деревни старых дружков-приятелей — какой загул можно дать!

Не пошел. Шальное желание погасло, как только переехал за реку да поднялся в крутой бережок. Тут тропинка подхватила, понесла его вниз по Пинеге, по зеленым лугам.

Был разгар бабьего лета, было солнечно, тепло, была чайчья игра на реке, и отовсюду, со всех сторон смотрели на него зеленые Лизкины глаза. Да, да, да, Лизкины! Всю дорогу волновался, переживал, когда видел зеленую отаву на лугах, на обочинах, на полянах, а вот что это такое, понял только сейчас, когда стал подходить к Пекашину.

Муть, мура все эти бабы и девки! Никого не было, никого не любил, кроме Лизки. А то, что сбежал от нее, двадцать лет шатался черт те где... Да как было сразу-то узнать, разглядеть свое счастье, когда оно явилось к тебе какой-то пекашинской замухрыгой, разу-

той, раздетой, у которой вечно на уме только и был что кусок хлеба, да корова, да братья и сестры?

Решение пришло внезапно, как в былые годы: первым делом отвоевать у Пахи Баландина избу. Любой ценой сохранить дедовский дом. Ну а потом, потом посмотрим...

С этим решением он подошел к пекашинскому перевозу.

— Эхе-хей! — нетерпеливо кинул за реку. — Лодку давай!

А затем в ожидании перевозчика — тот уже шастал к Пинеге, по хрустящему галечнику слышно было — жадно, истосковавшимся глазами пробежался по красавице деревне, которая горделиво поглядывала на мир со своей зеленой горы.

Глаз зацепился сразу же за дом Михаила — самая видная постройка в верхнем конце, — но разгоряченный, уязвленный ум не хотел мириться с превосходством старого друга-соперника, и он с вызовом подумал: врешь, Мишка! До деда ты все равно не дотянул.

Одним махом головы, совсем как, бывало, в молодости, он перекинул глаза на нижний конец пекашинской горы, к знакомой с детства развесистой лиственнице, туда, где стоит ставровский дом.

Дома не было. В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне. И он понял, нельзя было не понять: дом разрубили.

Глава восьмая

1

О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора, толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове.

На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь, чем утихомирить ее взбудораженную совесть?

Однажды утром Петр сказал:

— Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы ставровского коня поставлю?

— Коня с татиного дома? На наш?

— А почему бы нет? Видел я вчера, валяется конь на земле — не увез Баландин.

У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась:

— Ох, Петя, Петя, да я не знаю что бы дала, чтобы татин конь у нас на дому был! Все бы память о человеке на земле, верно?

— Будет конь! — сказал Петр и тотчас же пошел договариваться насчет машины.

«МАЗ» с прицепом в совхозе был на ходу — братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, — и в полдень ставровский тяжеленный охлупень с конем ввезли к Пряслиным в заулоч.

Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.

— Ну ты и дура же, Лизка! — покачал головой Иван Яковлев. — Сколько живу на свете, не видывал, чтобы дрова со слезами обнимали.

Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев! Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулоч. Степан Андреевич, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье.

2

Что такое человек? Что мы за люди?

Убивалась, умирала все эти дни Лиза, ночами давилась от слез, а вот привезли коня — и вновь воскресла, вновь ожила. Как веточка, на которую брызнуло дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она примется сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью: и телятник и телят.

А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?

По горизонту синими увалами растекались родные пинежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал: Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие неоглядные дали, а вниз, на тесный заул, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий?

Он был в полной растерянности. Он был подавлен.

Сколько лет назад наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата, а вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут — и тоскливо и муторно стало на сердце.

Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребяташки на улице бегали босиком. А в навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы желтые, журавли трубят хором. И праздник был под горой, на зеленых лугах, на Пинеге, играющей на солнце.

Петр слез с дома. Через пять дней кончается отпуск — так неужели хоть раз за два месяца не пройтись без дела по деревне, не послушать Синельгу, не побывать у реки?

3

Приусадебные участки по задворью цвели платками и платками — бабы копали картошку, — и сладким дымком, печеной картошкой тянуло оттуда. Совсем как в далекие годы детства.

И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары Иняхиной, с которой столько было связано у них, у Пряслиных, переживаний и передраг, затем спустился к Синельге, побывал на мызах, в поскотине, вышел к Пинеге. И вот какое у него прошлое — ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом.

Нагнулся, стал пригоршней пить воду в Синельге — вспомнил, как они, бывало, с Григорием опивались этой водой, специально бегали сюда, потому что старший брат как-то пошутил: «Пейте больше воды в Синельге — силачами вырастете». А уж им ли не хотелось вырасти силачами! Вспомнил, как провожал по утрам Звездоню в поскотину, — брат рядом встал. Сорвал бурую запоздалую малину в угоре на мызе — опять брат. И так везде, на каждом шагу, у каждой лесины, у каждой кочки. Даже когда ребяташки-удильщики попались на глаза у реки, не одного себя вспомнил, а вместе с Григорием.

Вдоль Пинеги, через густой задичавший ивняк, под которым чернела Дунина яма, мимо бывших леспромхозовских, а ныне сель-

повских складов Петр прошел под родное печище, спустился на берег, усыпанный цветной галькой, попробовал рукой воду.

Вода была теплая, летняя, но по-осеннему чистая и прозрачная, и когда прошла рябь, он долго всматривался в свое бородатое лицо с морщинистым широким лбом.

Все началось с Тани, с веселой черноглазой медсестры, с которой он познакомился в те дни, когда Григорий лежал в больнице. И вот надо же так случиться! Григорий возвращается из больницы, к своему дому подходит, а навстречу Таня. Увидела Григория, всплеснула руками: «Что, что с тобой, Петя? На тебе лица нет». И со слезами бросилась на шею ошеломленному брату.

В эту самую минуту, на двадцать восьмом году жизни Петр понял, что он всего лишь двойник, тень своего брата. Понял и решил: отгородиться от брата, стену возвести между собой и братом.

Восемь лет возводил он стену. Восемь лет сушил, замораживал себя, восемь лет парился под бородой, вытравлял из себя бесхитростную открытость и простодушие, чтобы только не походить на брата. А чего достиг? Лучше, счастливее стал?

Нет, нет! Самые счастливые, самые богатые годы у него в жизни те, когда он душа в душу жил с братом, когда оба они составляли единое целое, когда на все смотрели одними глазами, одинаково думали и когда, как говаривала Лиза, им снились одни и те же сны.

Ошеломленный этим открытием, Петр поднялся в крутой, глиняный, сплошь источенный ласточками берег и долго лежал обессиленно на зеленом закрайке поля

4

— Ну как поживаем, брат?

Он спросил это с таким участием, с такой заинтересованностью и задушевностью, словно давным-давно не видел Григория. Да это и на самом деле было так. Жили под одной крышей, сидели за одним столом, каждый день с утра до вечера мозолили друг другу глаза, но разве видел он брата?

Святые, непорочные глаза Григория не дрогнули от удивления — он знал, с чем пришел брат, — и все же счастливая улыбка, легкая краска разлилась по его льяному бескровному лицу.

У Петра перехватило дыхание. Он схватил на руки перепуганного, перепачканного в песке племянника, закричал:

— Дери дядю за бороду, пока не поздно!

Через полчаса борода пала.

Лицо стало непривычно голое, легкое, и память перенесла его к тем дням, когда старший брат, возвращаясь весной с лесозаготовок, в первый же день спускал с них, малоросии, отросшую за зиму волосню.

Улыбаясь какой-то новой, давно забытой улыбкой, Петр вышел на крыльцо и столкнулся с возвращающейся с телятника сестрой.

Лиза ахнула:

— Ну, Петя, Петя!.. Вот теперь и я нисколешенько тебя не боюсь.

— А раньше боялась?

— Да больно-то, может, и не боялась, а все не прежний, все какой-то не такой.

Да, он вернулся к тому, от чего отрекся и отгораживался столько лет. Вернулся к брату, к жизни, к себе.

Глава девятая

1

Здравствуй, сестра!

Пишет тебе твой братец-бандит, отпетая голова, лагерник и тюремщик, который всех Пряслиных опозорил. А может, уже и не братец, может, отказались за это время от меня, потому как врать не стану: письма от вас еще в колонии не принимал, отказывался. В общем, двадцать лет ни перед кем головы не клонил, ни одного сто-на не дал, а сегодня плачу не плачу, реву не реву, а так к горлу под-катило, что сам первый за карандаш взялся.

Начну по порядку.

Утром вызывает к себе начальник, думаю: карцер — крепко ночью гульнули, много было звука; а начальник с порога: «Пришло помилование, Пряслин. Так что с завтрашнего дня имеешь свободу».

Ну не это сразило меня. Не амнистия. Я, покуда он эту бумагу мне не подал, и слушал-то вполуха — артист тот еще, все с шуточка-ми и прибаутчками, а сразило меня наповал то, что он сказал: «Не знаю, Пряслин, кто за тебя там хлопочет, кому ты нужен, а будь моя воля, я бы тебя не выпустил. Не верю, что человеком станешь. Ну да ладно, говорит, погуляй, снова встретимся».

И вот вышел я от начальника, солнышко, вся моя шушера: что и как? А что — как? Что я могу сказать, когда я и сам, как началь-ник, думаю: кому я это там, на воле, нужен, кто за меня так ста-рается? Дружки-приятели? Да какой ход у шпаны в Президиум Вер-ховного Совета РСФСР!

Всех перебрал, всех пересчитал, кого знал и встречал за свою жизнь, и вот, сестра: кроме тебя, некому. Потому что ежели и есть кто на свете, у кого еще болит обо мне сердце, дак это у тебя да у мамы. Ну а что за хлопотунья из нашей мамы, мы знаем, так что ты. Ты решила из ямы брата выволакивать — больше некому.

Двадцать лет я про дом не думал, мать даже родную не вспоми-нал, а тут все вспомнил, всех перебрал: тебя, маму, Пинегу, Михаи-ла... Сказать это моей шалаве, о чем тут их пахан задумался, о чем помышляет, — не поверят. А ведь и у меня мама есть, есть сестра. Про братьев не говорю. Михаил на том свете меня встретит — отвер-нется, двойнята тоже чистенькие, от грязи всю жизнь рыло воротят, сестра Татьяна не в счет. Только на тебя да на маму и надежда вся.

А не испугаетесь, ежели нагряну? Страшный я стал. Волосы выпали — плешь, зубы железные, весь разрисован — в баню с людь-ми зайти нельзя, и зовут Дедом. Да, в пятнадцать лет стал Дедом, когда меня в эту колонию прислали. На воспитание.

Эх, дураки, дуракомы! Они думают, там человека делают. Делают, да весь вопрос — кто. Мне днем один хмырь, тамошний воспита-тель, начал мозги вправлять: «Работай честно, Пряслин, ежели хо-чешь на путь правильный встать», а вечером остались в бараке — другое воспитание началось. На всю жизнь. Один там пада захотел мне сразу рога обломать, потому как я самый сильный, в глазах у него бревном встал. «Эй ты, деревенщина! Поддай-ко мне свою ша-почку — покакать захотелось». Подал я ему свою шапочку, покакал не спеша, а потом: неси.

Ладно, наклонюсь, беру это шапочку с его добром, да не успел никто опомниться — все это добро ему в харю. Три часа мы в ту ночь насмерть бились, и к утру я стал хозяином. Он стал подавать мне свою шапочку. Вот тебе, сука, запомни на всю жизнь, что такое деревенщина!

Вот так, сестра, я и подписал себе приговор на двадцать лет, потому что из колонии выхожу — меня только что на руках не несут. Гулял, не отпираюсь. Все было. Ну только одного не было: никого не убил и над людьми не изгибался. Нету крови на мне, сестра, это я тебе точно говорю.

Приветы и поклоны никому не пишу. Кому нужны приветы да поклоны от бандита? Ну а ежели Михаил от меня не отвернется да братья да сестра руку подадут — спасибо. Но о них покуда не думаю. Мне бы на тебя да на маму только взглянуть, а там видно будет что и как.

Я бы и так поехал в Пекашино, без твоего спроса, сестра, да хватит, пострадала ты за меня, сызмальства заступницей была, и не хочу, чтобы ты сейчас шаррахнулась, когда я как снег на голову паду или, хуже того, когда тебя из-за меня клевать начнут. Нет, это мне теперь не перенести, честно говорю. Вот и пишу все как есть. Начистоту, без утайки. Можно — приеду, а нельзя, дак нельзя: заслужил.

Остаюсь в скором ожидании ответа твой бывший брат или настоящий (сама решай!) Федор Пряслин.

За эти двадцать лет я Пряслиным только и был, когда на допросы вызывали, а так все по кличкам. Как пес.

2

Трудное это было лето для Пряслиных. Раздоры и неурядицы меж собой, вся эта дикая и несуразная история со ставровским домом, внезапное появление Егорши, принесшее столько бед и горя... Зато уж сейчас был праздник так праздник. Из всех праздников праздник.

Лиза первая сказала то, что было у каждого на сердце:

— Вернулся! Вот и Федор наш к нам вернулся. Петя, давай скорей телеграмму. Пушай ни минуты не медлит. Господи, «не испугаю ли, сестра?». Вот чего скажет. — И вдруг расплакалась, разрыдалась. — А того, что мамы-то в живых нету, и не знает... «Есть ведь и у меня мама родная»... Нету, нету, Федя, у тебя матери... Уж она-то из-за тебя попереживала, уж она-то бы обрадовалась...

Петр, не спуская глаз с Григория — тот накалился от радости до предела, — толкнул сестру в бок: дескать, попридержи себя.

— Не буду, не буду, ребята, плакать. Песни надо петь, а не плакать.

Было уже не рано, когда Петр с телеграммой побежал на почту. В заулке у Михаила Раиса развешивала выстиранное белье, и ему по-мальчишески, криком хотелось кричать про ихнюю радость — мол, передай брату (Михаил с новым управляющим был на Синельге): Федор скоро приедет, — но в эту минуту из-за угла житовского дома вывернулась Евдокия Дунаева, и он прикусил язык.

Евдокия прошла рядом с ним, едва не задела его рукой, но разве видела она теперь кого? Погас вулкан, как на днях сказал про нее подвыпивший Петр Житов. Пепел да одна мертвая, выжженная порода осталась от прежней Евдокии.

Петр вспомнил про Калину Ивановича, про папку с бумагами, которая осталась от него и которую просила на досуге посмотреть Евдокия, но вскоре его опять захватили семейные дела, которые неожиданно нынешним утром переплелись с делами Пекашина.

Нынешним утром он, как обычно, стучал топором на своем старом дому. И кого же вдруг он увидел? Кто поднимался к нему на верхотуру? Виктор Нетесов, новый управляющий. Поднялся, глянул на новую крестовину стропил, которую какой-то час назад они

поставили с Филей-петухом и Аркадием Яковлевым, легонько и не без удовольствия погладил гладко отесанное дерево.

— В ладах с топором. Но можно бы и не тесать стропилину-то — кто увидит ее под крышей?

— Да так уж привелось,— ответил Петр и улыбнулся: понравилась похвала управляющего, потому что Виктор Нетесов — кто не знал этого в Пекашине — сам был мастак по плотницкой части.

— А вид с твоей вышки как в кино,— заговорил управляющий, кивая на бывшие поля за болотом: там желтым и красным пожаром польхал кустарник.— Через неделю эту красоту будем вырывать с корнем.

Петр, ничего не понимая, пожал плечами, и тогда Виктор уже перешел на свой обычный деловой язык:

— Мелиораторы через неделю приезжают.

— К нам в Пекашино?

— Да. А чего ты головой мотаешь? Сколько еще кустарники в навинах разводить? На тридцать га поле будем делать.

— На тридцать га! Это в наших-то навинах? — Петр опять замолтал головой.

— Да ты от меня этим мотаньем одним не отделаешься,— сказал Нетесов.— Я ведь к тебе зачем пришел-то? А затем, что тебя в свою телегу запрячь хочу. Не понимаешь? Главный механик нам в Пекашине нужен, грамотный, толковый техник. Ну а раз ты гнездо отцовское отстраиваешь, вот я и подумал: кого же мне еще искать!

Нетесов не торопил его с ответом, не агитировал. Наоборот, сказал на прощанье: подумай хорошенько, легкой жизни не жди. И Петр на первых порах как-то не очень раздумывал над его предложением, а вскоре за работой и совсем забыл. Зато сейчас, едва всплыл в его памяти этот утренний разговор с управляющим, как все его существо охватило лихорадочное и деятельное возбуждение. «Не жди легкой жизни... Легкой жизни не будет...» А почему у него должна быть легкая жизнь? А Калина Иванович искал легкой жизни?

За все эти летние месяцы, что он бывал у старика, они почти никогда не говорили о «земном», о пекашинском, но Петр сейчас не сомневался: Калина Иванович одобрил бы его решение остаться в Пекашине, начать устраивать жизнь на родной земле вместе со старшим братом, с Виктором Нетесовым...

И еще какие бродили чувства, какое желание вызревало в нем в эти минуты? Запрячься в пряслинский воз, взять на себя все заботы о сестре и ее детях, о Григории, о Федоре...

Он не знал еще толком, не успел обдумать, представить себе, как все это решить практически, а уже новый свет, свет далекого детства, хлынул ему в душу.

Трезветь он немного начал, когда вышел с почты да увидел пьяный трактор на дороге, который так и кидало из стороны в сторону (как потом выяснилось, Васька-тракторист и в самом деле был под сильными парами — на угол сельсоветского склада наскочил, сукин сын).

Да, подумал Петр, в Пекашине порядок наводить надо. Но не порет ли он горячку? С четырнадцати—пятнадцати лет в городе — не отрезанный ли он навсегда ломоть? Приживется ли снова в деревне? И уж вовсе показалась ему мальчишеством его недавняя мечта заменить Михаила в пряслинской упряжке, Михаила, который самой природой был создан для этой роли.

Петр, однако, недолго предавался унынию, потому что очень уж дорог ему был тот недавний порыв, который таким светом осветил его душу. И он сказал себе: чего раньше времени каркать? Поживем — увидим.

Глава десятая

Для него теперь не было дневной жизни. Днем он не мог взглянуть людям в глаза, беспечно, как прежде, пропахать из конца в конец Пекашино. Днем он отлеживался на подворье у Марфы Релишной, в тесном бревенчатом срубике, в котором окончил свои земные дни Евсей Мошкин.

Жизнь для него начиналась лишь вечером, когда осенняя темень накрывала землю. Вот тогда он выбирался из своего логова, жадно, полной грудью вдыхал свежий вечерний воздух, разминал затекшие ноги.

По деревне шел медленно, принохивался к ее привычным вечерним запахам, вслушивался в знакомые голоса в заулках, с ненасытным любопытством вглядывался в ярко освещенные окошки домов, а если попадались навстречь люди, замирал, не шевелился, пока не проходили мимо.

Так доходил он до Анфисы Петровны и тут стоп: дальше дороги для него не было. Он даже посмотреть не решался в ту сторону, где стоял разоренный им дедовский дом...

Больше всего его тянули к себе два дома — дом Михаила и дом покойной Семеновны, в котором теперь жила с братьями Лиза.

К Михаилу на усадьбу не попадешь — собака, и он довольствовался тем, что подолгу, чуть ли не часами простаивал возле его бани. В непроглядной темени звонко, раскатисто играла стальным кольцом входная калитка, и он сразу узнавал своего бывшего дружка-приятеля — по поступи, тяжелой и основательной, как все, что делал Михаил, и, конечно же, по пряслинскому запаху: солнцем, хлебным духом, конем вдруг прорежет ночь.

На Лизу, на ее домашнюю жизнь с братьями и детьми он смотрел через окошко. Окна у Семеновны низкие — на аршин дом врос в землю, — и если глянуть поверх занавески, то вся изба у тебя как на ладони.

И вот каждый вечер одно и то же виделось ему: годовалые ребятишки, ползающие по просторному некрашеному полу, Петр и Григорий — то за столом за какой-нибудь домашней работой, то за книгой, за газетой — и она, Лиза, его бывшая жена...

Близко, совсем рядом была Лиза, одна рама, одно стекло разделяло их, и в то же время она была невообразимо, недосягаемо далеко от него. Как звезда. Как другая планета...

В тот день, когда он решил навсегда исчезнуть из Пекашина (да и только ли из Пекашина?), он вышел из дому рано утром, подтянутый, чисто выбритый, с железной лопатой в руке.

Густой сентябрьский туман пеленал деревню, и никто, ни один человек не видел, как он прошел на кладбище.

Могила Евсея Мошкина, как он и думал, осела, осыпалась. Он подрыл с боков песок, придав холмику форму прямоугольника, а затем выстлал ее плитами беломошника, который неподалеку нарезал лопатой. Но и это не все. Сходил к болоту, отыскал там зеленую кочку с брусничником, на котором краснело несколько мокрых от росы ягодок, срезал ее, перенес на могилу.

— Ну вот, старик, — сказал Егорша вслух, — все что мог для тебя сделал. — И криво усмехнулся. — По твоей вере дак скоро увидимся, а я думаю, дак оба на корм червям пойдем. Здесь, на земле, жить надо.

Дальше он не таился. Открыто вышел на деревню, уже давно

наполненную рабочим шумом и гамом, открыто вошел в магазин, взял на последние деньги поллитровку — и азимут на Дунину яму, туда, где когда-то из-за него хотела наложить на себя руки Лиза.

Он два раза прочесал мокрые ивняки и ольшаники над Дуниной ямой.

Задичал, как роща, разросся кустарник за двадцать лет, а самой ямы не было. Яму засыпало песком, и вонючая, зеленоватая лужа плесневела там, где когда-то ледяным холодом дышал черный омут.

Глава одиннадцатая

I

Дождь застал Михаила уже на Руси, то есть после того, как он из лесного сузема выбрался в поля. Ему не хотелось мокнуть близ дома, и он начал настегивать Миролюба. Но Миролюб только для виду замотал старой головой: выдохся. Они с новым управляющим за эти два дня объехали всю Синельгу — от устья до верховья. Везде побывали, каждый мысок, каждую поженку обнюхали. Виктор Нетесов решил с будущего года опять ставить сена на Синельге, и разве мог он, Михаил, не поддержать его в таком деле?

Расходившийся дождь как метлой вымел пекашинские задворки — ни единой души не попалось ему на глаза вплоть до самой конюшни. Зато уж тут Филя-петух его насмешил. Сукин сын — не иначе как с перепоя — вывел из стойла самую резвую кобылку, вороную Птаху, и давай заседлывать.

— Ты, Филипп, никак на новый способ отрезвилочки решил перейти?

— Я за тобой, Михаил, хотел ехать.

— За мной?

— Не знаю, как тебе и сказать, мужик. Несчастье у тебя дома большое...

Михаил слез с лошади, заставил себя выпрямиться: бей!

— Лизавету размяло...

— Лизку?

— Ну... Мы это стали на дом с Петром коня подымать ставровского, а веревка-то попадись старая... Ну и... — Филя виновато развел руками.

— Ну и что, что? — заорал Михаил. — Да говори ты, дьявол тебя задери! — Он схватил обеими руками Филю за старый измочаленный свитеришко, но сразу же выпустил и побежал к старому дому.

В заулке он еще издали увидел сосновые слепи-бревна, приставленные к избе, а затем увидел и коня, лежавшего на земле посреди заулка.

— Вот здесе-ка она упала.— Запыхавшийся, ни на шаг не отстававший от Михаила Филя подвел его к крайней от дороги слеге, указал на мелкую, обмытую дождем щепу и вдруг ахнул: — Смотри-ко, тут что! Пуговица... Да это же Лизкина пуговица-то. От ейной кофты.

Михаил тоже узнал пуговицу. Два года назад он зашел в сельпо: что бы купить сестре на день рожденья? «А купи, ежели богатый, кофту, — посоветовала продавщица. — Смотри-ко, какие на ней застежки. Как у Лизки глаза».

Михаил поднял с земли зеленую пуговицу, досуха, до блеска

отер ее на ладони, положил в карман намокшей парусиновой куртки.

Филя завсхлипывал:

— Я ведь ей еще говорил, когда они меня позвали. Говорю, не поднять нам с Петром такой охлупень. Больно тяжелый, говорю, брось. Давайте, говорю, еще кого позовем. А она еще со смехом: «Брось, брось, Филипп! А я-то на что?» Ну вот мы с Петром залезли на крышу, а она снизу с жердиной — то мой конец толкнет, то Петров. А потом веревка у Петра лопнула, ну и... — Филя махнул рукой и громко, по-ребячьи расплакался.

— Она... — Михаил с трудом протолкнул через пересохшее горло еще одно слово, — жива?

— Жива была... В район... в больницу увезли...

2

Лыско встретил хозяина протяжным воем, и, хотя для Михаила это было не внове — давно у ихнего пса не все дома, — он похолодел от ужаса и минут пять стоял, ухватившись обеими руками за воротца. Затем кое-как заволок в избу ноги, сел на скамейку у печи.

Раиса молча собрала на стол.

— Поешь. Ведь уж сколько ни переживай, чего теперь сделаешь. Сама виновата.

Михаил покачал головой:

— Я виноват.

— Ты?

— А то кто же? Бросил одних... Чего они понимают?

— А чего понимать-то? Дети они маленькие? Всяко, думаю, под бревно-то не надо лезть. А то вот как—жердинкой бревно на дом подымать!

— Ты не станешь.

— С ума я сошла! Да и вся эта игра в коников разве дело? За дом надо было стоять, а чего по волосам рыдать, раз голова снята? А она из дому пых, пушай по бревнышку разносят, а потом и спохватилась... Коником дорогого свекра буду вспоминать...

Михаил глухо спросил:

— Ребята где?

— Какие ребята? Наши?

— Племянники мои.

Раиса округлила глаза.

— Племянники у меня есть! Михаил и Надежда. Не слыхала?

— У Анфисы Петровны, наверно, — уже другим голосом ответила Раиса. — У кого же еще?

— А почему не у нас?

— Почему, почему... Сам знаешь, Анфиса Петровна первая подружка у ей...

— А я дядя им, дядя! Родной! Ты понимаешь это? Понимаешь?— Михаил поднялся на ноги. — Пойду...

Раиса со слезами припала к его раскисшей в избяном тепле парусиновой куртке, обеими руками обняла за шею.

Он хотел оттолкнуть ее от себя — разве это ему сейчас надо? — и вдруг судорожно прижал к себе: понял, что она за него испугалась, понял, что, несмотря на ее вечные попреки из-за Варвары, ревность, несмотря на всю ее руготню, она его жена — верная, преданная до гроба, до последнего вздоха.

— Не убивайся, не хорони человека раньше времени, — начала

утешать его Раиса. — О прошлом годе Иван Яковлев час под тремя деревьями лежал, а сейчас смотри-ко как бегаёт. Как заново родился.

Хотелось бы, ох как хотелось бы верить, что все обойдётся благополучно, но Филя-петух, на глазах у которого все это произошло, ни единого словца не сказал в утешенье, а уж он ли не любит каждого утешить!

— Машина придет, скажи, чтобы ехала вдогонку, а я пойду. Сил моих больше нету ждать.

3

...Была осенняя кромешная темень, был нудный осенний дождь, и было еще отважное и отзывчивое сердце четырнадцатилетнего мальчишки. И он шагал впереди матери, чтобы проложить ей в темноте дорогу, чтобы всю сырость с сосновых лап принять на себя...

Так было в сорок втором году, когда он провожал мать в район по вызову военкомата.

А сейчас? Что стало с ним сейчас?

Отринул, отпихнул от себя родную сестру, самого близкого, самого дорогого человека, с которым всю войну, все самое страшное пережил вместе. Да как он мог сделать это? Ведь не злодей же он, не последний человек в своей деревне. Были времена — в пример ставили. А вот он, примерный человек, вот что натворил, наделал... И сейчас он уже не только перед сестрой своей, перед братьями вину чувствовал, но и перед Васей, перед покойным племянником.

Да, да, и перед Васей. Все думал, все уверял себя — ради Васи, ради его памяти старается. А разве Вася простил бы ему, как он мать его родную поносил, топтал? И уж, конечно, нет и не будет ему прощения от Степана Андреяновича. Тот ради Лизы, ради невестки своей любимой, всем, жизнью своей пожертвовал бы, а не то что домом...

Ослепительная, каленая молния прочертила черную просеку дороги впереди. Потом где-то в стороне тяжело грохнуло и покати-лось, и покатилося в сузем...

Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ: «Сынок, ты понял меня? Понял?»

Тридцать лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну, и тридцать лет он ломал голову над ними, а вот теперь он их, кажется, понял...

1973 — 1978.



К нам дошла
до сегодняшних
смутных времен
эта чистая сказка
античного быта.
И за плугом шагал
целый день
Филемон,
и сидела за прялкой
до ночи
Бавкида.

А когда среди поля
вдруг стало темно,
хлынул ливень,
завыл зимний ветер
уныло,
он тогда перестал
веять в поле зерно,
и она его грубой туникой
укрыла...

И качался на ветке
тяжелый лимон,
бедный домик
плющом был увит
деловито...
И однажды
глаза вдруг смежил
Филемон,
и глаза свои тотчас
смежила Бавкида.

Видно, дан был
им этот удел неспроста,
и, покинув края,
что милы и убоги,
крепко за руки взявшись,
вошли во врата,
где их встретили
с тихой улыбкою боги.

..*

Ах, какие могут в человеке
силы быть подчас заключены!
Мне вчера билет в районном ВТЭКе
выдали:

я инвалид войны...

Дайте мне костыль и старый китель!
Я ведь все же что-то, а пожил.
На минуту ангел мой хранитель
крылья терпеливые сложил.

...Про поля, что кровушкой политы,
про дорогу трудного полка

вечерком талдычат инвалиды
около фанерного ларька.

Подойду я и скажу: ребята!
Дайте пива с водкой пополам!
Вся моя душа сейчас объята
нежностью товарищеской к вам!

Мы стоим, друзья, всех ближе к краю.
И над нами торжествует рок!..
Я стакан граненый вышиваю,
я ломаю плавленный сырок...

Я ничем вас, други, не обидел?!

Я пойду опять в мирскую ширь,
потому что ангел мой хранитель
вновь меня ведет как поводырь.

.

Сколько, брат, ночами ни работай,
ни скитайся, все же есть предел..
Круг семейный с полной свободой
совместить ты так и не сумел!

Ты хотел, чтобы летели нарты,
увозя тебя в метель и тьму,
заходить к художникам в мансарды,
спорить за бутылкой и в дыму,
чтоб под бок нашлась в полях солома,
чтоб ломать бессмысленно комедь,
чтоб до смерти ни семьи, ни дома
так и никогда и не иметь!

Чтобы вдруг на пьяной вечеринке,
в старости, среди юных забулдыг
на тахте скончаться, сняв ботинки,
валидою засунув под язык...

.

За чтением книг бесполезных,
за этим вот легким вином
совсем позабудешь о безднах,
что ждут тебя там, за окном...

Не в этом ли доля земная:
не вздрогнув ни разу почти,
о пропасти трудной не зная,
по самому краю пройти,
и вечности не замечая,
что гонит волну за волной,
за чашкой грузинского чая,
за легкой такой болтовней.

— А потом?

— А потом будет старость!..

Она

ну какая-то все-таки будет.

Серый дождь, по карнизу окна
простучав, меня в полдень разбудит.

Ну а может, не надо — «потом»,
как у павшего навзничь солдата
с распластованным животом,
что на пашне я видел когда-то?

Нет, потом будет старость!..

Она

посетит меня в полдень осенний:
ослепительная новизна
притушения всех ощущений!

И, как край одеяла, отбрось,
холод чувствуя в старческом теле,
то, что жизнью когда-то звалось,
то, чего, может, нету на деле.



ЮРИЙ СБИТНЕВ



ОХОТА НА ЛОСЯ

Повесть

1. Еще до большого снега Лось привел свою семью в Солонцовый остров. Он пробился чащобником в самую глушь леса и лег у малого стожка, показывая этим, что отныне и надолго тут их дом. Двухлеток потоптался вокруг, похрумкал сухие будылья сложенной в копешку крапивы, обежал вокруг новое пристанище и, смирив в себе жажду движения, облюбовал лежку за отцовской спиной. Лосиха не легла рядом с ними, а, войдя в густой ветловник, низко опустила голову и, чуть прикрыв большие волоокие глаза, глубоко задумалась. Два дня назад она вдруг почувствовала в себе присутствие второй жизни. Где-то глубоко внутри ее словно бы что-то лопнуло и вязкой теплой истомой разлилось по телу, и за этим теплом, за этой истомой вдруг услышала она легонький стук в себе, и это было похоже на стук ее сердца, только этот был мягкий и едва различимый. Потом она ощутила тяжесть, словно тот, кто поселился в ней, разом обрел вес, и чуть даже осела на задние ноги и оглянулась, в утайку тронула языком пустое, будто не ее вымя и полизала, закинув голову, пока еще глубокие и мягкие провалы пахов.

Сегодня тот, кто жил в ней, ворохнулся, устраиваясь поудобнее, и она услышала его, уже определившегося, длинношеего, с маленькой лобастой головкой и тоненькими ногами. Это движение родило в ней далекие еще запахи пресных весенних вод, чуть тронутых гнилью палых листьев, запахи мха с тоненькими ресничками кукушкиных слез, и она услышала потаенный шепот разрывающих землю трав и саму землю услышала, принимающую в мягкое свое лоно еще одного ее ребенка, еще одно дитя.

Полился, повалил, хлынул крупный и тяжелый снег и сразу занавесил все вокруг, оставив ее одну, замкнув в одиночестве совсем так же, как была замкнута в ней та, другая жизнь, которая должна быть по мудрому закону природы продолжением ее жизни. Она стояла, низко опустив голову, почти касаясь губами снега, и сон обволакивал ее, и ей было хорошо и покойно в том сне. Потому что был он тем, что должно было с ней произойти весной, и она хотела этого и рвалась, и спешила туда, в весну, к тому мигу, когда ее тяжелое большое тело в муках извергнет из себя живую плоть и станет легким и радостным. Она нежно трогала сначала губами, а потом языком то живое и трепетное, пахнущее ее кровью, ее соками, и вздох облегчения и радости, переходящий в доброе материнское «мо-о-ой», упал в мир, нарушив великую тайну рождения.

«Мо-ой!» — пропоет она, подняв голову к макушкам деревьев, и теплое сильнее небо прольется в ее измученные счастливые глаза.

«Мо-о-о-ой!» — сторожась сглазу и подслуху, еще раз выплеснет она в мир, в небо, в синий простор и волю. Вымечко ее, тесное от желанья и счастья, вдруг выронит две струйки молока, и на запах его потянутся к ее горячим сосцам влажные губы.

Мать всегда, пока способна быть матерью, ждет этих губ, этого долгого и настойчивого потягивания.

2. С вечера подморозило, вывездило, и небо над городом повзросло, а было оно вот уже несколько недель младенчески мягким. Но в ночь невесть откуда нагнало облаков, в природе отмякло, и снег, влажный и тяжелый, не то чтобы посыпался — потек сплошным валом.

Сергей плохо спал эту ночь да и с вечера долго не мог уснуть, кажется, так и не уснул, пребывая в странном состоянии какого-то обморочного мгновения отрешенности, за которым следует ясная осмысленность происходящего, — ты не спишь. И снова ватная оморочь полусна, и снова напряженная пульсация крови в висках и ясность мысли. Так длилось, пока старенький будильник не стрекотнул одержимо на столике, и Сергей, придавив его ладонью, разом поднялся, чувствуя во всем теле вялость и тяжелую ломоту в затылке — там словно бы накопилась ртутно-тяжелая влага.

Было без четверти четыре, будильник зазвенел на пятнадцать минут раньше, чем ему было задано. Не включая света, в полной темноте зашторенной маленькой комнаты Сергей сделал несколько движений, разгоняя вялую, так и не отдохнувшую кровь, вздохнул глубоко, выпячивая живот, расширяя грудную клетку и наполняя легкие до верхушек холодным воздухом. За шторой окно было распахнуто, и оттуда тянуло снежной сыростью. В кухне (в квартире не было ванной комнаты) Сергей, опять же не включая света, разжег газовую колонку. Синенькое пламя запальника бледно осветило кухню мертвым светом, свет этот лег на руку, переводящую рычажок газа, и Сергей увидел вдруг восковую неподвижность пальцев, сухие узлы суставов, окаменевшие выпуклости вен, и ему на мгновение стало страшно. Горелка разом вспыхнула, оранжевое пламя загудело живо, погасив, подмяв под себя мертвый одинокий свет запальника. Сергей подошел к балконной двери и вдруг увидел снегопад. Белые рыхлые хлопья, не мешая друг другу, бесшумно текли к земле. Все вокруг было призрачным и вязким.

Сергей долго стоял, разглядывая снегопад, ни о чем не думая, слушая, как падает теплая вода, наполняя ванну, и вдруг подумал, что ехать сейчас на машине трудно и Григорий будет волноваться, сидя рядом и давая бесконечные советы и замечания по вождению, и вдруг струсит, до хруста в суставах ухватится за кожаную петельку над дверцей. Сергей отчетливо почувствовал, как на полном ходу ведет машину, заноса ее на встречную полосу, и как цепенеет рядом Григорий, и сухо становится во рту, и пальцы сами по себе упругой силой обволакивают руль, но медленно теряющаяся скорость все еще властвует... Трудно будет ехать по снегопаду, но свежей порошей покроются леса и охота по следу будет ясной и легкой.

Тяжелое падение воды становилось глуше, ванна быстро наполнялась, и Сергей, с трудом оторвавшись взглядом от снегопада, все так же в полусумраке гудящей горелки шагнул в воду, присел, ощущая, как тепло, нежно коснувшись тела, прогоняет вялость.

Уже побрившись и одевшись, позвонил Григорию. Трубку взяла Женя.

— Это ты, Сережа? Гриша еще почивают. Далась вам эта охота. — Женя говорила без злобы разбуженного человека, быстро-быстро, без пауз, как умела только она. — Вы б договаривались без звонков, а то и того лучше — съехались бы вместе. И спали бы рядышком. Нечего будить людей...

— Жень, да подожди ты... Я же говорил Гришке — ночуй у меня. Так нет — он тебя стережет.

— Меня стеречь нечего, — хриловато со сна звучал быстрый говорок.

— Ладно, буди мужика, скоро заеду, — сказал Сергей и положил трубку.

«Ах, Женька, Женька, рассыпун-баба!.. А в женщине главное — доброта. Пускай даже к одному, но без оглядки, как вот в прорубь головой. Как Вера ко мне. Вера с виду только такая — суровость. Она ко всему миру добрая. Только доброта у нее трудная. Настоящая...»

Неделя прошла, а ему кажется — вечность. Сколько раз набирал он номер ее телефона? Наберет и на последней цифре опустит трубку.

...Всего неделю назад Вера позвонила к нему на работу:

— Сережа, все, что было у меня с тобой, все это самое лучшее... Прекрасное это... И я люблю тебя. Только тебя и любила...

Слушал ее, каменея всем телом, скулы свела судорога. Если бы она спросила что-то, он не смог бы ответить. А Вера продолжала:

— Но всему есть конец, Сергей. Пускай он будет таким... Я не хочу ворванного счастья... Прощай.

— Подожди, Вер! — Как он сказал это в полной своей окаменелости?

— Ты что-то хочешь сказать мне?

— Да.

— Говори.

— Я не могу сейчас... Я позвоню...

— Звонить не надо. Никогда... Все, что я тебе сказала, все правда. Но не звони.

Он молчал, молчала и она. Потом тоненько запели коротенькие гудки. Словно осы влетали и жалили...

— Что с тобой? — спросил Григорий, входя в кабинет.

Прищипу ничем не напугаешь, но в глазах его тогда был страх. Сергей отрывал и все не мог оторвать от уха трубку.

— Сейчас, — кивая на стул. — Сейчас...

Григорий сел напротив. Гудки становились нестерпимыми, но Сергей не мог ничего поделаться с собой. Григорий, словно бы угадав его беспомощность, встал, обошел телефонный столик, вырвал трубку, крикнул в нее: «Алле!» — и удивленно поднял брови, услышав тоненькую нуду коротких гудков.

— Все? — спросил, опуская на рычажки трубку.

Сергей кивнул.

— Тебе воды дать? — спросил, и Сергей понял, что он не шутит.

— А что? Я плох, что ли?

— Краше в гроб кладут...

«Жигуленок» завелся с одного поворота ключа. Разом как-то игриво зарокотал жеребенком, хотел было замолкнуть, но Сергей дал ему хода, чуть подтянув на себя подсос.

Снег по-прежнему густо падал на землю, и, пока грелся мотор, черная ниточка следов от подъезда к гаражу пропала, и Сергей подумал, что если снег не прекратится, лоси, забравшись в глухие острова, лягут или встанут на отстой, не выявляя себя. Придется попотеть, обкладывая вслепую один остров за другим. Впрочем, за двести с лишним километров, куда они ехали в это утро, снега могло и не быть.

Было далеко до рассвета, но в город уже пришло утро — так чист и обилен был снежный свет.

В смотровое зеркальце Сергей не видел позади машины следа, снегопад густо покрыл асфальт, казалось, что «жигуленок», не касаясь земли, низко низко летит над улицей.

...Тогда тоже был такой вот снегопад. Сергей проснулся среди ночи как от толчка. Часто-часто, словно с перепугу, билось сердце, и он не мог понять, с чего это, вслушивался в себя, в тишину, улавливая какой-то потаенный шорох за окном и сладостный миг рождения тоски в своем сердце. Лежал и слушал странный шорох и странный стук своего сердца.

Проходили минуты длинные, тягучие, и тоска, умеряя стук сердца, охватывала, обволакивала его, и он не мог понять, почему, от чего это, и все лежал и лежал недвижимо, широко открыв глаза. И нелепая комната его — бывшая веранда, теперь утепленная, — с тремя стеклянными стенами, только что погруженная в крошечную темноту, вдруг начала наполняться светом. «Утро», — решил Сергей и поднес к глазам часы. Циферблат был хорошо виден, даже секундная стрелка. Времени было без четверти четыре. А свет все наплывал и наплывал в комнату, и тогда Сергей, ощущая уже не тоску, но томление в

сердце, встал с постели, подошел к окну и кинул в сторону тяжелую пыльную штору. В мире было чисто. Там, на воле, за гостиничным окном, шел снегопад, первый в эту осень. Шорох медленно текущего снега стоял над миром.

Сергей слушал, смотрел снегопад и вдруг понял, что все это чистое и белое в мире творится ради них и в честь их. В честь Веры и его, Сергея. И что снегопад — это их общий снегопад...

«Я, кажется, еду на красный свет». Сергей сбросил газ, легонечко понужая тормоза, убедился, что машина устойчива, прижал педаль поплотнее и остановился как раз под светофором.

Поскрипывали на лобовом стекле дворники, полукружьями сгоняя снег, тепло светилась приборная доска, и вживе волновалась под рукою теплая ручка переключения передач.

Вспыхнул зеленый, и машина послушно двинулась вперед, мягко размыкая снегопад.

...Утром снова не обещали самолета, а значит, снова был у них впереди день.

Вчера еще хлябистой, а нынче чуть подмерзшей белой дорогой они вышли за огороды, к полям, миновали плотину и пошли цѣликом по-над речкой к лесу. За речкой — крохотной таежной виской — лепились один к другому одинаково срубленные дома, крашенные одной краской (вероятно, только такой цвет завезли в селпо), и бани были одинаковыми и заплоты. Да и все село, выстроенное совсем недавно, не походило на сибирское. Об этом подумалось тогда Сергею, и Вера, поглядев ему в лицо, улыбнулась и сказала:

— Я тоже думаю об этом, Сережа.

— О чем?

— Да о селе...

Старый ельник был пересечен дорогой, и они пошли по ней, говоря о чем-то и слыша друг друга, как слышат друг друга звери.

Сергей читал десятки книг, множество статей о мире животных (мир этот он любил), в которых авторы каждый по-своему объясняли общение животных. Но как-то так получалось, нигде не прочитал Сергей о том, к чему пришел сам: звери обладают удивительной способностью слышать друг друга. Именно поэтому создаются у них пары, создается семья. Слышит один другого тем вот необычайным душевным, что ли, слухом, составляя как бы одно целое, — это и есть семья, не слышат — не спарятся. Сколько раз, наблюдая олених или лосиных бои, видел Сергей, как уходит самка с побежденным.

— Ты меня слышишь? — спросила Вера.

— Да.

— И я тебя.

Они шли все дальше и дальше, держа друг друга за руку. Ельник кончился, и надолго потянулась крупно поднятая пашня.

— Вот эта дорога вечна, — сказал Сергей.

— Почему? — спросила Вера.

— Мы ее не забудем никогда.

Она кивнула.

— Пойдем через поле.

— Пойдем.

Давно уже поднялось над тайгой солнце, и снег порыхлел, осел, кое-где уже чернела земля. Они шли пашней, мягко утопая в ней на шаг. Черные крылья тайги словно распахивались перед ними, и поле становилось громадным, одним своим краем упираясь в небо, где не было видно даже леса и только рыжие зароды соломы стояли по окоему, как кибитки кочевников, другой край определяла низкорослая чахленькая таежка. За их спинами лежали дорога и старый ельник, а впереди, куда шли они, густо белел березняк в черном подбое елей.

Они остановились на самом виду посреди вспаханного поля и долго стояли так, глядя вокруг, на мир, может быть и созданный только для того, чтобы они двое встретились в нем.

З. Григорий жил у речного вокзала. Сергей плохо знал этот район и потому искренне удивился, что подкатил прямо в объятия другу. Тот в легкой куртке, в унтах, с громадным рюкзаком и термосом вывалился из снегопада и замахал на «жигуленка»:

— Стой! Стой!

Сергей юзом подкатил под самые унты, и Гришка с легкостью, так не вяжущейся с его грузной фигурой, отпрыгнул в сторону.

— Дури, черт! — И, уже взаправду сердясь, сунул в стекло кулак. — Ты что хулиганишь, дура?

Григорий открыл багажник, уместил туда рюкзак, долго укладывал ружье, скинул и тоже уложил куртку и, открыв заднюю дверцу, полез в машину.

— Садись рядом, — приказал Сергей, и Григорий, любивший подремать во время езды на заднем сиденье, недовольно заворчал.

— Садись, говорю. Ни черта не видно, будем в четыре глаза пялиться.

Григорий плюхнулся рядом, сопя и распространяя вокруг запах перегоревшего пива.

— Ты что, пьяный, что ли?

— Какой! — Гришка махнул рукой. — Был вчера у немцев. У них разве напьешься? Пришел домой, у Женьки втихаря «рижский бальзам» выжрал.

— Будет теперь шуму...

— Нет. Я туда кофе набухал. По виду и слуху не различишь.

— А по вкусу?

— Пока до этого дойдет, я ей бутылку подменю. Маргеру телеграмму дам, чтоб выслал.

Они уже катили по Ленинградскому, а снег все лепил и лепил не переставая. С приходом Григория сердечная боль и пустота вроде и отступили.

— Ты что, не отошел еще? — Григорий, угнездившись в кресле, закурил и против обычного был спокоен, советов не давал.

— Нет.

— Хочешь, я к ней схожу. Приедем с охоты — и пойду.

— Выгонит... Двери не откроет...

Григорий повозился на сиденье, вздохнул и согласился:

— Выгонит. Она такая. — И замолчал.

Молчал и Сергей, снова возвращаясь к тому дню после снегопада. А вернувшись, пожалел, что не разрешил Григорию сесть сзади, — спал бы он сейчас там, какой толк от него похмельного...

...Березняк кончился, и пошла смешанная буреломная тайга. Они шли звериной тропой, промятой в багульниках, петлявшей мимо колодников и вискорья. Тропкой этой пользовались и люди, ветви деревьев над нею и кустарники в рост человека были посечены, идти было легко и спокойно.

Потом они вышли на просеку, и Вера сказала, что надо идти влево, там километрах в трех будет та же дорога, которая вывела их к пашне, по ней можно вернуться в порт.

И они пошли просекой, старым сохатиным следом. Солнце высоко выкатилось в небо и было не по-осеннему горячим. Упаристо дышала отмякшая хвоя, вдоль просеки тянуло горьковатой сыростью, но воздух все-таки был легок и свеж.

Сергей шел впереди, стараясь короче шагать, чтобы Вера легко ступала в его след. Думал он неотступно о ней.

— Смотри, совсем свежий, — сказала Вера, показывая на след, пересекавший тот, по которому шли они.

— Прошли трое. Он, она и ребенок.— Сергей присел на корточки, разглядывая следы.— И четверти часа не минуло,— определил.

— Какой ты у меня умный,— улыбнулась Вера.

«У меня» она сказала впервые.

Следы лосей снова возникли спустя полчаса. Теперь они сопутствовали им. Звери прошли только-только. Глубокие лунки, продавленные в мягком дерне, еще наполнялись мутной водой. Следы были живыми, они дышали.

— Лоси тут, за этими кустами,— шепотом сказал Сергей.— Послушаем...

Было тихо. Тайга хранила молчание, и только одинокая синица раскачивала где-то крохотный стеклянный колокольчик. Замерев, стояли люди, напрягшись и чуть подавшись вперед.

Так же напрягшись, стояли за ближним березняком лоси. Лось, подняв большую голову, медленно поводил большим синим глазом, слушая и вынюхивая тишину. Лосиха и двухлеток-сын тоже напряглись, но слушали только его. Их сердца подлаживались под стук его сердца, и ход крови был его ходом. Легкая дрожь, сотрясавшая его тело, передавалась им, пружинистая настороженность мускулов была их настороженностью.

Лось качнул тяжелой головой и переступил, с чавканьем выбирая из трясины копыто. Он был спокоен, и были спокойны его близкие. Медленно прогибая могучие ноги, плавно выбрасывая тяжелые ступицы, лось пошел старым следом, и за ним так же спокойно двинулись лосиха и двухлеток.

— Слышишь, они были тут.— Сергей, кажется, только подумал, а Вера уже согласно кивнула.

— Сережа, ты слышал, что происходило с нами? — Она тоже вроде бы подумала, но он согласно кивнул.

Снегопад унялся, и как-то сразу посерело вокруг, и оказалось, что все еще ночь. Григорий бессовестно храпел, закинувшись на мягкий подзатыльник. Но храп этот не раздражал Сергея, он был, пожалуй, единственным, что связывало сейчас с настоящим и что позволяло удерживать машину на ровном ходу.

В Пушкино, где собиралась их команда и где состояли они с Григорием в охотничьем обществе, Сергей приехал на десять минут раньше назначенного срока. У здания базы, где договорились встретиться, маячила фигура и стоял беленький «жигуль» первого выпуска. По стадному инстинкту всех автомобилистов Сергей поставил своего «жигуленка» рядом, заглушил мотор и, не будя Григория, вышел из машины. Поджидавший в меховой шапочке с козырьком, в легкой, подбитой обезьяним мехом американской десантной куртке и брюках, заправленных в легкие бутылочки краг, внимательно поглядел в лицо Сергею и дождался, пока тот поздоровается первым.

— Вы на охоту? — вежливо поинтересовался и улыбнулся дежурно, оголив ровный ряд зубов.

— Да. Договорились к шести.

— Я тоже к шести. Ваш? — Он кивнул на машину, будто бы предполагая, что хозяин спит в машине, а Сергей его шофер.

— Мой.

— Не обижаетесь?

— Нет. Пока безотказная.

— Курите? — Он протянул пачку «винстона».

— Нет, но закурю.

Сергей потянул неуклюже сигарету, захватил две, и одна упала в снег. Хотел поднять, сделал было движение, но тяжелый ботинок незнакомца небрежно размял сигарету.

— Моя фамилия Поляков,— чувствуя, что надо кому-то первому представиться, сказал Сергей.— Сергей Иванович.

— Лиходеев Авеңир Леонидыч, сотрудник МИД.

— Простите, не учел протокола: я начальник геологической партии Дальневосточной геологоразведочной экспедиции Четвертого района.

Лиходеев кивнул, слегка потеплев лицом.

— Очень приятно. — Снова улыбнулся дежурно.

А Сергей, чувствуя, что к общей его боли, к пустоте прибавляется еще и раздражение, почему-то представил и Григория:

— В машине спит старший геолог партии Григорий Александрович Самохвалов. Он, простите, малость с похмелья. Был на приеме у немцев. — Сказал и сам разозлился на себя: к чему это?

Слепя фарами, на площадку выкатился «газик», и Эдуард Алексеевич Паниюков, замначальника базы, на ходу выпрыгнул из него. Облапил Сергея, радуясь глазами и улыбаясь до ушей. У Эдуарда улыбка добрая, восторженная.

— Минута в минуту, ровно шесть ноль-ноль. Давно ждете, Сергей Иванович?

— Я — нет. А вот Авенир Леонидович...

— Здравствуйте. Я зачислен в команду к Алексееву...

— Да-да, это наша команда. — Эд уже от души тряс руку Лиходееву. — Знаете, часть наших уже на месте. Выехали вчера. И Алексеев там, капитан наш. Он говорил мне о вас. Значит, все в сборе?

— Эда, похмельиться нету? — дурачась, полез из машины Григорий. — Эда, голова болит.

— Григорий Александрович, как же так?.. Охота на лося... — Эдуард клянул на розыгрыш, доброе лицо его сразу померкло, но он продолжал все-таки улыбаться.

— Какого лося? — продолжая дурачиться, едва удерживаясь на ногах, гнул Григорий. — Я иду на кабана, свинья мне социально близкий тип.

— Как же так? — Эдуард Алексеевич растерянно развел руками. — Там, понимаете, образцово-показательное хозяйство, туда так нельзя.

— Эдка, черт, здорово! — Григорий облапил Паниюкова, поднял его, маленького, худенького. — Святая ты душа. Доверчивая. Здорово, охотнички! Ну и выспался я!..

...Они лежали в копешке, поставленной на зиму для подкормки лосям. Сено пахло недавним буйным летом, луговыми понизовыми ветрами, росами и утренней пряностью июля. Приторный с горчинкой запах сухой кровахи, чуть душиноватый донника, острый, першачий запах девятильника и еще, и еще запахи, тонкие и густые, горькие и паточные, хранило в себе жесткое таежное сено. Вера и Сергей лежали на самом дне этих запахов, и небо, теперь уже затянутое облаками, мохнатым теплым брюхом нависало над ними, словно бы стремясь скрыть и согреть их. Губы и лицо Веры пахли отгоревшим летом, понизовыми луговыми ветрами, таежным сеном.

— Знаешь, — шепотом говорила Вера, — бабушка рассказывала мне, что поженились они с дедом под самые покосы. Сегодня обвенчали, а завтра в луга... Мне уже взрослой о своем медовом месяце бабушка рассказывала. А я тот запах с малых лет в себе несла. Чудно, правда?

— Чудно, Вера! Это чудно! Слышишь, как ветер с реки прошел по травам и пригнул их?..

— Да... И сразу как пламешко пробежало — это жарки прилегли и поднялись.

— И сон-трава, да, Вера?

— И мухоморчик и овсяница...

— Гербарий, — улыбнулся Сергей.

— Нет, что ты. Это слово какое-то чужое. Похоронное какое-то слово. Я цветы и травы любила между страничек книг закладывать...

— И я...

— Начнешь листать старую книжку — и вдруг ирис, таволга, жарок, тамариск, стародуб. И начнешь вспоминать: где же это я его сорвала, где? И вспомнишь. И так хорошо станет... Люди цветы срывают, когда хорошо у них на душе, когда светло им. Да?

— Я никогда не думал об этом. А вот ты сказала, и понял — правда...

Он услышал запах ее волос, вплетенный в запах таежного сена, — пахли они луговыми покосами голодного, невеселого их детства. И губы ее пахли их детством, потому чуточку горчили, и вся она была открытая, как начало всех начал, как детство...

4. На полном ходу (Сергей успел отметить скорость — восемьдесят километров) «жигуленка» вдруг понесло на встречную полосу.

Все было точно так, как представилось Сергею дома, только с тем различием, что тогда он не видел стремительно летящей навстречу обочины, за которой, ничем не огороженный, зиял провал. Дорога тут чуть выгибалась вправо, едва горбясь, и за горбом сразу опадала, прижимаясь к подъему, а влево за обочинной круто, почти вертикально уходил к малому, но глубокому озерку обрыв. «По нынешней зиме лед слабый, пробьем без всякого», — мелькнуло в мозгу, а руки уже до предела кинули руль вправо, и он уловил трудный поскрип натянувшихся до предела рулевых тяг. «Отжать сцепление, только молниеносно, — и на вторую».

Он не заметил, как сделал это, только машина вдруг разом потеряла скорость, заюлила, зашныряла, но Сергей все-таки уловил тот единственный миг, в который надо было действовать, чуть отпустил руль, бросил ногу на педаль газа и, обрезав крайину обочины, готовый сорваться с обрыва колесом, вымахал на дорогу. И сразу же ощутил свинцовую тяжесть напряженного тела Григория, его силу, сваливающуюся вправо, — так делают гонщики на крутых виражах.

— Помогай, помогай, Гриша! — улыбнулся и подивился своему спокойствию.

Григорий ничего не ответил сразу, и только когда взяли подъем и покатились по ровной дороге, сказал:

— Последний раз с тобой еду. С такими виражами долго ли до беды.

— Беды-то не стало, Гриша. Стало быть, и вираж оправдан. Заносит сейчас.

Скользко.

— А ты потише, потише.

— А потише, Гриша, на собственные похороны только ездят. Потише на охоту не успеем.

— И все-таки, Сереж, ты поосторожнее...

— Хорошо, Гриша.

Снова пошел снег, тяжелый, мокрый. Только-только наметился серенький рассвет. В деревнях, когда они их проезжали, липко светились огни и было безлюдно. И дорога была безлюдной.

...Мир медленно плыл в тишину. Покачивалась земля, и где-то совсем рядом все раскачивала и раскачивала колокольчик синица, и звуки эти капельками осыпали тайгу.

— Ты слышишь, как движется земля? — касаясь губами щеки Веры, прошептал Сергей. — Слышишь?

— Нет.

— Ну как же: мы медленно плывем... Ты слышишь?

Вера прислушалась, лицо ее стало серьезным, брови сошлись у переносицы, а глаза сосредоточились. А потом сразу же потеплели, широко распахнулись. Она улыбнулась.

Мир погрузился в тишину, теплые ее волны сомкнулись, и мгновение счастья, их счастья — не здесь, среди тайги и дня, среди снега, рыхло осевшего на все еще теплой земле, среди запахов сена и звонкой синичьей капли, нет, не здесь, а в каких-то иных измерениях, — их мгновение, как все нетленное, было приобщено к вечности.

— Посмотри, Сережа!

Сергей поглядел туда, куда смотрела Вера, и то, что переживала она, мигом передалось ему.

Близко подойдя к заплоту, которым был огорожен стожок, почти касаясь слег, над ними стояли лоси. Когда подошли звери, ни Сергей, ни Вера не слышали. И вот теперь отец, мать и сын разглядывали людей. Их круглые, чуть влаж-

ные глаза с иссиня-темным отливом сочувственно и добро глядели на людей. Горьковатый запах только что срезанной осиновогой коры шел от их дыхания. Лось глядел на Сергея.

Не то чтобы страх, но какая-то неосознанная скованность охватила Сергея, и он, сознавая только, что надо при случае защитить Веру, все глядел и глядел в глаза зверю и не мог понять, что же такое творится сейчас. А лось, вдруг покачав тяжелой головой, потерся мордой о неоскуренные слезы, вздохнул тяжело, наполняя воздух горечью перетертой осиновогой коры, сделал шаг вперед, пробуя грудью крепость ограды, снова вздохнул и, неторопливо, плавно выбрасывая вперед тяжелые копыта, пошел к чаще. За ним зашепила лосиха. И, задержавшись ненадолго — он принялся выгрызать сухую кору со слезы, — затрусил двухлеток.

Лось, высоко неся голову, без шума вошел в чащу, помачал недолго темным громадным телом и вдруг исчез, исчезли и его сородичи, словно бы и не было их, и только крупные круглые лунки следов чернели на снегу, наполняясь водой.

— Что это, Сережа?

— Лоси...

— Мне казалось, что они вот-вот заговорят.

— И мне.

Они рассмеялись. Оцепенение покидало их. Им было легко и весело.

— Бера, мы перестали быть людьми, — сказал Сергей. — Нас не чураются звери.

— Люди не простят нам этого, — засмеялась Вера.

Отныне они обретали избранность, а стало быть, и незащищенность...

— Дальше я дороги не знаю, — сказал Сергей, сворачивая на обочину, миновав Константиновский перекресток и выезжая на незнакомый тракт.

— Будем ждать, — откликнулся Григорий, не открывая глаз и нашаривая в карманах сигареты.

— Ты чего, обиделся, что ли? — спросил Сергей, и Григорий тут же, открыв глаза, с готовностью ответил:

— Нет, что ты. Просто вспомнилось кое-что. Не хотелось отрываться.

— И мне тоже вспомнилось. — Сергей помолчал, вздохнул. — Кое-что...

— Ты о ней, что ли, думал?

— Что ли о ней.

Теплая волна признательности к другу за то, что понял, за то, что не мешал, охватила Сергея.

Мимо, поморгав поворотными фонарями, прошмыгнули «Жигули» Лиходеева. Сергей дождался «газика», и когда тот, притормозив и покричав сигналом, поравнялся с ним, тоже посигналил и, пристроившись в хвост, погнался «жигуленка» следом.

5. В Костинское образцово-показательное охотничье хозяйство они приехали все еще по темноте. Четыре стандартных дома стояло в малом подлеске, гараж, крытый навес для машин и поодаль рубленая по старинке, в крест, конюшня, стог сена подле нее. Недавний снегопад — тут он был тоже обильным — выбелил все вокруг, позавалил чищенные с вечера дорожки, и от навеса, где оставили машины, пришлось идти к дому по пухлым сугробам.

— Ну и поднавалило снежку-то, — сокрушался Эдуард, протаптывая след.

За ним шел Григорий, потом Лиходеев, поскрипывающий новыми крагами, за Лиходеевым двое, что ехали в «газике». Сергей шел последним, он еще не переобулся и был в легких городских туфлях.

В доме, где расположился их отряд, ослепительно пылали мощные лампочки, шумел на газовой плите ведерный чайник и в столовой — комнатухе рядом с кухней — был накрыт стол. Алексеев, капитан команды охотников, высокий мужчина с большой со лба лысиной, поджарый и длиннорукий, подчеркнута строго поздоровался со всеми. Давал понять, что охота — дело серьезное и что с дан-

ной минуты все находятся в его подчинении. Вольхнувшие было при встрече шутки, ни к чему не обязывающий треп он пресек, предложив выслушать инструктаж. Все сели вокруг стола, всех было девять, и Алексеев каждого выкрикнул по списку, прилагая к лицензии.

— Так, товарищи,—сказал Алексеев.— Всем известно, что идем на лося. Охота будет обкладная. На номера ставим я и егерь. С номеров не сходить, стрелять только в своем секторе. Во время загона к номерам чаще всего сразу прибегает молодь, старый зверь уходит осторожно и держится вблизи от загонщиков. Так что молодь надо пропустить. Нам разрешается добыть одного лося; если выйдет кабан, можно добывать и его. По кабану пока еще недовыполнение плана. Убил зверя —сообщи по номерам, но с номера не сходи. Снимать с номеров будем опять же я и егерь.

Алексеев еще долго говорил неторопливым своим голосом, занудно и общеизвестно, и Сергей даже вроде бы и задремал, грея руки о горячую кружку с чаем. После долгой напряженной езды тело расслабло, и лень вошла в него с нетерпеливым током крови. Он подумал, что лучше бы сейчас никуда не ехать, никуда не идти, а завалиться в соседней комнате на койку, предварительно хорошо выпив и закусив.

Неожиданно Алексеев раздобрился и по просьбе Григория разрешил всем выпить под чай по сто граммов. Что и было сделано с молниеносной быстротой — непьющих в отряде не оказалось.

Поднявшись раньше других из-за стола, Сергей переобулся в соседней комнате, натянул на плечи легкую меховую куртку, подпоясался патронташем и вдруг почувствовал себя готовым для долгой и даже изнурительной охоты. Жажда измотать себя томила его и волновала сердце. Ему захотелось вот сейчас, сразу выйти на волю и шагать, шагать по глубоким сугробам, задыхаясь от трудного шага, захлебываясь сырым воздухом, взмокая до нитки, до белых грядок соли на одежде, до сухой ломоты в горле.

Охотники все еще возились со своим снаряжением, а он нетерпеливо ждал их, выйдя на волю и не в меру волнуясь. К зданию конторы подошла «летучка» —крытый «ЗИЛ-130», приспособленный под слесарную мастерскую. Задняя дверца распахнулась, и на снег прыгнул невысокий — Сергей принял его сначала за подростка — человек, ловко отбросил лесенку, и по ступенькам из машины спустились еще трое. Все были одеты в одинаковые куртки и унты. Держались они спокойно, без суеты, и было понятно — они тут не впервой и хорошо знают все, что предстоит делать. Из дома один за другим выходили охотники, серьезные перед предстоящей охотой и внутренне собранные. Так бывает в первые минуты после сборов с каждым любителем. Он как бы впервые вдруг осознает важность необычного дела, всю его сложность и становится на какое-то время полон необыкновенного достоинства.

Но Алексеев вдруг засуетился, стремглаз бросился к конторе, о чем-то на ходу перекинулся с приехавшими. Просеменил в дом и тут же вернулся на рысях, сообщив, что их объединяют с еще одной командой, только что приехавшей. Никто на это сообщение вроде бы и не отреагировал, и только Лиходеев понимающе хмыкнул.

— Значит, можно добывать двух зверей? —спросил Эдуард Алексеевич, и было видно, что это его отнюдь не радует.

— Будет сказано,— коротко ответил Алексеев и распорядился: — Товарищи, все в машину! — Махнул рукой на «летучку».

За руку каждый поздоровался с приездными, их было пятеро с шофером. Сергей не запомнил ни одного из них, кроме того маленького, выпрыгнувшего первым из «летучки». Крохотный этот человечек поразил его взглядом маленьких, суженных острым прищуром глаз. Взгляд этот был как выстрел навскидку, причем точно нацеленный под сердце, что ли.

Шумно занимали места в «летучке». Вся серьезность и внутренняя собранность как-то разом слетели с людей, и каждый вдруг дал волю эмоциям. Болтали попусту, смеялись, усаживаясь на лавках, пристраивались на верстаке.

Машина не сразу тронулась, и потому успели уже пойти в ход анекдоты и случаи из охоты. Особенно преуспевал в рассказах тот маленький, звали его очень странно: Тон Тонич.

— Он итальянец,— наклонившись к уху Сергея, прошептал Эдуард.— Сын эмигрантов-кимовцев. Ну лихой! Ему семьдесят два, а погляди какой!

Сергей, почти не слушая и не принимая участия в трепе, исподтишка разглядывал Тон Тонича. На очень широких при крохотном росте плечах сидела крупная голова, шеи почти не было, и оттого Тон Тонич казался еще меньше. Лицо его, жесткое, костистое, было гладко выбрито и по скулам отливало синевой. Крупный, крючковатый нос нависал над тонкими презрительными губами и яичкообразной черных, без единой сединки усов. Глаза его, пронзительные и тоже черные, прятались в остром прищуре век, отчего брови были всегда чуть сведены и хмурились. Тон Тонич снял лохматую шапку, и Сергей подивился курчавой его шевелюре, чуть оттиснутой к затылку крупными залысинами. Была она густой, с реденьким пеплом седины у висков. Говорил Тон Тонич быстро, с мягким, совсем не итальянским акцентом, словно бы нарочно коверкая речь. «А чего я так вперился в него? — думал Сергей, и от этого пристального внимания к незнакомому человеку становилось ему не по себе.— На кой черт нужен он мне? Что я нашел в нем?» — спрашивал себя и все-таки разглядывал, изучал Тон Тонича и даже чувствовал уже в себе потребность как-то заинтересовать его собой, познаться поближе и в то же время противился этому желанию.

— Выходит, знаете, на меня кабан,— рассказывал Тон Тонич.— Пожалуйста, стреляйте. Я, знаете, беру его на мушку очень даже точно и делаю выстрел: пих-х-х! Что такое? Выстрела нет, а есть только пих-х-х. И я уже, знаете, слышу, как по стволу катится дробь и падает мне под ноги, знаете, в снег. Я делаю еще выстрел. И опять: пих-х-х. И опять катится, знаете, под ноги в снег дробь. Господи, когда я вчера заряжал патроны, знаете, пришла Маруся. Она мне ручку на колено, я ей ручку на колено, а сам заряжаю патроны. И так разволновался, знаете, что забыл засыпать порох.

— А запыхивали, Тон Тонич? — спрашивает весь расплывшийся в улыбке Григорий; сидит он рядом с итальянцем на верстаке и уже с ним запанибрата.

— Запыхивал...

Все смеются, а Тон Тонич сладенько, похотливо хихикает, потирая рукою громадный нос. Машина трогается, и сразу же обрываются разговоры и смех. Сергей знает, что так будет недолго, пока не обвыкнут люди в движении, а обвыкнут они быстро. Потому что едут на охоту, потому что у всех прекрасное настроение и впереди может быть целый день, а может быть даже и два тишины, далеких, словно бы во сне криков загонщиков, лая собак, напряженного волнения и, наконец, беспечного отдыха в чадной сырости охотничьего домика с запахом жареной печенки, спирта и табачного дыма.

«Вера тоже собиралась на охоту»,— думает Сергей, прикрывая глаза и стараясь представить себе вот тут Веру, среди этих вооруженных мужчин, в их хохоте и крепких словечках. Нет, вероятно, Вере не нашлось бы тут места. Конечно, ее бы посадили в кабину, где едет сейчас Алексеев, а может быть, они вместе бы ехали в «газике» с директором охотничьего хозяйства Глуховым— он сопровождает их до егерского участка. Вере очень хотелось поглядеть охоту на лося. Всю жизнь в тайге, а охоты не видела.

Когда они собирались вместе на эту охоту, было все так определено в их жизни, было счастливо и они смотрели на поездку как на отдых. И вот все сразу поломалось, и они не вместе, а сил нет у него, чтобы быть раздельно, и нет впереди ничего, только одна боль и невыполнимое желание увидеть ее. «А почему невыполнимое? — спрашивает себя Сергей и не может ответить.— Но почему же?! Почему?! А может быть, все можно поправить?» И все будет уже не так! Все будет так, как должно быть! И неужели во всей твоей жизни самый главный тот день, после снегопада? Неужели главный в жизни день — день твоей настоящей любви? Можно ведь и без него... Можно. И все чаще и чаще обходятся люди в

своей жизни без любви. Но стало ли оттого лучше людям? Стало ли светлее в мире? И главное ли она в жизни? Конечно, не главное...

Машина остановилась. Кто-то тут же со стуком отбросил лесенку под дверь, и дверь будто бы сама по себе распахнулась, открылся белый квадрат воли. Белизна была настолько яркой, настолько неожиданной, как вспышка в полной темноте, что Сергей зажмурился, а когда открыл глаза — в белый проем уже набились фигуры охотников.

— Разомнемся, Сереж,— сказал Григорий.

Вышли из машины. Маленькая деревушка по окнам была завалена сугробами. Снег засыпал улицу, и даже к колодцу не было проторенной стежки.

Глухов, директор охотхозяйства, широкоплечий, тяжелый коротышка с большой головой, на которой копной сидела мохнатая шапка, вышел из подъехавшего «газика», и к нему тут же заспешили Тон Тоныч и Алексеев. Лицо Глухова, одутловатое, губастое, было из тех, которые запоминаются сразу и помнятся долго. Сергей как-то разом разглядел это лицо с выражением простоватой строгости, и оно понравилось ему. Понравился Глухов, чуть вроде бы стеснительный и как будто растерянный, но в то же время и настойчивый во взгляде.

Егеря дома не оказалось, был он, как сказала хозяйка, женщина дородная и независимая, «у братана на крестинах» в соседнем селе. Вчера был, а где нынче — не знает, может, пошел угождать оглядывать, а может быть, следит зверя, снегопад-то вон какой прошел, все позапорошило, позабило. Собрались ехать в соседнее село, но егерь объявился сам. Был он пьян, но еще пуще сдерживал себя и виду не показывал, только лишь был не в меру корректен и вежлив и на ногах держался ровно.

Глухов, не заметив его состояния, тихим, но твердым голосом объяснил:

— Значит, так, Витальч (вот уж совсем не егерское отчество), тут вот команда на лося. Проведешь на место, поставишь, организуешь, все как положено.

— Пжалуста,— отвечал Витальч и вытягивался из воротника легонького солдатского бушлатика.— В наилучем, Андрей Петрович, пжалуста...

— Выйдут кабаны на загоне — можно бить кабанов. По ним у тебя невыполнение.

— Точно так.— Витальч нерасчетливо далеко вытянул шею и чуть качнулся.

Но Глухов опять не заметил этого, предупредил:

— Чтобы все по порядку было.

— Пжалуста... При всей душе,— сказал егерь.

— Сам я, к сожалению, с вами пойти не смогу,— обращаясь уже как бы ко всем, сказал Глухов, глядя то на Тон Тоныча, то на Алексеева и просто на лица всех сразу.— Пообещал другой команде, раньше еще.

— А может, подождут они-то, Андрей Петрович? — обнимая Глухова и заглядывая ему в лицо, попросил Тон Тоныч. При малом росте директора охотхозяйства Тон Тоныч казался не таким уж и маленьким. Они двое были как-то друг к другу.

— Нет, Тоныч, обещано.

— Ну так вечером забегайте. Глядишь, мы с мясом будем.

— Не загадывай, не загадывай...

— Тоныч, плюньте через плечо,— вежливо вставил и свое в разговор Витальч...— Пжалуста...

Тон Тоныч и впрямь плюнул, а кто-то засмеялся в угоду уже егерю, потому что по отезде Глухова он останется за главного вершителя всей охоты, и кто-то поддержал этот смешок, а Лиходеев фамильярно, но вместе с тем и с уважением потрогал егеря за плечо.

— Нынче его и не угадаешь... Снегу-то вон как навалило,— распаясь и в то же время пробуя себя в твердости речи, сказал Витальч.— Он ведь в отстой

щас в самых сиверах встал. Угадай поди... И вход и выход завалило. Вот лазай с острова на остров.

— А на что ты, егерь? Вот и лазай,— сказал Глухов.— Ну, до встречи! Охоты вам! — И пошел к «газику».

— Вечером заезжайте,— попросил Тон Тоныч, и Алексеев добавил:

— Ждем, Андрей Петрович.

«Газик» уехал, а Витальч, раскованно инкув, поглядел вслед ему и улыбнулся тайной улыбкой.

— А ежели он в сиверах стоит, как ты его угадаешь? А?

Спросил он почему-то только у Сергея, и это сугубо сибирское словечко «сивера» отозвалось сладкой болью в сердце, и пьяный егерь вдруг стал симпатичен и даже по-странному близок.

— Угадать трудно,— согласился Сергей, и все посмотрели на него так, словно ждали другого ответа.

Григорий легко подкатился к егерю, облапил по-свойски, затормошил:

— Не угадаешь... Это кто же не угадает? Витальч? Не верю! Совсем не верю!

Скуластое сухое лицо егеря с резко обозначенными провалами щек, с глубокими глазницами и большим, нездорово источающим пот желтым лбом было строго и значительно.

— Вот что, робята, мяса вам не обещаю, потому что сами видите — снег и ростепель. Сохатому щас делать нечего как быть на отстое в сиверах.

Он снова повторил это слово, назвав еще по-сибирски лося сохатым, и Сергей ухватился сердцем за эти слова, и почему-то посветлело от них на душе и увиделось памятью многое, и лицо это, такое чалдонское, напомнило о многом, и на миг снова, как прежде, стал радостно доступен мир. «Все будет хорошо, все будет хорошо,— пронеслось в мозгу Сергея.— Только не надо спешить, не надо спешить... Все будет хорошо».

А егерь, снова обращаясь только к Сергею, строго выговаривал:

— Чтобы у меня на добыче порядок, пжалуста, был. И никаких там игрушек и прочих безобразиев...

— Да нет, что вы, Витальч!

— Поди не первый раз...

— Порядки знаем...

Зашумели все, и егерь, довольный таким эффектом, полез в кабину.

— Пока меня баба не словила, поехали.

Но дородная его хозяйка уже спешила от дома, проминая в рыхлом снегу широкую стезжку:

— Витальч! А Витальч! Стой-ка! — кричала она и помахивала рукой, будто хотела зацепить за ворот супруга.

— Чего тебе? — Витальч уже сидел в кабине и снова приобрел сдержанно-корректный вид.

— Погодь минуту!

— Некогда — работа.

— Вижу! Вижу! Ты погодь Миньку-то.

— А... Это можно,— дыша в сторону, согласился Витальч и приосанился.

— Пелагея Павловна, как здоровьечко? — Тон Тоныч выглянул из дверей фургончика, заулыбался хозяйке, отвлекая ее на себя, поскольку та внимательнее, чем это требовалось, разглядывала супруга: не пьян ли?

— А, Тон Тоныч, вам тоже здрасте! С мясом возвращайтесь.

В машину уже заскакивал такой же по-сибирски скуластый и чуть раскисый Минька, сын Витальча.

«Летучка» тронулась, и разом замолкли охотники, ловчее устраниваясь на своих местах, поудобней принаравливая ружья. «ЗИЛ» попер по целине, угадывая заметенную колею, к ближнему лесу, к просеке, что вела на Егорьевское урочище, там Витальч решил следить зверя.

6. Ему не пришлось оспаривать свое право на нее у таких же сильных и красивых, как сам он, не пришлось вступать в бои, сшибаясь в смертельной схватке ветвистыми и могучими рогами. Ни его, ни чужая кровь не пролилась на траву, не брызнула из распоротой вены в березовое белостволье, ни он и ни кто-то другой, побежденный, не бежал прочь и не падал ниц с тяжелым храпом. Он нашел ее на пятые сутки своей непоборимой тоски, когда вдруг сочные стебли горького ира, веточки молодых осин, мох, молодые побеги ветловников потеряли вкус.

Молодой, могучий и тяжелый, потому что он до того вкусно и много ел, гулял неторопливо в густых лесных островах, выходил он на елани утром, когда еще лежал на травах мягкий поволока тумана, чуть поднимаясь над ними и заталпливая рыхлой бражной пеной мелкие кустарнички и молодой лесной подгонок. Кругом была великая тишина, горьковато и солоно потягивало с болота за еланью, клейкой сладостью вяло из все еще зеленого березового леса, но в бодрые запахи отживающего лета нет-нет да и вплетались запахи увядания и душноватый запах грибницы — верный признак надвигающейся осени. Он стоял так над еланью долго, чуть подрагивая лоснящейся кожей, потому что туман, поднимаясь, ожигал его влажным холодком, и все глядел и глядел куда-то в запредель, ощущая тяжесть своего тела и налитую силу мускулов. Он видел, как в дальнем урочище широкой елани вдруг возникали фигурки людей и медленно плыли к ближнему чернолесью, погружаясь в белую глубину. Их голоса, чуть искаженные расстоянием, приходили к нему, но он не боялся их, поскольку люди эти, обремененные делом и пустыми корзинами, стремились вперед, мало обращая внимания на окружающее. Зачем стоял он так вот часами, было совсем неясно, да и не нужно было, а он все-таки день изо дня приходил к елани, устремлял большие глаза в запредель и ждал чего-то, ощущая силу и тяжесть своего нагулявшегося сытого тела.

И вдруг однажды утром в привычном его состоянии что-то изменилось. Он будто бы почувствовал рядом с собой желанное присутствие. Что-то оборвалось внутри, натянутое до того ожиданием, и он заволновался, закоптыл землю, легко побежал, но тут же вернулся назад, сделал несколько кругов близ своей стоянки, снова выбежал на елань и снова, волнуясь и сторожась чего-то, вернулся. То, чего сторожился он, было в нем самом.

Мир разом словно бы опустел, и Лось пока еще бесцельно заплутал по лесу, чутко вынюхивая воздух и не понимая, чего ищет. Из всех ощущений осталась тревожная пустота мира и тяжесть собственного тела. И он, желая лишиться этой тяжести, перестал есть и, всхрапывая, а потом и трубя, высоко поднимая тяжелую голову и вытягивая шею, изнурял себя в движении. Откинув далеко за спину ветвистые рога, он продирался непроходимой чащей, грудью разваливая лесную непролазнь.

И вот он увидел ее и сразу понял, чего искал. Она смиренно стояла в частолесье, прислушиваясь к треску и шуму, который производил он. Большие влажные глаза Лосихи были чуточку пугливыми — не от опасности, но ожидания. Лось услышал ее, глубоко вобрав в ноздри сентябрьский пахучий воздух, уже настоящий первой утренней стынью, а услышав, рванул вперед, ломая мелколесник, и замер. Теперь он видел ее. Видел чуть приподнятую в ожидании голову, глаза, устремленные на него, белую подпушь на груди, мягкие ложбинки, лоснящиеся чистой шерстью пахов, подобранный живот, словно она собиралась стремительно сорваться с места, и сильные ноги, напряженные, с обозначившимися выпуклостями мускулов.

Он чуть боднул голову, почувствовав тяжесть рогов, горло его издало звук густой и нежный, от которого у него самого и у Лосихи пробежала по телу морозцем дрожь. Он никогда не произносил ничего подобного и ничего подобного не слышал от других. Она тоже впервые услышала это и поняла, что только этого и ждала, томясь предчувствием еще ни разу не изведенного.

По-прежнему ощущая тяжесть нагуленного тела — голод и постоянное движение не сняли этого ощущения, — Лось медленно подошел к ней и ткнулся

мордой в белую опушь на ее груди, чуть тронув языком горячую ложбинку, где туго пульсировала ее кровь. Услышал запах ее пота и шерсти. Он напомнил ему зеленую луговину у густой падушки, откуда выходили они с матерью, и та, посторожась немного, легко бежала к озеру, пылающему солнечным огнем, и тот запах набивался ему в ноздри, усиливался и вдруг разом обволакивал, когда они с разбегу кидались в воду.

Лосиха ответила на его нежность, легонечко ударив его мягкой губою, а Лось, приняв это за ласку и разрешение быть рядом, потрогал ее бок, коснувшись едва-едва рогом, и снова уткнулся мордой туда, где в мягкой опуши меха, как в опуши мха, танлись ее сосцы. И услышал сладкий, кружащий голову, ни с чем не сравнимый запах, и содрогнулся, теряя под собой опору. Кости его словно бы потеряли твердость, стали мягкими, гибкими, и он, качнувшись, готов был рухнуть на землю, но сила самца, продолжателя рода, заставила его выстоять, поборов немощную оморочь исходящего от нее запаха.

Он тяжело обошел ее и ткнулся губами в губы, и она лизнула его, тронув языком его ноздри, и запах так любимого им ира, горького и чуточку острого, как иголки первых морозцев, легших на мхи, передался ему, и он начал лизать ее морду, ноздри, щеки, большие глаза, которые она прикрывала, все ниже и ниже опуская голову, ее уши, темечко, лоб с крохотной белой меточкой.

Ее стеснял день и солнце, редкие крики воронья на сухих вершинах где-то близ людского становья, тоненькая звень синицы. Смущал и стеснял ее и многозрячий подгляд леса. Чураясь этого, Лосиха медленно пошла вдоль поляны, и Лось последовал за ней, понимая, что не его чурается она, а, наоборот, зовет куда-то в тайну, где нет ни подслуха, ни подгляда.

Она увела его в самый глухой и дальний чапыжник, минуя чащи и топкие болота, и они еще долго кружили по гиблой глухомани, пока не вышли на широкую луговину. Лось только теперь заметил, что листва с деревьев уже почти облетела и что их странствия заняли не один день и не одну ночь и ласки, не зная отдыха, длятся уже долго, и за все это время он не прикоснулся к пище, желая единственного — стремительной легкости своего тела.

В глухом чапыжнике, на скрытой от чужих подглядывов и подслухов поляне он вдруг обрел в себе легкость, высоко взметнув передние ноги и чуть даже пройдя на задних, словно бы паря в воздухе. Эта обретенная легкость и сила настоящего самца снова вздыбили его, и он затрубил свободно и легко чистым и боевым звуком. Она посторонилась и упрекнула за неосмотрительность. Был день, и даже в этой глухомани ее смущал свет, деревья, ветер, кативший по земле пестрые комья листьев. Она хотела любви, но хотела и тайны.

Лоси чутко хранят миг близости, и ничто и никто из живого не может похвастаться тем, что был свидетелем этого мига.

Храня великую тайну двоих, она приняла его глухой непроглядной ночью. И никто не видел их в тот миг, только земля да слепые в ночи деревья слышали их голоса, их дыхание, страсть и вечность. Но земля умеет хранить тайны, а язык деревьев понятен только далеким звездам, которых не было в той ночи.

Она родила сына. Была ранняя весна, и снег на солнцепеках сошел уже в марте. А в апреле даже в глухих удолях обнажилась земля, и тяжелая, чуть горьковатая вода незамутненно бежала в долины, весело гугоня и шепелявя. Всю зиму ее Лось был рядом с ней, заботясь о ней и защищая от случайного. В самом начале большого водополя, почувствовав, как теплая растущая тяжесть плода переместилась и потянула ее — от этой тяжести она чуть осела на задние ноги, — Лосиха скрытно ушла от Лося, путая след, перебредая многие километры по брюхо в воде. Роды пришли на шагу. И она принесла в мучениях, стеланиях и болях красненького с желтоватыми полосами по бокам теленка. Он лежал на только что освободившейся от зимнего бремени земле, и стрелочки гусиного лука, уже выбросившие тоненькие соцветия, щекотали его кожу; трава росла и тянулась к небу, и он тянулся мордочкой к вымени своей матери, а та лизала его, погуркивая, передавая ему первую, но самую главную премудрость жизни. Он был понятлив и сразу же научился крепко лежать на месте, где укладывала

его мать. Она прятала его так потаенно и умело, что и сама порою словно бы теряла то место и, возвращаясь, громко кричала. Тогда он стремительно выбежал из потайки и бежал к ней, тонконогий, большеглазый и радостный. Он был красив, очень красив, какими бывают новорожденные телята.

Отец нашел их. Он обнюхал телянка, чуть дыбя шерсть на холке, и, найдя в нем тот сладковато-дурманящий запах ее вымени, принял сына. Втроем, иногда примыкая к таким же дружным, как и они, семьям, бродили до осени. А в сентябре, оставив сына с молодой, отец и мать вдруг исчезли. Теперь сын нашел их, и они приняли его. Был ноябрь, и первый, пока еще мягкий и теплый снег нет-нет да прикрывал землю. И опять шли они вместе знакомыми лесами, падушками, буераками и чащобами, ощущая радость и полноту жизни в свободе и воле.

Сын — первое, что они отдали миру, — был строен и красив.

К декабрю, сменив прежние леса, они поселились в новых урочищах, где всегда был корм, а в одном лесном острове даже обильные солонцы и добрые копешки крапивы.

Туда они и направились, предчувствуя январский снегопад, который и начался сразу же с приходом нового года.

Снег сначала перепал редкий, часто переставая и как бы давая миру насытиться белизной. Потом зарядил и шел днем и ночью. А тот обильный, непроглядный, словно бы лавина обрушилась, повалил днем и падал вплоть до утра. Лося встали на отстой в Солонцовом острове.

7. Егорьевское урочище — большой массив леса, разрезанный поперек взгорьем, густо заросшим березняком. По обеим покатым лесá глуше, чем по вершине. Черный ельник по сиверам вдруг замешивается густо мелколесным подгоном, орешником, а ниже уже грудно стоят мокрые леса, осинники, чахленькие березы, низкорослые крупины, а там и ветловники густо забили самую подошву покати, и еще ниже, у стылой речушки Теребеновки, и совсем не пробиться не то что летом, а зимой тоже. По другую сторону водораздела, обращенного к югу, деревья и вовсе помешались густо: тут и ель, и осина, и береза, и клены, и даже вязы растут все вместе и к речушке Пазухе сбегает густо, вытесняя ветловники к самым берегам. В далекие теперь уже времена ложились по южной покати в берлоги медведи, снегу тут опадало не в пример больше, чем по сиверу, но быстрее и сгоняло его жаркое солнце.

Водораздел с исстари еще звали Поповыми портками — две речки как две штанины. Поповы портки — центр Егорьевского урочища. А вокруг, разорванные луговыми покосами да пашнями, залегли лесные острова с болотцами, узкими еланями да озерами, густо заросшими по берегам осокой, камышом, а по зеркалу кувшинками, лосиной травой — иром.

Зимой озера промерзают почти до дна, прячутся под снегом так, что и не определишь, где они, а Пазуха и Теребеновка те и зимой не стынут на быстринках, посасывая из озер родниковую воду.

«ЗИЛ», нещадно надрываясь и ворча, пропахал глубокий след, петляя по невидимой под снегом колее, и остановился. Охотники вышли на волю несуетливо, молча и чинно. Витальч, открыв дверцу, стоял, улыбался и, прижав палец к губам, шипел:

— Тс-с-с-с!

Его слушались и старались не производить шума, говорили друг с другом редко и шепотом.

Широкий луг, куда выехала машина, тянулся далеко, до чахлого мелколесья в сухих будылинах, где угадывалось под снегом болото. Справа от машины луг перепал в ложбину, и та скатывалась к Теребеновке, над которой сразу вознесся в небо густой, опущенный тяжелой кухтой лес. Верховина этого леса скрывалась в мягком тумане низкого неба. По левую руку от машины лежало уже старое разнолесье, освещенное белыми стволами берез.

— Значит, пжалуста, ждите, — сказал Витальч. — Мы пошли в обход.

У ног егеря вилась крохотная, с лохматой мордочкой собака, помесь фокса

с дворняжкой. Когда он прихватил ее в машину, никто не заметил. Собачонка суежилась, то и дело взглядывая на хозяина, высоко закидывая мордашу, будто старалась откинуть с глаз густую шевелюру рыжих волос.

— Значит, ждите,— еще раз сказал Витальич.— Мы пошли.

И тронулся по лугу к болотине, за ним побежала собачонка и пошел Алексеев.

По его уходе минут десять охотники хранили молчание, топтались у машины, курили, но по мере того, как шло время, разговорились в полный голос, более не сторожась. К тому же, завывая и тарахтя пустым кузовом, по следу вернулся алексеевский «газик». И шум его как бы снял скованность тишины. Тут же посыпались анекдоты, историйки, случаи, а за ними и хохот, и соленое словцо, и откровенный гогот. В беспечной болтовне прошло не меньше часа.

— Ну наконец-то! Идут,— сказал кто-то.

С противоположной той стороне, куда ушли, возвращались Витальич и Алексеев. Оба взмокшие от пота, с красными лицами. У Алексеева от усталости белые пятна на лбу и под ушами, на скулах.

Витальич упарился изрядно, раскинул полы бушлата, подвинул его чуть за плечи, сцепив на поясице руки. Редкие рыженькие волосы слиплись, сваялись в тоненькие прядки, оголив розовый череп. Он был уже совершенно трезв, но с трезвостью во весь его облик словно бы вошла лень. Вид у Витальича такой, что и глядеть-то ему на мир не хочется, а не то чтобы заниматься совсем уж пустым и бесплодным делом — охотой.

— Ни следочка нигде! Все урочище промахали.— безнадежно говорит он и, отирая лицо шапкой, присаживается на корточки подле «ЗИЛа». — Пустая забава.

Лиходеев тянет Витальичу пачку сигарет «винстон» услужливо, с уважением. Но егерь отводит руку с красивой красной пачкой и сам тянется к Тон Тоничу:

— Тонич, ковырни-ка хлебную.

Тон Тонич угощает Витальича «Беломором», и все вдруг разом понимают, что первое и основное лицо в охоте после егеря — итальянец.

— Плохо, говорю, дела... Ни следочка! — задыхаясь дымом, сквозь кашель выкрикивает Витальич.

— Бывало хуже,— говорит Тон Тонич.— А ну-ка проверим в Заболотном острову.

— Думаешь, в отстое?

— А то.

— Есть сомнение. Чего им в Заболотном-то стоять?

— А чего им не стоять?

Все с почтением и молча слушают разговор, не смея встрять в него. Каждый понимает: решается судьба охоты. Сергей глядит на Алексеева. Тот изменился, из уверенного, чуть даже надменного, знающего себе цену человека превратился в просителя с остреньким потным личиком, которое сейчас заливает бледность, аккуратный пробор его, который был начальственно светел на инструкторе, теперь заискивающе беспомощен, он словно бы и существует для того, чтобы быть на склоненной голове. Алексеев, не веря еще, что непреклонный Витальич, заявивший ему определенно четверть часа назад: «Охоты не будет», все-таки склонился на переговоры. И теперь всему голова только Тон Тонич. Пусть так, пусть Тон Тонич! — говорят согласные глаза Алексеева, устремленные на собеседников. И Лиходеев другой. Он весь внимание, в любой миг поддакнет Тон Тоничу, улыбнется Витальичу. Эдуард искренне расстроен, хотя, это хорошо знает Сергей, для Эда уже состоялась охота. Он любит процесс подготовки, поездку, любит все это долгое ожидание, топтание на снегу, любит лес, а на номере для Эдуарда Алексеевича главное, чтобы на него не вышел зверь. Самые счастливые охоты для Эдуарда те, которые без добычи.

Сергей ловит себя на мысли, что уж очень дотошно разглядывает своих спутников. И вдруг понимает, что и сам не в меру заинтересован разговором

Тон Тонича и егеря, что и сам готов покорно вынести любое, лишь бы егеря разрешил охоту.

— Нет, все-таки попусту трепаться по лесу нечего, — решает Витальич и, далеко отстрельнув щелчком окуроч, продолжает сидеть на корточках.

— Да ведь в лесу уже, — говорит Тон Тонич. — Я вон на целый день «летучку» с маршрутов снял. Опять же ребята с самой Москвы ехали...

— Кто с Москвы? — Витальич поднимает глаза и обводит ими окружающих, ни на ком не останавливая внимания. Глаза у егеря голубые, веки болезненно-красные, а ресницы белые, как плохо опаленная кабанья щетинка.

— Да ведь и с Андреем Петровичем согласовано, сам он тебя и нарядил, — бесстрастно, но с чувством уважения к егерю, не делая пауз, вяжет свое Тон Тонич.

— Андрей Петрович глянул бы, что в лесу-то детсяя, сам бы охоту снял...

— Это ты напрасно, Витальич. У какого другого егеря, может быть, и снял, но не у тебя, — говорит Тон Тонич и тут же, прижав руку к сердцу, предупреждает: — Не сочти за лесть. Я-то тебя знаю. И ребята знают!

Охотники вразнобой, но все-таки согласно подтверждают, что, дескать, очень хорошо знают способности Витальича.

— Ты говоришь, попробовать в Заболотном.

— А то!

— Ну, видно, судьба. — Витальич резко встает, выпрямляет затекшую спину, выгибает колесом грудь. — Ладно, знайте мою доброту. Разберитесь по номерам. В темечко. Вот и Муха пришел.

Из лесу, переваливаясь из следа в след, тащится лохматая собачонка Витальича. Пес мокр не меньше хозяина, и длинная шерсть, так же как реденькие волосы Витальича, свалилась в прядки, оголив бледную кожу.

— Вишь, и Муха ничего не учуял, — словно бы опять решаясь не начинать охоты, говорит Витальич. — Муха, он не гляди-тко что малый, он охотник.

— Витальич, я, стал быть, замыкаю. Так? — спрашивает Тон Тонич.

— Так. Встанешь на первый номер сразу за падушкой. Кто номера со мной поведет? Ты, что ли, старшой? — обращается к Алексееву егеря так, словно и не проходил с ним по обходу без малого целый час.

— Я... — Алексеев спешит к Витальичу.

— Давай ко мне в темечко. И замрите! — Это уже ко всем. — Тихо чтобы идтить. Ни разговоров, ни курева. Сохатый, он вон в Заболотном острову на отстое стоит. Матка с дитем, сам да еще двое трехлеток с чужой семьи, — определенно говорит егеря, забыв уже про то, что сам только что гадал, обложить Заболотный остров или нет. Весь он уже действие, и нет в помине великой лени, великого безразличия ко всему окружающему.

— Пошли.

Выстроившись в затылок друг другу, по выражению Витальича — «в темечко», длинная колонна охотников медленно потекла в лес, оставляя за собой верткую, словно бы живую змейку глубоких следов. Сергей шел последним, а значит, ему предстояло перед Алексеевым на дальнем фланге замкнуть цепочку номеров, впереди шел Эдуард, а где-то в середине Григорий.

Каждый раз, когда Витальич ставил очередной номер, колонна замирала и потом снова начинала свое движение, приветствуя оставленного поднятием руки. А тот, отвечая на приветствие, уже обживал свой номер, тихонечко отаптываясь за деревом ли, за кустом ли — как кому было удобнее.

Заболотный лесной остров взяли в широкое полукольцо, для загона места оказалось много, загонщиков мало — сам Витальич, Минька, два шофера, Тон Тонич, который вдруг уступил свой номер Лиходееву, да собака. Прикинув широту захвата, Сергей решил про себя, что загон построен неграмотно и вряд ли выйдут, если они даже есть в острове, на стрелков лоси. Но все равно номером своим он остался доволен. Стоял Сергей на невысоком лесном взлобочке, разбивающем на два рукава неширокую падь. Лес позади был крупный, чистый и редкий, так что в секторе можно было стрелять и вслед зверю. По фронту место было куда как удобно для стрельбы, метрах в пятидесяти по всему сектору был

довольно густой, но легкопроходимый частяк, неглубокая падь перед ним, заросшая крупной березой и представляющая собой что-то вроде малой лесной поляны, скорее всего летом тут небольшой бочаг, и сразу перед номером, где падь разбивается о взлобочек на два рукава, снова сколочек частяка, скрывающий Сергея.

Внимательно приглядевшись, Сергей заметил, что сугробы кое-где осели неровно, определив едва заметную впадинку — глаз то ухватывал ее на снегу, то терял. Эта впадинка была не чем иным, как запорошенным лосиным следом, а по тому, как она обозначала себя, это был не просто след, но зимняя торная тропа. Не исключена возможность, что ей и воспользуются лоси, уходя от загонщиков. Занятый кропотливым досмотром своего сектора, а Сергей любил это делать с глубоким вниманием, чтобы каждая веточка, каждый пенек и дерево отпечатались в мозгу и чтобы потом, в минуту наивысшего напряжения, ничто не могло отвлечь внимание, ничто не привело к ошибке, к пустому выстрелу, он не заметил, как прошел целый час, а взглянув на циферблат и установив это, весь превратился в слух. Пора бы услышать и загон. Но лес молчал, глубокая влажная тишина тяжело лежала над лесом. Она словно бы давила, эта тишина, и Сергей почувствовал даже, как немеют под ее тяжестью плечи. Он расслабился, стараясь больше не прислушиваться, и от этого телу стало сразу же легче, но главное — ожидание, чуткое внимание как бы уступили место мыслям, далеким от охоты. Он снова возвращался в себя.

Впервые за долгие месяцы Сергей задал себе вопрос впрямую, без обиняков: «Что же происходит со мной?» Что происходит с ним, с человеком, привыкшим ко всем неудобствам жизни, знавшим с детства нищету, голод, пережившим несытую юность? Да и потом, так уж сложилось, жизнь не пестовала его, и он привык к ней, кочевой, полной опасностей и лишений.

В сорок лет Сергей получил в руководство партию. И с тех пор жил только ее интересами. У него был самый здоровый, самый веселый и действенный коллектив. Геологи стремились попасть к нему, от рабочих, причем хороших полевых рабочих, не было отбоя. Знали: у Полякова в партии всегда порядок, всегда работа и самое главное — дружба.

Обо всем этом подумал Сергей, задав себе вопрос, что же с ним происходит. Что еще не хватает в жизни? У тебя есть работа, хорошая, любимая работа, есть дом, семья, есть положение. А Вера? Она тоже есть у тебя?! А что же с Верой? Что происходит с тобой, Сергей? Вот что: любишь Веру! Ты знал голод, холод, нищету, ты знал тяжелую работу, ты знал, как умирают люди, и сам не раз умирал, до последнего борясь за свою жизнь, и выживал. Ты не знал только любви. Ты беспомощен перед нею!..

Впервые Сергей отчетливо осознал это. Так сложилось, что любовь в его жизни была вечной изгнанницей. Да и не только в его.

Гришка, лихой ухажер, любитель построить из себя бывалого, принесший свою чистоту и благоговение женщине старше его на семь лет. Она работала в школе — большеглазая, с бледным личиком в густых каштановых кудрях, была робкой и тихой. И Гришка влюбился в нее. Нет, не так, как бывает у мальчишек в семнадцать — восемнадцать лет. По-настоящему. И — это самое главное — она, Анна Филипповна, учитель литературы и русского языка, тоже полюбила Гришку. Он тогда работал уже, после десятилетки, готовился в институт. Их любовь продолжалась три года и была растоптана, заплевана общественным мнением, обсуждениями, беседами. О ней кричали сударушки на улицах их станционного поселка, ее обсуждали на партийных комитетах, наконец, мать Григория, женщина волевая, руководившая в свое время женсоветами и родившая Григория от мальчишки восемнадцати лет, когда ей самой было двадцать четыре, требовала расправы над Анной Филипповной. Анну Филипповну уволили, и Гришка еще два года мотался за двести километров в маленькую сельскую школу, где она вела первые и четвертые классы. Но и там ее достали «блудители нравственности». И там топтали и воспитывали любовь. Григорий кончал уже геологический и был далеко не юнцом, но и в институте разбирали заявление обще-

ственности и его мамы, которая не могла «вынести всей грязи, в которую окунула подлая развратница ее мальчика».

Любовь умерла. Анну Филипповну вынудили отказаться от любви. Рана у Григория осталась на всю жизнь. Сергей точно знает: живет он без любви. Чинно, мирно живет — семьей. Но любовь его там, в прошлом. И Гришка поэтому глубоко несчастный человек. Может быть, и пьет лишнее из-за этого. Когда невмоготу. Разве виноват он в этом, и его уютная говоруха жена разве виновата?

Женившись, Сергей честно и самозабвенно нес свой крест. Давно забылись его «загулы», когда он уходил из дома духовно обобранный, обиженный пренебрежением к себе, была у него уже взрослая, обстоятельная дочь, обеспеченность, все как у людей и на людях все идеально. А он тянул от поля до поля, чувствуя, что живет дома, в семье, совсем не так, как хотел бы.

И вдруг сделал однажды открытие: жена Лена, которую он всегда считал слабой, раздражительной, больной женщиной, мнительной и совсем не приспособленной к жизни (без него она погибнет), оказалась совсем не такой. Она всю жизнь делала только то, чего хотела сама, на все она имела свое мнение, свое толкование — и боже упаси иначе мыслящих, особенно в своем доме: ни Сергею, ни Иринке не было пощады. И Сергей, будучи человеком миролюбивым, боясь вечных скандалов, которые все равно возникали по любым поводам, во всем уступал Лене.

И дом их, семья, оказывается, построена так, как того хотела и понимала Лена. И он, не слабый, не тряпка, давным-давно живет, как того хочет жена, но только от поля до поля. В поле, в своей экспедиционной жизни, он был другим — прямым, не боящимся сказать правду любому, пойти на любой конфликт ради истины. Был одержим и в то же время справедлив, всегда с открытым сердцем к людям. А дома — совсем другой: готов молчать, делать так, как хочет жена, медленно, но верно поступаясь своими принципами. Он жил с надеждой, что все уладится. И все улаживалось. И все было чинно и определено в их семейной жизни. Все распорядочно и порядочно. И только жгучая тоска брала иногда в кольцо. Тоска о том, чего не было в его жизни. И что искал он, мотаясь по свету, искал тщетно и вот уже устал искать и понял, что того, чего искал, уже никогда не будет. Потому что всю свою жизнь искал он свою любовь, свой мир в другом человеке. Подменял любовь привычкой, чинной порядочностью отношений двух людей разного пола.

Он был верен Лене, и эта верность утвердила ее в полной собственности на него. У них был ребенок. И дочка тоже давала ей право на власть. Потому что над ним надо властвовать, иначе все будет не так, как ей хотелось...

Лес не обронил ни звука, ни шороха. По-прежнему не было слышно загонщиков, и Сергей уже будто бы и не слушал лес, он начинал понимать, что все, что происходит сейчас, это совсем не охота. Забава? Пожалуй, нет. Все это: и пьяный Витальч, и бывалый Тон Тонич, и симпатичный, как показалось, Глухов, и эта пропахшая отработанными газами, снятая с рейсов «летучка», и Алексеев, подчеркнута озабоченный выполнением всех правил охоты, — все они и всё, что сейчас начнет происходить в лесу, все не то, что бы должно быть. В этом есть какая-то глубоко скрытая неправда отношений, как и в его долгой жизни с Леной.

— У-га-га-га! У-у-у! Эх! Эх! Эх! — глухо неслось по лесу.

Наконец-то услышал Сергей голоса загонщиков. Они были еще далеко, но Сергей заставил себя собраться, привычно оглядел сектор стрельбы, закрыл глаза, воспроизведя в памяти все увиденное. И понял, что делает все это бессознательно, по привычке, уже не участвуя сердцем в охоте на лося, но все-таки внутренне собираясь и готовясь к ней.

8. Загон, как и ожидал Сергей, оказался пустым, к тому же загонщики разбрелись кто куда, и зверю, если бы он и был в острове, легко было уйти за линию загона.

Алексеев, пользуясь положением старшего, сам сошел с номера. Подошел к Сергею, глянул вокруг.

— Хорошо местечко. Уж если бы вышли, то только к нам. Жаль — пустой номер.

Где-то совсем рядом громко кричал Витальич, объясняя, что он все-таки «поднял зверя — трех: лося с двумя трехлетками; но они ушли левее за оклад, поскольку шофера-загонщики хреново гнали».

— Вроде бы шумок был правее от меня, — слушая громкий голос Витальича, сказал Алексеев.

— Я не слышал. Думаю, что не совсем хорошо обкладывали остров.

— Витальич знает, — не согласился Алексеев. И вдруг, хитренько прищурившись, совсем как Тон Тонич, шепотом, будто тайну доверил: — Если обложим егеря, то с мясом будем. Идемте, я вас снимаю с номера.

Они пошли на голоса по старому своему протопу. Витальич снял Эдуарда и сейчас поджидал Алексея, громко возмущаясь плохой работой загонщиков. Рядом согласно кивал Тон Тонич.

— Ну что, начальство, нету зверя! — сказал, разводя руками, егерь, обращаясь почему-то не к Алексею, а к Сергею.

— Будет, — уверенно, сам не ожидая этого, ответил Сергей и добавил: — С вами будет.

Витальич долгим внимательным взглядом посмотрел ему в лицо, и Сергей не отвел глаз, а даже нагло улыбку. Эта улыбка понравилась Витальичу, и он заговорщицки подмигнул.

— Почему знаешь? — спросил.

— По Сибири...

— Ой ли?

— Ну!

— Так ты чо, чалдон, чо ли?

— Ну!

— Вот язвы те комары. С каких мест?

— С многих, Витальич. я всю Сибирь прошел.

— Эвон! — улыбнулся Витальич. — А все же откуда?

— Геолог я, Витальич.

— Ну. Приходилось следить сохатого-то?

— А то!

— Ну ладно, парень, и тут, надо быть, чего-нито добудем.

Витальич шел рядом снежным целиком, выпихивая сапогами широкий след и заглядывая в лицо Сергею, улыбался, довольный, что встретил земляка. Он совсем вылез из бушлатика, закинув за спину длинную палку и заложив за нее руки. Потертая, старенькая, форменная, с дубовыми листиками кокарды шапочка была сбита на самую макушку, и поднятые наушники свободно болтались, придавая лицу несколько шутовской вид.

— С чего из Сибири-то уехали?

— Баба моя отсюда. Зазвала вот. Да вроде бы и ничего, обрядился и тут. Домок сладили, опять же работенка лесная. Я сюда и брата переволок. Он на другом участке тоже егерем. Дело знакомое. Ясно — Сибирь, сторона лесная, всему научит: и припрятать, и взять, и в запас положить. Сами знаете.

Сергей кивнул — дескать, знаю. Медленно выростала за ними цепочка охотников. Сходили с номеров молча, шли попарно следом за егерем, храня надежду на удачу.

У машин снова вывернулся Тон Тонич, и Сергей понял: отведенное для него время на частную беседу вышло.

— Что, Витальич, попробуем еще?

— Попытать, однако?

— Попытай.

— Я так думаю, надо двигать к Егоршину овражку.

— А может, в Солонцовый? — почти шепотом посоветовал Тон Тонич.

— Это еще зачем? — сурово свел брови Витальич. — Там пусто. Мне это известно.

— А вдруг, — настаивал Тон Тоныч, забирая Витальича под талию и уводя в сторону.

Витальич за Солонцовым островом следил особо, сторожил его от случайных людей, да и близких не допускает туда. Солонцовый у него всегда в запасе. Уж если нигде нет фарта в охоте, то тут осечки не будет. Это его «аварийная ферма». Для любого важного гостя или по выгодной договоренности выгонит зверя и на пулю наденет. А когда и для кого — это уж по обстановке. В этом все его егерское мастерство. Там он зверя подкармливает, разбрасывает солонцы. Там зверь доверчивый и много его. Стада...

— Давай к Егоршину. — Витальич сказал как отрезал.

— Ну как знаешь. Ты хозяин, — тут же согласился Тон Тоныч. — Давай, братва, по машинам.

На этот раз Витальич сел в «газик», там примостился и Тон Тоныч, что-то важное сообщив Алексееву. Алексеев после этого в «газик» не полез, а сел в кабину «ЗИЛа». Снова затряслись сначала по следу, потом опять снежной целиною.

— Будем с добычей, — подмигнул Григорий, сядясь рядом с Сергеем.

— Так она тебе нужна!

— А то. У меня женоха свежатинку любит...

— Знаешь, Гриш, — Сергей наклонился к самому уху друга, — мне кажется, что охота-то больше сейчас на Витальича идет, чем на лося.

Гришка рассмеялся.

— Такое впечатление, что зверь у него где-то привязан ручной.

— А что, есть же сейчас лосиные фермы. Там их доят...

— Вот бы туда! А! Нахлестался бы вволю, аж оглох бы...

— Зачем, там же животные, а не звери... Домашние.

Сергею вдруг вспомнилась эта ошалелость убийства, этот нахлест тупой, незрячей страсти — бить по живому. Каждый раз сталкиваясь с ней, он чувствовал, как что-то, единящее его с гибнущими животными, восстает в нем и стремится толкнуть на защиту, на, может быть, роковой шаг... Так было и тогда, когда забрели они в Якутии на оленью бойню. Они стояли за огородь и глядели на серый стремительный поток животных, превращавшийся в какой-то отчаянно устремленный водоворот движения. Стадо кружило по загону единым громадным живым целым. И в этом движении было столько красоты, столько силы и какой-то мускульной упругости, что нельзя было оторвать глаз. Они стояли и смотрели, не предполагая того, что должно было сейчас совершиться. И вдруг словно сами по себе распахнулись слеговые ворота и животные устремились в них, готовые дать волю своей силе, инерции, которую набрали в круговом движении по загону. Это было похоже на то, как распрямляется до предела отжатая пружина. Стадо хлынуло из крохотного загончика в широкий огород и словно бы разом вздохнуло, ощущая перед собой свободу. И в этот момент навстречу выбежали люди. И Сергей видел, как первые животные, словно бы дрессированные, словно бы на манеже, встали перед ними на колени, а те, что бежали за ними, сделав несколько прыжков, тоже падали. В тот момент разглядел Сергей, что люди вооружены тяжелыми дубинками и с маху, сплеча заученно точно бьют по черепам животных. Все это творилось молча, в загнанном храпе, в стуке копыт, с одним лишь нутряным выдохом «хак!». Все было кончено в какие-то четверть часа. Не было больше красивого живого целого, не было стада, не было захватывающего движения, а только серые бездыханные туши, кровь и ее душновато-сладкий запах с резким запахом уходящей из тела жизни. И после этой ошалелости вдруг голос: «Леха, запускай этих...».

«Запускай!» Сергей слышал этот голос, перед тем как распахнуться воротам. И он, повинувшись не голосу, а чувству единения с теми убитыми, вдруг легко поднырнул под слегу и пошел на Леху, глядя ему в глаза. Сергей шел на Леху, желая единственного — чтобы тот посмел, чтобы тот смог поднять на него руку. Леха попятился: «Ты чо, парень? А то и грохну, понял?...» Крылья его носа

вздулись, вдыхая запах крови, запах убийства, витающий в воздухе, и Сергей понял, что Леха может грохнуть, но не испугался этого, а, наоборот, кинул свое тело на бойщика, уже ощущая, как опустится с гыком дубинка на его череп.

Почему же и тогда, желая своей смертью наказать ненаказуемого, шел он на смерть, не веря, что может быть мертвым? Неужели и тогда толкала его к пределу любовь, любовь к меньшим?

Нет! Это не так!

Он любит Веру! Веру! Да? Любит! Но Вера сказала: все! все кончено! Но разве можно сказать любви — все? Значит, это еще не любовь. Если можно пересилить любовь, это не любовь. Но он не может пересилить! А Вера может? Но она сказала: все кончено!..

9. — Давай, ребята, вылазы! Егоршин овражек,— командует Алексеев.

Следом подкатил «газик».

— Сергей Иванович, хочешь со мной? — Витальчик зовет, манит рукой.

— Нет, Витальчик, я на номер. Возьми Григория, у него глотка луженая.

Григорий идет в загонщики с охотой, стрелок он неважный, но в загоне неоценим, шумлив, деятелен, у него талант загонщика.

«Будет пустой номер,— думает про себя Сергей,— коли приглашает Витальчик в загон идти. Тон Тоньич опять с ним».

— Ну ладно, Сергей Иванович, местечко определяю вам знатное,— обещает Витальчик.— Давайте пока за мной.

И снова черной цепочкой по белому лесу.

На этот раз стрелков Витальчик поставил по двум просекам, сходящимся под острым углом, прямая загонщиков определила треугольник, в вершине которого встал на номер Сергей. Место было опять удачным, впереди и позади крупный редкий березняк. Загон начинался с овражка, шел на густой чащобник. Расчет был такой: за овраг лось не пойдет, там слишком глубокий снег, и отставившись там не будет, единственное место отстоя — чащобник.

Широта загона самая подходящая, загонщики не то чтобы слышат — видят друг друга.

Заметно потеплело, и даже в лесу снег стал сырым. Привалившись спиной к березе, широко расставив ноги, Сергей стоял на номере, вдыхая эту сырость зимнего леса. Словно бы и улеглось у него все в душе — и тоска, и боль, и отрешенность, вроде бы прокрался в сердце равнодушный покой. «Как бы то ни было, а жить надо». Вероятно, у каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он словно бы оглядывается на прожитое. Итожит его. Ведь наступает же такое, когда понимаешь вдруг, что жил до этого с ощущением, что все еще главное не начиналось, что один год, другой, третий — это все еще не то, что должно быть в настоящей жизни. Что все еще, все, все впереди. Ах нет! Жизнь, главная и единственная, начинается с рождения, с первого крика. И не начнешь ты ее никогда сначала. И вот приходит момент, когда вдруг ясно станет: ты прожил жизнь, прожил жадно, безоглядно, стремительно, считая, что будешь и будешь жить. Но холодная и четкая осознанность, что за плечами осталось больше, чем впереди, вдруг раз и навсегда посетит тебя и останется с тобою вечным напоминанием, что ты уже никогда не сможешь сделать того, чего не сделал. Прошло время.

И эта охота на лося тоже твоя жизнь, неповторимая, и снег этот, и лес, и далекие крики загонщиков, и мягкое, по-зимнему вязкое эхо за спиной, и мысли твои — все это уже никогда не повторится. Ты жил круто, судьба и любимая работа швыряли тебя из года в год с севера на юг, с юга на запад, с запада на восток. Ты знал зной Каракумов и долгую нудь афганцев — черных песчаных ветров в Кызылкумах и предгорьях великого Памира,— ты шел ледником Медвежим и древней, как сама жизнь, тропой в ущельях Бартанга, тебя, как слезу на реснице, качали повисшие над бездной ненадежные овринги, ты знал Дальний Восток и обрел вторую родину в бескрайних таежных просторах Сибири, ты пересек плоскую Гобийскую пустыню и поднимался в низенькие Татры... Сколь-

ко ты видел на земле, сколько пережил, а тебе все казалось, что жизнь-то и не начиналась. И не начиналась она потому, что искал во всех скитаниях, во всех своих работах и трудах искал и ждал ту одну, с которой и начинается отсчет жизни. Тебе казалось порою, что ты ее нашел. Да, это она, единственная и близкая тебе, Лена. Ты приходил к ней, и уходил, и снова возвращался, и снова покидал, твердо понимая, что нет, это не она. И все, все с нею по-другому. Как не должно быть в твоём мире. И снова одиночество как подарок, как торжество, как единственное счастье бытия, а потом оно же, прекрасное одиночество, — твои вериги, твоя темница, твоё мучение и боль твоя. И ты опять, обманывая себя, а значит, и других, потому что нельзя, обманув себя, не обмануть и окружающих близких или неблизких людей, — ты опять веришь, что искать того единственного близкого, тебе в пару человека и не стоит, он есть у тебя, и это опять Лена. Опять Лена! Ты и добр, и нежен, и щедр, но вся твоё доброта, нежность, щедрость превращаются в конечном результате в боль, в страдание. И так всю жизнь. А потом пришла Вера. Ты её нашел. Нашел поздно, когда уже прожита жизнь и ты обременен всем, чем может к пятидесяти годам быть обременен человек, который всю свою жизнь мало заботился о самом себе, отдавался без оглядки работе и людям. Что честнее: и дальше терпеть, заботиться о семье, о маленьких радостях, постоянно ожидая отъезда в поле, нестерпимо жажда уйти куда-нибудь из дому, пусть на улицу, в дождь, в снег, в холод, но только быть свободным от того, что зовешь семейным кругом, или — все сначала, все впервые, потому что ты нашел её, единственную, Веру, нашел любовь, и никто, никто не виноват, что пришла она к тебе в сорок семь, к тебе, обремененному всем, чем может обременить жизнь человека, который открыто и круто прожил свои годы? Никто не виноват. Ни Вера, ни Иринка, ни Лена, никто-никто, и даже ты сам. Но ты ещё можешь убить! Кого? Себя? Любовь? Кого ты можешь убить?

Ты никогда не боялся смерти. Нет, не так. Ты не боялся смерти, когда она была рядом. А так, как каждый из людей, ты, задумываясь о своём земном пределе, цепенел в ужасе и не хотел, не хотел думать об этом. Но ты был наделен редким талантом не ощущать, не бояться смерти, когда она рядом, когда за плечами...

— Эгэ-гэй! Эх! Эх! Эх!

Ну и глотка у Григория. Идет в самом центре загона, а кажется — всюду он. Кричат загонщики, шумят, стучат палками по деревьям. Но слышней всех Григорий. Ломится чащобником, старается. Делает он всегда все от души, с полной отдачей сил. В работе Григорий незаменим, такого старшего геолога в партиях по всему Союзу поискать надо. Толковый он мужик и в общезитии. С ним легко, его невзначай и обидеть можно — не заметит, а коли и заметит, внимания не обратит. И сейчас он деятелен. И с Тон Тоньчем они уже друзья, и с Лиходеевым, и с Алексеевым запанибрата, что-то маракуют, и с Витальчем. Очень хочется Григорию вернуться с охоты с добычей. Знает Сергей: не забыл Гриша своей любви, по сей час помнит, а иной раз и тоскует по той бледненькой, в кудряшках каштановых волос, любимой на всю жизнь. Тоскует, помнит, любит её, память о ней, а никому больно не делает. За ним Женька как за скалою. И счастливая она, и радостная, и веселая.

Какого же черта он, Сергей, из всего трагедию делает? Терпел же двадцать лет! Ну нашли они друг друга с Верой! Прекрасно. Иди к ней! Люби её! Жалей одну! И она тебя любит, и она тебя жалеет!

Так нет, решил, чтобы всем хорошо было, чтобы всем по-доброму. Думал, Лена его поймет! В который раз уже думал. Кинулся к ней. И что из того! Слезы! Скандал! Угрозы: «Ты мне только скажи, кто она, твоё любимая! Я её загрызу!» А потом истерика, обморок. А потом: «Ты знай, не будет тебя нынче дома — отравлюсь! Я Иринке все расскажу. Как всю жизнь ты меня мучил. Твоё поля, твоё геология меня старухой сделали. Кто меня сейчас возьмет? Уходил бы честно десять лет назад — не задержала. А теперь что я? Старуха!»

И снова слезы, и остановка сердца (так она, по крайней мере, заявила), и синие губы, и пена на них.

Неужели он, Сергей Поляков, способен убить человека? Он всю жизнь только и делал что сглаживал семейные углы, уходил от ссор и скандалов, прятал в себе глубоко все неудачи, зато выпячивал каждую пустяковенькую победу, успех, чтобы радостно, чтобы светло в семье было, чтобы не хмурились брови, чтобы голос не повышался. И вот — он убивает человека, он приносит горе. Добро-то его обертывается злом. Ничего не добьешься полуправдою, ничего не добьешься молчанкой, да желанием все миром уладить — ничего не добьешься этим, кроме боли для себя и других. Так-то, Сергей Иванович, так-то, добрый ты человек! «А Женька Гришкина знает все про Анну Филипповну! Знает... И живет, и хорошо ей... Как ладно ведут загон ребята...»

Сергей напрягся: почудилось на мгновение, что по срезу чащобника вроде бы ворохнулась и замерла тень. Нет, только почудилось. Пуст чащобник. Вот уже и Григорий показался. Куртка распахнута, ружье за плечами, в руках палка, шапка сбита на затылок, идет широко — пашет снег унтами, а борозда снежная под самые бедра. «Ну что ж, и этот загон пустой». Сергей выходит навстречу Григорию.

— Серега, пусто! И птахи нету! — кричит и машет руками. — Пусто — шаром покати!

Сергей смотрит на друга и улыбается, улеглось, успокоилось у него на душе. Что же, пусть будет так, как есть. Вера сказала: «Все!» Пусть будет все. Он, кажется, поломал себя. Кажется, он сможет жить без Веры. А если сможет, зачем же тогда все это?.. Зачем любовь?.. Ее, наверное, просто нет...

— Хорошо! — Григорий подходит к Сергею, от него так и пышет здоровым жаром, сладковатым, чуть вяжущим запахом крепкого мужичьего пота. — Оттаяло, Серега?

— Оттаяло, Гриш... На дороге-то, наверное, и лужи уже.

— Хорошо! А дышится как! Сказка! Люблю похмелье лесом выбивать.

Подходят остальные загонщики. Тоже распаренные, пышущие здоровьем. Витальич с Тон Тонычем сошлись на левом крыле стрелков и теперь, снимая их, идут торной тропкой. У Тон Тоныча вид человека, только что одержавшего крупную победу в жизни. Он маленьким муравейчиком семенит впереди всех и, приближаясь, хитро подмигивает Григорию.

— Я так думаю, — говорит Витальич, снова обращаясь к Сергею, — щас поспедаем чего-нито у машины. А там видно будет. Попытка не пытка. Бог тронцу любит. Попытаем в третий раз!

— Правильно, — говорит Тон Тоныч и снова подмигивает Григорию.

Перекусили налегке тем, что у кого было, свалив снедь на разостланный прямо на снегу плащ Тон Тоныча. Он, будто бы крадучись за «летучкой», потчевал Витальича — егерь выпил ровно колпачок из литрового термоса. Больше пить отказался. Но и с этого повеселел, ничего не ел, а только курил и посмеивался, присев на корточки подле плаща. Потом вдруг отослал Миньку за Цыганом — лайкой. Объяснил:

— Они с Мухой в паре быстро зверя нашарят. Думаю в Солонцовый остров вас сводить, — сказал, хитро прищурившись, и тут же добавил, внимательно поглядев на Тон Тоныча: — Но пока еще не решил... В Солонцовом, надо полагать, тоже пусто...

Когда уже поели и собирались садиться в машину, Григорий отвел Сергея в сторону.

— Сереж, у тебя деньги есть?

— Есть. А зачем?

— Знаешь, ребята решили скинуться... Витальичу на молочишко... День ведь мужик, гляди-но, с нами мается.

— Это его работа.

— Ну пошел, ну пошел, зануда. Захватил бы свои, никогда бы к тебе не полез.

— А ты бы и захватил.

— Забыл.

— Женька не дала? — Сергей уже дразнил друга, не спешил вынуть деньги.

— Карманные кончились. А у нее не стал... — вдруг искренне выпалил Григорий и отвел глаза.

Сергею стало жалко его, и он ткнул Григория кулаком в плечо.

— Шучу ведь, дурило! Сколько надо?

— По пятерочке дадим, — оживился Григорий.

— Дорогое нынче молоко-то... На. — И протянул червонец. И спросил: — Выходит, одной лицензии мало?

Не нравилась ему нынешняя охота. «Вот и взятку егерю суют. Что он, бог, выгонять на выстрел зверя?» Витальич богом не был, но свое дело знал хорошо.

— Будете с мясом, — сказал Тон Тонычу, взяв деньги.

Приехал Минька с Цыганом, и охотники, усевшись по местам в «летучке» и «газике», тронулись к Солонцовому острову...

— Пойдешь с нами? — Григорий снова отвел в сторону Сергея.

Охотники, сторожась, тихонечко вылезали из «летучки». Говорили только шепотом.

— Куда? В загон?

— Пойдем с загонщиками, но тебя, меня и Тон Тоныча Витальич обещал поставить на номера отдельно.

— Это почему?

— Понимаешь, всех очень много. Гнать будут к шоссе и номера поставят вдоль дороги. Лоси тнутся в шоссейку, закрутятся — тут, конечно, если близко, то пальнут по ним с номеров. Деваться им некуда и ахнут вот по тому перелеску в соседний остров.

— Ты это сам все так расписал?

— Да нет, Витальич говорит — будет так. Но поставить может там не больше трех человек.

— Нет, Гриша, я как все. Вот Алексееву предложи...

Но Алексеев с егерем не пошел, пристроился туда Лиходеев. На номера вдоль хорошо укатанного шоссе стрелков ставил Минька. У каждого телеграфного столба в открытом поле по стрелку. Сергей определил себе место сразу, как только Витальич объявил, что надо вставать вдоль дороги. По левую и правую руку обочь шоссе тянулись открытые поля, тут снег выдувало ветром и глубина его была небольшая. Вероятнее всего, так рассуждал егерь, зверь, выгнанный из леса, побежит по открытому месту в противоположную от машин, которых оставляли специально на дороге, сторону. Чистые эти поля дальше заметало мелким кустарником, потом кустарник перепадал в болотину с редкими чахлыми березками, а дальше с обеих сторон подступал к обочинам лес, вот там-то и решил встать на номер Сергей. Получилось так, что многие тоже облюбовали этот участок, и пришлось встать тут грудно. Слева от Сергея в малом кустарнике обосновался Алексеев, справа под березой Эдуард, дальше двое из группы Тон Тоныча, и замыкал линию Минька.

Загон в отличие от двух предыдущих начали рано. Едва успел Сергей посмотреть перед собою сектор, как где-то далеко залиvisto закричал Муха, и Цыган подал уверенно и громко голос. Судя по собачьему лаю, они только взяли свежий след. Сергей, услышав этот далекий еще звук, решил, что если и придется стрелять, то лучше стрелять с колена, и присел, удобно подложив под себя правую ногу. Было тихо, и только слабые голоса собак да глухие выкрики загонщиков едва-едва нарушали тишину. Под закат выкатилось из-за туч солнце и светило в спину, хорошо высвечивая и белое поле, и лес, и болотину, и подлесок, и крупные осочные желтые стебли по ту сторону дороги. Осока тихонечко шелестела, и этот шелест казался тихим больным шепотом. Где-то, отогретая

солнцем, закапелила сосулька, и звон капель был тугой и мягкий, словно кто-то постукивал по туго натянутому бубну. Сергей старался не глядеть на дорогу, чтобы не перенапрячь глаза, и смотрел на своих соседей. Алексеев, встав на колени, чутко вслушивался в голос загона, вытянув вперед бледное напряженное лицо. Он уже дослал в патронники патроны и примостил ружье на рогульку, неотрывно вглядываясь вдаль, откуда должны были появиться лоси. Эдуард Алексеевич, кажется, и не слышал начавшегося загона. Он лежал на подогнутом кустарнике и слушал, как гудят провода. Ружье его незаряженным стояло метрах в двух от него. Эд улыбался и даже что-то бурчал себе под нос. Весь его беспечный и счастливый вид вызывал улыбку, будто бы и не на охоте он, а так вот приехал поваляться на снегу, послушать лес и поболтать потом за доброй чаркой.

Лай, однако, усилился и стал ожесточеннее — собаки подняли зверя и погнались его. Все сейчас было как в большой, настоящей охоте, и Сергей мигом забыл про свои недовольство и раздражение, которые с утра рождались в нем от всей этой светливой возни с егерем. Он напрягся, собирая всего себя к единоборству с сильным и опасным зверем.

Слева словно бы икнул Алексеев, подал знак. И Сергей увидел их.

Лоси выбежали из леса на чистое поле, остановились, замерли, решая, куда дальше бежать. Собачий лай был от них еще далеко, да скорее всего гнали собаки других зверей. А этих было трое. Громадный, с могучим загравком самец, легкая молодая лосиха и еще телок ли, телка — определить было пока невозможно. Звери стояли мгновение, и каждый, вероятно, из видевших их стрелков там, за телеграфными столбами, и тут, в лесу, взмолился: «Ко мне, сюда идите, сюда!» Во всяком случае, Сергей повторил это несколько раз как заклятье, и лоси, будто услышав его, легкой иноходью побежали вдоль опушки, чуть закругляясь к болотине, к осокам, за которыми, замирая сердцем, следил их Сергей.

— Сюда, сюда, сюда бегите, — шептали губы.

Лоси еще дважды останавливались, дважды вслушивались в лай собак, и самец, поднимая высоко голову, вынюхивал воздух. Теперь Сергей ясно разглядел и третьего — это был теленок, двухлеток, обещающий быть, как и отец, могучим и красивым зверем.

Вся троица разбудила в сердце какое-то воспоминание, дорогое ему, но Сергей погасил его, так и не осознав, о чем оно.

А лоси подбежали уже к самой обочине, окружили за густым ивовым кустом и вдруг вышли к осоке, близко прижавшись друг к другу. Узенькая лента шоссе, реденькие кусты ветловника да кювет отделяли их теперь от Сергея. Краем глаза Сергей уловил, как целится в самку Алексеев и как все еще беспечно валяется на подогнутых кустах Эдуард. «Надо валить самца, не дать выстрелить Алексееву в самку», — мелькнула мысль. Он еще верил, что все будет по инструкции — один выстрел по одному зверю. И, уже выцеливая самца, понял — опоздал. Алексеев с двух стволов ожег самку по брюху, не убойно. С такой раной зверь уйдет далеко, будет болеть и обязательно погибнет в мучениях и агонии. Перецелив, Сергей выстрелил лосихе под лопатки и понял — попал. Против ожиданий звери двинулись на дорогу... И что тут поднялось! Палили из всех стволов, кто-то перебежками подтянулся с поля и крыл почем зря из пятизарядки. Куда бы ни метнулись звери, везде попадали под выстрелы. И только один Эдуард никак не мог найти своего ружья, кувыркаясь в кустарнике. На него, залпнув по накату дороги, и кинулись звери. И промахнули мимо. Эдуард только и успел разрядить один ствол в молоко.

— Упустили, сволочи! Мазилы! — кричал Алексеев.

И снова, как гром, как низвержение камнепада, загрохотали выстрелы. Мимо промахнули через дорогу еще три лося, их гнали Цыган и Муха. Попад под пальбу, собаки шарахнулись в сторону и, взяв уже другой след, ринулись в лес.

Матерились и орали все: двое из отряда Тон Тонича, Минька, Алексеев и даже Эдуард. Сергей молча сошел с номера и побрел за дорогу, к месту, где

только что, тесно прижавшись друг к другу, стояли животные. На снегу были видны желтые капли сукровицы, кусочки шерсти. Он пошел по следу. Прежде чем кинуться на дорогу, лоси повернули в обратную сторону и, натолкнувшись на приближающийся лай, кинулись опять к дороге. Тут на снегу уже была кровь, была она и на дороге. «Это я ее, это из моей раны... Чтобы не мучилась», — подумал Сергей. А на шоссе, сойдясь, отчаянно спорили охотники. Кто в кого стрелял и кто промахнулся. Получалось, что каждый бия наверняка и каждый уложил всех трех.

— Я-то попал! Спросите у Сергея Ивановича! — кричал Алексеев. — Моя далеко не уйдет! А где ваши? Правда, Сергей Иванович, попал я?..

— Упустили! Упустили, мазили! — кричал один из Тон Тоныча группы.

Подходили и другие стрелки, качали головами:

— Мазили! Вот если бы на нас!

— Ну что, пойдем по следу? — спросил Сергей Алексеева. — Матка-то ваша далеко не уйдет. Тут она. — Было очень скверно и сумеречно на душе Сергея.

— Вот! Вот! Слышите, моя матка не уйдет! — кричал Алексеев.

Все после бешеной этой стрельбы несколько пооглохли и говорили громко.

— Надо бы егеря подождать, — сказал кто-то.

— Ей никуда уже не уйти. А ну-ка тихо! — приказал Сергей.

Все затихли. В чаще, надрываясь, лаяли собаки.

— Ну вот, поставили подранка, — сказал со знанием дела Минька.

Подкатил на полном ходу «газик». Из него выкатился Тон Тоныч, выпрыгнули Лиходеев и Григорий, не торопясь вылез Витальич.

— Где? — Глаза у Тон Тоныча налились кровью и бегали, он заметно помучен лицом, а уши стали серыми и словно бы заострились.

— Вон, держат собаки подранка! — откликнулся Минька на вопросительный взгляд отца.

— Одного, что ли? — Тон Тоныч нервничал.

— Да если их слушать, всех трех!

— Стрелки! Надо так бить, чтобы после выстрела добыча лежала, — прерзительно поглядывая вокруг, сказал Лиходеев.

— Да ну! — Сергей криво усмехнулся.

Лиходеев полез в сугроб за дорогу.

— А вот кровь, еще кровь, еще! — Лез по снегу, жарко окрашенному в красное. — Ну и силища! Фонтаном бьет, а он бежит...

Все двинулись следом.

Глубокая грусть охватила Сергея. Он шел позади всех, глядя на алые конопущки чистой крови на снегу.

— Вот он! Уйди, Тоныч. Уйди. Это мой! — кричал Лиходеев.

10. В мелколеснике, опустив губастую голову к земле и чуть покачиваясь, умирала Лосиха. Она все еще стояла на непослушных ногах, все пыталась удержаться на земле и не могла. Ей казалось, они побежали с матерью по белому, выросшему за одну ночь мху. Она еще тогда не знала снега. Тот был первый в ее жизни. Побежала к озерцу, ко все еще зеленым болотным кувшинам, и она с маху забежала в озеро. Но озеро не захотело ее взять, и копытца разъехались, и все вокруг покатило вкряк и вкось, и ноги ее поехали в разные стороны, и ее закружило на льду, а она все старалась ровно поставить ноги и не могла.

Ноги не слушались ее. Они все разъезжались и разъезжались, земля вдруг стала для нее одним громадным ледяным озером.

Лиходеев вскинул ружье и выстрелил ей в голову, но она не почувствовала пули, она уже скользила по льду далеко-далеко от этого места — в своем детстве.

— Ну а тот мой будет! — закричал Тоныч и кинулся лесом на лай собак.

Он бежал, припадая на ногу, чувствуя, что силы уже не те, и все-таки бежал, как собака, прихватывая снег и освежая сухой, горящий нестерпимым жаром рот.

Двухлетка ранили по ногам. Он дважды ложился в снег и дважды поднимался, уходя от собак. Пробитые навывлет ноги слабели, и он, не пересилив боли, свалился в чащобнике, выкинув вперед передние ноги и уронив на них голову. Собаки, нагнав его, не решались подойти и, брызжа слюной, надрывались в лае, бегая вокруг и требуя от него движенья, они хотели погони, а он только и водил большой головой, следя за ними, и большой, с голубой поволокой глаз его все еще искал близких. Тоныч выбежал на двухлетку сзади. Выбежал, замер, сглатывая сухую слюну и чувствуя, как в нем вдруг сонно и забыто поднимается похоть.

— Ох-х-х! — простонал старик и, прежде чем выстрелить, еще немного послушал свою плоть и, ощутив легкий озноб, спустил курок — раз, другой.

Кровь хлынула из громадной рваной раны, двухлеток взметнулся и рухнул, давась кровью. А Тон Тоныч, потирая руки, смеялся и торжествовал победу, грубо отгоняя пинками тяжелых унт собак.

— Давай сюда! — кричал он, слыша, как по лесу ломаются к нему на подмогу.

Он все еще тяжело дышал и все еще дрожал, когда к нему подошли.

— Надо третьего! Самца надо! — шептал подошедшим и зыркал глазами по чащобникам, нет ли третьего.

— Куда нам самца, Тоныч! Ведь и так двух завалили. Витальч-то может доказать.

— Не докажет! Не докажет! Третьего надо. Вы, ребята, свежуйте, а я сбегая поглажу. Может, сфартит.— И побегал, снова припадая на ногу и хватая снег, остужая им сухой рот. «Заодно бы, заодно бы»,— думал, и сердце его было полно надежды.

Сергей подошел к умирающей Лосихе. Глаза ее еще были теплы и глубоки, но откуда-то из-под зрачка по яблоку, как стынь по воде, растекался холод, и глаза мелели, превращаясь в темные льдинки, слабо отражающие мир. В большом, черной сини зрачке Сергей увидел себя, неуклюже коротконового, с длинно вытянутой книзу, несоразмерно крупной по сравнению с туловищем головой.

— Кто ее? — спросил, подходя, Григорий, не обращая внимания на спорящих рядом с убитым животным Алексеева, Лиходеева и того из группы Тон Тоныча.

— Алексеев ее по брюху прожог. Я добил в подлопатки.

— Она могла уйти! — кричал Лиходеев.— Или броситься!

— Давай растушем, пули вынем. Глянем чьи, а? — шумел Алексеев.

Подошел Минька, не торопясь достал нож из-за голенища, сказал:

— Счас увидим чья где.

И, нагнувшись, вскрыл горло Лосихи, тело ее в последний раз дернулось, ответив на эту, вероятно еще ощутимую, боль, и кровь широко побежала в снег. Снег, как губка, вбирал ее, стремительно обтаивая по широкой лунке.

— Помогите, что ли. Чего глядеть, обнимать надо! — Минька по-хозяйски оглядывал убитое животное, оценивая его глазом, и, кажется, был доволен. На веснушчатом его, еще детском лице бродила улыбочка превосходства.— Берите-нося за ноги задние и чуть подвиньте! — командовал он, поигрывая ножом и пробуя его остроу на ногте большого пальца.

Витальч стоял в сторонке, прислонившись спиной к березе, и курил, давая понять, что все происходящее его уже не касается, но он тут, видит все и про себя отмечает. Весь его вид словно бы говорил: «Суетитесь, братцы, суетитесь, но я вам такого права — на одну лицензию двух лосей валить — не давал. Ведь ежили потребуют, я на вас и доказать могу...»

Сергей сначала вроде бы попытался помочь Миньке, но что-то мешало ему, что-то беспокоило, и он не мог понять что, будто забыл что-то важное, а что — никак не вспомнит. Чувство невозместимой потери ощущал Сергей, и все вокруг снова потеряло какой бы то ни было интерес. Отойдя в сторону, он присел на пень, и в это время в лесу один за другим почти слитно громыхнули два выстрела.

Минька поднял лицо, шмыгнул носом, утерся рукавом рубашки, закатанным под локоть (руки у него были сальные, с ржавыми размывами лосиной крови), выматерился со смаком:

— ...дублетом Тоныч, надо быть, моего добил!

— Я в него тоже стрелял,— сказал Алексеев, но Минька ничего не ответил, прворно работая ножом.

Сергей увидел Эдуарда Алексеевича, тот стоял над убитым и почти уже растелешенным животным и неотрывно глядел куда-то мимо. Синюшная бледность покрывала лицо Эдуарда, губы были фиолетовыми, глаза глубоко провалились, определив череп широкими височными впадинами. Сергей подумал, что мягкий этот, желающий всем добра человек тяжело болен и вряд ли доживет до следующей охоты. Эта мысль вызвала в сердце острое сострадание, горькую печаль, и Сергей почувствовал к Эду нежность. И снова подумал, что в жизни тому мало уже осталось испытать нежности. Были они знакомы вот уже лет семь, встретившись на большом таежном пожаре. Вместе с Эдуардом вытаскивали буквально из пекла отряды партии и в той полной смертельного риска работе подружились, и эта дружба не прервалась. Они встречались в Москве, в Пушкине, на подледных рыбалках и охотах, до которых был Эдуард как-то болезненно страстен, но каждый раз, когда добывали крупного зверя (а это было при нем дважды, и оба раза в Сибири), вдруг мрачнел, менялся в лице и в глазах его, больших, с девичьими мохнатыми ресницами, поселялась боль. Последние два года эту боль замечал Сергей даже тогда, когда тот смеялся. Эдуард хворал, ничего не говоря о своей болезни, худел, и вот сейчас Сергей вдруг увидел его стоящим у предела.

Душным запахом теплой плоти ударило в ноздри. Минька вспорол живот Лосихи и вывалил на снег чуть исходящие парком синие внутренности, кое-где в них черными пятнами спекшейся крови зияли следы алексеевских пуль. А сам Алексеев копался в кишках, выискивая свинец — доказательство его меткого выстрела.

— Зачем сюда стрéлил? — тыча пальцем в раны, спрашивал Минька.— Сюда стрелишь — не скоро найдешь. С такой вот раной уйдет зверь ой-е-ей куда и не скоро подохнет.

— Много ты знаешь,— огрызнулся Алексеев, занятый поиском, и были они сейчас ровня, этот уже стареющий мужчина и конопатый юнец, втайне, но твердо усвоивший свое превосходство над всеми приезжающими сюда важными или не важными особами, одинаково плохо умеющими делать то, что у него с отцом составляет смысл жизни.

— Ага! — торжествующе крикнул.— Двоих ухайдакали!

Минька держал в руках крохотное существо с розовыми, как человеческие ногти, копытцами, с тонкой гусиной шейкой и маленькой головкой. Ребрышки выступали на крохотном, словно нарывчик, синем животе, и прозрачная, обволакивающая это беззащитное существо материнская слизь стекала на снег вязкой тягучей стружкой.

— Кинь собакам,— посоветовал Лиходеев, но Алексеев возразил:

— Не надо, повесь на дерево, птицы сожрут.

Содрогнувшись от всей этой картины, Сергей встал, отвернулся, сознавая, что и сам своим присутствием, своим молчанием, всей своей жизнью участвует в грязном деле, от следов которого ему не отмыться уже никогда. Не раз и не два привидится ему торжествующее лицо Миньки и мертвый, убитый ими плод жизни в его руках. И полное равнодушие окружающих и его равнодушие...

Сергей шагнул прочь и в этот момент снова увидел Эдуарда; тот, отбежав в сторону, переломившись в поясе, содрогался — его рвало, и снег, так же как там, у туши, окрашивался в ржавый цвет. На фиолетовых губах Эдуарда пузырилась кровь.

Потом Эдуард лежал, словно бы еще более усохший, в «газике», в уголках губ его да на белых унтах черными крохотными кляксами запеклась кровь, но

лицо было спокойным, и даже синюшная бледность чуть отхлынула, и губы уже не были фиолетовыми, но обметал их жар. Он извиняюще говорил:

— Нет, нет, делать ничего не надо. Мне уже хорошо. Понимаешь, Сергей Иванович, запустил язвочку. Как не пожрешь вовремя, так рвота.

Сергей протягивал ему кружку с чаем, и Эдуард трясущимися руками подносил ее ко рту и пил малыми глотками горячий, только что из термоса, чуть горьковатый, заваренный с мятой напиток, и слышно было, как постукивают о закраинку его зубы.

— Сейчас все прошло. Хорошо, что лекарство захватил,— виновато говорил Эд и улыбался Сергею. А в глазах стояла боль, и были они удивительно похожи на глаза Лосихи в тот момент, когда их еще не начинала заливать стынь.

— Сергей Иванович, нашел свой-то! Обе нашел! — кричал Алексеев. — А брэки немецкие не ваши? Тоже нашли.

Немецкие «брэки» были Сергея, но он сказал:

— Нет.

11. В маленькой гостиничке — избе в две комнаты — было до духоты на-топлено.

Пока охотники в сарае делят мясо, пока идет там рубка и полушутливая брань, Сергей разглядывает гостиницу, подбрасывает дрова в плиту и разговаривает с хозяйкой. Дородная супруга Витальчика жарит печенку, выварив ее в громадном ведре, отчего по всему дому распространился запах хозяйственного мыла. Сергей хочет сказать, что так готовить свежую сохатиную печенку, особенно молодого лося, варварство и что он сам может приготовить все, но почему-то не говорит этого. Тягуче тянется время, а вместе с ним растет тревога.

В спальне на кровати, сбросив унты, спит Эдуард. Лицо у него строгое, восково-неподвижное, и нос чуточку заострился. Сергей иногда подходит к нему, мягко ступая шерстяными носками по крашеным половицам, и слушает, дышит ли. Дышит, и крохотным синим сердечком бьется на худом виске жилка. Спит.

Шумно вваливается в избу Григорий:

— Серегал!

— Тише. Тс-с-с... Эд спит...

— Серегал, — уже шепотом. — Мясо поделили, я в багажник ящик поставил. Ага? Ох кусочки хороши!

— Иди ты к черту со своим мясом!

— Это почему же? Заработали...

— Купили.

Григорий опасливо косится на занавеску, что прикрывает дверной проем в кухню.

— Кончай. Ноги вон гудят, сколь отгрохали. Глотку щемит — так наорался в загоне, а ты...

— Ладно. Об этом потом. Ты куда пропал в лесу-то?

— Ходил к Тоньчу. Пер оттудова передок лосинный.

— Ну и дурак.

— Я, Серегал, не могу так. И то ребята косятся, что это ты за барин такой — ничего не делаешь.

— Я при больном... И мясо помогал в «летучку» грузить.

За стол сели грудно, пили шумно и много. Хвалили черные обмылки вываренной, а потом высушенной на сковородке печенки. Витальч опьянел. Тыча пальцем в книгу отзывов, кричал, и слезы вдруг выбежали на щеки, светлые настоящие слезы.

— Я всем внимание оказываю! Я при внимании! А они, что они пишут! Пьяница я, да?! Охоту не организовал, да?! Плохой я, да?! Вы мне уважение окажите, я — вам! Пжалуста. Правильна! Я вам уважение оказал?

— Оказал, оказал! Мы тебе сейчас благодарнсть напишем, — обещает Тон Тоньч.

— Ты мне, Тоньч, друг!

— Друг...

Тонич пьет мало, и Алексеев трезв, ждут Глухова. Решили остаться на завтра, добыть лося-самца. Минька встает из-за стола, он только пригубил — молод еще и не такой, как батя. Минька другой, у него за плечами нет Сибири, нет жизни, у него сразу опыт. Легко берет под мышки отца и вынимает из-за стола. Витальчик не сопротивляется, не кричит, только чисто и горько плачет. Минька смеется, подмаргивая застолью:

— Хорош батя!

Приезжает Глухов. Красный, потный, совсем не симпатичный, не такой, как утром. Он выпивши, но лихо пьет штрафной.

Хмельно за столом и чадно.

— Что ты не пьешь, выпей,— советует Григорий Сергею.

— Не могу, Гриша, душно...

— Заболел, что ли?

— Видать, заболел.

— А я хочу завтра еще на лося сходить.

— Валяй.

— Ты что, уедешь?

— Да.

— А я завтра, ладно? Женке не звони. Мясо не испортится, да?

— Да.

— Ты его на балкон вынеси.

Григорий пьян, добр и мягок. Целуется с Тоничем, Лиходеевым, Глуховым... Сергей бочком вылезает из-за стола. Никто не задерживает его. Только красным глазом косит Глухов:

— Кто это?

— Наш парень...

— Наш?

— В доску свой.

В спальне сидит Эдуард, читает какой-то листок, смеется, мелко трясется его плечи.

— Ты чего, Эдушка?

— А вот.

«Акт,— читает Сергей.— Нами, охотоведом Рыковым и егерем Еремкиным, обнаружен в сарае поставленный на откорм кабан, у которого отсутствует, т. е. съедена, грудная и задняя часть. Причина смерти неизвестна. В чем и составлен настоящий акт». Подпись пока одна — охотоведа, число нынешнее. Кто-то обронил акт. Сергей аккуратно складывает бумагу, прячет в нагрудный карман.

— На память.

— Не надо, Сергей Иванович, нехорошо,— говорит Эдуард.— Им нужно.

— Напишут новую.

— Ты куда? — Эдуард следит, как натягивает Сергей унты, куртку, нахлобучивает шапку.

— Я, Эдуард Алексеевич, еду к Вере. К Вере еду! Хочу знать, есть ли любовь!..

В машине едва уловимо пахнет свежим мясом. Сергей пускает мотор, выжидает, пока стрелка подогрева коснется красной риски, и включает передачу. На шоссе он сразу же набирает большую скорость, но фары вдруг натываются на черную громадную тень. Она заслоняет дорогу и стремительно нарастает. Скрипят тормоза, мотор надрывно ревет, брошенный в режим первой передачи, остаются считанные метры, а Лось все стоит и стоит на шоссе. «Что вывело его сюда? Зачем? Это несправедливо...» — думает Сергей и отчаянно жмет на сигнал. Лось не слышит крика машины, Лось пришел сюда умереть...



Д. САМОЙЛОВ



СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Когда среди шумного бала
Они повстречались случайно,
Их встреча, казалось сначала,
Была не нужна и печальна.

Он начал с какого-то вздора
В своем ироническом тоне,
Но, не поддержав разговора,
Она уронила ладони.

И словно какая-то сила
Возникла. И, как с полимпсеста,
В чертах ее вдруг проступила
Его молодая невеста

Такой, как тогда, на перроне
У воинского эшелона,
И так же платочек в ладони
Сжимала она обреченно.

И в нем, как на выцветшем фото,
Проявленном в свежем растворе,
Вдруг стало пробрезживать что-то
Былое — в лице и во взоре.

Вдвоем среди шумного бала
Ушли они в давние даты.
— Беда, — она тихо сказала, —
Но оба мы не виноваты.

Меж нашей разлукой и встречей
Война была посередине.
И несколько тысячелетий
Невольню нас разъединили.

— Но как же тогда, на вокзале.
Той осенью после победы,
Вы помните, что мне сказали
И мне возвратили обеты?

— Да, помню, как черной вдовою
Брела среди пасмурных улиц.
Я вас отпустила на волю,
Но вы же ко мне не вернулись...—

Вот так среди шумного бала,
Где встретились полуседами,
Они постигали начало
Беды, приключившейся с ними.

И, может, все было уместно:
И празднества спад постепенный,
И нежные трубы оркестра,
Игравшего вальс довоенный.



ПУБЛИЦИСТИКА

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА



ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ НА СДЕЛАННОЕ

Есть время сеять и время убирать урожай. Время действовать и время оценить содеянное. Сев и уборка отделены месяцами. Действия и их оценка, как правило, неразрывны, неразделяемы. Но в особо важных случаях, в делах, имеющих большую общественную, государственную значимость, требуются годы и годы, чтобы увидеть результаты, «подсчитать урожай», чтобы сказать себе и другим: вот здесь мы решили правильно, сработали хорошо, перенимайте наш опыт, а в этом случае поступите иначе, расчетливей, разумней, лучше нас.

Хорошо, полезно время от времени оглянуться на сделанное. Во сто крат поучительней сделать это, если посмотреть на все задуманное и свершенное с такой высокой, всеоградской вышки, как решения Пленума ЦК КПСС. В данном случае июльского Пленума этого года, ибо речь пойдет о селе, в частности о Пригородной зоне КамАЗа.

Шесть лет назад таким же тихим августовским вечером стояли мы у крайних подворий деревеньки Новые Гардали и четверо ее жителей — тракторист, учитель, токарь и заведующий складом — с некоторой опаской говорили о завтрашнем дне, о том, что принесет им строительство КамАЗа¹.

А где-то там, далеко, в тучах пыли неясно вырисовывались разрозненные белые прямо-угольники городских зданий, угадывались корпуса строящегося автогиганта. И лишь красноватая глинистая насыпь будущей железной дороги, плавно изгибаясь, подступала к деревенским огородам — вестница того, что недолг век этих огородов, что не сегодня-завтра подсобные службы литейного комплекса займут место этой деревни.

И была еще одна встреча два года спустя после первой, только трех моих прежних собеседников я разыскала уже в Набережных Челнах и лишь один из них еще держался на старом месте как на островке, окруженный горами вздыбленной, перевороченной земли².

Нынешний предзакатный час ясен и светел. Строительная пыль давно улеглась, автогигант действует, выпуская каждые сутки сотни могучих «КамАЗов», город — белый, радостный — виден как на ладони, корпуса литейки словно серые дредноуты с высокими трубами — вот они, совсем рядом, — а над нами, мимо нас шагают нескончаемые опоры с серебристыми трубами теплотрассы, а за нами — приземистые строения очистных сооружений.

А деревня? Где же деревня?

Нет больше домиков в деревянном кружеве наличников, нет ухоженных подворий, только холмики земли да обломки бревен и досок обозначают, где они были. Безлюдье. Тишина. И в ней неожиданно — шаркающий звук пилы, слабый,

¹ См. «Новый мир», 1973, № 1 («Не на пустом месте»).

² См. «Новый мир», 1974, № 11 («По знакомым адресам»).

неуверенный. Может, ребятишки балуются? Да откуда им быть здесь, ребятишкам?

Обходя развалины, направляемся на этот звук. А-а, вот оно! Тощий старик и расплывшаяся, неопрятная старуха судорожно дергают пилу-двухручку по трухлявой доске, рядом заготовлено для распила еще несколько. Им эти доски не нужны — на днях едут за ордером, получают в городе благоустроенную квартиру, — а просто так, «ни за что» бросать жалко, лучше продать на дровишки.

Из жалобных стенаний пильщиков узнаю: они тут не одни, «есть еще кинутые». И в самом деле, через несколько подворий в дряхлой не то избе, не то баньке сидят за уютно воркующим самоваром крепкий седоусый старик с деревяшкой вместо ноги («Сапером был, малость не рассчитал») и его благообразная чистенькая жена. Не древние, а мигом вспомнился Фирс из «Вишневого сада», его печальное под занавес: «Про меня забыли...»

— Как же так?! — восклицаю негодуя.

Однако негодую напрасно. Под согласные кивки стариков мой спутник — председатель здешнего сельсовета — поясняет: те, что пилили, давно уже могли бы жить в Набережных Челнах вместе с сыном, да решили заодно пристроить и дочь с внучатами, вызвали ее откуда-то, не то из Казахстана, не то с Алтая. А бывший сапер и тут «малость не рассчитал»: от городской квартиры отказался, решил перетащить в пригород свою новенькую пятистенку, но затянулось обустройство, вот и кукуют в домишке соседки.

По-разному снимаются с места люди.

Голубоглазый тракторист, который шесть лет назад, в нашу первую встречу, больше всех боялся переселения, «привился» в Набережных Челнах легче других, будто сызмальства был городским жителем.

Плотный широколицый токарь привыкает медленно, тяжело — до сих пор снится ему родная деревня, а то вдруг прямо за станком мелькнет шальная мысль: эх, яблоньку бы сейчас по стволу погладить, спелую землю на ладони размять!

Лозинка-учитель, живя в городе, честно-добросовестно ездил три зимы в деревенскую школу, пока не довел свой класс до выпуска, и лишь в прошлом учебном году, заведя семью, устроился работать в городе.

Белозубый да улыбочный завскладом, казалось бы прежде других готовый «взлететь на городские этажи», четыре года привередливо перебирал городские квартиры и только в 1977 году согласился наконец выехать, предварительно сбыв и дом и дворовые постройки.

Ну а другие жители Новых Гардалей, другие мои деревенские знакомцы, они-то как? К какому берегу приткнулись?

Егор Афанасьевич, хозяйственный мужик, тоже покидал деревню одним из последних и тоже успел реализовать все до последнего бревнышка. И до самого крайнего дня держал во дворе хрюкающее, блеющее, кудахтающее поголовье — основной свой заработок. Прошабашничав всю жизнь, поснимавши, как пенку, «быстрые» рубли, он теперь ходит и пишет, пишет и ходит, добываясь от государства пенсии: «Все-таки ведь что-то делал... все-таки ведь кого-то кормил...»

Мария Матвеевна, знатная свинарка, награжденная орденом Ленина, как жила достойно в своем совхозе, так достойно его и оставила. Доработала до пенсии, покончила счета-расчеты, сказала: «Вам от меня теперь никакой пользы, одна обуза» — и вслед за сыновьями перебралась в город.

Как, и она, сознательнейшая из сознательных, тоже — в город? А кто же в таком случае заселил поселок Новый, тот самый, который проектировался и возводился именно для них, жителей деревень, подлежащих сносу? Современный, со всеми удобствами поселок стоимостью почти в 14 миллионов рублей, который должен был стать основным центром совхоза «Гигант», — что с ним? Он есть, он, как и планировалось, стал центральной усадьбой «Гиганта». только... Только

из 130 семей, проживавших в Новых Гардалях, в него переселилось всего шесть семей. Шесть! Менее одной двадцатой части.

Почему? Да потому, что слишком долго он проектировался, слишком медленно строился. Не год, не два, не три ждали новогардалинцы решения своей судьбы — целых семь лет. Выросли и переженнились дети, поустроились на работу в Камгэсэнергострой или на КамАЗ и там с полным основанием получили квартиры. Люди среднего возраста, устав от ожидания, потянулись к определенности — к городской работе, к городскому жилью. Люди предпенсионного возраста успели стать пенсионерами и, естественно, последовали за своими детьми. А если б захотели они в поселок Новый? Им бы, конечно, не отказали, но и радости особой при этом, пожалуй, не выразили: хозяйству прежде всего нужны работники, те, с кем выполнять все возрастающие планы по молоку и овощам, с кем растить зерно и кормовые культуры, — их бы, работников, дай бог обеспечить квартирами.

Обездоленным у нас в стране не мог остаться и не остался никто, все получили крышу над головой — и те, кто из совхоза переехал в город, и те, кто прибыл взамен. Но разумна ли, оправданна ли с государственной точки зрения такая вот двойная «перекачка»?

Городу пришлось раскошелиться, выделить сверх всяких лимитов жилье для тех, кто, по предварительным расчетам (и предварительным затратам!), должен был заселить поселок Новый. Селяне, как правило, не скоро адаптировались в городских условиях, большинство из них, вполне дееспособных, почитаемых в родной деревне, здесь оказались на подсобных, низкооплачиваемых работах, «так себе, подай-принеси». А совхоз, хотя и старался отбирать из предлагавших ему услуги только трудолюбцев и трезвенников, все равно пропустил через себя немало бегунков, различного перекачки-поля.

— Кабы скороспешно все сделали — большинство бы наших здесь осталось. Отличные были ребята! А нынешние что? Без корней, без традиций. Настоящий коллектив из них еще ковать да ковать, гигантовский патриотизм еще воспитывать да воспитывать...

Это говорит Минахмет Мулахметович Мулахметов, тот самый председатель сельсовета, что был моим спутником в бывших Новых Гардалях, объехал со мной другие деревни, тоже подлежащие сносу. Уж он-то в «Гиганте» патриот из патриотов! Здесьний уроженец, побывавший рядовым и бригадиром, агрономом и заместителем директора, он знает всех и каждого, их родителей и дедов — тех, кто устанавливал здесь советскую власть, создавал колхозы, вошедшие позже в «Гигант», выводил «Гигант» в передовое, прославленное на всю Татарию сельскохозяйственное предприятие. Селянин до мозга костей, он и своих детей воспитал в любви к родной земле: сын работает главным инженером в соседнем совхозе, старшая дочь, экономист по образованию, как и отец, возглавляет народную власть в дальней деревне, младшие после окончания пединститута собираются преподавать в своей совхозной школе.

Больно ему видеть, как люди, выросшие на земле, преданные ей, вынуждены «рвать корни». В этом году начали сносить Старые Гардали, а там в 100 дворах — 108 совхозных работников, из них человек 30 — прекрасные механизаторы. На очереди и Сарайли, тамошние все пока на совхозных работах — трактористы, животноводы. Где они окажутся после сноса?

— Жилой фонд поселка Новый готов лишь наполовину. Если строители поторопятся, будет куда переселять. Но...

Но дело, оказывается, не только в квартирах как таковых. Минахмет Мулахметович видит здесь и другую, пока неразрешимую заковыку. В городе переселенец получит собственное жилье, так сказать, дар государства безвозмездный и неотторжимый. Совхоз предоставит ему квартиру ведомственную: куда работаешь — она твоя, подайся на сторону — будь любезен освободи. Многие бы согласились, подобно бывшему саперу, перенести свои добротные избы в тот же поселок Новый, если бы им посодействовать в перевозке, да подвести к этим избам воду, газ, тепло, да помочь пристроить к ним теплые туалеты, душевые.

И дешевле было бы, чем возводить для всех новые дома, считает Минахмет Мулахметович, и была бы у людей «до конца дней надежность».

Такое же мнение высказывали мне и некоторые другие товарищи, деревенские и районщики: поставить на окраине Нового, вдоль лесной опушки целую улицу таких домов, она бы не только не испортила вид поселка, но, пожалуй, оживила бы его кирпично-панельное однообразие. Однако официальная точка зрения сводится к тому, что Новый задуман и строится как поселок экспериментальный, поселок-эталон, и всякое отклонение от проекта лишит его цельности и красоты. «Зачем на новое место переезжать в старых портках?» — так, с чисто «купецкой» щедростью отверг идею переноса домов один из собеседников. «Замусорят всё, скотину там разведут, навоз, солому», — брезгливо заметил другой.

К слову, о навозе и соломе. У Минахмета Мулахметовича на этот счет свои соображения.

— До «великого переселения», — рассказывает он, — новогардалинцы имели и огороды и скотину, продавали государству ежегодно шестьдесят — семьдесят центнеров мяса, до ста центнеров молока, более ста тонн картофеля, ну и, разумеется, кормились сами. Теперь за молоком и мясом, за морковкой и луковицей они идут в городской магазин. Сельчане, прибывшие в «Гигант» из других районов Татарии, из далеких краев и областей России, тоже порушили свое прежнее подсобное хозяйство, а новое заводить не торопятся. Даже птицу увидишь далеко не в каждом дворе. Молоко им по потребности продает совхоз. Прибавили государству иждивенцев, — сокрушенно заключает разговор Мулахметов. — И еще добавим, если будем так не по-хозяйски сносить да строить...

Казалось бы, частный случай — создание одного поселка для жителей сносимых деревень, а сколько больших и малых проблем раскрывается через него! Проблем не одной лишь Пригородной зоны КамАЗа, далеко не только ее болячек.

Как отметил на июльском Пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, «в сельской местности за прошедшие 13 лет построены жилые дома общей площадью 450 млн. кв. метров» — столько же, сколько в предвоенном 1940 году составил жилой фонд всех городов нашей страны. Особенно возрос размах жилищного строительства на селе в этой, десятой пятилетке — сносятся тысячи неперспективных населенных пунктов, в новые, благоустроенные поселки переселяются сотни тысяч крестьянских семей. Только в Нечерноземье за пять лет труженники деревни получают ключи от 440 с лишним тысяч новых квартир.

Масштабы строительства, а стало быть, и масштабы капитальных вложений обязывают точно знать, строго рассчитывать: что строить, где строить, как строить? Споры об этом ведутся уже давно, много пролито по сему поводу чернил, много сломано публицистических копий, то бишь перьев. А тем временем...

Тем временем повыврастали кое-где похожие на близнецов, безликие поселки так называемого городского типа со стандартными домами, никак не учитывающими специфику сельской жизни — без подвалов, без погребов, без надворных построек для содержания скота и птицы (все это новосел пристраивает потом, лепит кое-как из подручных материалов, отчего поселок превращается в нелепый гибрид — «уже не телега, еще не автомобиль», как говаривали в свое время Ильф и Петров, правда по другому поводу). Некоторые поселки из прежних обжитых уголков близ реки, озера, леса вынесены на голые места, на большаки, где много пыли и мало или совсем нет зелени. Приусадебные участки сельчан часто совсем не отведены либо отведены далеко за чертой агрогорода. Притом строительство новых перспективных поселков страшно растягивается, а жители неперспективных деревень, лишённые элементарных удобств, не ожидая, когда их пригласят в новые дома на центральных усадьбах, подаются в ближайший райцентр или в дальние города, на большие стройки. В том, что наше село ежегодно геряет, поставляет в город миллион человек, несомненно, сказываются

наряду с другими причинами также промахи и изъяны жилищного строительства. Вот почему с особым удовлетворением встречены селянами слова Леонида Ильича, сказанные на июльском Пленуме: «Очевидно, сельское строительство следует ориентировать на обеспечение семей, как правило, отдельными благоустроенными домами с приусадебными участками и надворными постройками для домашнего скота, птицы и личного транспорта».

В Пригородной зоне КамАЗа строится не только поселок Новый, отнюдь нет. Существуют здесь, как и во многих других местах, неперспективные населенные пункты, а следовательно, существует и проблема переселения людей в крупные благоустроенные поселки. В Тукаевском районе, например, из 62 населенных пунктов перспективными значатся всего 15, 7 считаются пунктами ограниченного развития, а 40 объявлены неперспективными. 40 деревень, в которых проживает более двух третей населения! В них, этих «неперспективных», не разрешается строить новое жилье, возводить общественные постройки, объекты культуры. Другими словами, они должны исчезнуть. Не знаю, как в других местах, а здесь, на мой взгляд, проектировщиками допущены явные излишества, не хозяйский, легковесный подход к делу. Широким жестом обречены на снос не только мелкие, обезлюдевшие деревеньки, но и деревни крепкие, многолюдные, жизнедеятельные.

На кукурузном поле (в высоченных ее стеблях не то что человека — всадника не различишь) познакомилась я со знатным звеньевым Иваном Владимировичем Ульяновым. Соскочил с комбайна этакий богатырь с улыбкой во все лицо; в первый момент показался он мне человеком покладистым, сговорчивым, из тех, про кого говорят: добряк, рубаха-парень. А побеседовали — э-э нет, совсем он не таков!

Оказалось: назначали его как лучшего механизатора бригадиром комплексной бригады, так он такую дисциплину и требовательность завел, такую неприступность к малейшим упущениям в работе, что со всеми соседями чуть было дружбу не растерял, со всеми родичами не рассорился. И вот уже семь лет работает «на полной независимости и личной ответственности», выращивает на 200 гектарах кукурузу. Да какую! Ульяновское поле при любых погодных условиях дает урожай на 100—120 центнеров выше, чем в других бригадах. Одно это поле обеспечивает зеленой кукурузой и силосом молочнотоварную ферму в 700 голов.

— Где ферма? Да во-он она, за деревней. А деревня, Старая Ольховка, вот она, сразу за полем, видите — вся в зелени? Такая красивая! Семьдесят дворов в ней, более ста трудоспособных, одних механизаторов двадцать да столько же помощников. Какой же смысл нас сносить? Не вижу никакого резона. У меня, скажем, новая пятистенка, обшитая, крашеная, двор весь забетонированный, гараж из железобетона. Свой сад, огород, корова, овцы, свиньи, птица. И у других примерно то же. Все мы тут и при деле и при доме. Колхоз на центральной усадьбе молочный комплекс строит, ему потребуются дополнительно люди, для них пусть и готовит жилье.

Но колхоз имени Калинина, в который одной из бригад входит Старая Ольховка, ведет строительство не только на центральной усадьбе. И в этой «неперспективной» деревне он, правда под видом капитального ремонта, ежегодно вводит в строй то коровник, то кормоцех. Недавно «подпольно» поставили детские ясли. На очереди начальная школа. Да, и она тоже, так как люди вопреки прогнозам не разбегаются, рождаемость растет, старших ребятшек возят на занятия на центральную усадьбу, а малыши уж пусть на месте, при родителях учатся.

Так — разумно, истинно по-государственному — решают тукаевцы проблему «неперспективных» населенных пунктов. За небольшим исключением во всех этих пунктах есть радио, электричество, а в некоторых — бригадных центрах — и телефон. Везде, где это возможно и целесообразно, реконструируют, модернизируют и укрупняют животноводческие фермы (на это июльский Пленум

обратил особое внимание!), приводят в порядок пусть небольшие и непарадные клубы, где можно созвать собрание, посмотреть кинофильм или выступление художественной самодеятельности.

И еще тукаевцы активно, напористо строят дороги. Все населенные пункты района связаны между собой асфальтобетонными артериями. Из любой деревни до Набережных Челнов можно доехать на автобусе за тридцать — сорок минут. С любого поля, любой фермы можно вывезти продукцию в любое время года. А что значит для села хорошая, круглогодично действующая дорога? Специалисты подсчитали: каждый рубль, вложенный в строительство автомобильной дороги, оборачивается экономией в 4 рубля 30 копеек. Это рост производства и снижение потерь сельскохозяйственной продукции. Это доступность для селянина многих городских благ — магазина, стадиона, театра, — а ее не выразишь, не исчислишь никакими рублями. Все эти меры в значительной степени способствовали тому, что район, несмотря на громкую, всенародную стройку на его территории, сумел сохранить и даже несколько приумножить сельское население.

Если глубоко и тщательно разобраться, возможно, и в Нечерноземье не всякая деревня, объявленная неперспективной, на самом деле является таковой. Пожалуй, и там какие-то населенные пункты, обреченные на снос, следует не сносить, а привносить в них современные удобства и всяческое благоустройство. Потому что это не просто пункты, точки на географической карте — это наша большая и слабая история, наша исконная среда обитания, наше национальное своеобразие.

Однако и неперспективными населенными пунктами не исчерпываются проблемы жилищного строительства на селе. Бывают и такие ситуации, когда поселок в высшей степени перспективный, деньги у заказчика имеются, подрядчик надежный, готов строить и много и хорошо, а строить... как бы это сказать?... — невыгодно и даже вроде бы бесполезно.

Об этой парадоксальной ситуации поведал мне Петр Фомич Филиппов, директор совхоза «Ворошиловский».

Но прежде о нем самом. Давно я к нему присматриваюсь, еще с первого приезда. Уж очень понравился он мне своей четкостью, деловитостью, прямолинейностью в суждениях и в то же время необычайной скромностью. Был он в ту пору заместителем директора челнинского треста совхозов. «Прирожденный аппаратчик. Идеальный зам», — пометила я тогда в своем блокноте.

А он, как теперь выяснилось, тяготился и своим «торчанием в кресле» и ролью «идеального зама». Он — в прошлом директор конесовхоза, одного из лучших в России, директор самого первого в Татарии экспериментального совхоза-техникума — душою рвался пусть к небольшой, но самостоятельной должности, чтоб самому, не из-за чьей-то спины и действовать и нести ответ за сделанное.

И вот я вижу его в совхозе. Совхозе, насколько мне помнится, трудном, запущенном.

— Как дела? — спрашиваю.

Филиппов разводит руками и помаргивает детскими голубыми глазами в реденьких светлых ресницах:

— Что сказать? Уж и не знаю... Крутимся, вертимся помаленьку...

С нами в директорском кабинете ревизор из Казани, строгого обличья мужчина в старомодном костюме-тройке и при галстукe, несмотря на жару.

— Позвольте, уважаемый, — голосом самой истины произносит он. — Совхоз до вас работал с нарастающим убытком. Вы первый же хозяйственный год закончили с прибылью... — он мельком взглядывает в свои записи, — с прибылью в триста семьдесят три тысячи рублей. И стали победителем в социалистическом соревновании среди совхозов Российской Федерации.

— Как вам это удалось?

Филиппов смущенно улыбается

— Да люди всё, люди...

Не без помощи министерского ревизора Петр Фомич рассказывает. До него в совхозе кадры совсем не держались. Не было доярок — их возили из Набережных Челнов, с городских предприятий, неделю одна партия работает, неделю другая, «только коров портили». Трактористы, комбайнеры, шоферы тоже из города.

— Убранные гектары удвоят, тонно-километры утроят, каждая силосная яма, не поверите, в тридцать две тысячи рубликов обходилась.

Как привлечь, чем удержать людей? Дать им квартиры. Как быстро дать квартиры? Шефом у совхоза Челнинский домостроительный комбинат, ему, как говорится, и карты в руки. Да много ли сделаешь в порядке шефской помощи? Вот Петр Фомич, по его выражению, и подкатился к Марату Шакировичу Бибишеву, директору комбината: ты мне на прополку-уборку-вывозку людей не давай, эти работы мы как-нибудь без вас осилим, а твои ребята пусть у нас жилье строят, и нам польза, и вам прямая выгода — то непроизводительно дни и недели тратили, а тут по специальности станут работать, каждый час на план, на процент...

Марат Шакирович, седовласый красавец с фигурой и походкой завязанного теннисиста, знакомясь с приезжими людьми, обычно говорит о себе с великой гордостью: «Я парень деревенский, первый «фордзон» в районе водил. И в душе остаюсь все тем же парнем». Это не декларация, не поза, как может показаться, — он действительно верен своим деревенским корням, любит строить для села, много на селе строит. А на началах, предложенных Филипповым, тем более охотно. За короткий срок бибишевские «ребята» уже целую улицу в «Ворошиловском» поставили; я ходила по этой улице, заходила в эти дома, прекрасные дома тех же самых серий, что и в Набережных Челнах, только этажей поменьше, от трех до пяти. Не ожидая документации от замешкавшегося генерального заказчика — Министерства мелиорации Татарской АССР, домостроители сами и проекты готовят и привязку делают.

Большой должен быть поселок, на 3 тысячи человек, стоимостью в 12 миллионов рублей. Но... Но тут-то как раз и возникает та самая парадоксальная ситуация: и нужно, и можно, и невыгодно, и почти бесполезно.

Дело в том, что по генеральному плану совхозный поселок «посажен» на существующее село. Та улица, которую воздвиг домостроительный комбинат, единственная, ставшая на пустом месте. Каждый следующий дом придется «сажать» на чьи-нибудь избы, сарай, бани, сады, огороды. А вот хозяин этой собственности в одном случае вообще не хочет переезжать в ведомственный дом, в другом случае согласен занять квартиру со всеми удобствами, однако требует за свои сносимые владения 4—5 тысяч рублей, которые проектами и сметно-финансовыми расчетами совсем не предусмотрены, откуда их Филиппову взять? (А сносить-то ведь не дом, не два — более ста «списаны в расход»!) Самое же главное: потенциальный этот жилец совхозного поселка работает совсем в другой организации (таких — мелких и мельчайших — организаций на территории села почти 20, ни одна из них не имеет солидных средств на жилищное строительство и в кооперацию с совхозом вступить не в состоянии).

— Так что же, — вопрошает Петр Фомич, — что же мне, для чужого дяди строить? А куда я своих работников селить буду? Куда?!

И лицо его от возмущения заливается краской, и виднее становится шрам на лбу — памятка войны.

Позже я говорила на эту тему с другими директорами совхозов, председателями колхозов, и почти всюду генпланы новых поселков составлены по такому же принципу: ставишь новую школу — ликвидируй десяток подворий, желаешь иметь Дом культуры — убирай добротный магазин или баню... Могу понять, считаю существенными доводы проектантов: беречь землю, не растягивать коммуникации. Ну а что прикажете делать Петру Фомичу? Как ему и тысячам других Петров Фомичей в тысячах других деревень и сел — как им-то в подобных ситуациях выходить из положения?

Проблемы жилищного строительства в Пригородной зоне да и вообще на селе сложны и многогранны (здесь названы далеко не все, лишь самые, на мой взгляд, значительные). А если коснуться возведения производственных, административных, культурно-бытовых объектов — там эти проблемы, без преувеличения, встанут настоящим частоколом.

Нет, я совсем не о технологии строительства — сейчас на строительных площадках сборный железобетон, что называется, «правит бал» и монтировать все эти плиты, блоки мы уже научились, где надо и не надо водружаем тяжеленные металло- и бетоноемкие конструкции. Хуже или лучше, проворно или черепашьи темпами, «под ключ» или в виде «недостроя» — это уже иное дело. Об этом мы тоже поговорим, но как о факторах производных, вторичных. На сей раз речь о первопричинах.

Впервые в Набережных Челнах я была в 1972 году — если не в «медовый» месяц, то, по крайней мере, в «медовые» годы создания Пригородной зоны КамАЗа. Все были на подъеме, все испытывали бурный восторг: такие перспективы! такие возможности! И в самом деле: району на девятую пятилетку было отпущено капитальных вложений столько же, сколько на все предыдущие пятилетки, вместе взятые.

В колхозах и совхозах, в районных организациях Пригородной зоны, в бывшем тресте овощных и молочных совхозов начали считать да подсчитывать: сколько всего на эти деньги можно построить? Получалось — много. Однако не столь много, сколько гребовалось для того, чтобы подтянуть пригород до уровня потребностей КамАЗа. Ведь нужны были и животноводческие помещения для растущего поголовья, и гаражи, и мехмастерские для поступающей техники, и склады для минеральных удобрений, и всяческие зерноовощекартофелехранилища, и артезианские скважины. Но притом нужны и клубы, и школы, и дошкольные учреждения, и медпункты, и бани, и торговые центры.

За девятой должна была последовать десятая, а затем и одиннадцатая пятилетки, но о дальнем завтра как-то не думалось, хотелось все сделать разом, сейчас.

Им ли одним этого хотелось? Нет, с таким же нетерпением, с таким же стремлением быстрее залатать все прорехи планировали строительство и в некоторых других областях. В докладе на июльском Пленуме ЦК Леонид Ильич Брежнев отметил: «В результате распыления капиталовложений по большому числу строек планы ввода в действие мощностей в сельском хозяйстве не выполняются, что ведет к росту незавершенного строительства». Вот и в Челнинском районе (тогда в него входили нынешний Тукаевский район и часть Заинского) набралось 378 объектов по совхозам и 407 по колхозам. В некоторых колхозах и совхозах насчитывалось до 50, 70 объектов. А ведь такой объект, как, скажем, КРС (ферма крупного рогатого скота), включает в себя коровник, телятник, кормоцех, изолятор, так что общее число помещений вместе с жильем превышало по району тысячу. Вот ведь как размахнулись! Если добавить к этому объекты большой сельской индустрии, размах окажется еще более впечатляющим. Например, за строкой «тепличный комбинат» значится более 400 строений.

А кто эти помещения должен был строить? В основном Камгэсэнергострой. Тот самый, что возводил автозавод со всеми его гигантскими цехами и службами, и одновременно Камскую ГЭС, и одновременно город Набережные Челны.

Сельские объекты были распределены по строительным подразделениям треста. Для таких китов, как Промстрой, Металлургстрой, Гидрострой. Теплоэнергострой, Жилстрой, село составляло едва лишь один-два процента от общего объема работ. Ну и внимание к нему было соответствующее. Несмотря на то, что первый заместитель генерального директора Камгэсэнергостроя Е. Н. Батенчук держал сельские объекты на постоянном контроле, а горком партии оказывал на строителей непрерывный нажим, объекты эти строились со скрипом. Годовые планы, правда, неизменно выполнялись и даже перевыполнялись, но, как правило, рывком, в последний месяц или за счет «земли» (о благословенные кубо-

метры). Почти ни один объект не был сдан своевременно, многие из них превращались в «долгострой».

Листаю старые блокноты: интервью, выписки из местных газет, цифры из официальных документов. Ага, вот они: клуб по нормам Госстроя должен сдаваться максимум за двенадцать месяцев — в совхозе «Новотроицкий» строился четыре года, в совхозе «Татарстан» строится пятый год. Для фермы КРС нормативный срок восемнадцать месяцев — их тянули, как правило, по три-четыре года... Фруктоовощехранилище строится четыре года, заказанные для него импортные сборно-разборные конструкции стоимостью 2,8 миллиона рублей два года валяются без применения...

Справедливости ради следует сказать: «долгострой» подчас вырастали отнюдь не по неосознанности или нерадению строителей. Они, эти «долгострой», частенько были заведомо запрограммированы. Взять те же молочнотоварные фермы. На 1974 год, например, их было «забито» в план сразу 5, а денег на них отпущено миллион рублей, то есть по 200 тысяч на каждую. Стоимость фермы 1,5—1,8 миллиона рублей. Ну-ка прикиньте, сколько лет строителям «танцевать» вокруг каждой фермы при подобных ассигнованиях?

А некачественные проекты? А бесконечные их доделки и переделки, согласования и пересогласования? А неизбежные при этом свертывания работ, переброска людей и техники на другие строительные площадки?

О проектах особая речь, к проектным организациям, прежде всего Татгипросельхозстрою и Татколхозпроекту, особые претензии. Много на них у заказчиков, у строителей обид и справедливых и не совсем справедливых. При навалившемся на них объеме работ, при минимальных, подпирających сроках и постоянном «давай-давай!» они буквально зашивались, сдавали документацию с опозданием, «шуровали первое, что попадет под руку», «втыкали несусветное старье». А уж с привязкой объектов что творилось! Там торговый центр «носятся» на воду, на болото, тут очистные сооружения «водрузят» чуть ли не на кладбище. И снова споры, переделки, задержка работ, задержка ввода объектов, которые в иных, оптимальных условиях могли бы уже действовать, давать продукцию, окупать затраты.

Заказчик — колхоз, совхоз — рад до смерти, что у него наконец развернется стройка, не решается «привередничать»: это мне нравится, а это нет («Не хочешь — передадим объект другому, желающих много!»). Да, по правде сказать, зачастую и не умел разобраться в этих мудреных кальках и синьках — что там хорошо, что плохо, что современно, а что давным-давно морально устарело. И за качеством, как правило, усмотреть не мог. Механик, агроном, ветеринар по образованию — директор совхоза, председатель колхоза мало смыслили в строительных делах и вникнуть в них, по сути, не имели возможности: им ведь надо было наращивать, притом наращивать бурными темпами, урожаи, поголовье, надой молока, продажу сельхозпродукции. И совсем уж они терялись, попадали впросак в вопросах комплектации строительными конструкциями и технологическим оборудованием: то им, бедолагам, занарядят трубы не того сечения или котлы не той мощности, которая требуется, то пришлют не те провода, не те вентиляторы.

Районный и трестовский отделы капитального строительства — малочисленные и укомплектованные далеко не самыми сильными специалистами (ставки у них почти вдвое ниже, чем у строителей!) — не в состоянии были с должным тщанием «процедить» каждый объект, уследить за каждой деталью. А если где-то и усекали изъяны, существенно изменить положение не могли. Бывший зам-пред райисполкома В. И. Корольков, ведавший в 1972 году сельским строительством, рассказывал мне:

— Ездили мы в Пензенскую область, смотрели молочные комплексы. Были изумлены, да нет — просто ошарашены: сказка! чудо! Великолепные помещения с шатровыми крышами, поднятыми над обычными перекрытиями, наверху хранится сено, как, бывало, у крестьянина на сеновале, в помещениях тепло, сухо, с потолка не каплет. Прекрасные асфальтированные выгульные площадки и кор-

мовые дворы — тоже чистота и порядок. Совершенная механизация, абсолютно никаких затрат ручного труда. Доярочки в белых халатах, в целлофановых чулках.

Но это чудо, эта сказка была, увы, не для них. И Корольков и другие районные работники уже тогда понимали: делается не то, что надо. Что им выдавали проектанты под заманчивым названием «молочный комплекс на 800 голов»? Четыре отдельно стоящих коровника, малонадежная кормораздача и такое же навозоудаление, трудоемкое привязное содержание, устаревшая мехдойка.

Однако попытки пересмотреть проекты долгое время успеха не имели. Впрочем, как видно, они не были особенно настойчивыми, эти попытки. Существовала явная мода на комплексы, за энергичное их строительство хвалили, за отставание корили, называли людьми, «не понимающими момента». И хозяйства, которые «поняли», выбрали комплексы раньше других, они как раз и оказались в накладе, им тут же пришлось ставить свои новостройки на реконструкцию.

Такая же спешка была проявлена при создании комплекса «Татарстан» на 54 тысячи свиней.

С кем сегодня о проекте комплекса ни заговоришь, все твердят одно: безобразный, в корне порочный, архаичный, не несущий в себе ничего современного ни в технологии строительства, ни в технологии производства. Более того, из проекта «выпали»... что бы вы думали? — очистные сооружения. Вместе с ними были «забыты» переходные галереи из корпуса в корпус, электроподстанция, автодороги, гараж, мехмастерские и многое другое, без чего эксплуатация комплекса совершенно невозможна. После всех изменений и дополнений, сделанных в ходе строительства, а частично и в процессе эксплуатации, стоимость комплекса так подскочила, что первая его очередь «слопала» почти все деньги, отпущенные на полный объем работ. Сейчас подрядчик строит вторую очередь (уже в долг — не бросать же начатое!), а дирекция комплекса испрашивает средства на покрытие затрат... опять-таки под предлогом реконструкции.

Директора комплекса Анатолия Дмитриевича Маркова я знавала до того, как он возглавил этот объект. Молодой, румяный, готовый пошутить и посмеяться, он за каких-нибудь четыре года превратился в хмурого, задержанного человека. Ведь, кроме неурядиц со строительством, он каждодневно тянет груз неурядиц эксплуатационных.

— Белые халатики? Автоматика? Телемеханика? — с горечью переспрашивает он. — Где-то должны быть, наверняка есть. А у нас без метлы и лопаты не обойдешься... Добавьте к этому, что корма для сего прожорливого поголовья мы доставляем машинами и не из-за околицы — за сто восемьдесят километров. Навоз с территории вывозим тракторами. А нашего накопителя хватает только на сутки. И вот, представьте, распутица, гололед, снежные заносы... Что тогда у нас творится? Представляете?

Пример печальный, но в то же время и несомненно поучительный. В высшей степени поучительный!

Поучительным он явился прежде всего для самих работников Пригородной зоны от председателей колхозов, директоров совхозов до районщиков. Переболев, будто дети корью, «комплексоманней», они куда с большим разбором относятся теперь к предлагаемым им проектам, требуют тщательной экспертизы, сами придирчиво смотрят: а что из того или иного проекта получилось у соседей? удобно ли в эксплуатации? быстро ли окупится? И не спешат «ухватить» комплекс, не создав всех предпосылок для эффективного его использования. А то ведь как вышло, скажем, в совхозе «Ильбухтинский»? Комплекс-то они — первыми в районе! — запустили, а квалифицированных животноводов для его обслуживания не подготовили и со стороны перетянуть не смогли — не было жилья; устойчивой кормовой базы тоже создать не сумели, что ни зима — просили займы у соседей, прежде всего у запасливого «Гиганта».

Ну и какова эффективность этого, с позволения сказать, комплекса? А она минусовая: продуктивность коров резко снизилась, производство молока далеко отстает от роста поголовья.

Этой же «корью», с такими же «осложнениями» переболели не только работники Пригородной зоны КамАЗа. «Правда» в статье «Молочный цех страны» в марте 1977 года писала:

«В ряде районов почему-то сначала проявляют заботу о сооружении помещений, оснащении их техникой и лишь затем приступают к организации фуражной базы, комплектованию стад... В Нечерноземной зоне РСФСР, например, в 1974—1975 годах в совхозах создано 84 молочных комплекса. Однако мощности их по численности коров освоены на 75, а по объему производства на 50 процентов. Да и продуктивность невысокая... на каждый литр молока тут затрачивают значительно больше средств, чем на обычных фермах совхозов».

Кормовая база явилась ахиллесовой пятой не только для молочных комплексов колхозов и совхозов. Создание крупных государственных предприятий тоже не всегда увязывалось с возможностями местного кормопроизводства и местной комбикормовой промышленности, с темпами ее развития. Корма-то за сто восемьдесят километров возит не один лишь свинокомплекс, но и птицефабрика на 400 тысяч кур-несушек. А строительство комбикормового завода в Набережных Челнах затянулось на многие годы.

О птицефабрике и ее соседу — тепличном комбинате мощностью 30 гектаров закрытого грунта стоит сказать особо. Не только потому, что это наряду со свинокомплексом крупнейшие предприятия сельской индустрии в Пригородной зоне, но и потому, что строились они на принципиально иной основе.

Начать с того, что Марков долгое время ведал строящимся комплексом, оставаясь директором совхоза. Ну а в совхозе известный круговорот: сев, уборка, опоросы, сдача продукции. Так что многомиллионным комплексом Анатолий Дмитриевич успевал заниматься по касательной.

На тепличном комбинате и птицефабрике дирекции строящихся предприятий были созданы на стадии разработки и утверждения проектов. Директорами были назначены Равиль Мифтахович Низаметдинов и Мансур Загидуллин Хуснуллин — оба руководителя опытные, бывшие начальники производственных управлений в крупных свеклосеющих районах Татарии. Между ними — районами и райончиками — много лет шло гласное и негласное соревнование: кто лучше закончит хозяйственный год. Здесь Хуснуллин и Низаметдинов снова оказались соперниками: кто первый достроит свой объект, кто раньше даст челнинцам продукцию, у кого отдача от вложенных средств окажется большей.

При первом нашем знакомстве в 1974 году они поразили меня своей непохожестью (громоздкий, громогласный, напористый Низаметдинов и «субтильный», деликатный, обходительный Хуснуллин), порадовали сдержанной в проявлениях, но искренней дружбой. Помогая один другому советами, посмеиваясь над своими незадачами (у кого их нет в начале большого незнакомого дела?), они, помнится, даже взяли на себя шутовское «обязательство»: «Если я первый выращу огурец — ты ставишь бутылку коньяка, если твой цыпленок раньше выльется — коньяк за мной...».

Но до огурца и цыпленка, а следовательно, и до коньяка, казалось, ой как далеко! И сами должности этих директоров кой-кому представлялись ненужными, липовыми.

— Хорошенькое дельце, — нашептывал мне в ту пору один из районных работников, — ни тебе штата, ни тебе плана, получай зарплату да поплевай в потолок.

А им поплевывать, право же, было некогда. И вертелись они, по избитому, но точному выражению, как белка в колесе: глубоко, во всех деталях изучали проекты, консультировались по ним, смотрели опыт родственных предприятий, добивались, чтобы все лучшее, современное, переносилось на их объекты (хотя, надо признать, и у них кой-какие изъяны проектирования начали вылезать во

время строительства, и у них допущено некоторое удорожание, но несравнимо меньшее, чем на свинокомплексе). И комплектацией оборудования эти директора имели возможность заниматься вплотную, дотошно, не полагаясь на то, что им где-то подберут и выделят, — летали в Москву в министерства, главки, «промы», «снабы», добирались до предприятий-поставщиков.

А еще они заранее, пока фундаменты не заложены и стены не возведены, формировали коллективы рабочих и специалистов. Формировали по методу, оправдавшему себя на КамАЗе: хочешь строить автомобили — прежде построй свой цех. И тут в отделах кадров каждому приходящему говорили: хочешь быть овощеводом, цветоводом, оператором птичника — поработай вначале трактористом, бульдозеристом, маляром, штукатуром, хочешь быть работником высшей квалификации — окончи курсы, прими участие в монтаже и пуско-наладке оборудования.

Метод оправдал себя на все сто процентов: люди, поднимавшие свои предприятия от нуля, с первого колышка, теперь составляют костяк рабочих коллективов. У этих людей явные преимущества: все они уже получили или на днях получат жилье. И не какие-то временки — комфортабельные квартиры. И не где-нибудь — в самих Набережных Челнах. Низаметдинов и Хуснуллин рассудили разумно: зачем строить свои микророселки на отшибе, если можно разместить работников в городе, рядом с яслями и школами, магазинами и рынками, кинотеатрами, стадионами, Дворцами культуры? На работу пока подвозят своим транспортом, впоследствии сюда будет подходить и городская.

Не скажу, что все моим друзьям-соперникам далось легко и просто. Не скажу, что и сегодня все проблемы уже решены, — есть и трудности и неувязки, особенно на птицефабрике. Но главное сделано: предприятия сдавались в эксплуатацию ритмично, поэтапно, начинали реализацию продукции раньше предусмотренных сроков. Так, тепличный комбинат до окончательной сдачи объекта в эксплуатацию вырастил и продал населению тысячи тонн овощей, получив несколько миллионов рублей прибыли. Зимние и ранневесенние огурцы, помидоры, зеленый лук комбинат дает не только Набережным Челнам, но и Нижнекамску, Елабуге, Заинску, Бугульме, Альметьевску. При достижении полной проектной мощности в этом году комбинат сможет обеспечивать тепличными овощами всю эту округу. А в 1982 году он твердо намерен окупить все вложенные в него затраты.

Вот они, наглядные преимущества хорошо организованного крупного специализированного предприятия на индустриальной основе!

Впрочем, узкоспециализированное предприятие может быть и не таким масштабным, не таким стеклянно-бетонным и тем не менее высокорентабельным. Побывала я в откормочном совхозе «Набережночелнинский». Вроде бы не на что смотреть: скромные зимние помещения, частично переоборудованные из свинарников, простейшие (но механизированные!) откормочные площадки, небольшой комбикормовый заводик, построенный хозспособом и работающий, к слову, на собственных, не привозных кормах...

— За хоромами чего гнаться? — напористо, словно возражая давнему упорному оппоненту, говорил директор совхоза Николай Степанович Мордвинов. — Русский мужик давно определил: красна изба не углами... В животноводстве та же картина. Стены никого не насытят, хоть ты их из золота сделай. Главное — достаток кормов и научная технология содержания.

А технология содержания здесь такова, что среднесуточный привес животных приближается к 900 граммам, в полтора-два раза превышая привесы в хозяйствах, откармливающих свой скот «самостоятельно». Расходы кормов ниже плановых, себестоимость также. Почти весь скот сдается выше средней упитанности. Совхоз за два года окупил все сделанные затраты, вернул государству всю ссуду.

Рассказывали мне и о заинском межколхозном объединении по откорму крупного рогатого скота. В создание его вложено 3,9 миллиона рублей, прибыль за четыре года составила 4,6 миллиона. Объединение продает государству при-

мерно 80 процентов мяса от общерайонной реализации. Успешная его работа позволила району превратить эту отрасль из убыточной в прибыльную.

К сожалению, подобных хозяйств в Пригородной зоне (как и вообще в Татарии, да и не только в ней) не так уж много. Углубленная специализация внедряется медленно, робко. В чем причины? Тут и трезвые опасения, как бы не наломать дров. Тут и не до конца решенные вопросы взаиморасчетов между партнерами. Тут и традиционная приверженность к своему, теперь уже не личному, а колхозному, совхозному: наши телята, наш догляд, и выручка вся наша, чего делить ее с кем-то?

Ну, с откормом дело все-таки сдвинулось с места, пошло. А вот с направленным выращиванием телочек...

Появилась, оказывается, в современной деревне необходимость и в такой специализации. Небольшие фермы для своего пополнения, или «ремонта», сами, худо-бедно, отбирали от лучших буренок десяток-другой телочек. Крупному молочному комплексу их требуется сотни две-три. Для нескольких комплексов — целое «ремонтное» стадо. И не завезенное в спешке из дальних краев и областей, не закупленное «для счета хвостов» по соседним дворам, а разумно отобранное и воспитанное.

— Взрослую-то корову на полную механизацию не поставишь, не привыкнет она, не приспособится. Для комплекса телочку надо готовить сызмальства, — объяснял мне Петр Фомич Филиппов.

Именно на его совхоз и была возложена эта задача. Со временем «Ворошиловский» станет давать для молочных комплексов района до 3 тысяч племенных нетелей и первотелок с гарантированными надоями. А начинали с малого: брали у колхозов и совхозов месячных и даже двухнедельных телочек с хорошей родословной. То есть хотели брать, а им не давали — дескать, перепутаете, перепортите, вернете взамен какое-нибудь барахло.

Не без нажима сверху набрали первую партию. Брали не чохом, не «по головам и хвостам» — под именами собственными да с указанием отца-матери. А месяцев через восемь пригласили представителей хозяйств на «родительский день». Петр Фомич так и сказал — «родительский день» и даже не улыбнулся: для него эти телочки и впрямь как девочки малые.

— Ну, увидели: телки чистые, справные, аж лоснятся. И чудные такие, резвые, как первоклашки на перемене...

Теперь от предложений отбоя нет. И хотя настоящий комплекс по выращиванию племенных нетелей еще только строится, берут телочек. Старые помещения подремантируют, промажут, побелят — и берут: не до хвостов, дело нужное, никак не может ждать...

За это направление совхозной специализации Петр Фомич спокоен. Зато второе, вернее первое, если считать по объему, вызывает у него озабоченность и беспокойство. «Ворошиловский» решено превратить в крупнейшее предприятие по производству овощей на индустриальной основе. Со временем здесь будет 1200 гектаров поливных овощных плантаций, 48 тысяч тонн огурцов, помидоров, капусты, лука, зелени будут в сезон получать отсюда челнинцы. Яростный сторонник созидания, обновления, умножения народных богатств, Петр Фомич о сияющей этой перспективе говорит с тяжким вздохом: прекрасно, только, ради бога, не так, как сейчас... Сейчас совхоз имеет 350 гектаров, реализует каких-нибудь 5—6 тысяч тонн, но реализует с таким трудом, с такими мучениями!

— За день до того навозмуцаешься, что и ночью не заснешь, — признавался Петр Фомич.

В иных выражениях, но такое же точно признание слышала я и от Назипа Зиятдиновича Зиятдинова, директора прославленного совхоза «Гигант», Героя Социалистического Труда. Этот совхоз на овощах специализировался несколько раньше, у него опыта побольше и урожаи повыше, однако трудностей с реализацией не меньше, а, пожалуй, в соответствии с валом и больше, чем у ворошиловцев. На бесчисленных августовско-сентябрьских совещаниях, планерках и

штабах по заготовке овощей наслышалась я немало сетований на перебои с тарой, на нехватку баз хранения и переработки. Еще больше услышишь там взаимных обид и упреков. Заготовители жаловались: поставляете овощи неритмично, продукция не имеет товарного вида. Селяне парировали: когда много везем, отказываетесь от хороших овощей, привередничаете, вынуждаете гонять машины из магазина в магазин — тут сто килограммов возьмут, там пятьдесят, в третьем совсем ничего, вчерашнее, видите ли, не продали...

Петр Фомич по этому поводу резонно заметил:

— Не могу себе представить, чтобы у трикотажной фабрики магазин отказался принять кофточки только потому, что вчерашние еще не раскупили. А тут не кофточки — скорогибнущая продукция!

Скоро и много гибнущая. Очень много гибнущая, вот ведь какая беда! В 1976 году, до специализации, когда в совхозе «Ворошиловский» еще были коровы, Филиппов скормил им 2,5 тысячи тонн капусты, которую не сумел реализовать. Зиятдинов, получающий от овощеводства прибыли до 100 тысяч рублей, считает: при разумной организации заготовок мог бы получить все 300 тысяч.

Да дело ведь не только в заготовках. Начинать, пожалуй, следует с планирования производства. В районном производственном управлении сельского хозяйства мне дали такую справку: для удовлетворения спроса на капусту при фактически достигнутой урожайности 260 центнеров ее достаточно разместить на 245—250 гектарах. Татарский трест Овощепром планирует на 100 гектаров больше. В то же время поливная площадь, отводимая под лук, обеспечивает заготовки его всего на четвертую долю потребности. Вот и получается, что лук в Набережные Челны везут со всей Татарии, зато капусту (из специализированных хозяйств, созданных ради КамАЗа и для камазовцев!) вынуждены сбывать за многие сотни километров, вплоть до Куйбышева, Саратова, Астрахани.

Непродуманная, необоснованная структура посевных площадей — это не только трудности с обеспечением горожан овощами в потребном ассортименте, не только дорогостоящие встречные потоки однородной продукции. А обработка, а уборка «лишних» гектаров? Ведь сейчас в овощеводстве механизированы, и то частично, лишь процессы сева и ухода за растениями, а убирает техника каких-нибудь 5—14 процентов урожая.

На кого ложится львиная доля ручной уборки? На горожан: школьники, студентов, служащих, рабочих. В данном случае рабочих автозавода и Камгэс-энергостроя. А Энергострой, говорил Евгений Никанорович Батенчук, и без того не хватает 11 тысяч строителей. Нет избытка рабочей силы и на КамАЗе. Как ни верти — помощь в уборке оказывается если и не в прямой ущерб городу, то уж, во всяком случае, с большим для него напряжением: отвлекаются тысячи людей, большое количество транспорта.

Без помощи города в уборке овощей не обойтись. Овощи выращиваются для города, они городу необходимы. Значит, обе стороны равно заинтересованы в том, чтобы убирать их быстро, с наименьшими потерями, не разбазаривая людские и материальные ресурсы. И за это Набережночелнинский горком партии одинаково строго спрашивает как с той, так и с другой стороны.

С той и с другой... Сегодня как бы на разных сторонах баррикады (административно-хозяйственной, разумеется!) оказались старые неразлучные друзья Архимед Александрович Сулейманов и Юлдуз Вагизович Курмашев, первые из первых зачинатели Пригородной зоны.

Как-то уж так получилось, что при каждой новой встрече я застаю Архимеда Александровича в новой должности и в первые дни на новом месте. То он создавал трест молочных и овощных совхозов, то формировал филиал Проектного института мелиорации.

На сей раз он — в самый первый свой рабочий день! — принимает меня в кабинете председателя Комсомольского райисполкома города Набережные Челны. Вздыхал, глядя на бумажку с перечнем дел, которые перед ним теперь

вставали. Август на дворе, надо достраивать и ремонтировать школы (а их в районе больше 20), приводить в порядок жилье, готовить к зиме коммунальное хозяйство, заниматься благоустройством. Но все это сущие пустяки, детская игра по сравнению с заготовками овощей и картофеля. При районировании города все торги и базы оказались на территории Комсомольского района — шутка ли, завезти, разместить на зимнее хранение 30 тысяч тонн, организовать бесперебойную торговлю ими в магазинах, ларьках, с лотков на улицах.

Они ведь и раньше, приступая к созданию зоны, часто приносили слова «народ надо кормить». Теперь эти слова приобрели иной, совершенно конкретный смысл: не просто вырастить и реализовать, а получить продукт высококачественный, подлинно товарный.

Овощи заготавливают в основном в Тукаевском районе. Первым секретарем райкома партии там Курмашев. Райком в том же здании, этажом ниже. Юлдуз Вагизович по старой привычке подтрунивает над приятелем: «Опять выше меня взлетел! Смотри, не стучи там ногами, а то у меня шукатурка посылется».

Стучать ногами Сулейманову, разумеется, не приходится. А выступать на городских штабах, на бюро горкома с критическими замечаниями в адрес руководителей хозяйств, районных организаций да и самого Курмашева — это да, случается. Но и Юлдуз Вагизович не остается в долгу. На критику ни тот, ни другой не обижается. Дружба дружбой, а работа работой, каждый отвечает за свое, каждый своего требует.

Новые высокие посты, возросшая ответственность оставляют им мало времени для внеслужебного общения. А все-таки при встречах они нет-нет да и вспомнят первые свои шаги по созданию зоны, поскользнутся над своими промахами, посмеются над своей неопытностью. Но чаще говорят они о зоне серьезно: что задумывалось? что получилось? Понимают: в молодой своей увлеченности невиданной этой задачей — одновременно с автогигантом создать и зону его продовольственного снабжения — заносились они подчас чересчур высоко, желали иной раз невозможного, брались за невыполнимое. Не все, о чем мечталось, удалось осуществить, и все же...

Все же несколько убедительных цифр. По сравнению с 1970 годом поголовье крупного рогатого скота в районе удвоилось. Если в среднем по Татарской АССР ежегодный прирост молочного стада составлял 2—3 процента, то здесь прибавляли по 13—15 процентов — их же надо разместить, обслужить, накормить! Молока в 1970 году производили около 138 тысяч центнеров, в 1977 году произвели более 280 тысяч; в летние месяцы сами, без подвоза извне, обеспечивали горожан цельным молоком. Мяса вместо 32 тысяч центнеров стали производить более 60 тысяч. Собственная птицефабрика уже дает в год 34 миллиона яиц и около 10 тысяч центнеров куриного мяса. Овощи научились выращивать, правда урожай еще далеки до рекордных, но ведь начинали-то с ничего, с нуля, а теперь вместе с тепличным комбинатом смогут давать 60—70 тысяч тонн (вся республика сейчас производит их 140—160 тысяч тонн).

И все это на сократившихся посевных площадях, с тем же, что и прежде, количеством рабочих рук. О том, насколько возросла эффективность труда в колхозах и совхозах, можно судить хотя бы по таким цифрам: в 1970 году каждый человек, занятый в сельском хозяйстве, производил продукции на 2566 рублей, а в 1977 году уже на 6039 рублей. Весомая прибавка!

Оценивая результаты первых семи лет Пригородной зоны, первый секретарь Набережночелнинского горкома КПСС Раис Киямович Беляев с особым удовлетворением говорил о том, что аграрный корпус с честью выдержал этот экзамен. Ни одного, буквально ни одного сельского руководителя не пришлось снимать с работы как несправившегося. Двое руководителей хозяйств, ветеранов колхозно-совхозного строительства, ушли на заслуженный отдых, получили персональные пенсии, хорошие квартиры в городе («Пусть и другие знают: отдав себя делу, они не окажутся за бортом!»); двое выехали из района по семейным обстоятельствам; один, более склонный к кабинетной деятельности, пересажен в соответствующее кресло в Набережных Челнах, а остальные растут на работе,

да как еще растут! И на своих председательских, директорских постах становятся более умелыми, разворотливыми, с широким хозяйственным кругозором, и вверх идут, шагают со ступеньки на ступеньку.

Среди этих «шагающих» и наши друзья. Юлдуз Вагизович тоже в каждый мой приезд предстал передо мной в новом качестве: начальник райсельхозуправления, только что вышедший из председателей колхоза, председатель райисполкома, а теперь вот партийный руководитель. Каждое новое назначение он принимает как должное: «Взвалишь воз побольше, поднатужишься, крикнешь и пойдешь. А что делать?..»

Миргалима Ахметовича Нагаева видела я директором совхоза и начинающим, а затем и набравшимся опыта, уверенным в себе вторым секретарем горкома, а сегодня... Сегодня пришлось к нему ехать в соседний Заинский район, где он совсем недавно избран первым секретарем райкома.

Район этот тоже входит в Пригородную зону, однако сформирован всего года полтора назад, причем в состав его отрезаны из районов-«прародителей» самые дальние, глубинные хозяйства. Ну а глубинка — это каждому известно — не центр, до нее, как правило, руки не доходят. А тут и ноги, то бишь колеса, плохо ходят — до иного хозяйства по прямой каких-нибудь двадцать километров, а из-за бездорожья вкруговую все восемьдесят намотаешь.

Земельных угодий в Заинском районе значительно больше, чем в Тукаевском, а насыщенность техникой куда как жиже, и капвложений сделано несравнимо меньше, и новостройки — производственные, культурно-бытовые — увидишь пореже. И поля тут, успела я заметить, явно «глубинные», «не доведенные до ума» — то, смотришь, межи в сорок, пятьдесят метров, заросшие бурьяном, то пшеничка двухъярусная, а вторым-то, верхним ярусом все сплошь овсюги. Так что давай, Нагаев, начинай все сначала, раскручивай заново карусель.

А раскручивать карусель ой как трудно! И народ здешний к высокому уровню требований не привык, и возможности несопоставимы: в Заинске пока нет мощной строительной базы, как в Набережных Челнах, и нет могучих шэфов вроде КамАЗа и Камгэсэнергостроя — так, все больше управления, торги, конторы... В Челнах на каждый колхоз или совхоз приходилось по 5—6 «богатых дядей» из города, а здесь на одно шэфствующее предприятие 3—4 мало-мощных, а то и отсталых хозяйства. Там, бывало, бросишь клич — и за день в помощь селу тысячу машин «мобилизнешь», а здесь пыжились-пыжились — наскребли каких-то 80 штук.

И еще вот что надо учесть: в районе 6 тысяч гектаров сахарной свеклы — это вам не зерно, не кукуруза, не травы.

— Когда-то сам добивался, спихивал сюда эту трудоемкую культуру, — смеется Нагаев, — не думал, что она окажется на моей собственной голове...

И тут разговор сам собой подходит к горячей, взрывной точке, к какой неизменно подходил он в других районах Пригородной зоны: почему все тукаевцам да тукаевцам? а мы чем хуже? кабы нам всего столько давали, мы бы!..

— Ерунда! — решительно возражает Миргалим Ахметович. — Тогда выходит, и гигантский КамАЗ незачем было возводить, пусть бы каждая область страпала грузовики... Правильно, что Тукаевский район специализировали только на молоке и овоцах, а свеклу приблизили к заинскому сахарному заводу. Правильно, что туда слали больше техники, что там больше строили. Разбросали бы все по принципу всем сестрам по серьгам — нигде бы толку не получили. Если бы я начинал строить Пригородную зону с теперешним своим опытом, я бы там еще больше сконцентрировал средства и силы, чтобы быстрее вводить объекты в строй, раньше требовать с них отдачу.

— Как вы оцениваете первые шаги Пригородной зоны? — спрашивала я руководителей хозяйств, ответственных работников Тукаевского района, видных строителей. — Что вы сделали не так, как сделали? В каких случаях поступили бы иначе?

Люди отвечали вдумчиво, откровенно, самокритично. Каждый говорил по-своему, глубже видел свое, то, чем он непосредственно занят, что у него наболело. Кто-то в чем-то был, пожалуй, чересчур субъективен и поэтому не совсем прав. Но много было и совпадающих мнений. Именно в них видится мне квинт-эссенция, сгусток коллективного опыта. Вот вкратце самые характерные, самые ценные высказывания.

— Видим, кое-что сделали от неума. В этом важном деле все должно быть на целый порядок выше: компетентность, разумность, эффективность...

— Строить надо мудро, не разбрасываясь, с ясной перспективой, с точным расчетом: где, чего, сколько. И бить по рукам всякому местничеству. Сократить аппетиты: есть у соседа — давай и мне...

— Линия у нас правильная, единственно верная! А вот в деталях я бы кое-что подкорректировал. Прежде всего комплексы строил бы комплексно...

— Сразу создавать специализированный Сельстрой на базе генподрядчика и в его составе. Не выкраивать для села стройматериалы, не рыскать в поисках технологического оборудования, а планировать все это и комплектовать, как для основных объектов...

— Для села нужно разработать типовые конструкции, удешевить их, облегчить, обжать по сравнению с промышленными — не литейные же заводы там ставим, в самом-то деле! И хватит играть, как дети в кубики, в сборный железобетон! Давайте вспомним про металлические конструкции, про дерево, где это возможно...

— А я бы резко поднял требовательность к проектным организациям, строже с них спрашивал. И окончательные расчеты с ними производил только после сдачи объекта. Платил тем больше, чем меньше в проекте изъянов. А то что получается? Платим за дрянной проект, а потом за доделки и переделки этого проекта. Где же логика?..

— Что до меня, я бы начинал с конца: сначала строил жилье, вселял людей, а с ними уже возводил все остальное и их же потом — на эксплуатацию...

— Строишь объект — сразу закладывай емкости для хранения продукции, цехи для переработки. Не удалось что-то реализовать — соли, суши, маринуй, делай соки, чтоб все шло впрок, на пользу людям...

— Глубокую специализацию хозяйств надо начинать обдуманно, но решительно, не менять десять раз направление развития...

— Кормовую проблему решать масштабно и синхронно: больше производить кормов, больше и разных; не скармливать зерно дуром, в натуральном виде — только в переработанном и сбалансированном; не возить зерно взад-вперед за сотни километров, создавать комбикормовую промышленность на месте...

А закончить эти заметки, пожалуй, лучше всего такой краткой, но удивительно емкой фразой одного из собеседников:

— Оглянусь назад: о-о, сколько всего сделали! Посмотрю вперед: э-э, да тут еще делать и делать!

Казань — Набережные Челны — Нижнекамск — Зайнск.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО



РАЗМЫШЛЯЮЩАЯ АМЕРИКА

И если радость движет мир,
То знать бы я хотел:
Что ж человеку человек
В сей жизни дал в удел?
В. Вордсворт.

«...приглашаетесь на один год для: 1) ознакомления с постановкой изучения и преподавания общественных наук в США, 2) разыскания автографов М. Горького и других русских писателей в архивах и частных коллекциях, 3) чтения (по Вашему личному желанию) лекций о Толстом, Достоевском, Чехове, Горьком, Шолохове, Леонове, текущей советской литературе в университетах США. Города и университеты США — по выбору приглашенного. Приглашающая сторона — Международная организация по научным исследованиям и обмену (Айрэкс), США, Нью-Йорк».

Этот официальный документ направила мне осенью 1976 года Академия наук СССР. Все было подготовлено к тому, чтобы я вылетел на полгода в США тотчас же, но по просьбе американской стороны поездку пришлось отложить на несколько месяцев. Из-за этого мне не довелось увидеть своими глазами ни выборов нового президента США, ни того, как в морозный январский полдень в Вашингтоне взмолился на трибуну павильона, специально возведенного у восточных ступеней Капитолия, седеющий человек и, подняв правую руку, а левую положив на семейную Библию, принял присягу от престарелого председателя Верховного суда США. Обратившись с инаугурационной речью к нации, он выразил надежду: «Я уповаю на то, что не разочарую американский народ, который меня еще не совсем знает, но все же доверяет мне в поисках новых путей для излечения нашей нации».

Я прилетел в разгар медовых ста дней президентства Картера, когда еще почти все американцы независимо от того, республиканцы они, или демократы, или беспартийные, черные или белые, повторяли его фразу: «Новый дух, новые свершения, новая Америка...»

Ждали смелых конструктивных решений, пресекающих рост инфляции, ведущих к резкому сокращению безработицы. Ждали обещанного урезывания военного бюджета. Ждали продолжения позитивных переговоров с СССР в области разоружения. Ждали эффективной энергетической программы.

Телевидение все чаще подключалось к Белому дому, чтобы показать народу, с каким усердием трудится правительство и его помощники — молодые люди лет по тридцать пять—сорок, одетые в джинсы, воодушевленные работоспособностью, энергией, твердостью президента и готовые работать сутками без перерывов. Рано утром или поздно вечером можно было увидеть по телевидению и самого президента.

Подтянутый человек среднего роста, с зачесанными на пробор, схваченными с висков сильной изморозью волосами, с загорелым, негладким, чуть продолговатым лицом думающего делового человека, он кажется вездесущим. В соответствии с «тактикой незакрывающегося рта», как остроумно выразился видный американский обозреватель, он снова и снова повторяет свою мысль о том, что США надо лечить прежде всего от двух недугов: инфляции и безработицы. В шоу по телевизору, беседа с аме-

риканцами «у камина», выступая в передачах «Лицом к лицу с нацией», он подтверждает намерение существенно урезать военный бюджет. На встрече с представительницами женских организаций в очередной раз называет существующую в США систему налогов позорной, возмущается тем, что женщины все еще не получают равной с мужчинами оплаты за равный труд. И одновременно со всем этим «из-за недостатка времени» не вносит сколько-нибудь существенных поправок в бюджет, сверстанный его предшественником, так что, кроме запрошенных 120 миллиардов долларов, Пентагон получает еще и дополнительные суммы. Ради мира с конгрессом решает отказаться от обещания вернуть каждому налогоплательщику 50 долларов. Снимает Б. Тайсона с поста представителя США на сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве за то, что тот повторил его, Картера, предвыборное признание о причастности США к перевороту в Чили в 1973 году. Подтверждает намерение продолжать переговоры с СССР о сокращении стратегических вооружений и как-то уж чересчур навязчиво напоминает о своем намерении «держаться с русскими твердо». Заявляет, что нет прямых подтверждений вторжения кубинских войск в Заир, и подписывает решение об оказании Заиру немедленной военной помощи. Публично признает право палестинских беженцев иметь «свою страну» и после беседы с главным раввином США не препятствует широкой огласке его утверждения: «Президент больше никогда не допустит подобной оговорки». Наконец, с высокой трибуны ООН предъявляет от имени США претензию на роль, как выразилась одна американская газета, «морального жандарма мира». В ответ на это рвение президента на ниве защиты «человеческих прав во всем мире» прозвучали в Москве спокойные и твердые слова: «Претензии Вашингтона учить других, как они должны жить, неприемлемы ни для какого суверенного государства, не говоря уж о том факте, что ни положение в самих Соединенных Штатах, ни действия и политика их во всем мире не оправдывают таких претензий. Вмешательства в наши внутренние дела мы не потерпим ни с чьей стороны и ни под каким предлогом. И, конечно, нормальное развитие отношений на такой основе немислимо».

Стремясь одним выстрелом убить двух зайцев, а именно: умаслить Пентагон, доказав ему, что он, президент, отнюдь не голубь, и получить стратегические преимущества для США, походя пересмотрев владивостокские договоренности,— Картер перед самым вылетом в Москву американской делегации, возглавлявшейся государственным секретарем Сайрусом Вэнсом, вручил платформу для переговоров с Советским Союзом, втайне сформулированную Советом национальной безопасности и не обсуждавшуюся правительством.

— Когда самолет приближался к Москве,— расскажет потом один из советников американской делегации,— пакет был вскрыт. То, что нам прочли, поразило как гром среди ясного неба. Это был как бы ультиматум: прими или откажись. С этим нам незачем являться в Москву, подумал я, русские не станут с нами разговаривать. Чем сильнее на них жмешь, тем решительнее они сопротивляются. Почти так потом все и было. Советское правительство отказалось вести диалог на предложенной Сайрусом Вэнсом платформе.

Но это произойдет чуть позднее. А пока американцы, с которыми я встречаюсь, недоумевают, удивляются, разводят руками... И не решаются проявлять самостоятельность. В частности, не знают, что делать со мной, как меня принимать и следует ли принимать вообще. В первые дни я встречался с лауреатом Нобелевской премии профессором В. Леонтьевым, деканом филологического факультета Колумбийского университета профессором Р. Белкнапом, директором Айрэкса профессором А. Кассофом и другими. Было договорено, что у меня неотложно состоятся обстоятельные беседы по научным вопросам с ними и еще с рядом столь же видных ученых, включая бывшего директора Русского и Восточно-Европейского института при Колумбийском университете, а теперь советника при президенте профессора Маршалла Шульмана.

— Вам будет вручена программа работы. А пока отдохните, познакомьтесь ближе с Нью-Йорком. Работу начнете как гость Колумбийского университета. Письмо туда направлено. Ждите звонка...

В ожидании его я провел почти две недели в отеле.

Много любопытного удалось увидеть, сидя перед телевизором. Видел, например, заснятые на киноплёнку военные маневры, только что проведенные в США. Под гром мощной артиллерийской канонады и треск пулеметов на американском побережье высăдились сотни краснозвездных танков с надписями «Даешь Вашингтон!» и покати-ли в глубь страны. За ними валила пехота — солдаты в белых полушубках, в валенках, с автоматами в руках. В «бой» тотчас вступили вооруженные силы США: артиллерия, авиация, флот. На третий день «советские войска» были разгромлены наголову, остатки их сброшены в море. О них напоминали только горы металлолома, валенок, полушубков. Американские войска не потеряли ни одного человека. В другой раз довелось во тому же телевизору увидеть «советских» офицеров-ракетчиков. Люди с квадратными лицами и упрямо сжатыми челюстями яростно нажимали на кнопки, которые должны привести в действие смертоносное оружие...

Смотрю все подряд: фильмы «Завоевание планеты обезьянами», «Рэгтайм», «Чемпионат», «Дух Сент-Луиса», обновленный вариант «Кинг-Конга»; слушаю выступления обозревателей, официальные передачи. Поразило обращение президента Американской ассоциации университетских ученых Вэна Элстойна к директору ЦРУ с требованием прекратить использование представителей научных кругов в разведывательных целях. Оказывается, ЦРУ дает конспиративные поручения сотням американских ученых, работающих более чем в 100 университетах США и за рубежом.

Выключив телевизор, погружаюсь в газеты и журналы. Слова «спад», «депрессия», «экономические трудности» прорываются тут и там. Руководители университетов открыто говорят о перепроизводстве интеллигенции. С 1969 года закрылось свыше 135 колледжей. Профессора и преподаватели вынуждены соглашаться на замораживание или даже понижение зарплаты. «Преподаватели не могут далее плыть по реке мобильности к продвижению по службе и увеличению зарплаты,— прочел я в только что вышедшем в свет номере «Экономического журнала Атлантики»,— они вынуждены теперь брести по грязной луже сомнительных возможностей». А глава комиссии по людским ресурсам Национального исследовательского совета США профессор Р. Альберти в это же время в английском научном журнале выступил со статьей, озаглавленной «Не слишком ли много ученых и инженеров мы готовим?».

В газетах и журналах, конечно, печатаются статьи, написанные людьми разных взглядов. Чаще всего звучит голос в защиту идей разоружения, нормализации отношений с СССР на основе тщательно сбалансированного равенства вооружений. Руководитель ЦРУ и председатель Комитета военных штабов вынуждены заявить, что не располагают никакими данными о том, будто Советский Союз намерен на кого-либо напасть. И тем не менее те же газеты и журналы охотно печатают «документы» вроде вот этой «резюльции», состряпанной на одном из собраний ультра: «Мы настаиваем на быстром прекращении так называемой политики разрядки в отношениях с Советским Союзом, так как она угрожает безопасности Соединенных Штатов и всех наций свободного мира. Мы подчеркиваем, что эта политика была начата при правлении президента-демократа, однако развивалась при последующих президентах и послужила только к выгоде Советского Союза...»

Можно было бы и не сидеть целыми днями в отеле. О звонке, случись он, тотчас сообщил бы портюе. И если я предпочитал оставаться в отеле, вместо того чтобы, скажем, постоять часик на перекрестье Бродвея и Таймс-сквер и потом рассказать нашим искусствоведам, с какой точностью Ричард Эстез запечатлел этот угол Манхаттана на картине «Канадский клуб», или вместе со множеством «шеевытягивателей» (как здесь называют любителей поглазеть) просто гранить мостовые Нью-Йорка, то вот по какой причине.

Американцы не помнят другой такой зимы.

— Отопление дома в эту зиму обошлось нам в тысячу шестьсот долларов! — сказала мне жена профессора Рене Уэллека.

В феврале в Эванстоне вдруг наступило лето. Потом на разомлевшую землю снова обрушилась зима с холодными ветрами, снегом, морозами. Но уже 9 марта в Нью-Йорке пошел теплый проливной дождь. Затем он сменился снегопадом. 13-го мы пытались проехать на могилу Рахманинова. Из-за снежной бури пришлось вернуться.

Когда под натиском прорвавшегося к земле солнца непогода отступила и люди сменили шубы на демисезонные пальто и плащи, я заболел. Лежа на широкой, как Мичиган, кровати, целыми часами смотрел телевизор. За этим занятием меня и застал телефонный звонок из Чикаго. Звонил старый знакомый, профессор. Это был уже второй его звонок. На третий или четвертый день после моего прибытия в Нью-Йорк он позвонил вот так же поздно и, приветствуя мое появление в США, предложил немедленно проследовать к ним. Я ответил, что пока направлен в Колумбийский университет, откуда и жду сигнала. И вот он звонит снова:

— Все еще ждете звонка? А потом поедете в Гарвардский университет и тоже будете ждать звонка? Послушайте меня и прилетайте немедленно в Чикаго. Колумбия и Гарвард настолько связаны с Вашингтоном, что не позвонят вам, пока не прояснится погода.

— А у вас что — другая погода? Или другое государство?

— О, вы обижаете Чикаго! Наш город может все, даже сделать нужную погоду. Вы же знаете, что сам Джон Фицджералд Кеннеди стал президентом только потому, что его поддержал наш мэр Дейли... Теперь уж, впрочем, не наш, а богов. Я хочу сказать, что, всю жизнь будучи дьяволом, он отдал душу свою богу. Вот какой всемогущий. А что касается заказов, то Чикаго может обеспечить ими десять таких университетов, как Колумбия и Гарвард. Поэтому нам незачем оглядываться на Вашингтон. Приезжайте, убедитесь сами. Мы включаем вас в расписание. О'кей?..

Несмотря на соблазнительное предложение, я, преодолевая нездоровье, твердо решил съездить сначала в Гарвардский университет.

Знакомые из советской миссии при ООН закутали меня в плащ на теплой подкладке и снабдили на всякий случай еще курткой. Ранним мартовским утром мы отправились на машине в город Кембридж на северо-востоке США, где находится университет. День выдался на редкость удачный. К двенадцати часам температура поднялась. Но она не очень нам досаждала: дорога шла почти все время лесом. Ивы, дубы, сосны, ели... Лиственные деревья либо распускались, либо уже распустились. Да и океан все время рядом, в двух-трех милях от дороги. Полей не видно. Каменные выступы, то красноватые, то сизые, то черные, иногда на продолжительном расстоянии схватывают дорогу в тиски. Потом разжимаются, скрываясь в лесу. Мы проехали штат-сад Нью-Джерси (теплую одежду я запрятал в багажник), а потом и еще три штата. И все они радовали глаз обилием лесов, зеленых лужаек и отсутствием крупных промышленных предприятий в обычном представлении — с дымящими трубами, с отводными каналами, по которым в реки стекают промышленные отходы.

— Не сеют, не жнут,— бормочу я,— а чем живут?

Сергей Федоренко, захвативший меня по пути в Бостон, отвечает почти неуловимой ухмылкой. Он вообще невозмутим, как Будда. Да и не очень разговорчив. Где-то между Вайн-Плейнсом и Нью-Хейвенем сказал:

— Природу с о ю они берегут!

Минут через десять расщедрился на несколько новых фраз:

— Янкиленд... Народ здесь живет богатый. Коренные англосаксы. Много ирландцев. Люди здоровые, крепкие, крикливые, умеющие шутить остро, колюче, зло, грубо, порой загадочно. О них говорят, что если надо, то янки и конгрессмена может проглотить с потрохами, правда если тому смажут голову маслом, а уши прижмут как следует.

Я и сам уже догадался, что живут здесь люди богатые: двух-трехэтажные дома, как правило, викторианского стиля стоят на значительном расстоянии друг от друга.

А Сергей, не подумав и часа, выдал еще фразу:

— Один из самых промышленных районов.

Я сначала не поверил и поэтому обрадовался, увидев в Провиденсе фабрики и заводы в нашем понимании. Чуть притормозили у огромной купольной мэрии, изображаемой на популярных открытках. Это уже штат Род-Айленд.

В самой восточной части штата Массачусетс вольно раскинулся на берегу океана Бостон, город, в котором была организована первая в США средняя школа, первый в США колледж, первая «охота на ведьм», произошло первое столкновение, из которого выросла борьба за независимость, и еще много первого вплоть до первой казни

на электрическом стуле людей, единственное «преступление» которых заключалось в их коммунистических убеждениях (Сакко и Ванцетти). Двухэтажный по окраинам, многоэтажный к середине, а в самом центре вздыбленный десятком небоскребов, разрезанный рекой, теснимый заливами, город показался мне не очень устроенным. Но сегодня он красив красотой только что пришедшей весны. Всюду зацветают крокусы, форсайы. Люди ходят в теннисках.

Чарльз-ривер отделяет Бостон от Кембриджа. Переезжаем через мост и оказываемся у цели. И впервые по-настоящему ощущаем, какая стоит жара.

Три дня назад мне была вручена программа пребывания (включая два официальных приема) в Гарвардском университете. Из-за болезни я приехал с небольшим опозданием и, несмотря на беспримерную жару, был встречен холодно. Сергей Федоренко, связавшийся по телефону с университетом, пока я располагался в отеле, сказал мне:

— Сердятся.— Потом, улыбнувшись, добавил: — Очень! — И уехал читать лекцию в Массачусетский технологический институт в Бостоне. Сразу после лекции ему надлежало вернуться в Нью-Йорк.

Сердились действительно сильно. Быть может, в этом известную роль играло и то, что с командных высот снова усилились призывы занять жесткую позицию в отношении русских. Слушая телевизионные передачи, можно было подумать, что русские виноваты во всем, даже в неустойчивости погоды. Какая-то газета договорилась до утверждения, что с русскими вообще нельзя иметь дело: все когда-либо заключенные ими международные соглашения, дескать, были ими же и нарушены. И хотя Гарвардский университет считается учреждением частным, мне дали понять, что я приехал по крайней мере в неудачную минуту.

Кембридж в тумане. Но и в тумане он по-своему красив. За высокими стенами из красного кирпича — старинные здания университета. Отель «Шератон-Командер», в котором я остановился, отделяют от университета четыре церкви. Прямо на тротуарах и мостовых вырезаны военные схемы: здесь начиналась вооруженная борьба за независимость США. С любопытством и уважением глядяваюсь в них.

Быстро направляюсь в университет. В Гарвард. Наряду с Колумбийским университетом его называют элитарным, престижным¹. Уверяют, что выпускнику такого университета будто бы не могут предложить пост, приносящий менее 25 тысяч долларов годового дохода. Зато и плата за обучение в два или даже три раза выше, чем в государственных университетах. Сопровождающий меня ассистент профессора напоминает, что воспитанниками университета были многие выдающиеся деятели США: вице-президенты, государственные секретари, бизнесмены, послы. Но у меня «свои высоты». Здесь учился Джон Рид. Сюда в 1906 году приезжал Горький.

Среди встречавших в Кембридже нашего писателя был американский философ Уильям Джеймс. Во всех странах его знают как отца философии прагматизма. Я тоже внимательно читал его книги «Научные основы психологии», «Многообразие религиозного опыта», «Прагматизм» и готов всерьез поспорить с теми, кто пытается с помощью Джеймса опровергать Маркса.

Но не могу не рассказать и о том, что именно Уильям Джеймс с распростертыми объятиями встретил здесь, в Кембридже, человека, о котором говорили, будто он больше революционер, социалист, марксист, нежели писатель, но который был очень большим писателем, настоящим художником и, вероятно, крупнейшим писателем-революционером, марксистом. Высокий, чуть сутулящийся человек с голубыми глазами, прославившийся под именем Максим Горький, тоже сразу узнал Уильяма Джеймса среди пришедших на встречу профессоров Гарвардского университета. Он сказал, что читал «Психологию», знаком с «Многообразием религиозного опыта» и другими сочи-

¹ Студент Джефф Ленард писал, что одно слово «Гарвард» гарантирует ему высокооплачиваемую и влиятельную должность, открывающую «путь к материальному благополучию и респектабельному положению в обществе» («Америка», 1976, № 240, стр. 61—62). Три из наждых четырех докторских диссертаций защищаются в этих, как их еще называют, идеополисах. Что же касается стоимости обучения студентов в них, то об этом в официальном справочнике, врученном мне в Колумбийском университете в конце июня 1977 года, написано кратко: «В среднем стоимость обучения равняется 7000 долларов в год».

нениями. «Если у вас найдется время,— продолжал он,— мы поспорим о многом, но сейчас я хочу признаться вам в том, как дорого и близко мне отстаиваемое вами требование активности, хотя я вкладываю в это понятие иной, более значительный смысл. Начав свою сознательную жизнь «игрою на повышение» интеллектуальной и волевой активности в людях, я буду вести ее до конца дней своих. И вы поймете, как я обрадовался, найдя в ваших трудах поддержку этой моей излюбленной идеи. Почти дословно запомнились мне строки из вашей главной книги: «Если человек не пользуется каждым конкретным случаем проявить нравственную активность, то его нравственный характер не будет улучшаться, хотя бы он обладал богатым запасом нравственных правил и питал в душе своей добрые чувства. Добрыми намерениями, по пословице, вымощен ад. Характер, говорит Дж. Стюарт Милль, есть окончательно образовавшаяся воля, а воля в том смысле, какой Милль здесь имеет в виду, есть совокупность стремлений действовать быстрым и определенным путем во всех наиболее выдающихся событиях жизни. Стремление действовать укореняется в нас в зависимости от непрерывности повторения действий в нашей жизни, благодаря которым в мозгу все более и более возрастает способность их производить... Нет более презренного типа человеческого характера, чем характер бессильного сентименталиста и мечтателя, который всю свою жизнь предается чувствительным излияниям и не ударит палец о палец, чтобы действительно сделать истинно доброе дело...»².

Философ по достоинству оценил щедрость души Горького. Он сопровождал писателя, показывая ему Гарвард, а затем вместе со своими помощниками, хорошо владеющими русским языком, принял писателя в превосходной библиотеке университета, чтобы показать собрание русских книг. Человек сдержанный, Джеймс отошел к окну, когда хранитель книжного фонда стал демонстрировать Горькому библиографические редкости. Он продолжал рассматривать что-то за окном даже тогда, когда русский писатель, буквально вырвав из рук хранителя одну из книг, вскричал: «Сахаров? «Сказания русского народа»? У вас? А я до сих пор не могу заполучить...»

Полчаса спустя состоялась задушевная беседа. Отвечая на замечания философа о непонимании им «феномена Горького», писатель рассказывал о Ломоносове, Ползунове, Слепушкине, Сурикове, Кольцове... Внимательно выслушав его, стареющий философ сказал: «И все же не могу понять, как может сложиться поэт вне влияния школы. И как может возникнуть стремление писать стихи у человека столь низкой культурной среды, живущего под давлением таких невыносимых социальных и политических условий. Я понимаю в России анархиста, даже разбойника, но лирический поэт-крестьянин — это для меня загадка. Я мало знаю русскую литературу, но все, что знаю, рисует русских изумительно, бешено талантливыми людьми. Это проявляется только в области искусства?» «Нет,— ответил русский писатель.— Может быть, когда-нибудь я напишу роман о том, как простые мужики, скинув лапти, за несколько лет перепоясали Россию железными дорогами, построили фабрики, заводы...»

И он стал рассказывать о знакомых ему купцах Морозовых, Журавлевых, Красильниковых, Сироткиных, Рукавишниковых... Увлеченный его рассказом, американский философ непроизвольно оборвал повествование. «Сильный народ у вас! — горячо сказал он.— Естественно, что ваши честные люди так любят его и так героически гибнут за свободу страны... Любовь, живая, деятельная любовь,— это и есть рычаг, который повернет землю к солнцу так, что вся жизнь станет светла, бодра и радостна!»

...Чуть потеплело. Но не настолько, чтобы можно было ходить без пальто. Американцы, не привыкшие к холодам, утепляются. В гостиницах поднимают температуру до 25 градусов, перед выходом на улицу закутываются «по принципу капусты», то есть надевают на себя все, что найдется в доме. Некоторые вдобавок набрасывают на плечи постельные одеяла. И только позолоченный Джордж Вашингтон, встречающий приезжающих у моего отеля, одет легко. В правой руке у него трость. Он окинул ее так, словно приглашает вас пожаловать лично к нему в гости.

Никуда не хочется идти, а особенно в университет. Вчера я встречался со слав-

* См.: Уильям Джеймс. Психология. СПб. «Знание». 1902, стр. 109.

стами. Среди них были студенты, аспиранты, профессора-русисты. Работы некоторых ученых, популярные в США, известны и в нашей стране. Отдельная беседа состоялась между мною и руководителем отделения славянских языков и литературы профессором Дональдом Фангером. Его книга «Достоевский и романтический реализм» недавно вышла в США третьим изданием. В заключение беседы профессор пригласил меня на доклад аспирантки Робин Миллер. Тема — «Роль рассказчика в романах Достоевского». Вероятно, придут на доклад все члены кафедры русского языка и литературы, вернувшиеся из отпуска. Капитальную работу маститого профессора Кирилла Тарановского о русских двусложных стихотворных размерах, так же как его доклад «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики», я читал раньше. Знаком и с исследованиями, выполненными профессором Всеволодом Сечкаревым. И тот и другой хорошо знают историю русской поэзии по крайней мере до начала XX столетия включительно. Профессор Сечкарев — автор фундаментальной книги «Экскурсы в жизнь и творчество Иннокентия Анненского», обстоятельной работы о драматургии Николая Гумилева. Он убежденный сторонник формализма и, так сказать, чистого эстетизма, во всяком случае и в статье о Достоевском (1953), и в книгах о Гоголе (1953), Лескове (1959), Пушкине (1963) связь русской литературы с освободительным движением рассматривает как ее величайший дефект, социальные элементы в творчестве крупнейших писателей третирует, исповедуя одну только чистую любовь к искусству. «Так называемая социальная тема, "политические тезисы,», — пишет он, стремясь окрасить эти понятия убийственной иронией, что, впрочем, не мешает ему с удивительным проворством пользоваться избитыми политическими штампами советологии, наносящими часто непоправимый ущерб его трудам³.

Из других ученых, связанных с Гарвардским университетом, память подсказывает имя Чарльза А. Мозера, выпустившего несколько лет назад во многом спорную, но интересную книгу, неудачно озаглавленную «Писемский. Провинциальный реалист».

Не бог весть как оснастила меня память. Но стихи поэта воскресила: «Я чувствую: глаза судьбы на мне остановились». Надо бы кое-что перелистать исходя из того, что вчера я согласился вписать в протокол: «День Достоевского» (доклад аспирантки, выступления участников семинара, потом продолжение беседы с профессором Дональдом Фангером). Чтобы, как говорят любители протокольных формул, «провести мероприятие на должном уровне», решаю хотя бы бегло полистать книги, чтобы восстановить в памяти то, что написано в этой стране о нашем великом писателе. К счастью, как раз за стеной, отделяющей от центральной улицы города здание, в котором разместились славистическое отделение университета, находится лучший книжный магазин. В нем можно найти почти все университетские издания. Я заходил туда в первый же день приезда, купил несколько книг, а главное, убедился, что, так же как в книжных магазинах Японии, здесь можно проводить по несколько часов, знакомясь со всем, что тебя интересует, и не навлекая на себя недовольство хозяев магазина.

Через несколько минут я в магазине. Выбрав шесть книг о Достоевском, сажусь на приставную лесенку у полок, разворачиваю толстое исследование и... оказываюсь в мире ошеломляющем.

Конечно, и раньше я знакомился с тем, что пишут в США о Достоевском, о русской литературе в целом. Но знакомиться спорадически, порой в препарированной рецензентами и смягченной редакторами форме одно, и держать в руках сразу столько книг с таким количеством совершенно оголенных мыслей — совсем другое. К тому же в нашей стране популяризируются высказывания таких писателей, как Драйзер, Фолкнер⁴, таких переводчиков и пропагандистов русской литературы, как

³ Краткая, но очень точная характеристика его творческого облика дана в книге: А. Л. Григорьев. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л. «Наука». 1977, стр. 101—103.

⁴ «Он, — говорил Фолкнер о Достоевском, — не только в очень многом оказал на меня влияние, но я испытываю наслаждение, читая его, и я ежегодно перечитываю его. По своему мастерству, по силе проникновения во внутренний мир человека, по глубине сострадания он был одним из тех, с кем каждый писатель хотел бы сравниться».

Изабелла Хепгуд, и таких серьезных ученых, как профессор Гарвардского университета Лео Винер или профессор Йельского университета Вильям Л. Фелпс, назвавший в начале этого века нашу литературу «голосом пробудившегося ото сна и зашевелившегося гиганта». Мы знаем и, несмотря на множество замеченных дефектов, ценим первые монографические исследования и обзоры, выполненные американскими учеными: «Очерки о русском романе» того же Вильяма Л. Фелпса, «Леонид Андреев. Критические очерки» и «Горький и его Россия» Александра Кауна... И мы очень сожалеем о том, что белоэмигрантской волне удалось сбить с ног молодую русистику США, увлечь даже талантливых американских ученых на позиции, далекие от подлинной науки. Но мы до самого последнего времени почему-то не считали целесообразным вступать в полемику и с критическими претензиями, предъявленными двум величайшим русским гениям — Толстому и Достоевскому — Генри Джеймсом⁵ (так же, впрочем, как доказывать научную несостоятельность статьи «Достоевский и отцеубийство» Зигмунда Фрейда, поддержавшего мысль И. Нейфельда, будто Достоевский был моральным участником убийства своего отца⁶). Между тем для ученых США, похваляющихся реализмом, именно эти плевеи, а не плодотворные зерна, приготовленные для посева поутру Драйзером, Фолкнером, оказались теми семенами, которыми они вот уже которое десятилетие щедро засевают научную ниву. Не щадят ни Гоголя, ни Гончарова, ни Толстого. Но особенно любят «углубляться» в Достоевского. Читая книги о нем, чувствуешь себя то рядом с печью Освенцима, то почти в камере пыток и не перестаешь содрогаться от ужаса или отвращения, листая десятки набранных убористым шрифтом страниц, взрывающихся грязью, пошлостью. «Эдипов комплекс», «власть суперэго», «мазохистские импульсы», «репрессированные гомосексуальные чувства» — именуется это на языке структуралистов, неокритиков, юнгианцев, фрейдистов, психопатологов. В переводе же на русский язык это должно означать, будто Достоевский всю жизнь был одержим мотивами отцеубийства, кровосмешения, садизма, подавлял в себе постыдные стремления, они же вопреки его воле разражались в его творчестве созданием таких образов, как Федор Карамазов, Смердяков, Свидригайлов. Я сижу у книжной полки магазина. По улице проносятся машины с наглухо закрытыми стеклами. Меня от этого мира отделяет многое. Отделяет и Достоевский. Отделяет потому, что профессор Роберт Пэйн в книге «Достоевский: портрет человека» пытается перекроить его на уродливо-американский лад, нашептывая читателю: «Под масками старого Федора, Дмитрия, Алеши, Ивана и Смердякова нам видится лицо самого Достоевского»; «Смердяков, «человек из подполья», возможно, портреты той дикой, импульсивной части самого писателя, что лежала в его подсознании»; «Князя Мышкина связывают с Рогожиним репрессированные гомосексуальные чувства, а с Настасьей Филипповной — его садистско-мазохистские импульсы»⁷.

На помощь «препаратору» спешит «теоретик»: «Величайшие произведения прозы имеют дело с тем, что может быть названо святыми преступлениями, нарушениями табу, установленного обществом; они имеют дело с кровосмешением и отцеубийством, с жестокостью родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям, с безжалостной амбицией и убийством, предательством и вожделением»⁸.

И это все говорится в связи с художником, герой которого отказывался даже из-за одной невинно пролившейся слезинки ребенка взять от самого бога билет в рай! В связи с художником, который думал только о том, как устроить жизнь, чтобы в ней не было ни одного несчастного, голодного, сирого, как спасти мир от угрожающих ей Хитровки и Бауэри-стрит, от бездуховности! Решительно не принимал он общест-

⁵ «Только форма схватывает, держит и сохраняет субстанцию...— утверждал Г. Джеймс.— Толстой и Достоевский — жидкие пудинги, хотя и не безкусные благодаря силе их гения и опыта. Но против них можно выдвинуть много возражений, и мы особенно видим, насколько велики их пороки, заключающиеся в отсутствии композиции, полном пренебрежении к экономии и архитектуре.— когда другие хотят походить на них или подражают им» (Henry James. Selected Letters N.Y. 1955. p. 131).

⁶ См.: И. Нейфельд. Достоевский. Психоаналитический очерк. Под редакцией профессора З. Фрейда. Перевел с немецкого Я. Друскин. Л.—М. «Петроград». 1925.

⁷ Robert Payne. Dostoevsky: a Human Portrait. N. Y. 1961, pp. 340, 365.

⁸ S. O. Lesser. Fiction and Unconscious. Boston, 1957, p. 107.

ва, основанного на власти денег, считал его свободы мнимыми. «Дает ли свобода каждому по миллиону? — спрашивал он и сам же отвечал: — Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно». В гениальном романе «Преступление и наказание» он неопровержимо доказал, что индивидуализм, желание с помощью миллиона стать необыкновенной личностью и господствовать над «тварями дрожащими» ведет к душевному, моральному крушению личности. В другом романе — «Подоросток» — мы наблюдаем, с какой дьявольской силой духи капиталистического бытия («ротшильдская мечта», эгоизм, всевластие) захватывают и ломают людей. Те же силы беспощадно пожирают в жизни все истинно прекрасное и духовно совершенное, как показано в романе «Идиот». «Достоевский, — утверждает мой друг, видный югославский ученый Милосав Бабович, — всегда более убедителен в бунте против мирового зла, чем в проповеди смирения»⁹. А здесь люди, именующие себя учеными, проходят мимо всего этого. Кому нужно опасное плетение словес, выдаваемое за науку? Не тем ли, кто согласен толкнуть человека на что угодно, лишь бы он не догадался о своем подлинном историческом назначении?

Неисчислимы страницы в американском литературоведении, призванные убедить читателя, будто Достоевский был злейшим социалистоедом, смотрел на жизнь и людей глазами «человека из подполья», видел причину всех страданий на земле только в природе человеческой природы и не оставлял человечеству никакой надежды, являясь в этом отношении прямым предшественником удушающего нигилизма, господствующего в современном модернизме. Последнее утверждение принадлежит американскому критику Ирвингу Хау. О ненависти Достоевского к социализму как реальной надежде человечества любит распространяться Лайонел Трилинг. Во время одной из бесед мне не без злорадства повторили его утверждения как неопровержимую истину. А один из участников встречи поспешил протянуть ниточку к нынешнему дню с помощью такого заключения:

— Литература, вращающаяся вокруг идей социализма, не может стать великой литературой, а профессор, защищающий такую литературу, не настоящий ученый.

— Вы, считающий себя ученым, пишете книги о русской литературе, а не знаете, что, по крайней мере, со времени Белинского и Герцена она вращается вокруг идеи социализма. Достоевский не исключение.

— Он выступал против социализма.

— Он спорил с различными пониманиями социализма...

— Знаем мы эту уловку, придуманную профессором Сучковым...

— ...замахивался на социализм в целом, — продолжал я, — но когда более опытный, чем вы, социалистоед Ростислав Фадеев позволил себе нападки на одного из первых отцов социализма, Достоевский, уже пострадавший за свои социалистические увлечения, написал: «Ростислав Фадеев и Фурье... Нет, я за Фурье... Я уже отчасти претерпел за Фурье наказание... и давно отказался от Фурье, но я все же заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. Т. е. все-то эти ученые юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, все такие дураки, что стояло бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб тотчас поумнеть. Верно тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умён»¹⁰. Он же за пять лет до смерти сказал, что если есть в России идеи страстные, так это идеи социализма. И не кто-нибудь другой, а сам Достоевский утверждал, что полемизировал на страницах «Эпохи» с «мещанством социализма»¹¹, то есть, как неопровержимо доказала профессор Вера Нечаева в своей превосходной книге, с опозданием идей социализма¹².

— А его ненависть к Добролюбову? Его отвержение романа «Что делать?»?

— Что ж, погашу и эти два вопроса двумя признаниями самого Достоевского.

⁹ М. Бабович. Достоевски код Срба. Титоград. 1961, стр. 365.

¹⁰ Сб. «Достоевский — художник и мыслитель». 1972, стр. 167.

¹¹ «Литературное наследство», т. 83, стр. 284.

¹² См.: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М. «Наука». 1975, стр. 222—223.

Вскоре после смерти Добролюбова и заточения в крепость Чернышевского он написал: «Я жалею о безвременно умершем Добролюбове и о других и лично и как о писателях». Что касается романа «Что делать?», то о нем в журнале «Эпоха» должна была появиться одобренная Достоевским и набранная, но не увидевшая свет из-за прекращения журнала специальная статья поднимаемого вами сегодня до небес Николая Страхова (Косицы). В ней, к вашему удивлению, утверждалось: «Именно роман «Что делать?», по моему мнению, останется в литературе... Положительно у нас не было в последние годы ни одного произведения, в котором было бы слышно такое напряжение вдохновения». Это позволило Достоевскому несколько лет спустя написать: «В одном из самых последних №№ прекратившегося в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о «знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?». Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. И что же? В ней именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался... Теперь согласитесь: если бы была во мне ненависть из-за убеждений, я бы, конечно, не допустил в журнале статьи, в которой говорилось о Чернышевском с надлежащим уважением, на самом деле ведь я был редактором «Эпохи», а не кто другой»¹³.

— Где это напечатано?

— Я, конечно, укажу вам, где все это напечатано, хотя не я, а вы пишете о Достоевском...

Не ясно ли, почему мне не особенно хочется сейчас идти на очередную встречу? Но я пойду, а перед тем из-за прозвучавшего вчера слова «тщательно» сижу в магазине и листаю, листаю читанные раньше или не читанные никогда книги американских ученых. И постепенно настроение у меня изменяется. Существует в американском литературоведении и другая линия, связанная с глубоким и серьезным восприятием Достоевского. Протестуя против искаженной трактовки творчества великого писателя «онтологической критикой», вырывающей его из русла реалистической литературы, Ван Вик Брукс в книге «Писатель в Америке» утверждал, что она, критика, намеренно не замечает «регенеративных импульсов», то есть веры писателя «в жизнь лучшую, чем она есть». И спрашивал: «Где у русского писателя можно найти ту абсолютную ночь американских писателей, в которой множество людей наделены непоправимо отвратительными свойствами?»¹⁴. Достоевского нет основания считать предшественником С. Беккета, Н. Мейлера и других имморалистов в современной литературе, превращающих гомосексуализм в героизм святости, заявляет Юджин Гудхарт. Достоевский никогда не отклонял мысли о том, что литература призвана служить обществу, что она может и должна помогать людям стать лучше, красивее, счастливее, подчеркивает Роберт А. Джексон.

После всего того, о чем рассказывалось выше, эти книги, пусть во многих положениях спорные, радостно держать в руках, приятно встретить не всегда новые, но как бы на наших глазах обновляющиеся слова, например, в книге Роберта А. Джексона о том, что «Бедные люди» были ранним плодом нового социального реализма в русской литературе 40-х годов прошлого столетия, что образом Макара Девушкина автор возвращал маленькому человеку его человеческий облик и человеческое достоинство, утраченные было Акакием Акакиевичем, что красота как неотъемлемое условие гуманизма всегда оставалась центром эстетической философии Достоевского и — пусть противоречиво — определяла позитивное начало в его творчестве. Не соглашаясь ни с теми, кто отказывается считать Достоевского реалистом, ни с теми, кто хотел бы поднять его над реализмом Сервантеса, Шекспира, Бальзака, Диккенса с помощью эпитетов «мистический», «демонический», «эпилептический», «аллегорический», ученый пишет: «Концепция действительности у Достоевского синкретична. Действительность для него включает в себя конкретную историческую действительность с ее классами, насущными проблемами и конфликтами, социальными и национальными типами... Но действительность Достоевского включает также идеалы и мечтания, являющиеся частью социальной действительности, и их воплоще-

¹³ Там же, стр. 209 и 211.

¹⁴ V. W. Brooks. The Writer in America. N. Y. 1953, p. 169.

ние в идеальных типах»¹⁵. На этом основании профессор называет колоссальный по размаху и глубине реализм Достоевского реализмом, имеющим философско-идеальную подструктуру. Достоевский берется исследователем в динамике, в единстве формы и содержания социального и общечеловеческого, конечного и бесконечного, в неотторжимости от мира, человечества. Немало интересного высказывается о типах и типическом...

Перелистывая книгу Роберта Л. Джексона, мысленно ставлю ее рядом с написанной совершенно в ином ключе и давно известной мне книгой профессора Роберта Л. Белкнапа «Структура «Братьев Карамазовых». Я прочел ее сразу после выхода из печати и не совсем понял, почему так неласково она была принята некоторыми нашими учеными. Кажется, они не совсем считались с тем обстоятельством, что исследование осуществлялось автором в условиях, когда обнажившийся «новый критицизм» (*new criticism*), как пьяный дикарь, исполнял почти в одиночестве яростный танец на подмостках американских литературоведения и критики, литература же на время почти совершенно выбросила из своего арсенала образ, сюжет, фабулу даже в самом упрощенном понимании их. Этим и продиктован иронический зачин в исследовании профессора Белкнапа: «Эта книга содержит длинный анализ одного романа, анализ, только случайно включающий творческий путь, литературную традицию, или социальную, культурную и психологическую среду, в которой появился роман»¹⁶. Не упуская из виду всех случайностей, ученый показывает, как построен, как «работает» по-настоящему хороший роман, на каком поистине колоссальном богатстве внутренних сцеплений, пересечений, соотношений, ассоциаций, взаимодействующих координат и комбинаций создает образы центральных героев романа Достоевский, как увлекательно разворачивает сюжет, какую внутреннюю цельность придает произведению и в то же время держит читателя в постоянном напряжении. Анализ так называемых структур и кустов ассоциаций позволяет ученому сказать немало интересного о сущности так называемой карамазовщины, об отдельных героях произведения. Не помню, как отнеслись специалисты к схеме эмоциональных связей героев, данной Р. Белкнапом, но считаю, что он очень глубоко, хотя и не беспорочно разработал проблему повествователя, первичных и вторичных рассказчиков, использования «множественного повествования» в романе (вообще проблему очень сложную и здесь и во всем творчестве Достоевского, сбивавшую иногда с толку даже такого искушенного читателя, как Горький). Не знаю, вел ли в процессе своего исследования профессор Р. Белкнап внутренний спор с мнением Джеймса. Но вся его книга неопровержимо доказывает полную несостоятельность этого мнения.

Конечно, профессор Роберт Л. Белкнап не стоит на марксистских позициях. Но, как ученый, не могу не отдать должного ясности его методологии и тому, что его позиция далека от все еще модных в США фрейдизма, мифологизма, юнгианства и всего другого, что уводит многих американских ученых в сторону от научного, проникнутого подлинным историзмом изучения литературы.

Когда же обнаруживается, что Робин Миллер исследует творчество Достоевского, избегая формалистической односторонности и психопатологических изысков, мне становится весело. Весело еще и потому, что сам Дональд Фангер, оценивая доклад, вынужден ограничиться стереотипной фразой: «В докладе поставлена интересная проблема, поставлена во многом новаторски». Сам он, как я уже говорил, стремится применять в исследовании литературы ультрановейшие методы. В той же книге «Достоевский и романтический реализм», ухватившись за известное выражение «фантастический реализм», он заменяет эпитет «фантастический» эпитетом «романтический» и, не очень утруждая себя доказательствами, заявляет, что Достоевский будто бы трансформирует с помощью гротеска действительность так, чтобы она, говоря словами Герберта Дж. Уэллса, сказанными о Генри Джеймсе, утратила все соломинки из своей прически, то есть всю реальность, и поднялась до символа-мифа, утверждающего бессмысленность и хаос бытия. Тем самым, считает ученый, Достоевский переосмысляет

¹⁵ Robert Louis Jackson. *Dostoevsky's Quest for Form. A Study of His Philosophy of Art*. New Haven and London. 1966, p. 71.

¹⁶ Robert L. Belknap. *The Structure of «The Brothers Karamasov»*. 1967, p. 4.

темы, образы, сюжетные ситуации своих предшественников, «детипизируя (detypifying) их, удаляя (removing) от социальных категорий и возвращая к недифференцированному факту человечества, отличительной чертой которого является страдание»¹⁷.

Вот что значит быть ученым-стратегом, мыслящим глобально. Не только нейтрализуется социальный критицизм творчества Достоевского, но и посредством научного сравнения Достоевского с Бальзаком, Диккенсом и Гоголем, осуществляемого новейшими методами, перечеркивается самое ценное в творчестве предшественников, чьи традиции с таким успехом развивал гениальный русский романист. Об этом я и начал было говорить профессору Дональду Фангеру, когда мы снова встретились в его кабинете на третьем этаже Boylston Hall'a. Но он сегодня был решительно настроен на другие темы. Мне с трудом удалось вернуть его к литературе наших дней.

— Не потому ли в вашем университете изучение нашей литературы обрывается на начале двадцатого столетия, что Гарвард не имеет специалистов? — полюбопытствовал я.

— Отчасти это так, но только отчасти. Видите ли, когда изучаются не отечественные литературы, по моему убеждению, даже аспирантов следует в первую очередь знакомить с самыми основными писателями, самыми оригинальными произведениями, главными направлениями, словом, в нашем конкретном случае — с крупными явлениями русской литературы. Но даже и это для них довольно трудно, ведь они должны овладеть русским и еще одним славянским языками. Им приходится изучать лингвистику и, кроме отечественной, еще вторую литературу. Да, вы угадали, у нас всего три с половиной профессора: я, Сечкарев, Тарановский и доцент Брамвил Лундт, в свое время написавший диссертацию о Слепцове. Специалистов по советской литературе не было. Говорю «не было» потому, что теперь все изменится. К нам прибыл из ФРГ профессор Юрген Штридтер. Он будет читать курс советской литературы.

В завязавшемся споре о современной советской литературе профессор был совершенно неуступчив. Найти какие-либо точки соприкосновения нам не удалось и в другом вопросе.

— Наша обязанность, говорите вы, открывать читателю интересных писателей? — возражал он. — А кто может поручиться читателю, что я действительно открываю ему интересного писателя? И что значит открыть? Вот вы говорите: Бондарев, Викулов, Федоров, Быков, Абрамов, Распутин, Мележ, Чигринов, Стельмах, Гончар, Авижюс, Марцинкявичюс, Бубнис, Нурпеисов талантливы. Но почему я должен вам верить? Тем более что вы не хуже меня знаете, что открытие, по крайней мере в наших областях, так не делается.

— А как оно делается? — с недоумением спросил я.

— Как? У меня есть единомышленники, которые знают меня, а я их. У нас есть общие интересы, общие цели. И вот если такие люди говорят мне: «Дональд, надо обратить внимание на писателя X, поддержать его или, наоборот, развенчать» — вот тогда у меня есть настоящее основание сделать то или другое. Вообще же признание или непризнание — чистая лотерея. Если в Калифорнии ко мне подойдет всего один человек и похвалит мою книгу, я скажу себе, что мне стоило ее писать. Если же не будет ни одного читателя... Не будем огорчаться, что бостонец не читает Быкова, Белова, Айтматова... Знаю, что итальянцы, французы хвалили последнего... А я посмотрел фильм по его произведению и... Вот у вас ведь не знают Генри Джеймса, а вы огорчаетесь, что у нас не читают ваших современных писателей.

Я возразил: на русский язык произведения Генри Джеймса переводились начиная с 1876 года; с некоторыми его сочинениями русские читатели успевали познакомиться раньше, чем американцы; «Дэзи Миллер» выдержала у нас несколько изданий; однотомник его лучших повестей увидел у нас свет в 1974 году с предисловием А. Елистратовой.

— Я хорошо знал ее, — ответил профессор. — Недавно написал ей письмо. Дочь ответила, что мама умерла.

¹⁷ Donald Fanger. Dostoevsky and Romantic Realism. A Study of Dostoevsky in Relation to Balzac, Dickens, and Gogol. Chicago and London. 1974, p. 209.

За день до отъезда из Кембриджа меня пригласили на обед аспиранты Гарвардского университета. Мы договорились встретиться на зеленой лужайке перед библиотекой и уже компанией отправиться в ресторан.

За обедом Бетти Форман изложила план своей диссертации на тему «Ранний Горький. Художественные произведения. Эстетика. Литературные связи и влияния. 1892—1905».

— Меня очень интересует литературная обработка реального факта Горьким: как он шел за фактом и событием, как поднимался над ними, как позднее, в той же «Голубой жизни», хотел уйти от факта. Жизнь давала ему такие факты, такие сюжеты и повороты, что они оказывались интереснее любой выдумки. Хочу проследить также литературные влияния на Горького, прежде всего Толстого и Чехова, по-разному наставлявших его...

Другой аспирант рассказал, что на славистическом отделении университета сейчас выполняются диссертации о современной прозе Валентина Катаева, об автобиографической прозе Марины Цветаевой, о прозе Н. А. Некрасова, поэзии Ивана Бунина, рассказов Андрея Белого. Одна диссертация озаглавлена так — «Развитие мировоззрения Льва Толстого», другая — «Египетские ночи» Пушкина в их связях с другими произведениями и замыслами поэта», третья — «Квазиавтобиографические произведения Алексея Ремизова»...

— А я, — сказала аспирантка Гарвардского университета Лена Ленчик, — работаю над темой поэта в произведениях Брюсова, Блока, Белого, Пастернака, Маяковского. До этого писала о Есенине. Вот это поэт! Но в университете не нашлось для меня научного руководителя. Пришлось сменить тему. Начинаю с Пушкина, с его «Пророка». Когда я читала ваших философов, то была поражена также тем, что с грядущей социальной революцией они связывали разрешение всех других проблем, не исключая религиозных. Удивительно, с каким самообладанием, не вскрикивая и не всхлипывая, Александр Блок, поэт рафинированной культуры, принял Октябрьскую революцию и благословил ее образом Христа. Вероятно, многих оглушило это тем, что сделалось у него как бы само собой...

— Недавно в Балтиморе напечатана статья Джорджа Сантаяны об эпитафии, сочиненной на смерть Рафаэля кардиналом Бембо: «Это тот Рафаэль, кем живым Великая Матерь вещей боялась быть побежденной. Ныне, со смертью его, смерти боится сама»¹⁸. Наш философ находит в ней явный абсурд и доказывает, что смерть Рафаэля нельзя назвать ни преждевременной, ни прискорбной...

— Пожелаем такой же и нашим философам, — невозмутимым тоном сказал его сосед, подкладывая на тарелку огромный кусок пиццы, которую мы все дружно поглощали, и, словно он находился за кафедрой, стал разъяснять присутствующим: — Смерть, смерть... Вот говорят, что и наша школа должна смениться новой. Почему? Парсонс сумел в своей «Структуре социального действия» объединить все лучшие элементы европейских социологических школ, не исключая утилитаризма и позитивизма, сформулировал пять пунктов социального действия...

— Чтобы в конце своей жизни присоединиться к эволюционной схеме Герберта Спенсера? — уколол его чей-то тенор.

— Это было все же лучше, чем захлестнувшие теперь нас субъективистские и микросоциологические тенденции...

— Да разве ваша беда в этом? — стал всерьез возражать ему тот же голос. — Она в том, что вы стали рабами компьютерных методов, они превратились из вспомогательных в главные и увели вас от изучения важных социологических проблем, таких, как отношения между различными социальными группами, слоями, как социальное неравенство, влияние власти на стратификацию. По существу, вы отказались от научного исследования и объяснения истории, общества и его будущего. Социальная психология усыхает на корню, стирается... Даже у тех, кто всерьез занимается социальными проблемами, научные изыскания все больше вытесняются идеологическими построениями и концепциями. Раздробили свою науку на двести осколков и манипулируете социологическими идеями или в лучшем случае предлагаете нам по-

¹⁸ Здесь даю в переводе И. А. Энгельгардта.

верхностные описания. Вы бы сделали шаг вперед, если бы обогатили теоретические основы вашей науки и метод исследования диалектикой Гегеля, Маркса, Хайдеггера...

— Рудольф Энглер прав,— пророкотал неторопливый басок.— После Коперника и Дарвина не создавалось более великой теории, чем учение де Соссюра о знаковых системах. Сам Карл Яберг, бог нашей науки...

— Вашей науки... Нашей науки...— проворчал, усмехнувшись, единственный в этой компании старый мой знакомый профессор-литературовед.— А вот профессор Маргарет Мид считает, что, все более дифференцируя и обособляя науки, в особенности имеющие дело непосредственно с человеком, мы наносим настоящему исследованию непоправимый вред, так же как в случае, когда распространяем на человеческий мир методы физических наук. В будущем, считает она, естественнонаучное и гуманитарное начала в научной деятельности сольются, что и позволит на основе этого гармонического взаимодействия ставить и успешно решать задачи планетарные, такие, как оздоровление природы на всей земле, формирование нового политического устройства...¹⁹. Вы согласны?— спросил он меня.

— Я согласен с решением этой проблемы, которое лежит в основе учения о биосфере, созданного нашим академиком Вернадским,— ответил я.

— Обсуждаемой нами сейчас проблеме профессор Кэтрин Робертс посвятила специальную книгу «Совесьть ученого»...

И оборвал свою речь так же неожиданно, как начал ее. Помедлив минуту-другую, сказал:

— Надеюсь, эти два часа вы чувствовали себя в родной атмосфере? Правда, я привел с собой девять человек. А герой Достоевского утверждал, что достаточно «русским мальчикам» собраться втроем-вчетвером, как они непременно заговорят «о мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца». Но то русские мальчики, а мы — американские профессора!..

Ясный солнечный день позволяет ощутить красоту просторов, расстилающихся под крыльями самолета, любоваться Великими озерами. Но я уже не в первый раз лечу по этому маршруту и поэтому сочетаю приятное с полезным: поглядывая в иллюминатор, заново в записную книжку только что состоявшуюся беседу с группой ученых Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Многое врезалось в память, а вот, к стыду своему, два или три интереснейших высказывания обедавших со мною ученых о предназначении человека вспомнить не могу. К стыду потому, что всю жизнь как литературовед интересуюсь этой проблемой.

Вечером, сидя в гостях у старого знакомого, поведал ему о своей задаче. Он засмеялся и сказал, что обладает редкой способностью воскрешать мысли своих коллег. Достал с полки тоненькую книжечку и, перелистывая ее, продолжал шутить:

— Вы переоцениваете богатство мыслей о человеке, обуревающих моих коллег, а еще в большей степени — наш народ. Вот тут собрано все самое сокровенное, осевшее в связи с проблемой человека наших ученых в последние пятнадцать лет. Профессор Родерик Чизхолм из Браунского университета находит, что настоящая наука о человеке вообще невозможна. Профессор Стюарт Хемпшир из Уодхемского колледжа придерживается противоположного мнения и немедленно начинает создание такой науки с постановки и решения проблемы «свобода и мысль». Второй из намеченных им двух компонентов науки определяется исключительно состоянием человеческого организма. Профессор Вильям Фрэнкен формулирует главный принцип «процедурного равноправия дистрибутивной справедливости». Где же он? Вот он! Нет, не то. Ага, вот: «Одинаково относитесь к людям до того момента, пока нет основания относиться к ним неодинаково»²⁰. Здорово? Ха-ха-ха! Далее у него идут градации теории неравноправия и теории равноправия, подводящие к следующему построению.

¹⁹ M. Mead. Towards a Human Science. «Science», 1976, March 5, vol. 191, № 4230, pp. 903—909.

²⁰ «Freedom and Morality. The Lindley Lectures delivered at the Univ. of Kansas by R. B. Brandt, R. M. Chisholm, S. Hampshire et al.». Lawrence. 1976, p. 58.

Вопрос о том, все ли люди равны, вызывает резко противоположные ответы. Почему? Потому что неверно сформулировав, вбирает в себя два разных вопроса: первый — существует ли сфера, в которой люди оказываются фактически равными; второй — должны ли все люди быть равными. Проще говоря, следует ли ко всем людям относиться одинаково? Философ отвечает: следует, но до тех пор, пока люди обладают мыслями, чувствами, желаниями и способны на хорошие и плохие поступки. Как видим, глубокая и ни к чему не обязывающая философия.

Он молча полистал минуты две книгу и поскучившим голосом закончил:

— Больше ничего интересного. Профессор Уилфрид Селларс из Питтсбургского университета, кажется, присоединяется к утверждению Канта, что к человеку надо относиться как к цели, а не как к средству. Аргументация: «Внутренне обоснованное намерение, будучи основным побудительным средством в области категориально обоснованных намерений, является и межсубъективным обоснованным намерением, благодаря чему всякое рациональное существо способствует благу общества»²¹. Поняли? А говорите, мы не умеем писать академически строго... Профессор Алан Геверт из Чикагского университета переиначивает другую мысль великого философа: «Применяй к своему реципиенту те же категориальные правила действия, что и к самому себе»²². А вот это вас должно заинтересовать. Профессор Альберт Гофштадтер из Калифорнийского университета «размышляет о зле». Самым страшным злом считает не то, которое нам причиняют другие, а то, которое мы причиняем другим. Он говорит, что возможна своеобразная «эстетика зла», когда «злой акт совершается с таким артистизмом, что в нем все поражает гармонией отрицания». На такую утонченность, по мнению профессора, способны лишь злодеи, совершенно закосневшие во зле, точнее, движимые абсолютным тщеславием, индивидуализмом, порождающим в них стремление подменить всеобщее бытие своей собственной личностью. Не знаю, как вам, а мне, коренному чикагцу, это так понятно...

Все только что услышанное было не совсем похоже на то, что говорилось за обеденным столом. Но я выпросил заинтересовавшую меня книгу, чтобы обстоятельно ознакомиться с нею. Она называется «Свобода и мораль». Это лекции, прочитанные видными учеными США в Канзасском университете. Там она и вышла в 1976 году.

Беседы с профессором Робертом Л. Джексоном приятно поражают не частым в США стремлением ученого проникнуть в заповедные глубины русской и советской литературы. Это впечатление не оставляет вас, даже когда он говорит о преходящих ее явлениях, принимает всерьез то, над чем когда-нибудь в будущем сам посмеется.

Мы стоим у широкого — во весь стеной проем — окна в моем номере отеля. Внизу, за сквером, центр Йельского университета, уставленный выстроенными из красного кирпича в викторианском или ложноготическом стиле учебными корпусами, библиотеками, музеями, студенческими общежитиями и, конечно, церквями. Явно любясь открывающимся перед нами видом, широкоплечий, черноволосый, одетый в скромный коричневый пиджак и полотняные брюки собеседник расспрашивает об общих знакомых, поглаживая седеющую щеточку усов. Говорит он негромким голосом, почти не повышая его, даже когда восхищается. Из современных советских писателей его интересует больше других Леонид Леонов.

— Пишет ли он сейчас что-нибудь?

Рассказываю о том, как перед самым моим отъездом писатель сказал по телефону несколько сердитых фраз о США («Все прислушиваются не началась ли у нас перестрелка между собой, все бегают по задворкам в поисках подходящих отбросов»). Я упоминаю роман, над которым он работает более двадцати лет.

— Это, конечно, философский роман? — спрашивает профессор, но спрашивает так, что вопроса почти не улавливаешь. — Удивительно, как органично русские писатели сумели ввести философию в литературу. Меня ваша литература особенно привлекает этой своей чертой. Замечательная литература. Художественная неотразимость, философия, углубленный психологизм и — жизнь. Конечно, у Канта тоже изящная по

²¹ «Freedom and Morality. The Lindley Lectures delivered at the Univ. of Kansas by R. B. Brandt, R. M. Chisholm, S. Hampshire e. a.», p. 77.

²² Ibid., p. 78.

форме философия. Но тут незамкнутый круг, здесь кипение, бурление жизни и мысли вместе. И знаете, что еще потрясает меня? Гомер, Эсхил, Софокл, Сервантес, Шекспир — все-таки они где-то там, в глубинах далекого прошлого. Это почти легенда. А тут — вот недавно, да и в наше время гении... Толстой, Достоевский, Чехов, Горький... Даже не верится, что эти гиганты — у самого порога нашего века, что прямо от них и даже некоторыми из них начинается наш век, наша эпоха. Я согласен с утверждением: кажется, мы еще можем ощутить тепло их прикосновения к вещам и даже пожать руку, которую они жали, как пожимаете вы руку Леонида Леонова, которому пожимал ее Горький своей рукой, не раз ощущавшей тепло рук Чехова, Толстого.

Удивленно глядя куда-то вдаль, он, казалось, мысленно восстанавливал эту обратную цепь, доводя ее через Толстого, Тургенева, Некрасова, Достоевского до Белинского и самого Пушкина. А потом, вернувшись снова в нашу эпоху, продолжал:

— Чехов... Я сейчас увлекаюсь им, пишу о нем. Каждое его произведение — перл. Не только в художественном, техническом, что ли, смысле. Перл мысли. Даже не верится, что когда-то его могли обвинять в отсутствии идеалов, мировоззрения, в равнодушии к жизни, холодности, не ощущали сознательного и героического содержания его гуманистического взгляда на мир, его спокойной веры в то, что только взаимодействие человека с действительностью содержит творческий потенциал, что сам человек наполняет смыслом свою судьбу. Во взгляде на человеческую судьбу, в понимании ее он видится мне рядом с Софоклом, Шекспиром, Достоевским. А что касается глубины его мысли... Это только скромность, которой он всегда отличался и под обаяние которой мы попадаем по мере знакомства с его личностью, мешает нам понять страшную глубину его как мыслителя, невероятную пронизательность его ума. Уверяю вас: если мы до сих пор не раскрыли и не показали этого, то лишь потому, что он сбил нас с толку своей не менее поразительной скромностью.

— Согласен, но вы чересчур снисходительны, — возражаю я, — особенно к тем, кто создавал примитивное представление о Чехове еще при его жизни. Утверждение об отсутствии у него мировоззрения, идеалов могло возникнуть и из ощущения страшной, почти недоступной глубины его ума. Так человек, глядя в неглубокий колодезь, говорит: «Вот она — вода!»; глядя же в бездонную пропасть, на дне которой, быть может, находится целое озеро, говорит: «Темная дыра!» И отходит, болтая всякий вздор, лишь бы не показать, что ему стало не по себе.

Явно обрадованный этими словами, профессор, погладив усы, в которых блестит седина, признается:

— Я иногда думаю: напиши Чехов романы, они потрясали, ошеломляли бы нас своими философскими безднами. А Толстой, Достоевский, Горький? Вы считаете лучшим произведением Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом»? Это действительно изумительное произведение. Но я очень люблю и считаю такими же сильными его автобиографическую трилогию, ранние и позднейшие рассказы — о Челкаше, Караморе... Занимаясь Достоевским, мне пришлось много думать о споре с ним Горького. Несомненно, у Горького был свой черт, как был он у Ивана Карамазова. И этим чертом являлся Достоевский. Горький спорил с ним, боролся, сражался, как спорил, боролся, сражался со своим чертом Иван Карамазов. Достоевский — зеркало Горького. Глядя в него, Горький вдруг обнаруживал свои черты. И это не то возмущало, не то пугало и всегда отталкивало его. Вместе с тем я бы сказал и по-другому: если хотите, Горький был героем Достоевского, вот тем совершенным положительным реальным героем, по которому всю свою жизнь тосковал Достоевский, которого хотел, но из-за недостатка реальных наблюдений не мог запечатлеть и которого, появившись он перед ним в жизни, может быть, и не узнал бы, поступил бы с ним, как Великий инквизитор с Христом. «Хочу верить!» — вот воплощением чего в реальной жизни был Горький. Он хотел верить. И он верил. В этом, думается, величие и трагедия его. Трагедия — поймите меня правильно! — в греческом, возвышающем смысле слова. Горький — это уже наше время, наша сложная эпоха. Поэтому и он сложен, не мог не быть сложным. По-моему, он самая сложная фигура двадцатого века. Выйдя на самый стрежень жизни, он, как я сказал, хотел верить, и он — верил. В нем вся эпоха со всеми ее противоречиями, величайшая переходная эпоха. И писать о нем надо не просто как о художнике. Писать надо, беря его сразу и в философском, и в идеологическом — нет,

«идеологический» не то слово! — в социальном, и в эпическом, и в художественном, и просто в бытовом аспектах, беря все в неразрывности с эпохой, сложностями, трудностями ее. Без этого он будет обеднен, упрощен и непонятен. Не надо бояться говорить о его слабостях, заблуждениях, о том, что не всегда он сразу находил верные решения. Он искал, как искала вся Россия, весь мир. От этого он будет выглядеть еще большим гигантом.

— Сам Горький, — соглашаюсь я, — никому, даже Льву Толстому, не прощал упрощений, называя их бритьем дьявола, и пояснял: «Занятие сомнительное: дьявол-то хо-рош небритый, в густой шерсти».

Посмеявшись, профессор продолжал:

— И, конечно же, Горького нельзя понять, игнорируя его многосторонние связи с предшествующей и современной ему литературой. Вы знаете: я ведь начинал с современной советской литературы. Потом догадался: многое останется для меня непонятным, пока не загляну в корни. А они оказались очень глубокими. Так я пошел к Достоевскому, Толстому... Без них ничего не поймешь. И вот пройдя университеты у Достоевского, Толстого, Чехова, подумав о том, чтобы вернуться к современности. Быть может, буду писать о Горьком...

Говорил профессор Джексон ярче, оригинальнее, чем мне удастся восстановить его рассказ. Часто он пользовался кальками английских метких слов и идиом, что придавало речи дополнительную яркость.

— Интерес к русской литературе и языку в США, — рассказывал он, — существовал издавна. Корни нашей русистики уходят к первой русской революции (имею в виду революцию пятого года) и к Октябрьской революции, хотя первая книга, в которой рассказывалось о русской литературе, вышла в Нью-Йорке еще в тысяча восемьсот пятидесятом году, а преподавание русского языка в Гарвардском университете профессор Лио Уинер начал в тысяча девятьсот первом году. Но особенно интерес к вашей стране, языку, литературе взметнулся в годы второй мировой войны. И, конечно, он достиг невиданной высоты, когда взлетел в небо первый спутник, а затем последовал полет Юрия Гагарина в космос. Мы постарались закрепить этот интерес, сделать его непрерывным посредством создания в университетах отделений славянских литератур и языков. Сделали все что могли. Потом интерес к России то усиливался, то падал, сейчас он держится вот так — ровно. Русский язык изучается в двухстах семи университетах и колледжах. На нашем отделении двести студентов изучают русский язык и литературу. Это не означает, что они изберут их своей специальностью. Большинство филологов, естественно, специализируется по англо-американской литературе. Но у нас есть тридцать пять аспирантов первого-второго курсов, тридцать из них пишут диссертации по русскому языку и литературе, включая советскую литературу. Наше славистическое отделение — одно из трех, я хотел бы так думать, лучших отделений в стране...

Вспоминая теперь уже не такое близкое время своей учебы, профессор рассказал, что кандидатскую диссертацию посвятил исследованию «социологического метода Перверзева».

— Все тогда удивлялись. Сегодня же интерес к социологическому методу вообще непрерывно повышается. Вот только что получил письмо из Колумбийского университета от человека, пишущего на эту же тему диссертацию: хочет приехать, чтобы посоветоваться.

Прощаясь, спросил:

— Повзрослели мы? Поняли, что легких решений нет? Или устарились от них? Как вам показалось?

— Не хотел бы спешить с обобщениями. Впечатления разные, самые несхожие...

— А ключ к их осмыслению вы нашли?

— Ключ к любой стране — ее люди...

— Это, конечно, верно... Но я думаю, что для нас ключевое слово — противоречия. Всюду. Даже на самых совершенных горизонтах...

Литературная беседа с группой аспирантов Йельского университета началась за обеденным столом, а закончилась в библиотеке. Меня попросили рассказать об издании и изучении американской литературы в СССР. Рассказ перерос в своеобразную лек-

цию, вызвавшую множество вопросов. На них я и отвечал, когда мы возвратились в библиотеку. Особенно активен был высокий, аккуратно подстриженный аспирант, назвавшийся Говардом Форрестером. Поминутно откидывая назад каштановые волосы, он не отрывал от меня голубых глаз, задавая очередной вопрос, едва я заканчивал отвечать на предыдущий. И в лекции и в ответах на вопросы я, естественно, делал акценты на интересе советских читателей к реалистическим произведениям американских писателей, назвал Фрэнка Норриса, Шервуда Андерсона, Синклера Льюиса, Теодора Драйзера, Фрэнсиса Фицджеральда, Джона Стейнбека, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фоллнера. Вспомнил и процитировал слова Вернона Л. Паррингтона о Теодоре Драйзере: «Он обладает огромным и пугающим воображением. Подобно Джеймсу Бранну Кейбелу, он размышляет над бедственным положением человека во вселенной. Однако он не ищет убежища в идеальном. Он видит вещи такими, какими их видит». Приведа эти слова, назвал пятерых современных американских писателей, сказал два слова о так называемом новом журнализме, шутливо оговорившись:

— Я не занимаюсь специально современной американской литературой. Поэтому не берусь судить о том, обмелел или, напротив, углубился ее реализм сравнительно с реализмом Норриса, Драйзера, Фицджеральда...

Шутливая фраза подохла Говарда Форрестера. Поднявшись во весь рост, он заговорил с резкостью, удивившей всех присутствующих:

— Мы считаем себя самым реалистическим народом в мире. И мы меньше других народов реалисты в художественном творчестве. Претендуем на внимание всего мира. И проповедуем всюду где можно уход от мира. Ухватились за Вирджинию Вулф. Создали культ ее. Она всю жизнь пугала человека окружающим его миром. Бесконечностью его. Безграничностью его пространств. Как между молотом и наковальней, человек у нее зажат между «тюрьмой общества» и «злом природы». Остается одно: жить только с самим собой, в самом себе. Враждебный человеку мир не заслуживает его усилий. Поразительно? Еще поразительнее, что наш бурный век, взорвавшийся на полпути беспримерными протуберанцами, менее всего взволновал писателей. В творчестве даже тех современных художников, которых вы сегодня хвалили, нет глубокого отражения американской действительности. Нет его и в упомянутом вами «новом журнализме». Во что превратилось это течение? В клуб мистификаторов действительности. «Журнальный примитивизм» — так его именуют сегодня у нас. Профессор Джейкобсон сказал, что «новый журнализм», изображая «свихнувшуюся», безумную Америку, гиперболизируя внутреннее уродство и бездуховность, делает это с таким благонамеренным старанием, что приносит читателю настоящее успокоение и полное удовлетворение: «Ну, я еще ничего по сравнению с героем N, я простой человек, а лучше вон каких крупных людей!» Вы сказали: вымысел в художественном произведении призван помочь выявлению сокровенной сущности действительности. А у них он средство стирания границы между правдой жизни и ее мистификациями. Читатель волен воспринимать изображаемое либо как правду жизни, либо как игру воображения художника, испытание им литературных приемов. Неспроста внутренний мир современного американца остается для «нового журнализма» за семью печатями. Но не один лишь «новый журнализм» увел читателей от жизни, а писателей от реализма. Растерявшись перед странностью жизни, мастера кино, живописи, музыки стали спасаться от ее жестокости в волнах художественных исканий. Фабулизм, ирреализм, сюрреализм, разламывающие с помощью гротеска и пародии объективный мир, — все что угодно, но не реализм. Это было бессилие не реализма, а наших писателей, композиторов, живописцев перед безумно усложнившейся действительностью. Освободившись от социального реализма, наш детективный роман после Хэммета и Чандлера выродился почти начисто. Исключение — творчество пребывающего почти в одиночестве Честера Хаймса. Есть что-то оглушающее в том, что из драматургов острые проблемы нашей жизни по-настоящему уловили не Олби, не Симон, даже не Теннесси Уильямс, не говоря уж об Артуре Миллере, а долгое время живший в Англии Шепард, сражавшийся во Вьетнаме Рейб... Тщательно продуманный хаос в качестве главного героя обесценил американский рассказ, нередко строящийся на коллаже как центральном принципе искусства двадцатого столетия. В растерянности перед действительностью стоят близкие к самоисчерпанию Джеф Хеллер, Джон Барт, Джон Апдайк, а лукавый профессор из университета Север-

ной Айовы, чтобы усилить их смятение и окончательно сбить с пути, твердит: «Ведь мир абсурден, удручающе нереален и хаотичен в своей сущности, зачем же тратить талант на его воспроизведение?» Многих это увлекает, и вместо упорядоченного отражения, воссоздания мира и человека они по примеру Косинского одаряют читателя босховскими кошмарами и по примеру Лероя Джонса выходят «далеко за пределы политики», не оставляя в произведениях ничего, кроме порождений собственного воображения и новых приемов. В угоду приему, литературной реминисценции все чаще жертвуют главным в искусстве и настоящие писатели. Многим не дает покоя успех Торнтон Уайлдера, сумевшего из совершенно не воспринимаемого ни умом, ни сердцем романа Джойса «Поминки по Финнегану» создать пьесу «На волосок от гибели», причисленную к классическим произведениям американской драматургии. Эту тенденцию поддерживают критики, без конца напоминая о том, что Джойс с помощью литературных реминисценций полностью изгнал из своих последних произведений реальность, за что и объявлен величайшим писателем двадцатого столетия. Во всяком случае, ради приема, обыгрывания или переосмысления литературной цитаты современные наши писатели часто обращаются с действительностью свободнее, чем то позволяет настоящее искусство. Вы с иронией отозвались о книге профессора Йхаба Хассана «Паракритика. Семь взглядов на нашу эпоху»²³. Но ведь и многие писатели стремятся освободить литературу от социальных функций и, как они считают, устаревших представлений о гуманизме. Не менее известный, чем Йхаб Хассан, литератор пишет с одобрением о видном поэте: «Основным источником вдохновения для него являются книги, музыкальные произведения, порой картины художников, непосредственный жизненный опыт поэта почти не отражается в его поэзии». Профессор нашего университета Винета Колби выпустила книгу «Бытовой реализм в английском романе». С завистью перечитывал я приводимые в ней слова Элиот, определяющие ее творческое кредо: «Не в том главное назначение романиста, чтобы изображать мир таким, каким он никогда не был и не будет, подгонять жизнь и характеры к своему собственному вкусу, а в том, чтобы, подобно свидетелю, выступающему с показаниями под присягой, говорить правду и только правду о событиях и людях». Породившее своим приходом в нашу литературу «большие ожидания» старшее поколение Джонов (Джон Чивер, Джон Херси, Джон О'Хара, Джон Килленс) с годами то ли оказалось подмятым действительностью, то ли потеряло веру в возможность проникнуть в ее сокровенные глубины и поддалось эскапизму. В лучшем случае они копаются в тайнах одинокой души. От произведений веет холодом. В них нет совсем или значительно меньше вопросов, чем в самой нашей жизни...

Когда поздним вечером мы покидали библиотеку, Говард Форрестер снял с полки небольшую книжечку, подошел к копировальной машине, сделал отгиск десятка страниц, вложил в конверт и протянул мне. В отеле я вытряхнул содержимое конверта на стол. Это были ксерокопии двух статей из вышедшего в Огайо сборника, обличившего «новый журнализм». В одной из них я нашел и переписал в свою записную книжку обнадеживающие слова: «Вероятно, сегодня можно сказать, что запутался не только «новый журнализм», но запуталась вся поп-культура? Но не тьма ли это перед рассветом?»²⁴.

Трудность общения с американскими учеными, писателями, студентами, журналистами, телекомментаторами заключается в том, что они, как правило люди очень узкой специализации, твердо убеждены в одном: если советский профессор знает и не все на свете, то интересоваться обязан всем и во все, о чем ему говорят, должен вникать обстоятельно. И вот, осторожно подбирая русские слова, аспирант, специализирующийся в области изучения современной советской литературы, спрашивает:

— В докладе Барабаша на последнем съезде советских писателей употреблен без оговорок термин «мифологический реализм». Означает ли это, что ваша наука признает его существование? И признаете ли вы существование магического реализма как соединения реальности и ее фантастических проявлений, будь то мечта, тайна, чудо?

Оттолкнувшись, вероятно, от моей фамилии, красивая негритянка-аспирантка просит охарактеризовать 292 граффити (надписи и рисунки), оставленные на стенах Со-

²³ J. H a s s a n. Paracriticismus. Seven Speculations of the Times. Urbana. 1975, p. 24.

²⁴ «New Journalism». Ohio. 1975, p. 150.

фийского собора в Киеве в период с XI по XVII век, допытывается о существовании софийской азбуки, состоящей из 27 букв и не похожей ни на греческую, ни на ту, что утвердилась на Руси с введением христианства.

Сидящего рядом с нею рыжеволосого англосакса интересует мое отношение к утверждению философа К. Поппера, что история не имеет смысла кроме того, какой мы сами придаем ей, и к мнению Р. Арона, что люди никогда не знали, какую историю они делают. Сидящий напротив человек славянского типа просит более четко наметить отличие получающего все большее распространение в Советском Союзе двуязычия от биодигвизма, как он проявляется в Канаде.

Энни Гуд, работающая над статьей о Горьком, развернув мою старую книгу и обнаружив в одной горьковской цитате стоящие рядом слова «феномен» и «ноумен», заключает:

— Значит, Горький вслед за Кантом признавал, что «вещь в себе», сущность (ноумен) непостижима, а познаваемо лишь явление (феномен)?

Сидящая рядом с ней белокурая девушка спрашивает:

— Вы согласны с тем, что замена одной теории или гипотезы другой прогрессивна и, стало быть, оправдана лишь в тех случаях, когда новая теория позволяет объяснить все, что объясняла предыдущая, а кроме того, позволяет объяснить и нечто новое?

— Я согласен с профессором Лауданом, что такой взгляд создан по композиционному принципу дорогой моему сердцу русской матрешки, но не во всем верен: иногда новая теория может ничего не объяснить из того, что объясняла предыдущая, но помочь объяснить многое из того, что не объяснялось до тех пор ни одной существовавшей теорией.

Приведу также несколько почти стенографических записей из моего чикагского дневника.

...— Правильно ли я понял ваше замечание о том, что Октябрьская революция дала советским писателям новые масштабы и новые критерии для измерения и человека и всего, что происходит в мире, в частности Леонид Леонов в своем новом романе, главу из которого вы только что анализировали, пытается соединить самый широкий взгляд на человека с пристальным вниманием к микроскопическим всплескам его чувств и переживаний, ставя человека вровень с космосом, где, как вы сказали, проблемы Вселенной и проблемы элементарных частиц завязаны в один тугой узел?

— Правильно, если не придираться к тому, что последние слова взяты мною из книги советского академика Маркова «О природе материи»²⁵. Там же сказано, что Вселенная симметрична в отношении макро- и микроструктур, и пояснено: «В такой концепции нет первоматерии, и иерархия бесконечно разнообразных форм материи как бы замыкается на себя»²⁶. В нашей же области она замыкается на человека, являющегося высшим существом для самого себя и смыслом всего бытия.

— Я ощущаю тут какую-то близость к Толстому и Достоевскому.

— Благодарю вас. Мы как раз больше всего гордимся этой преемственностью.

...— Вы думаете, что уничтожением разницы между умственным и физическим трудом можно достичь того, что человек будет испытывать удовольствие от любой выполняемой работы?

— При условии, что удастся раскрыть творческий, духовный и эстетический потенциал любого труда.

...— Означает ли написанное вами о профессоре Скипнере, что вы не принимаете его принципов научного исследования?

— Не означает. Я согласен и с тем, что аппаратура иногда ломается, и с тем, что в науке, как в жизни, одним везет больше, другим меньше, и с тем, что если при исследовании столкнешься с чем-либо интересным, нужно исследовать его, бросив все другое, наконец, с тем, что не надо огорчаться, если при исследовании находишь вместо одного другое — не исключено, что это другое значительнее того, что ты искал первоначала. В области научных открытий элемент случайности особенно существен.

...— Свобода была первоначальным содержанием человеческой природы, сказал

²⁵ См.: М. А. Марков. О природе материи. М. «Наука». 1976, стр. 145.

²⁶ Там же, стр. 146.

Гегель. Трудно поверить, что все последующее развитие сводилось к пожиранию этой свободы.

— Вы хотите намекнуть мне на известную мысль русского философа: «Нет оснований утверждать, что до сих пор человечество развивалось ко все большему счастью. А следовательно, еще меньше оснований допускать, что оно будет двигаться к нему в дальнейшем»²⁷. Отвечу со всей откровенностью: я ее не разделяю. Я верю Гегелю. Но еще больше верю тому, что на протяжении веков, урезывавших действительную свободу человека, неустраимо развивалось представление о подлинной свободе, не имеющей ничего общего ни с произволом своеволия личности, ни с ограничением творческого начала в каждом человеке.

...— Исследуя только язык произведения, никогда не поймешь произведение до конца, говорите вы. Профессор Витгенштейн тоже считал, что смысл лежит вне составляющих строение мира предметных связей, а язык — форма связей, да к тому же и не претендует на то, чтобы полностью выразить смысл произведения. Тут есть нечто общее?

— Полагаю, что мы говорим о разном. Я говорю о том, что в подлинно художественном произведении, если воспользоваться выражением нашего выдающегося писателя Константина Федина, двучлен «что» и «как» неразрывен. Слово — средство. Знак — средство. И не мне вам напоминать афоризм Чарльза Пирса: «Назначение знаков — или, что то же, назначение мысли — это выведение истины к выражению»²⁸.

...— Как относится советская наука к идее византийского гуманизма?

— Она говорит о гуманистических тенденциях, обнаруживаемых в мировоззрении, психологии, эстетических воззрениях отдельных кругов византийского общества четырнадцатого века. Имеется в виду использование античного наследия и такие явления, как культ дружбы. Предполагаю, что нечто подобное можно обнаружить и в основанном норманнами королевстве Сицилийском двенадцатого века.

...— Верно ли, что найдены дополнительные сведения, подтверждающие подлинность «Слова о полку Игореве»?

— Правда. Кроме известной цитаты в «Задонщине» и цитаты писца Диомида в приписке к «Псковскому Апостолу». Косвенные доказательства дает исследование истории «Спасо-Ярославского хронографа».

...— А как все-таки соединить ваше стремление исключить из политики самый опасный инструмент ее — войну с поддержкой народно-освободительных, справедливых, по вашей терминологии, войн?

— А зачем их соединять? Пришло время навсегда их разъединить. Как-то я читал статью советского военного историка. Обычно то, о чем пишут военные, забывается быстро. А вот решение интересующего вас вопроса нашим военным историком мне запомнилось: «Войны за исключение войн — таков философский аспект оценки военной истории социализма»²⁹.

...— Анализируя главу из нового романа Леонида Леонова, цикл стихов «Человек» Межелайтиса, повесть «Царь-рыба» Астафьева, вы не раз пользовались выражением «космический аспект». Это привело к тому, что я вспомнил о космической этике Альберта Швейцера. Она должна поднять нас над социальными противоречиями и объединить в общем желании уберечь Землю от уничтожения. Знаменитый ученый доказывал, что природа проявляет такое же «желание» жить, как человек, и разрушение ее — разрушение жизни. Вина человека несомненна. Швейцер настаивал на том, чтобы человек не пренебрегал ни одной возможностью помогать живым существам. А я скажу так: человек не должен пренебрегать ничем, что помогает оберегать, обогащать, украшать Землю. Мы больше брали у нее, чем давали ей, пришло время начать поступать наоборот. Вы согласны?

— Согласен.

...— Профессор Рид считал, что человек обладает чувством красоты, позволяющим воспринимать подсознательно эмотивные эффекты чистых цветов и тонов, симво-

²⁷ Л. Карсавин. Диалоги. Берлин. 1923, стр. 91.

²⁸ Ch. Peirce. Collected Papers. Cambridge. 1932, vol. 2, p. 244.

²⁹ Сб. «Вопросы взаимосвязи философской и военно-исторической науки». М. 1976, стр. 30.

лику. Он же писал, что у цивилизованного человека нередко воображение не очень развито и потому проявляется в снах, фантазиях и при болезненном состоянии — в галлюцинациях, миражах. Вы разделяете подобное мнение?

— Знаете, о чем я подумал сейчас: а не этим ли объясняется явное злоупотребление указанными примитивными формами воображения в произведениях американских писателей, восхищающих моего коллегу-оппонента профессора Ихаба Хассана?

...— Системный анализ, о котором, как вы нам рассказали, в вашей стране вслед за философами и экономистами говорят литературоведы, историки и социологи, означает всесторонний анализ чисто литературного или же общекультурного плана?

— Не берусь отвечать за философов или экономистов, но мы, литературоведы, под системным анализом понимаем такое рассмотрение художественного произведения или даже отдельного литературного факта, когда оно (или он) берется как таковое (или как таковой), но исследуются все его генетические связи, формирование, развитие, место в литературном, общекультурном процессе, в многосторонних связях со смежными и родными явлениями. Я бы назвал такой анализ, основанный на строгом историзме, мета- и полисистемным.

За окном нежится на солнце голубовато-серый Мичиган. Удивленно взглядывая на землю, он моргает тысячами ивовых цветов-ресничек. На бескрайнем его полотне ни складки. Не видно яхт или парашютов. Местные жители не спешат к озеру — купаться не пришла пора, а плавать на яхтах небезопасно: апрель — самый жестокий месяц. Лишь в одном месте, у старой ивы, опустившей свои косы в озеро, маячат две мальчишеские головенки: русая, как спелая рожь, и черная, как смоль. Наблюдая за поплавами, белый и негр о чем-то оживленно разговаривают, смеются, закидывая головы вверх, как цыплята, пьющие воду.

Вместе со студентами и всеми, кто собрался в красивом зале главного лектория при Нортвестернском университете, завидую им. Завидую, пока за кафедрой не появится стройный, элегантный профессор с детски открытой улыбкой на лице. Он прибыл по специальному приглашению из Гарварда. Прочтет всего одну лекцию. Он очень знаменит, и поэтому у него много работы. И он, смелый человек, является членом комитета «За американско-советское сотрудничество». Я присутствую на лекции неожиданно для самого себя и окружающих, ибо по чистой случайности не смог улететь из Чикаго. Мне приходилось читать книги профессора. Одна или две переведены на русский язык.

Начало лекции разочаровывает слушателей: профессор сказал, что остановится на проблеме, уже рассмотренной им в ряде статей. Действительно, для американцев вопрос о государственном контроле за деятельностью военно-промышленного комплекса — вопрос старый. Но он остается одним из самых жгучих. Вот уж несколько недель я наблюдаю сам, с какой бешеной энергией силы, вдохновляемые этим самым комплексом, пытаются скомпрометировать, опрокинуть, раздавить все, что способствует разрядке международного напряжения. Все ощутимее их влияние на общую политику нового президента. Кажется, оправдывается высказанное профессором К. Эндрюсом опасение, что политике США, определяемой прежде всего военными, и впредь будут предпосылаться «образы вражды и зарождающегося конфликта», мало того, «угроза и опора на военную силу могут стать для американской внешней политики даже более характерными, чем сейчас»³⁰. Лектор хорошо понимает, к какому жалу вынужден прикасаться, и поэтому тщательно подбирает слова, строго академичен в построениях и безукоризненно точно формулирует выводы.

— Наша страна богата. Настолько богата, что за последние десятилетия выбросила, как теперь становится ясно, на ветер сотни и сотни миллиардов долларов под тем предлогом, что это требовалось для защиты наших интересов. И хотя нам так и не привели убедительных сведений о реальной угрозе нашим интересам, мы безоговорочно согласились на столь безумную и бессмысленную трату. И сами подвинули себя на край национальной катастрофы. Я имею в виду не только поражение во Вьетнаме — я имею в виду внутренние проблемы страны, обострившиеся до предела и так и остаю-

³⁰ C. N. Andrews. Foreign Policy and the New American Military. London—Beverly Hills. 1974, p. 26, 27.

щиеся нерешенными: социальная реконструкция городов, жилищный кризис, реорганизация и удешевление медицинского обслуживания, реорганизация транспорта с расширением общественных форм его, улучшение и удешевление системы образования, оздоровление окружающей среды. Нам не хватает денег. Государство, президент изыскивают их всюду где можно. И снова бросают на ветер, ссылаясь, с одной стороны, на агрессивность Советского Союза, с другой — на проверенное, а на самом деле очень спорное учение Кейнса, гласящее, что высокий уровень военных расходов якобы способствует стабилизации экономики и форсированному развитию научно-технического прогресса. Но вот Советский Союз сам предлагает нам отказаться от наращивания военных потенциалов, от взаимного соперничества в военной области, авторитетные экономисты и советники правительства приходят к заключению, что такие предложения реалистичны и взаимовыгодны. И тем не менее мы принимаем еще более фантастический военный бюджет на том основании, что национальное сознание будто бы подсказывает нам: Советский Союз выступает с программой мира только потому, что отстает от нас в экономическом состязании и хотел бы с нашей технической помощью наверстать упущенное, чтобы затем сокрушить нас в единоборстве. Нас убеждают продолжать наращивание военного потенциала, заранее согласившись на гибель семидесяти пяти миллионов человек, если противник потеряет сто пятьдесят миллионов. И безответственное расходование общенародных средств продолжается. Они широкой рекой текут в бездонные сейфы военных корпораций и государственных военных учреждений.

Профессор утверждает, что ни общественное мнение страны, ни конгресс США не играют никакой роли в принятии решений о военных расходах, ибо не имеют представления, не располагают реальной информацией в области вооружений. Государственные военные учреждения и производители вооружения, давно сросшиеся в единый комплекс, насытившие военные учреждения бизнесменами и, наоборот, промышленные фирмы бывшими военными, принимают совместно решения, которые потом и вносятся в конгресс как единственно возможные. Направляемый теми же военными и сикофантами, конгресс безоговорочно соглашается. Что же касается роли народа в этой невиданной, с прошлого года превышающей сто миллиардов долларов сделке, то она сводится к уплате налогов. Усилиями все тех же военных бюрократов и сикофантов производители оружия добились для себя в стране самой уютной ситуации: тот или иной вид оружия заказывается только одной фирме, ей же отпускается государственная субсидия или дотация (нередко безвозмездная) и у нее же продукция скупается военным ведомством часто по завышенным ценам. Вот где самый крупный источник преследующей страну как кошмар, ползучей, нет, галопирующей инфляции. Попытки же общественности вмешаться в создавшееся положение неизменно заканчиваются крахом потому, что идеологи военно-промышленных кругов научились виртуозно манипулировать чувством страха перед ядерной катастрофой, и потому, что монопольное обладание информацией о национальной безопасности, а также о действительных стратегических замыслах потенциальных противников принадлежит все тем же военным бюрократам и сикофантам. Любую критику они парируют, отводят неуязвимым аргументом: «Никто, кроме нас, не имеет доступа к секретной военно-технической информации». Верно, никто не имеет. И поэтому пришло время для того, чтобы такую информацию имели президент, конгресс, печать, ученые. Ходячее мнение, будто военные законы выгодны для всего бизнеса, совершенно ошибочно. Они выгодны небольшому числу фирм, связывают деловую активность, препятствуют разрыванию целых областей промышленного производства, выпуску гражданских товаров. Самое же главное — все должны знать, что страх перед атомной катастрофой превратился в золотую жилу для группы военных и бизнесменов. «На страхе можно заработать большие деньги... Чувство обреченности — это золотая жила», — говорил герой романа Стэнли Элкина. Страх миллионов оборачивается миллиардными прибылями. Мы должны оказать ему сопротивление, преодолеть его.

Теплым апрельским вечером после ужина в китайском ресторане профессор Джон Бушнел, читающий курс истории СССР в Индианском университете, но четыре

дня в неделю неизменно проводящий в Чикаго, где живет и работает его жена Кристин, повез меня по ночному Чикаго в студенческий кафе-хауз. Что это такое? Зал-клуб человек на 50—70, где можно, даже не снимая плаща, побеседовать с приятелем, знакомым, выпить чашку кофе или чая (других напитков не бывает), а после восьми часов вечера послушать модного певца, либо квартет, либо джаз. Такие заведения стали появляться еще перед войной, но развернулись по всей стране начиная с 50-х годов. В Чикаго их ныне 15 или 20. В один из них, расположенный на окраине города, мы и отправились. По дороге профессор и его жена просвещали меня:

— Студенчество ныне сильно изменилось и по составу и по устремлениям. Видимо, это связано как с вздорожанием обучения, так и с изменением программ. Ныне бо́льшая часть студентов и аспирантов снова устремляется на экономически гарантирующие отделения. В этом году в три раза больше студентов и аспирантов поступило на отделения экономики, бизнеса, медицины, адвокатуры. Но и в прошлом году в два раза больше, чем в позапрошлом. Усилились ли религиозные настроения среди студенчества? Вряд ли. Утверждение, будто из четырех американских студентов трое верующие, представляется фантастическим. Все обстоит совсем по-другому: в результате движения шестидесятых годов религия во многом утратила свои прежние позиции. Образовался вакуум. Да к тому же еще надоел рационализм. Отсюда увлечение индуизмом, астрологией, гороскопами...

Выйдя из машины, мы направились в кафе-хауз. Он расположен на первом этаже в стареньком четырехэтажном доме. Огромный зал, разделенный решеткой-стойкой. За ней две кофеварки и несколько самоваров. Слева на небольшой и невысокой эстраде пианино. Свет притушен. Лампы керосиновые с электролампочками вместо фитилей. Снимаем плащи, вешаем их на высокие спинки стульев. Заказываем два чайника чая. Джон, продолжая прерванный рассказ, смешно хватается руками за голову и почти кричит:

— Это черт знает что такое!..

Привлеченная его выкриком, к нам быстрыми шагами направляется официантка-студентка. Он извиняется. И, когда она покинула нас, продолжает недоуменно:

— У нас... гороскопы, гадалки?

Схватив газету «Чикагское время», он развернул ее на пятьдесят второй странице. Человек в огромных роговых очках, с элегантными усиками, именуемый Сидни Омарр, на основе астрологических данных сообщает, как следует вести себя человеку в апреле и что его ожидает.

— Вы родились в созвездии Водолея? Вам рекомендуется в этом месяце наблюдать за тем членом вашей семьи, которому предстоят значительные изменения. Не пытайтесь идти против своих убеждений. Некоторые люди постараются втянуть вас в диспут. Не поддавайтесь. Пусть всегда побеждает логика. Что? Вы родились в созвездии Козерога? Пожалуйста: свяжитесь с каким-либо авторитетным лицом. Победите без особых усилий. Но не пытайтесь действовать с применением силы. Действуйте тонкими методами. Относитесь положительно к терминам и определениям. Избегайте самообманов. А когда родилась ваша дочь? Ага, созвездия Джемини и Сигитариус (Близнецов и Стрельца). Пусть в первой половине апреля разнообразно подходить к способности быть разумной, убеждать других, побеждать и показывать свою личность в самом благородном свете. Ей будут способствовать люди, тоже родившиеся в созвездиях Джемини и Сигитариуса. Число три может сыграть очень большую роль в ее жизни. Что скажете обо всей этой абракадабре?

Вслушав мое мнение, спрашивает:

— Про успех Кришны слышали?

Отвечаю, что меня возили посмотреть моленный дом, где Кришна устраивает бдения и радения. Показали и самого новоявленного пророка. Коротко остриженный, он на минуту появился в дверях. Одет в длинную белую рубашу и широкие — белые же — брюки, именуемые у нас любителями стильной одежды клешами. На шее висит длинный женский шарф, двумя концами достигая колен. У входа на продолговатой доске столбиком четыре раза написано «HARE RAMA». Беседовать с профессором, который привез меня на улицу Эмерсона, он отказался, сославшись на неотложность более важных дел: радения секты отличаются таким шумом, что соседи подали в

суд требование выселить Кришну и всех его последователей. Он, в свою очередь, обвиняет их в попрании конституции. Смысл своего учения Кришна определил одной фразой: «Мы не признаем общепринятых норм и не подчиняемся никаким правилам».

Спрашиваю Джона, в чем суть учения Кришны.

— В чем суть? Объяснить почти невозможно. Полное презрение к окружающим, их обычаям. Успех же беспримерный: свои школы для детей, свои секты...

Покончив с этой темой, интересуется, проникает ли в среду советских людей «массовая культура». Кристин как бы невзначай добавляет:

— «Семнадцать мгновений весны» — это и есть масскультура.

Согласно кивнув ей, Джон признается:

— Я был потрясен тем, что «Аэропорт» вызвал у советских читателей огромный интерес: ведь это же типичное произведение сниженной, усредненной культуры.

Я не успеваю ответить им: на эстраде появляется невысокий человек с тонким, продолговатым, острым лицом, с каштановыми, длинными, как у Шиллера, волосами, в джинсах, в кремовой рубашке, поверх которой синяя жилетка. Взяв гитару, он сильно ударяет по струнам и начинает исполнять песни собственного сочинения, отменяя одну от другой неприятными шутками:

— Та же песня, но на иной мотив.

Или:

— Жизнь не горька, но жизнь и не сладка.

У него не сильный и не мелодичный, почти женский голос. Лицо тоже невыразительное, какое-то незапоминающееся. Песни же все о любви, об ожидании, о томлении. Лишь одна была философская, на старую тему, как мне кажется, гениально разработанную в индейском сказании племени сиу: «Что такое жизнь? Вспышка светляка в ночном мраке. Дыхание бизона зимней порой. Легкая тень, что пробегает в траве и теряется на закате». Прослушав весь репертуар певца, Джон сказал:

— Больше половины — о внутренней жизни человека... О любви. Пять лет назад здесь пели совсем о другом. И он пел бы о другом — о политике, о войне, о необходимости переделать жизнь... Да, мы стали умнее, прагматичнее, типе...

Много недель спустя в Нью-Йоркской публичной библиотеке я рассказал обо всем этом своим новым знакомым; один из них, потупившись, согласился:

— Джон прав. Пять лет назад не только в кафе-хаузах, но на площадях, в парках, где собирались на свои митинги студенты, звучали иные песни. Например, песня о том, что с далеких звезд наша Земля едва виднеется узорами морей и цепью темных гор — едва видны — и так светла, что не поймешь, зачем же людям там нужна война, ведь жизнь их там — всего лишь миг, они должны беречь свои все дни, чтоб их отдать любви, — зачем же им война?!

Он медленно, по одному слову вспоминал эти чудесные строчки, которые я привожу здесь в неуклюжем переводе, а исправлять не хочу. Такими он вспомнил, а я запомнил их.

И другую песню недалекого прошлого привел он — о дожде, что падает на землю, радуя людей, зверей, деревья, травы, и вдруг все это блекнет, корежится, словно горит на костре, дети падают бездыханные, звери источают зловоние, — что же ты, дождь, натворил? Или, быть может, не дождь, а чудовища? Что они сделали, что они сделали, что они сделали с ласковым летним дождем?

Все время, пока я находился в Блумингтоне, нещадно палило солнце. Даже не верилось, что в апреле оно может быть таким яростным.

— У нас еще ничего, — успокаивал меня профессор Родней Б. Сангстер. — Вот почитайте, что происходит в других штатах.

Газеты сообщали, что огромной дугой от Небраски, через равнины Канзаса и Колорадо, до Оклахомы и Техаса промчался пыльный смерч высотой более трех километров. Погибли почти все посевы. Но и по ту сторону Скалистых гор после обильных дождей вдруг наступила такая жара, что гибли на корню апельсиновые деревья. Одна из газет написала: «Явью стали самые страшные сцены из романа «Гроздь гнева». Ученые спорят о возможных последствиях засухи. Поднимают старый вопрос

о катастрофическом уменьшении в стране воды. Предлагают повернуть в сторону Соединенных Штатов реку Юкон, буксировать айсберги из Антарктиды».

Обсуждают эти вопросы и студенты Индианского университета, приходя на лекции в шортах и летних маечках. Сообщают друг другу о том, что такая жара стояла здесь в апреле не то 1856, не то 1865 года.

Что касается политического климата, то можно подумать, будто сюда не поступает никаких вестей ни из Нью-Йорка, ни из Вашингтона. Так же как в прошлом году, мне был устроен самый корректный прием, предоставлены для ознакомления все материалы, связанные с Толстым, Достоевским, Горьким. Мы быстро договорились с профессорами Александром Рабиновичем, Корнелиусом Н. ван Сконевелдом, Уильямом Б. Эджертоном, Дэвидом Дж. Нордлоу о конкретных работах, которые могли бы в порядке расширения научных контактов быть совместно осуществлены советскими и американскими филологами. Так что пока профессор Рабинович делал для меня надпись на своей интересной, я бы сказал, смелой для американской науки книге «Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде», я даже пожаловался ему:

— Слово я не в Америке.— И добавил: — Или же вы быстро сделали вывод из только что прозвучавших слов президента: «Мы теперь освободились от неумеренного страха перед коммунизмом»?

Профессор не принял моего шуточного тона, заметив:

— Разве вчерашняя дискуссия после лекции не убедила вас в чрезвычайной сложности, противоречивости и остроте обстановки в нашей стране?

Я ответил:

— То ли было в Нью-Йорке и Кембридже!

На лекции в Индианском университете произошло столкновение с людьми, непримиримо, как-то истерически-бешено ненавидящими нашу страну, наш народ. Не буду рассказывать о самих этих людях. Не буду потому, что они не Америка. Некоторые из них еще недавно козыряли советскими дипломами. Приведу лишь самую «мирную» часть дискуссии.

Среди слушателей на задних скамьях сидели пять или шесть аспирантов, перед началом лекции подчеркнуто громко обменявшихся ироническими репликами на чистейшем русском языке. В последующие сорок минут я не раз замечал на их лицах ухмылку, даже провокационный вызов: ну-ну, а еще что ты нам скажешь? мели, Емеля, твоя неделя! Едва я закончил, как встал огромный черноволосый детина и нарочито громким голосом прокричал:

— Мы слушали человека, который находится в центре советской литературы и влияет на ход ее развития!..

Пауза. Он обводит насмешливым взглядом аудиторию, ожидая то ли поддержки, то ли хихиканья, то ли свиста... Но даже соседи его опоздали с нужной ему акцией.

— Так вот хотелось бы знать,— продолжал он, стремясь еще сильнее выкупать свой голос в иронию,— что такое советская литература? Обычно литература — это язык, на котором создается литература. У вас она создается на русском языке. Почему же в определении ее пользуетесь политической и географической терминологией? Это же нонсенс. Это все равно что сказать «капиталистическая литература».

И снова иронически-требовательным взглядом обводит аудиторию. Два человека хихикают. Получив поддержку, он усиливает натиск:

— Я понимаю, что когда говорят «французская литература», «итальянская литература», то имеют в виду литературу на французском языке, литературу на итальянском языке...

— Говорят,— в тон ему продолжаю я,— «английская литература», «ирландская литература», «немецкая», «австрийская»...

— Да,— почти механически повторяет он за мной,— английская, ирландская, немецкая, австрийская...— И вдруг спохватывается, голос его дрожит: — Это не в счет. Австрийской литературы нет...

— А еще есть канадская, швейцарская, австралийская... И целые ожерелья литератур Латинской Америки, создаваемых либо на испанском, либо на португальском языках...

— И эти не в счет.

— Почему же?

— А потому... потому... Я хочу спросить: не потому ли вы пользуетесь географической и политической терминологией, что не хотите, чтобы в советскую литературу включались настоящие писатели, находящиеся за пределами вашей страны?

— И которые сами заявляют, что не являются советскими писателями, но не протестуют против политической терминологии, когда их здесь называют антисоветскими,— продолжаю я его мысль.

— Вы не включаете в вашу литературу Владимира Набокова, а ведь он пишет о России.

— Да, говоря о советской литературе, мы пользуемся для ее определения более широкой, чем только языковая, более емкой, чем только географическая, и более всеобъемлющей, чем только политическая, категорией — советская литература. Это литература, которая создается в Советском Союзе писателями-единомышленниками, стоящими на почве советской власти, вдохновляющимися социалистическим идеалом, пишущими на своем родном национальном языке или на любом из языков нашей страны или мира (у нас есть советские писатели, пишущие на немецком языке) книги, проникнутые заботой о нашем будущем. Языковой, национальный аспекты не снимаются, но и не гипертрофируются. Еврей Эренбург писал на русском языке книги о России и Франции («Падение Парижа») и был русским советским писателем. Украинец Барабаш пишет на украинском и русском языках об Украине и России и является русско-украинско-советским писателем. Эпитет «советский», таким образом, диктуется существом тех жизненных процессов, о которых вы знаете лучше, чем большинство сидящих здесь моих американских коллег.

— Но как вы можете судить о талантливости Расула Гамзатова, если знаете его лишь по переводам?

— Если бы в вашей аргументации была хоть частичка правды, то и тогда она лишь подчеркивала бы талантливость Расула Гамзатова. Послушайте:

Летит, летит по небу клин усталый—
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый—
Быть может, это место для меня...
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в таюй же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликаю
Всех вас, кого оставил на земле.

Но раньше чем слушатели ответили аплодисментами, он демонстративно покинул аудиторию. Покинул один, с гордым видом оскорбленной невинности.

Его зовут Майкл дель Медико. В свое время он выступал во многих спектаклях на Бродвее, снискал известность в роли короля Лира, сам начал ставить спектакли. Случай резко изменил его жизненный путь, я бы сказал, сразу поднял его на несколько ступеней вверх. Вот как он сам рассказывал об этом раньше Геннадию Герасимову, а в вечер нашей встречи и мне:

— Несколько лет назад я занялся постановкой любительских спектаклей в школах. Было это в нью-йоркском районе Южный Бронкс. В ходе работы мне пришлось подумать и о спектакле для родителей. Я решил поискать тему и драматургов, которые были бы близки жителям Южного Бронкса, которые могли бы затронуть их чувства, взволновать их как зрителей. Я решил не обращаться ни к Шоу, ни к Шекспиру, ни к другим интересным, но стоящим в отдалении от повседневности драматургам. Я перечитал «На дне». И я решил поставить эту пьесу. Ведь зрители из Южного Бронкса были, как и ее персонажи, бедны, обозлены на жизнь и людей, но у каждого была мечта. И пьеса Максима Горького дала возможность моим зрителям взглянуть на самих себя. Начав с пьесы «На дне», я стал изучать все творчество Горького целиком, во всяком случае то, что переведено. Я стал изучать его жизнь, которой совсем не знал. И я влюбился в этого писателя-гуманиста. Я посвятил два года созданию постановки «М. Горький — портрет». Хочу выразить в ней свое вос-

приятие Горького, и если я ошибаюсь в его прочтении, это мои ошибки. Горький — это единственное, чем я сейчас занимаюсь. Полностью мой спектакль рассчитан на восемь часов — на столько времени у меня отобрано и подготовлено для художественного чтения чудесных горьковских произведений и отрывков из них. Конечно, я вынужден сокращать, поэтому рабочий вариант рассчитан на четыре часа, которые, в свою очередь, делятся на два отдельных спектакля... Премьера состоялась в сентябре семьдесят третьего года, — говорил в заключение дель Медико, — Америка есть Америка, и я должен продавать свой спектакль. Горький, может быть, американскому зрителю и неизвестен, но я уверен, что, когда зритель получит возможность с ним познакомиться, он почувствует, насколько русский драматург близок ему.

С этим спектаклем Майкл дель Медико и разъезжает по Америке. Загипнотизировал своим рассказом студентов и профессуру Колумбийского университета. Маленький театр в Гринвич Виллидже, артистическом районе Нью-Йорка, где постоянно выступает энтузиаст Горького, всегда переполнен. Студенты, рабочие, прогрессивная интеллигенция, слушая его на протяжении четырех часов, не раз взрываются криком: «Браво, Майкл!» — а прощаясь со своим любимцем, награждают его дружными аплодисментами.

— Вообще говоря, — рассказывал присутствовавший на этом представлении корреспондент газеты «Советская Россия» Ю. Корнилов, — он совсем не похож на Горького: смутный, чернобровый, с небольшими нервными руками артиста. Но мастерство перевоплощения делает чудеса: когда он, чуть сутулясь, выходит на сцену в сапогах, в круглой, сдвинутой назад шляпе, в рубаше навыпуск, подпоясанной узким кавказским ремешком, невольно вспоминается молодой Пешков, каким он запечатлен на широкоизвестных фотографиях.

Успех постановки Майкла дель Медико настолько велик, что артиста пригласили выступить 14 июня 1977 года перед избранной публикой в Библиотеке конгресса в Вашингтоне. Прощаясь, он вручил мне билет на представление. Мы договорились обязательно встретиться. Случилось, однако, так, что когда я вышел из вагона в Вашингтоне, мне сообщили, что в те же часы намечены посещение мною спектакля «На дне» в театре «Арена стейдж» и встреча с исполнителями главных ролей в нем.

Не являясь театральным рецензентом, не буду оценивать постановку «На дне» в театре «Арена стейдж», говорить о несомненных удачах и отдельных просчетах бесспорно очень талантливых артистов и их руководителей. Я передаю материалы спектакля моему коллеге Б. Бялику и надеюсь, что он даст профессиональную оценку этого события в культурной жизни США, как, наверное, и удачных постановок «Врагов», «Мещан» и «Дачников» в предыдущие годы в Нью-Йорке. Скажу о другом. Мне не однажды приходилось бывать и раньше в театрах США и наблюдать, как относятся зрители к тому, что происходит на сцене. И, кроме выступления знаменитого Чикагского симфонического оркестра в Эванстоне и нашего балета в Линкольн-Сентре, я не помню представления, на котором зрители так погрузились бы, ушли целиком в драму, разыгрывавшуюся на сцене.

За двадцать семь лет своего существования театр «Арена стейдж» превратился в один из лучших в стране. Он построен по типу римских коллизеев. Расположенные по четырем сторонам 750 мест рядами сбегают к сценической площадке. Нет ни кулис, ни декораций. Вместо них постановщики ограничиваются несколькими деталями или стилизациями. Сегодня на сцене нары, каморка — версия русского ночлежного дома. Зал переполнен, но в течение четырех часов ни перешептываний, ни кашля... Полторы тысячи глаз прикованы к сцене, на лицах не интерес, а глубокая задумчивость. И это несмотря на то, что перевод пьесы на английский язык несовершенно...

Небольшой домик на поросшем елями холме под Вашингтоном. Он принадлежит профессору, занимающему сравнительно высокое место в научной иерархии США. Сидим на небольшой террасе. Кроме хозяина и меня, в беседе участвуют еще три видных профессора из университетов Вашингтона. Вечереет. Решаем не зажигать свет, посумерничать. Обсуждаем недавно промелькнувшее в газете сообщение, что ЭВМ, сравнивавшие по десяти параметрам сочинения Михаила Шолохова, «выдали заключение», что все они написаны одним человеком. Хозяин дома, фактически возглавляю-

щий работу славистического отделения в первом по значению университете Вашингтона, напоминает, что он и в прошлом году не возражал против справедливости слов крупнейшего советского писателя, приведенных мною в лекции, прочитанной американским студентом: «Надо обладать абсолютной языковой, стилевой, художественной, политической, инженерной глухотой, чтобы усомниться в том, что «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» написаны одним художником и посвящены одной теме, разрабатываемой именно этим художником». Профессор другого не менее крупного университета в Вашингтоне добавляет, что руководитель их славистического отделения тоже не раз выступал против безответственных утверждений некоторых американских ученых, так сказать, с порога отбрасывающих всю советскую литературу, отрицающих ее эстетическую ценность.

— Я не утверждаю, будто профессор Вадим Медиш одобряет цели советской литературы,— оговорился он тотчас же,— я сам нахожусь в давнем споре с нею, но отрицание очевидного никогда не совмещалось с научностью. И я разделяю высказанные профессором Медишем сразу же после присуждения Михаилу Шолохову Нобелевской премии слова, что присуждение этой премии непротиворечивому Шолохову заставляет усомниться в правильности концепции, согласно коей по-настоящему художественные произведения могут создаваться лишь писателями противоречивыми и не принимающими идей партийности и народности. Далее профессор Медиш писал: «Надо еще исследовать всерьез, мешает или не мешает созданию по-настоящему художественных произведений социалистический реализм. А для этого следует не поддаваться склонности наших и европейских критиков поспешно и преднамеренно отвечать на этот вопрос отрицательно, а делать заключения лишь после тщательного анализа текущих явлений советской литературы».

— Я не согласен с бытующей характеристикой мировой ситуации,— медленно, словно собираясь с духом, заговорил единственный среди нас не филолог, а специалист по международному праву.— Да... Не согласен... Но вес тех и других миллиардов при формировании политики нашего правительства, не исключая и нынешнего, имеет первостепенное значение. Вложив в военное производство в пять раз больше, бизнесмены не позволяют правительству зайти далеко в «мирной игре», ну, по крайней мере в лучшем случае, пока не получат пятикратной прибыли. Здесь, как бог, всем повелевает прибыль. А кроме того, у нас, особенно в конгрессе и в правительстве, немало людей, считающих США и СССР двумя медведями, для которых земля тесна. «Мир жил в условиях войны и военной угрозы,— сказал однажды Курт Вальдхайм,— но никогда до сих пор не сталкивался с опасностью полного уничтожения». Человечество бессильно или безумно. Пятьдесят миллионов самых здоровых людей в мире сегодня работают на войну. Десятки тысяч ученых ломают головы над тем, чтобы использовать в военных целях ураганы, циклоны, морские приливы, искусственно вызываемые наводнения, ливни, землетрясения, подумывают даже над тем, нельзя ли сокрушить неудобную часть нашей планеты, направив на нее какое-нибудь сорвавшееся со вселенских координат небесное тело... Читали вы посмертно изданную книгу Роберта Кеннеди «Тринадцать дней: воспоминания о кубинском ракетном кризисе»?

— Читал.

— А знаете, что публикация в журнале имела подзаголовок «Рассказ о том, как чуть было не закончилась мировая история»?

— Нет, не знал.

— А что больше всего поразило вас в этой книге?

— Высокомерие и самонадеянность президента, то, с какой надменностью он отверг справедливое советское предложение, чтобы вопрос был решен на основе одновременного удаления советских ракет с Кубы и американских ракет из Турции, и внутренне, для себя, еще до того, как узнал окончательное мнение нашего правительства, принял решение при отрицательном ответе начать вторжение на Кубу, хотя отчетливо сознавал, что война может оказаться термоядерной и закончиться уничтожением цивилизации. И еще запомнились «муки президента»: его беспокоил призрак смерти детей США и всего мира, «молодых людей, которые не понимают всего происходящего и даже вообще ничего не знают о самом существовании конфронтации,

но эти жизни были бы погублены подобно жизням любых других людей»³¹. И все-таки это не останавливало его.

— Меня это тоже потрясло, но еще больше потрясло то, что ни президент, ни его министр юстиции в тот момент не вспомнили о конституции, о том, что принимаемое решение незаконно, что оно дозволено только конгрессу. И разочаровала реакция нашей общественности. Народ, существованием которого так безответственно рисковали, после выхода книги не потребовал специального расследования и принятия решений, предупреждающих подобные прецеденты. Не большой я поклонник того, что пишут марксисты. Но в этом, кажется, единственным случае согласен с мнением профессора Джона Сомервилла: «Самая жгучая проблема в данном случае может быть выражена с помощью утверждения, что даже самое полное осознание всех последствий, вытекающих из принимаемых самими образованными и умными государственными деятелями решений, не дает нам никаких оснований для надежды, что в критической ситуации это сознание удержит их от принятия рокового решения»³². И я не верю, нет, не верю, что у людей достанет разума и сил...

— И я тоже не верю,— вмешался в беседу подошедший профессор Медиш.

— Как? И вы? — спросил я.— И это говорите вы, профессор литературы, искусства, по самому существу его призванного изучать гуманизм, человеколюбие? Выходит, что когда тот же Фолкнер говорил, что «человека можно уничтожить, но его нельзя победить», он бросал людям лишь утешение? И когда в «Дне восьмом» Уайлдер, нарисовав стойких маленьких людей, заявил: «Таким чужд страх, неведомо себялюбие; способность неустанно дивиться чуду жизни — вот что питает их корни... Их взгляд устремлен в будущее. И в грозный час они выстоят. Они отстают город — а если погибнут, потерпев неудачу, их пример поможет потом отстоять другие города. Они вечно готовы бороться с несправедливостью. Они поднимут упавших и вдохнут надежду в отчаявшихся», — он тоже только утешал себя и других? Не верю.

— Не верьте, но не забывайте, что не менее крупный писатель кончил одно из самых сильных в нашей литературе произведений совсем другими словами: «Мой огонь погас. Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фетиаль». Да и у того же Фолкнера отнюдь не самый последний человек в «Особняке» утверждает, что люди «совершенно безнадежны, совершенно не стоят ничьих надежд, ничьих усилий, ничьих страданий». Не вся правда в его словах, но доля ее есть в них. Как есть она и в том, что большой поэт Роберт Фрост почти в каждом стихе своем ироничен. Его ирония знаменательна сама по себе. И она не снимает горечи, а усиливает ее, когда поэт говорит:

Один твердит, что с миром пламя
Покончит, а другой — что лед.
Меня спросить, так, между прочим,
Я полностью стою за пламя.
Но если этот мир невзгод
Выть должен дважды уничтожен,
То я считаю, что и лед
Возможен
И вполне сойдет.

Помолчав, он сказал:

— Потом... Потом, это литература...

— Литература? — возражал я, начиная сердиться.— Только что в вашей стране я пролетел пять тысяч миль на самолете, две с половиной тысячи миль проехал по железной дороге и почти столько же на автомашине, был в Кембридже, Бостоне, Чикаго, Блумингтоне, Нью-Хейвене, Буффало, Олбани, Индианаполисе, не считая Нью-Йорка и Вашингтона, посетил десяток мультиуниверситетов и десяток микрогородов, беседовал с писателями, учеными, рабочими, горничными, черными и белыми, юно-

³¹ Robert F. Kennedy. Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis. N. Y. 1969, p. 106.

³² Сб. «Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США» М. «Прогресс». 1977, стр. 35.

шами и пенсионерами и убедился, что в большинстве своем они настолько не хотят войны, что даже книги, рассказывающие о ней, отшвыривают в сторону...

— А между тем,— не без иронии поправил меня профессор Джеймс Маккензи,— таких книг выпускается все больше. Точнее сказать, совсем не таких...

— Знаю, знаю,— поспешно перебил я его.— У вас даже в большой энциклопедии утверждается, что войны определяются самой природой человека³³. В первый приезд сюда мне на глаза попала книга некоего Хогчана «Вынужденная война», в которой оправдывались Гитлер и немецкий фашизм. Три недели назад в Нью-Йорке, начав с магазина «Скрибнер и сыновья», я пошел вверх по Пятой авеню и в течение часа насчитал в магазинах тридцать книг и альбомов, посвященных Гитлеру. И не в одной, а в нескольких из них с умилением рассказывается о том, как он заботился о друзьях, женщинах, животных, как любил искусство, каким энергичным государственным деятелем был. Перелистывая в книжном магазине, расположенном на углу Пятой авеню и Пятдесят седьмой стрит, тысячестраничную книгу «Война Гитлера» англичанина Дэвида Ирвинга, я подозвал продавца-еврея и показал ему страницы, на которых утверждается, что Гитлер не был... ненавистником евреев и даже не знал, что Гиммлер уничтожил шесть миллионов их.

— Что же вы услышали в ответ?

— Он сказал: «Написать все можно». И сообщил: «Но книга хорошо раскупается».

— А вам известно имя нашего писателя Германа Вука? Читали вы его романы «Восстание на Кейне», «Янгблад Хок», «Ветры войны»? Не читали? Напрасно. Один мой знакомый, рецензируя его произведения, писал, что этот писатель стремится изменить своим творчеством представления нашего среднего класса о второй мировой войне в не меньшей мере, чем изменил взгляды своих читателей на Бородинское сражение Толстой. Вот так — и не меньше! А теперь давайте возьмем вот этот кирпич в тысячу страниц и прочтем, что тут сказано о Рузвельте. Здесь сказано, что он слишком много внимания уделял «не тому противнику, не тому океану и ошибочной войне»³⁴. Я сам воевал на европейском фронте, был в плену. Потом воевал в Корее. Хлебнул горя не меньше, чем во время мировой войны. И обрел не такую уж глупую, но жесткую истину: это мир одиночек и для одиночек...

— И вы хотите меня уверить, что он не сможет понять того, что Хемингуэй выразил почти примитивными словами: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один... Все равно человек один не может ни черта»?

— Все-таки вам, русским, недостает реализма,— посмеиваясь, сказал правовед.— Вот вы, например, смотрите на нас через литературное окно. А мне хотелось посоветовать, чтобы вы, глядя на нас, не ограничивались даже тем, что видите собственными глазами. Попробуйте посмотреть на нас еще нашими глазами, скорректировать свое собственное видение и на этой основе строите отношения. Тогда у вас будет меньше разочарований. Вот вы удивляетесь, что конгресс не утвердил некоторые документы, в свое время подписанные Никсоном и вашим правительством. Но ведь Никсон наверняка знал, что некоторые из них станут предметом политической игры его с конгрессом и что вообще-то они его ни к чему не обязывают. Уверен, что профессор Уорнке искренне заинтересован в том, чтобы добиться разоружения. Это его великая мечта и дверь, через которую он входит в историю. Но если конгрессмены погубят эту его великую мечту, они выиграют не меньше в политическом отношении, чем тогда, когда поддержат ее. А народ... Если завтра не те, что голосуют за президента, а те, что выбирают его, решат, что момент удачный, то мнение тех, о ком вы, человек из другого мира, говорите так восторженно, окажется, к сожалению, маловесным, если оно вообще имеет вес...

На этом спор оборвался. Долго молчали. Неожиданно профессор-правовед попытался вспомнить какие-то стихи. Ни один из нас, литературоведов, не смог ему помочь. И только вернувшись в Москву, я установил, что он имел в виду стихотворение «Игра в кости» Карла Сэндберга. Приведу его в переводе Майи Кореновой:

³³ «The Encyclopedia Americana», N. Y. 1970, vol. 28, p. 321.

³⁴ H. Wouk. The Winds of War. N. Y. 1973, p. 990.

Проигрыш чем-то, понятно, — выигрыш чей-то.
 Знали это при халдеях еще.
 Даже больше: выигрыш чей-то — проигрыш чей-то.
 Халдеи это тоже соображали.

И повелось: грядущие небеса — лишь вечная игра
 в кости, и год за годом так и крутят запястьем,
 и никаких тебе полицейских фургонов; игра ввек
 бесконечна...

Бог есть Удача — Удача есть Бог...
 Все надежды на... О! — семерка — ну выйди, семерка!
 Халдеи это тоже соображали.

— Помните, один ученый говорил... Как это сказал он: усиливающаяся глобальная взаимообремененность? — спросил он и тут же поправился: — Нет, взаимозависимость. Конечно, я шучу, но он ее преподнес вам как взаимообремененность. Она-то и требует совершенно точного представления каждого народа о своем месте, роли и значении в этой взаимозависимости. А это диктует необходимость постоянной заботы о том, чтобы не только оказывать желаемое воздействие на другие страны, но и предотвращать нежелательное. Не знаю, способна ли ваша страна на это, но уверен, что наша пока к этому не готова. Она и после Вьетнама все еще не решается переоценить свою роль в мире. Разразившийся энергетический кризис, баланс военных потенциалов, угроза истощения природных ресурсов, угроза гибели от засорения атмосферы тоже не особенно подвинули нас к пониманию того, что мы должны научиться уживаться со всем миром. Вместо этого все та же надежда: «О! — семерка — ну выйди, семерка!» Поймите, профессор, я говорю это не потому, что хочу помешать вам в выполнении вашей благородной миссии. Я сам тоже добровольно возложил ее на себя и трижды был в вашей стране. Мы все женаты, у всех нас, как и у вас, есть дети. У меня, у него... Мы не хотим их потерять. Уверен, что и профессор Медиш не желает еще раз стать солдатом или даже генералом. И не хочет, чтобы его сын испытал хоть согоую долю того, что испытал он сам. Говорю так потому, что сегодня среди вас я единственный коренной американец и, надеюсь, лучше знаю свою страну и свой народ.

— Студенты мне передавали, что, когда я выходил, вы читали на память стихотворение Михаила Исаковского, доказывая, что из него выросла микрозпопея «Судьба человека»? — спросил профессор Дмитрий Григорьев.

Вместо ответа я прочел три катрена:

Стоит солдат — и словно комья
 Застряли в горле у него.
 Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
 Героя — мужа своего.
 Готовь для гостя угощенье,
 Накрой в избе широкий стол.
 Свой день, свой праздник возвращения
 К тебе я праздновать пришел...»
 Никто солдату не ответил,
 Никто его не повстречал,
 И только теплый летний ветер
 Траву могильную начал.

Установилась такая тишина, словно мир полностью опустел, словно в нем не осталось ни одного живого существа. Медленно поднося ладони к лицу, правовед сказал:

— Вот этого мы не хотим!

Стремлюсь побыстрее, раньше положенного срока закончить все дела и вернуться домой. Не в пример первым месяцам теперь каждый день у меня загружен до предела: встречи с учеными, работа в архивах, чтение лекций, посещение кино и спектаклей. Несмотря на это, каждый раз, когда оказываюсь в Нью-Йорке и у меня выдается свободный час-другой, я спешу в городскую публичную библиотеку. Она расположена в старом здании. Работать здесь, в жаркие дни трудно: нет воздушного

охлаждения, а устроить его пока невозможно, ибо никак не удастся собрать требующиеся на установку два миллиона долларов. Но даже и в самую жаркую погоду я все-таки забегая сюда, чтобы перелистать новую книгу или журнал, навести необходимые справки, готовясь к очередной лекции, а самое главное — перекинуться словом-другим с обслуживающим персоналом и постоянными посетителями. У меня с ними установились добрые отношения.

Как во всякой библиотеке, здесь тоже бдения за огромными столами сменяются тем, что читатели выходят покурить, поразмяться, просто поболтать со старыми или с вновь обретаемыми знакомыми. Мне довелось беседовать и со многими работниками библиотеки (кстати сказать, стремившимися активно помогать во всех моих изысканиях) и с постоянными ее посетителями. В залах славянского отдела я познакомился с некоторыми советологами, с докторами и аспирантами, специализирующимися в области русской филологии, философии, истории, богословии. Если ты сидишь с американцем за одним рабочим столом, то он быстрее, чем мне представлялось, преодолевает стену незнакомства и вступает с тобой в разговор. Стоило мне несколько раз взглянуть на стопки русских книг и газет перед человеком, сидевшим напротив, как он улыбнулся и спросил, не русский ли я. Через два дня пригласил меня к себе в гости, а еще через неделю уже представлял другим читателям как своего знакомого из Москвы.

Это и был Бен Харкорт, уже знакомый читателю по предыдущим заметкам. Сам он историк, работает в школе и пишет книгу о Ленине и Октябрьской революции. Чтобы не осложнять ему и без того нелегкое положение, я счел необходимым заменить его настоящей фамилией псевдонимом.

Протягивая мне руку, Бен произнес крылатую фразу: «Я — несчастный Мак» — и рассказал, что был одним из самых активных участников студенческого движения 60-х годов, входил в руководящие группы, спорил со многими лидерами, пока не убедился, что движение не революция, а его лидеры не революционеры.

— Никакой позитивной программы у большинства не было, — рассказывает он. — Да ее и не искали, как не искали настоящих контактов с рабочими, ссылаясь на то, что рабочие, дескать, обуржуазились, развращены. Конечно, у нас очень значительна та прослойка, которую Ленин называл рабочей аристократией, так же как консервативные группы в рабочем классе. Это на них опирается Джордж Мини. Вот вы сказали, что любовались, с какой культурой труда и достоинством рабочие возводят новый небоскреб на Лексингтон-авеню. А вспомните, что это они избивали студентов железными палками. И все-таки, зная все это, я говорил лидерам студенческого движения: «Пройдет несколько лет, и вы станете самыми примерными делателями денег, будете стремиться сделать свои сто тысяч в год». Так оно и случилось. Сегодня почти все они прощены и преуспевают на поприще бизнеса...

Я рассказываю ему, как в обеденный перерыв на углу Пятой авеню и Сорок девятой стрит встретил странную процессию. Пять здоровенных парней, обритых наголо (кроме макушек, с которых на спины спускаются конскими хвостами пучки оставленных волос), одетых на восточный манер в женские длинные платья, забранные сзади так, что голые бледные ноги видны до ягодиц, шли маленькой колонной. В руках одного бубен, у другого ударник, у третьего длинная свистелка. Первых два с наивозможной силой бьют в свои инструменты, третий неистово свистит, а еще двое дико кричат, но кричат в ритме, так, что получается что-то не то вроде песни, не то вроде причитания. Кричат они одни и те же слова, все усиливая темп, все сильнее пританцовывают, подпрыгивают на манер хлыстов. Я прошел за ними три квартала и, мне показалось, разобрал одно слово, похожее на Аодахья. Об этом теперь я и спрашиваю Бена, вернее спрашиваю, правда ли, что некоторые из участников движения «новых левых» ввали в богоскательство, в восточный мистицизм.

— Я уже говорил, что то был бунт чувств, бунт настроения, бунт ощущения без какой-либо практической подосновы. Поэтому от него при напористой поддержке наших газет, телевидения не так уж трудно было перейти к религиозным настроениям. Но и религиозность, всплеск которой действительно наблюдается, не глубокая, идущая от духовной слабости, неумения обрести прочную опору, найти правильный ответ на вопрос: что ж нужно делать?

О своей будущей книге он сказал кратко, но выразительно:

— Я изучаю Октябрьскую революцию, чтобы дать американцам объективное представление о ней. Я убежден и считаю, что Ленин — самый крупный политик и такой же неподкупный человек, как Робеспьер. Он не сгибался до народа, он шел во главе народа, увлекая его ввысь. Начинать приходится с защиты самого слова «революция» и с доказательства, что она не могла не произойти. В двух тысячах диссертаций о России и Советском Союзе, защищенных за последние пятнадцать лет в США и Канаде, в сотнях книг, созданных в ста семидесяти наших центрах, занимающихся изучением вашей страны, можно найти все, кроме объективного и убедительного ответа на вопрос, как и почему победила социалистическая революция. Перепевая слова профессора Чемберлена, историки, социологи, философы, экономисты заявляют, что Россия не соответствовала марксистским условиям, необходимым для победы социалистической революции, и что, настаивая на осуществлении пролетарской победы в капиталистически отсталой стране с небольшой долей пролетариата, большевики нарушили «формулу Маркса»³⁵. Профессор Пирсон назвал Апрельские тезисы Ленина драматической программой, с помощью которой сто пятьдесят миллионов русских были катапультированы в социализм³⁶.

— Ваши историки, — спросил я, перебивая его, — все еще не могут отрешиться от чисто количественного подхода к решению вопроса о движущих силах нашей революции и согласиться с тем непреложным, обнаружившимся при совершении Октябрьской революции фактом, что сила пролетариата, руководящего революцией, в истории движения неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения?

Кивнув утвердительно, он сообщил:

— По крайней мере две тысячи наших историков, преследуя практические цели официальной политики, противопоставляют революцию в нашем веке миру, свободе, элементарным человеческим правам. Другие две тысячи, привыкшие к расхожим критериям нашей страны (за все годы войны за независимость Штаты отпустили на нее пять с половиной тысяч долларов), доказывают, что революция слишком дорогой, нет, дорогостоящий метод перестройки жизни, несет миру не обновление, а только разрушение, что никакая революция не может изменить основных мнений и чувств народов. Вслед за профессором Питиримом Сорокиным для социалистической революции они делают исключение лишь в том смысле, что будто бы внутри она разрешается термидором, а вовне — опустошительными войнами. За редким исключением об Октябрьской революции так пишут, так говорят и те четыреста семнадцать докторов наук, которые, по официальной статистике, изучают и преподают у нас историю СССР. Зачем они это делают? Чтобы утвердить в нашем сознании мысль, отчетливее других сформулированную десять лет назад профессором Мейзелем: «Грядущая революция, случись она, по всей вероятности, закончится всеобщим уничтожением». В моей книге не будет рассуждений. В ней будут говорить только факты, документы, как у Джона Рида. Октябрьскую революцию я беру в неразрывности с ее вождем, беспримерным политиком — Лениным.

Март—июль 1977 г.

³⁵ См.: W. Chamberlain. The Russian Revolution, 1917—1921. N. Y. 1954, vol. 1, p. 260.

³⁶ См.: P. Pearson. The Sealed Trian. N. Y. 1975, p. 141.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИЙ НОВИКОВ



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОИСК

Заметки о прозе Чингиза Айтматова

I

Оригинальный, большой художник всегда находится в движении, поиске. Каждое его новое произведение — открытие, своеобразный шаг в неведомое. Яркое доказательство тому — творческий путь Ч. Айтматова.

Выступив с повестями «Джамиля» и «Тополек мой в красной косынке», Ч. Айтматов поразил читателя сочетанием строгой реалистичности описаний с поэтичностью в передаче сокровенных чувств, духовной красоты своих героев. Причем оба качества авторского стиля свободно проникали друг в друга. Повесть «Первый учитель» была пронизана революционным пафосом, передавала горячее дыхание первых лет революции, свидетельствовала о стремлении писателя отдать дань сыновней благодарности тем, кто закладывал в Киргизии основы социальных преобразований, создавал школу, из которой вышло первое поколение киргизской интеллигенции. Причем пафос произведения непосредственно вырос из подробностей, относящихся к делам и характеру первого учителя на селе — Дюйшена. В «Материнском поле» Ч. Айтматов смело обращается к такому жанру, как героическая баллада, и в форме исповеди матери Толгонай продолжает горьковскую тему — славит Мать как источник жизни на земле, рассказывает о подвигах ее сыновей в борьбе с фашистскими захватчиками. Художественный мир Ч. Айтматова постоянно расширяется. Вместе с обогащением тематики идет процесс интенсивного поиска новых художественных средств и приемов.

В повести «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматов достигает большой пластической силы как в описании конкретных явлений, противоречий жизни, так и в создании типических характеров. Образ Танабая вырастает до широкого художественного обобщения, дающего представление о коренных изменениях, происшедших в сознании, чувствах рядовых колхозников за время социализма. Ассоциативный параллелизм в повествовании (антропоморфизм в описании судьбы Гульсары), картина нравственных потрясений Танабая, вызванных его столкновением с людьми, нарушающими социалистические нормы поведения, — все это сообщает особую глубину философскому, социально-историческому плану «Прощай, Гульсары!».

Последние повести Ч. Айтматова «Белый пароход», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря» говорят о стремлении художника повысить смысловую емкость повествовательной подробности, открыть границы сюжета в сторону общих закономерностей бытия.

В интервью, помещенном в «Дружбе народов» (1977, № 10) под названием «Духовная опора», Ч. Айтматов особо подчеркивал необходимость многомерного, глубинного, пластического отражения действительности, связи времен, жизненных противоречий и сложных человеческих судеб. Это необходимо, с его точки зрения, для более глубокого освещения как прошлого, так и настоящего. Он решительно выступил против «плоскостного видения» в литературе и обратил внимание на то, что мифы, легенды, песни — формы народного творчества, в сгу-

щенном виде отражающие миропредставление народа, его опыт, его мечты и чаяния,—помогают писателю в поисках многомерных, объемных художественных решений.

«Мы видим только нашу замечательную действительность, только наши дела, только нашу историю и только нашу жизнь,—размышляет Ч. Айтматов.— Но плоскостное видение в литературе, по моему, изживает себя, нужно добавочное «боковое» и глубинное видение, видение прошлого. Все это вместе взятое концентрирует силу художественного образа...», «Легенды, мифы, песни, весь их строй помогают мне в поисках такой многоплановости, многомерности».

Как раз в последних повестях Ч. Айтматова особенно интенсивен творческий поиск автора, направленный на увеличение смысловой и эмоциональной емкости слова. В общем литературном процессе этот опыт примечателен и свидетельствует о новых возможностях социалистического искусства.

В новых повестях Ч. Айтматова мастерски переданы особенности детского мировосприятия. Чистота нравственных представлений ребенка, удивление перед неведомым открываются в коллизиях подчеркнута драматических. Итоги этих коллизий различны. Герои или гибнут, как мальчик в «Белом пароходе», или на наших глазах становятся борцами, как Султанмурат в «Ранних журавлях», или рано взрослеют, пережив за четыре-пять дней то, что другим не суждено пережить за целую жизнь, как Кириск в «Пегем псе...». В ткань повествования вплетаются легенды, сказания, мифы, песни, пословицы, заклипания — древние формы народного творчества. Все это позволяет автору связать современность с историей, проникнуть внутрь сложных явлений, показать их во многих аспектах. За реальными событиями, изображенными в повести, вспыхивает широкий исторический фон, и они сами становятся своеобразной легендой.

Образные решения в философских повестях Ч. Айтматова получают особую емкость, гипотетичность, если воспользоваться словом Горького. В них по-новому проявляется глубина мышления художника, заявляет о себе объективно-историческая правда, которую он стремится донести до читателя, поэтизируя высшие гуманные идеалы и стремясь утвердить за литерату-

рой право называть себя духовной опорой народа¹.

II

Как же достигается в повестях Ч. Айтматова гипотетическая обобщенность и эмоциональная выразительность образных решений и речевой пластики?

Писатель вовсе не спешит абстрагироваться от житейской конкретики. Наоборот, конкретность, «материальная» основа слова в повестях Ч. Айтматова упрочивается, как и диалектичность авторского взгляда на мир. Известно, что конкретное и общее всегда слиты в детском мышлении. Оно образно по самой своей природе. Посредством основного приема — преломления сложных явлений действительности через детское восприятие — Ч. Айтматов проникает внутрь противоречий, сложных жизненных коллизий, позволяя им обнаружиться как бы спонтанно. Силы добра и зла в его повестях предстают в сложнейшем жизненном переплетении.

Вспомним, как решается основной конфликт в «Белом пароходе». Складывается драматическая ситуация как для Момуна, так и для мальчика, то есть для тех, кто воплощает в себе народное представление о добре и справедливости, о гармонии и красоте мира, о праматери Оленихе как символе вечности жизни на земле. Под угрозой силы, под грубым нажимом тупого бездельника Сайдахмата, который хочет угодить негодяю Орозкулу, добрый старик Момун стреляет в Мать-олениху, сам, своими руками убивает свою мечту о добре и справедливости, красоте и бесконечности мира и вместе с этим убивает и веру во все светлое в легкоранимой душе мальчика. Сюжет, как видим, имеет наклон в сторону исключительного, чрезвычайного. Но исключительное вырастает на будничной почве. События, лицам сообщена житейская, бытовая достоверность (включая сюда национальный склад мышления героев, соблюдение обычаев, семейных и родственных отношений и др.). Обобщенный смысл единичного выступает

¹ В интервью, которое мы выше цитировали, Ч. Айтматов обращал особое внимание на то, что «литература во все времена должна быть духовной опорой человека. Если она не может быть такой, то она недостаточно, не в полную меру выполняет свою миссию» («Дружба народов», 1977, № 10, стр. 242).

тем рельефнее, чем осязаемей само едничное. Герои и события предстают в широких временных и пространственных связях. Но сюжетное построение этой прозы делает особенно заметными два ракурса — удаление и приближение (как в кино). Применительно к повестям Ч. Айтматова я назвал этот способ принципом бинокля. Он по-разному применяется в «Белом пароходе».

Мальчик не расстается с биноклем, которым был премирован дед Момуна за добросовестную работу. Когда он смотрит на мир в перевернутый бинокль, то видит: «...дома убежали далеко-далеко, превратились в игрушечные коробочки. Валуны стали камешками. А запруда дедовская на речной отмели и вовсе показалась смешной — воробью по колено». Но когда мальчик смотрит в окуляры бинокля, то весь окружающий мир приближается к его глазам вплотную, увеличивается в размерах: можно рассмотреть все в деталях, вплоть до мельчайших синих жилок и глубоких морщинок на лице деда Момуна. Кстати сказать, этот способ использован режиссером и оператором в кинокартине «Белый пароход» как принцип монтажа кадров, снятых крупным планом и в перспективе. Он позволяет на пластическом языке выразить диалектику обычного и необычного, в конкретном сильнее подчеркнуть проявление всеобщего

У Ч. Айтматова чаще всего резко вычленен небольшой участок жизни. В самом деле, в «Белом пароходе» события разворачиваются на кордоне, где живут всего три семьи. Человеческие отношения здесь обнажены до предела. При этом связь частного со всеобщим выявляется в концентрированном виде. Столкновения Момуна с Орозкулом, трагическая судьба мальчика, узнавшего, какое зло несет Орозкул людям, в общей структуре повести приобретают особое значение. Частные коллизии и судьбы получают эпическое наполнение.

В «Пегом псе...» сюжет резко локализован. События разворачиваются в открытом море. Место действия — лодка (каяк), где находятся трое взрослых людей и маленький рыбак Кириск, впервые выехавший на охоту. Ч. Айтматов исследует исключительную ситуацию, вплотную приближая камеру (говоря кинематографическим языком) к вышедшим в открытое море людям. Оказывается, что поведение героев,

их действия, готовность и способность пожертвовать жизнью ради спасения Кириска настолько значительны, что повесть о четырех рыбаках приобретает черты саги, эпико-героического сказания.

Действие «Ранних журавлей» разворачивается в колхозном аиле. Поступки героев социально детерминированы, поставлены в прочную связь с таким историческим явлением, как Великая Отечественная война. С точностью летописца Ч. Айтматов повествует о жизни киргизов в глубоком тылу войны. Писатель создает запоминающийся образ бывшего фронтовика, ныне председателя колхоза Танаалиева. Но летописная точность становится условием и гарантией обобщенного восприятия читателем основных коллизий повести.

...Семиклассники выезжают в Аксайское урочище пахать землю. Это десант (как зовет его Танаалиев). Десант живет своей жизнью и сталкивается с грубой бесцеремонностью зла: конокрады уводят коней. Конфликт на первый взгляд локален. Но система тонких переключек локального с масштабно-историческим (война, протяженность и глубина нравственного опыта народа) сообщает действиям десанта философскую многозначность.

Образы героических ребят-подростков ассоциируются в нашем сознании с молодыми, свежими силами народа, вступившими в схватку за торжество самых светлых социальных идеалов.

III

Ч. Айтматов любит доводить конфликт до острой кульминации, что позволяет характерам полностью выявиться. И чем напряженнее столкновение добра и зла, тем сильнее в этой борьбе противоречий проявляется философский смысл коллизии. Нравственное потрясение служит или возвышению личности (в «Ранних журавлях» и «Пегом псе...»), или резкой ее дискредитации.

Конфликт в повестях Ч. Айтматова — кипящая точка противоречий. К этой точке сходятся главные линии художественного поиска. Поиск предполагает вовлечение в зону конфликта широких временных протяженностей. Этому, в частности, служит обращение прозаика к поэтике мифов, сказаний, легенд.

Движение широкой художественной мысли начинается уже с заголовка. «Бе-

мый пароход» — олицетворение чистой мечты о счастье. «Ранние журавли» — метафорическое уподобление, относящееся к образу юных бойцов (неизбежно напрашивается сравнение с известным стихотворением Р. Гамзатова «Журавли»). «Пегий пес, бегущий краем моря» — символ спасительного ориентира для тех, кому грозит смертью разбушевавшаяся стихия. Заявленный исходный образ подхватывается системой реалистически конкретных и вместе «укрупняющих» пластических средств. При их взаимодействии слово как бы намагничивается особым добавочным смыслом, включается в сеть емких ассоциаций.

Вот, к примеру, кульминационный момент развития конфликта в повести «Белый пароход». Больной, мечущийся в жару мальчик видит нечто ужасное: красавицу Мать-олениху, символ бессмертия природы, убили, превратили в мертвую тушу, затем в куски мяса. Видит он и другое: его любимый и добрый дед Момун резко переменялся. Он всегда находил для любимого внука ласковое слово, а тут при встрече покраснел, затем побледнел, качнулся и что-то проворчал невнятное. Мальчик еще не знает, что дед своими руками убил Мать-олениху, убил прародительницу рода, ту, которая, по преданию, спасла киргизов от полного вымирания. Он только видит, как Орозкул и колхозный счетовод Кокетай, «огромный, темнолицый» мужчина, который в улыбке обнажает «могучие желтые зубы», сообща делят мясо. Разгоряченные вином, они приходят в еще большее опьянение от вида свежатины, ее запаха.

«— А запах какой! — говорил басом черный дюжий мужик, пригнувшись к мясу.

— Бери, бери, бросай в свою кучу, — щедро предлагал ему Орозкул. — ...Такое не каждый день случается.

Орозкул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживая свой тугой живот, точно он объелся чего-то... Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости».

Наблюдая этот дикарский шабаш, мальчик не мог поверить, что делят мясо маралы, «той самой, что вчера еще была Рогатой Матерью-оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую

он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову».

Восприятие мальчика резко укрупняет столкновение дикого, звериного с вечно прекрасным и бесконечным в своей жизненной силе началом, коллизия приобретает философское наполнение. Многозначительной метонимией становится глаз Матери-оленихи, словно бы следящий за дикарским разгулом, хотя тело маралы мертво.

В пьяном рвении Орозкул хочет вырвать рога Матери-оленихи, цинично заявляя, что он их поставит на могиле деда Момуна. Он остервенело хрюкает топором, промахивается: «Голова давно уже извивалась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Орозкул попадет по глазу».

Топор Орозкула рассекает глаз. «Мальчик коротко вскрикнул». А Орозкул совсем озверел. Он проломил череп и в темя и на лбу, отбросил топор, «схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голову к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика Рогатая Мать-олениха должна была принести волшебную колыбель Орозкулу и тетке Бекей...».

Читатель помнит из сказки об Оленихе, откуда пошел обычай ставить на могиле умерших рога маралов. Кичливые сыновья богатея — бая решили отличиться и ввели такой обычай. И это привело к тому, что были истреблены маралы на берегах Иссык-Куля. Старуха из сказки предупреждала Олениху, спасающую род киргизов: «...если черной неблагодарностью отплатят тебе твои дети людские — пеняй на себя... Не то что лесных зверей, они и друг друга не жалеют...» Это предостережение приобретает в контексте «Белого парохода» особое значение.

Лесник-объездчик Орозкул мало чем отличается по своему психическому складу от тех баев, которые когда-то безраздельно властвовали на своих землях, издевались над людьми, кичились своим всеислием и богатством. Дай волю таким ороз-

кулам — они опустошат землю. В структуре «Белого парохода» важен факт бесплодия Бекей — жены Орозкула. Это своеобразная метафора, выражающая идею обреченности орозкулов: они — прошлое, для которого в настоящем нет опоры. В таких кульминационных пунктах повествования, как эпизод пьяного шаша над тушей Оленихи, философская мысль обнаруживает себя с особой силой. Момент наивысшего драматического накала в повествовании содержит в себе, помимо прочего, обоснование прямых авторских монологов или лирических отступлений. Вспомним, к примеру, эпилог «Белого парохода»:

«Ты уплыл, мой мальчик, в сказку свою...

Ты уплыл.

Одно лишь могу сказать теперь — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне, — без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди.

В этом монологе наглядно выражены нравственный максимализм писателя, высота его гуманистических критериев.

Следует сказать, что, заостря жизненные противоречия, придавая коллизиям притчевую рельефность, Ч. Айтматов не случайно избирает участки действия, отдаленные от «горячих точек» индустриального прогресса.

Художнику важно резко вычленил и подать укрупненно такую коллизию, сквозь которую просматривается глубина времени, природная основа людских отношений. Представляя нам жизнь на кордоне как островок, где безнаказанно может властвовать Орозкул, писатель выплывает в разоблачении пережитков прошлого. В самом деле, в наше время, озаменованное углублением демократизации всех сторон общественной жизни, ростом сознания народа, только в отдалении от большого мира и мог так бесчинствовать Орозкул, не считаясь ни с законами, ни с социалистическими нормами поведения. Заострение ситуации дает возможность художнику, не отступая от принципа правдоподобия, показать орозкуловщину как исключительное явление и беспощадно осудить ее.

Орозкулу и орозкуловщине противопоставит живой, прекрасный мир природы и светлое детское представление об этом мире. Ограничив сюжетное действие рамками кордона, писатель достиг резкой контрастности этого противопоставления. Миф о Рогатой Оленихе усиливает драматизм и вместе параболический характер повествования. Благодаря взаимодействию мифологического и реального планов атмосфера повествования насыщается до ощущения грозных раскатов (в кинофильме «Белый пароход» режиссер Б. Шамшиев напрямую дал об этом понять, сняв кадры разразившейся грозы).

Пожалуй, ни в одном из написанных ранее произведений Ч. Айтматову не удавалось с такой силой опозитивировать вечно прекрасные начала жизни и одновременно обличить пережитки старого (образ Орозкула), как в «Белом пароходе».

Но в параболическом заострении противоречий, к которому прибегнул Ч. Айтматов, есть свои слабости, являющиеся логическим продолжением достоинств «Белого парохода». Слабость заключается в том, что в замкнутом мире кордона, где происходит действие, никто не противостоит и не может противостоять Орозкулу. Большой мир лишь по воле случая врывается в жизнь кордона. Шоферы совхоза, приехавшие за сеном, вынуждены из-за непогоды заночевать на кордоне. Мальчика поражает, как дружны между собой шоферы, как самоотверженно и согласно борются они со стихией. Положительным началам нашей жизни у Ч. Айтматова уделено самое пристальное внимание. Особое значение имеет знакомство мальчика с шофером Кулубеком, только что демобилизовавшимся из армии. Он сердечно относится к мальчику, проявляет заботу о нем. В горькие минуты своей жизни, когда мальчик видит безнаказанность действий Орозкула, он в мыслях обращается к Кулубеку, который, по его убеждению, мог бы справиться с Орозкулом и наказать его.

Надо сказать, что в кинофильме «Белый пароход» сюжетная линия Кулубека усилена по сравнению с ранней редакцией повести. Он выступает как прямой антипод Орозкула, представитель большого мира, олицетворяющий новое отношение к людям, труду. Его характер обрисован более обстоятельно. Общая картина жизни в фильме точнее выверена историче-

ски, чем в первой редакции повести «Белый пароход».

Новый подход к образу Кулубека обозначился у Ч. Айтматова во второй редакции «Белого парохода» (1970). На это обратил внимание Ч. Гусейнов. Отметив критический разноречивый в трактовке финала «Белого парохода», Ч. Гусейнов указал, что «автор... привнес в повесть... новую редакцию эпилога»², где есть авторское обращение к образу Кулубека. Оно сделано, как и весь эпилог, в форме лирического отступления:

«Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали. И стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился.

— Ты куда? — спросил бы Кулубек.

— Я к тебе! — ответил бы ты.

И он взял бы тебя в кабину. И вы поехали бы. Ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому не видимая Рогатая Мать-олениха. Но ты бы видел ее».

Художник не сглаживает противоречий. Он исследует те силы, которые реально противостоят орозуловщине и способны дать ей бой. Трагедийность судьбы мальчика, сопереживание читателем его судьбы от этого не ослабевают, а усиливаются.

IV

Если в основу «Пегего пса...» положена поэтика легенды, то в «Ранних журавлях» доминируют конкретно-исторические, реалистические формы обобщения. А эффект в конечном счете оказывается соизмеримым. Только в «Пегем псе...» все легендарно, даже сиюминутная реальность, а в «Ранних журавлях» легендой становится недавнее героическое прошлое.

Автор «Ранних журавлей» предельно достоверен в описании трудностей военного времени, страданий матери Султанмурата, жаждущей весточки от мужа с фронта, горя Анатая, чей отец погиб на фронте, трудовой самоотверженности подростков, их малых радостей и большой беды, постигшей их в конце повести. Причем реаль-

² Ч. Гусейнов, «Нравственные конфликты в современной советской литературе» (в сборнике «Методологические проблемы современной литературной критики». М. «Мысль». 1971, стр. 190).

ные факты здесь существуют в контексте большой идеи, философского осмысления действительности. Повесть Ч. Айтматова многопланова. Изображение жизни колхозников во время войны, нравственного созревания подростков приобретает большой смысл. В повести властно звучат вечные мотивы: люди всегда пахали землю, сеяли хлеб, надеялись на лучшее, несмотря на жестокие испытания судьбы (это подчеркнуто в эпиграфе «Ранних журавлей» выписками из «Книги Иова» и «Тхерагати»). Великая идея победы светлых начал жизни над силами мрака постепенно, как в симфонии, нарастает в повести и находит драматическое разрешение в ее финале. Все ее звенья, сюжетные ситуации согласно движутся к единому финальному разрешению.

Каждый значительный поступок подростков в повести принадлежит историческому времени и как бы овеян дыханием легенды. Автор не скрывает своего восхищения подростками. И естественно, что в строго реалистическую палитру повести входят мотивы и темы высокого эпоса типа «Манас». И тогда простые подростки сравниваются с витязями, их кони — с конями батыров, а бывший фронтовик, изувеченный в боях, председатель колхоза Тыналиев — с самим Манасом: «Он стоял перед ними, пожалуй, как сам Манас, силовитый, грозный, в кольчуге, а они перед ним как верные батыры его». Все это усиливает героико-патетическое начало повести.

В конце «Ранних журавлей» происходит своего рода взрыв нравственных сил подростков. И в его свете резко проступает внутренний смысл событий.

В финальных сценах мы наблюдаем встречу различных повествовательных форм. Строго реалистический рассказ о трудностях военного времени («В айле время голодное. Запасы уже на исходе, до нового урожая далеко. Скот отоцал,дохнет от бескормицы...») сменяется лирическими раздумьями Султанмурата. За скорбной сценой страданий Анатая, потерявшего на фронте отца, следует величественная картина бескрайних просторов Аксайской степи у подножья Великого Манасова хребта, где «хранилась давно никем не нарушаемая тишина». Работа подростков по подъему целины описывается в традициях древнего эпоса: «Три плутаря и великие горы впереди. Три плутаря и великая степь

позади...» Пахота сравнивается с движением судов среди водных просторов: «Плыли черные упряжи плутов, как раблы в белом тумане...»

Драматические ноты в повествовании сменяются светлыми тонами, описанием солнечного весеннего утра, радостного самочувствия подростков, уверовавших в свою силу, в то, что они выполнят сложную работу, выпавшую на их долю. Появляются яркие романтические краски, властно звучит мажорный тон. Все линии повести как бы стягиваются в одну точку, в одну картину: прилет журавлей. Эта картина символична. Подросткам известно народное предание, по которому прилет журавлей в раннюю весеннюю пору предвещает урожайный год. И они приветствуют журавлей, с радостным криком несутся им навстречу: «Урожай, урожай будет!» Они уверены, что трудности будут преодолены. Сами подростки в этой картине так прекрасны, вся пробуждающаяся природа вокруг них так величественна, что финальная ситуация рождает емкие смысловые переключки и ассоциации, говорящие о вечном круговороте жизни и вечном ее обновлении. Достигается это неразрывной связностью реалистических и романтических форм обобщения, использованием приемов устного поэтического творчества.

Но в самый светлый, кульминационный момент повествования в «Ранних журавлях» следует крутой поворот к трагическому. Как в симфонии, резко звучат диссонирующие ноты. Автор подготавливает столкновение большого светлого мира жизни с миром зла. За бутром скрылись конокрады и наблюдают за подростками. Как в «Белом пароходе», автор использует принцип перевернутого бинокля. Только на сей раз роль перевернутого бинокля играют кончик мушки и прорезь прицела, через которую смотрит один из конокрадов на мальчишек, бегущих навстречу журавлям:

«Они бежали, а немигающий жестокий зрачок следил за ними в прорезь прицела... Ненавистно смотрел этот зрачок... Земля за пределами прицела была такая большая, а они на срезе зыбкой мушки такие крохотные... Небо в прицеле над ними было такое большое, а они на кончике мушки такие маленькие. Щелчком сшибить — и не будет их...»

Образы бандитов в повести нарисованы в нарочито сниженном виде — как олице-

творение того мира, где господствуют волчья законы наживы, грабежа, убийства. Язык конокрадов вульгарен, интересы низменны: хапнуть побольше денег за украденных коней, пожить влады.

Драматизм повествования в этот момент достигает высшего накала. Кажется, происходит катастрофа космического масштаба: все мечты подростков рушатся, все их усилия напрасны, ведь без коней целины не поднять... В финале автор концентрирует внимание на поведении Султанмурата. Снова, как в симфонии, звучат грозные ноты. Султанмурат действует решительно и самоотверженно. Освободив себя и друзей от пут, он посылает Анатая в аил за помощью, а сам один на любимом коне Чабдаре преследует вооруженных бандитов, хочет помешать им утнать коней.

Высвечивая фигуру Султанмурата, Ч. Айтматов показывает, какую высоту сознания, смелости и отвагу обнаруживает его герой. Историческая обусловленность поведения героя, нравственные истоки его подвига получают в повести Ч. Айтматова яркое художественное освещение.

События в «Ранних журавлях» при всей точности исторических реалий как бы овеяны дымкой времени. И эта дымка усиливает ощущение легендарности происходящего. Но по своей сути легендарен и подвиг Султанмурата. Вспомним: Султанмурат, пытавшийся преследовать конокрадов, в бессилии возвращается к убитому коню. Он да убитый любимый конь Чабдар — вот что, кажется, осталось во всей вселенной. Но когда в темноте засветились волчьи глаза и голодный волк попытался напасть на труп коня, Султанмурат снимает с Чабдара уздечку, наматывает ее на руку. Это его единственное оружие. И он вступает со зверем в яростный бой. Символическая картина в эпилоге повести служит реалистической цели. Она художественно оттеняет то важное обстоятельство, что в трудное время войны Султанмурат сформировался как боец, который никогда не отступит от намеченной цели. За ним — правда. Все симпатии автора на стороне такого героя. Что во многом и определяет внутренний жизнеутверждающий пафос повести «Ранние журавли».

▼

«Пегий пес...» стоит несколько особняком в цикле повестей Ч. Айтматова. И материал повести необычен для писателя —

жизнь нивхов. И картина разбушевавшейся стихии северного моря тоже необычна. Но внешняя «экзотичность» отступает на второй план, становится как бы малоприметной рядом с концентрированной силой философской мысли художника.

«Пегий пес...», пожалуй, самое сложное и самое цельное по внутренней структуре произведение Ч. Айтматова. Писатель в нем ставит важнейшие вопросы о смысле жизни, о величии духа людей, проявляемом в тяжелейших условиях — на грани жизни и смерти. Конкретные факты, события рассматриваются как бы в космических масштабах (чему не мешает локальность сюжета) и приобретают общечеловеческий смысл.

На масштабное восприятие происходящего настраивают нас уже первые фразы: «Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменно твердая земля». Реальное и мифологическое в повествовании переплетается. Образуется как бы двойное зрение — пространственно-временное. Мы видим ближайший план и план отдаленный. Прошлое предстает обобщенно в мифе об утке Лувре, которая, когда еще не было земли, с криком носилась над бескрайними просторами моря, искала кусок земли, чтобы снести яйцо, и не могла найти места. Она свила гнездо на воде из своих перьев, снесла в нем яйцо: «Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться».

Мифологические формы обобщения играют большую роль в общей структуре повести. Владимир Санги в диалоге с А. Руденко обратил на это особое внимание и заявил, что «Айтматов создал мифологическую поэму о самопожертвовании...»³.

Мифы, сказания облачают философскую мысль в образную форму. Но житейски конкретное не утрачивает при этом своей осязаемой предметности. Как бы в двух проекциях существует в повести, к примеру, миф о рыбе — родоначальнице рода нивхов. Он и сказание о прошлом, и раздумье, своеобразное «видение» старика Органа, осмысливающего жизнь. А вот портрет Органа: «На корме, правя рулем, сидел... степенно посасывая деревянную трубку, коричневолицый, худой, кляк-

стый старик, очень морщинистый — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами». Вслед затем мы узнаем, что в теле Органа все еще бродят молодые силы, он переживает свои сны о встрече с Рыбой-женщиной как явь, душа его, оказывается, не стареет, «желания в груди живут по-прежнему». Что-то древнее, изначальное, как народное сказание, звучит в рассказе о том, как Органу повезло (пусть не наяву, а во сне) встретиться с Рыбой-женщиной.

Грань между явью и сном предельно тонка. Воспоминаниями Органа о встрече с Рыбой-женщиной он вводит нас в мир языческих, плотских чувств, запечатленных с такой силой, что реальное берет верх над условным и легендарным.

Нас поражает мудрость Органа, философская глубина его раздумий о смысле жизни. Он знает, что его встреча с Рыбой-женщиной — это мечта. Но чувства его сильнее мечты: «В душе он верил, что то, что ему снилось, было больше чем сон». Орган, конечно, понимает, что и «больше чем сон» — лишь сладостные мгновения в вечном и трудном круговороте жизни. В общем-то, рыбацкий промысел нивхов тяжел и опасен. Море для них источник жизни и место смерти. Опасна и встреча с Рыбой-женщиной. И тем не менее старику Органу эта встреча дает возможность «познать в одно молниеносное мгновение всю сладу и всю горечь начала и конца жизни». Думы Органа о Рыбе-женщине, сам миф о ней — своеобразный философский камертон повести. «Только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни».

Собственно говоря, величие человеческого духа и стремится раскрыть Ч. Айтматов, оставляя трех охотников и мальчика Кирикса в открытом море во власти разбушевавшейся стихии. Берется вроде бы экзистенциалистский сюжет: человек в предельной ситуации. Но решается эта ситуация не по-экзистенциалистски. А именно: чем безысходнее делаются обстоятельства, тем сильнее проявляется величие духа простых людей. Писатель стремится дойти до самых глубинных, скрытых пружин поведения человека, когда, казалось бы, страх

³ «Легенда, созданная заново. Диалог критика и прозаика» («Дружба народов», 1978, № 1, стр. 257).

перед смертью, инстинкт самосохранения должен вытеснить все другие чувства.

Ч. Айтматов проявляет удивительное мастерство, рисуя поединок людей со стихией. Вначале предчувствие беды звучит как тревожная нота в симфонии. В чистом море, которое играло мириадами веселых бликов, Кирыск замечает темное пятно, которое он принимает за остров. «Там, вдали, очень далеко... неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды». Но это была не твердь земли. Это был туман, предвестник беды. Начинается шторм. Извечная стихия, как живая сила, восстает из мрака, обрушивается на людей. Буря воспринимается как живое существо:

«По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась... серая стена тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее неременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой...»

Образный строй этой картины передает нарастание драматизма.

Драматизму ситуации отвечает колорит, общая окраска авторских описаний. Отсвет древней легенды лежит на таких, к примеру, строках: «В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи», «То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и неизбежно покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение...», «Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда... плыть было некуда...» Все зримо, осязаемо, ощутимо. И все насыщено великим смыслом.

Охотники оказались в чреве тумана, их окружает иная, неземная сущность, которая «поглотила весь белый свет — и Землю, и Небо, и Море». У людей нет надежды на спасение. Само «ожидание перемен становится пыткой». Как же ведут себя люди, когда сопротивление стихии кажется бессмысленным?

Они не мирятся с обреченностью. В этом коренное отличие позиции Ч. Айтматова от экзистенциалистов, считающих, что человек обречен на страдание, всегда яв-

ляется игрушкой inferнальных сил, которые якобы управляют жизнью людей.

Спротивление этим силам бессмысленно? Нет! — говорит Ч. Айтматов повестью «Пегий пес...». Человек — хозяин своей судьбы, а не игрушка обстоятельств! Забота о других — вот что отличает героев повести Ч. Айтматова от персонажей экзистенциалистских произведений. Заботой о другом, о ближнем, и определяется духовное величие героев Ч. Айтматова.

Величие духа, потенциальные возможности персонажей, оказавшихся в трагической ситуации, опять-таки раскрываются с убедительной достоверностью и в то же время философски многозначно.

Удивительную мудрость, выдержку, силу воли проявляет старик Орган. Он строго делит оставшуюся в бочонке воду, а свою долю отдает Кирыску. Перед тем как шагнуть из лодки в море, Орган советует внуку следить, не появится ли полярная сова агукук (туман может стоять неделю, а то и месяц). Агукук — это вестник спасения. Она видит и ночью и в непроглядном тумане и летит всегда по прямой к земле. Кирыск, обнаружив утром, что рядом с ним нет любимого деда, догадывается о происшедшем. «Аткыч, аткыч, где ты?» — кричит Кирыск в безмолвно-пустынном и безжизненном тумане. И его крик болью отзывается в сердце читателя.

Жертвует своей жизнью и Мылгун, этот горячий, взрывчатый человек, который не хочет мириться с безысходностью. Он решил пресечь свои муки одним ударом: «А не то сделал бы что-нибудь не то. Выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду...», «Вы отец с сыном, вы оставитесь... Может быть, дотянете...»

Гибнет сильный человек ради того, чтобы спасти других. И снова, как в героической симфонии, у Ч. Айтматова нарастает и крепнет лейтмотив величия человеческого духа... Отец с сыном остались одни в лодке, нет пищи, воды осталось совсем на доньшке. Туман стучается: «...под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка...»

И вот — сюжетная кульминация повести. Эмрабин вынужден решать... В лодке ему оставаться нельзя, ибо воды на двоих не хватит и каждый день пребывания отца в

лодке — это смерть для сына. Но и покинуть лодку Эмрайин тоже не в силах.

Казалось бы — нет выхода. И вдруг, словно свет во мраке ночи, все существо Эмрайина пронизывает высшее человеческое чувство. Он вспоминает жену, вспоминает ту давнюю неизъяснимую радость, которую испытал, узнав, что у них родится сын. И это-то отцовское чувство заслоняет все другие, перерастает в своеобразную торжествующую песнь во имя жизни. Ч. Айтматов заставляет нас пережить острейшее нравственное волнение, когда показывает, как Эмрайин в последние минуты своей жизни осознает свое предназначение, свой долг отца: «Этой ночью он понял, что, оказываясь, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном».

И отец совершает подвиг. Ночью, когда Кириск бредил, повторяя заклятье: «Синяя мышка, дай нам воды», Эмрайин укутал сына кушлянкой, а сам выбросился в море. Проснувшись утром, Кириск не нашел рядом своего отца: «Он закричал жутким воплем, горестно огласившим безмольную пустыню туманного моря...»

Трагедия достигла апогея. Но в трагедийно-суровом звучании симфонии мы улавливаем новые ноты...

В заключительных аккордах повести ее стиль обретает особую упругость — словно парус, надутый бризом. С большой художественной силой в финале повести звучит ее лейтмотив: жертвы, принесенные людьми — стариком Органом, добрым и сильным отцом Кириска Эмрайином, отчаянным и решительным Мылгуном, — не были напрасными.

Заключительная картина повести — наглядный образец живописного мастерства Ч. Айтматова:

«Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, переживая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же ря-

билось насколько хватало глаз бесчисленными бликами живой, кольшущейся воды.

Кириск глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря вышльвал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!

Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопков, и уже различима была кипящая кайма вечного прибой у подножья Пегого пса».

В моем читательском восприятии картина, нарисованная Ч. Айтматовым, ассоциируется с живописью М. Чюрлениса. Нам одновременно видны и падающие с неба лучи солнца, и неоглядность моря, и бесчисленные блики на воде, и вышльвающий из-за темно-зеленой горбины Пегий пес, и уходящая в океан черными клубами стена тумана. «Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми заметили его», — читаем в повести. И возникает поэзия, древняя как мир и вечная как мир:

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один...

Ч. Айтматов, чье словесное искусство включает в себя арсенал изобразительных средств смежных искусств, славит вечные, неистребимые начала жизни, воспевает их торжество над силами мрака.

В стилевых особенностях произведений Ч. Айтматова рельефно проявляются его новаторские поиски. Вся система художественных средств, тональность, ритм повествования выражают глубинное представление Ч. Айтматова о сложном, развивающемся мире, о торжестве светлых начал жизни. Знарок скрытых струн человеческой души, он стремится проникнуть в трагические ситуации, в глубину жизненных противоречий, показать читателю неизбежность торжества светлого начала над миром мрака и зла. Творчество Ч. Айтматова, истинно народного писателя, удостоенного ныне звания Героя Социалистического Труда, воспевает в людях веру в светлое и доброе, в торжество человеческих начал. Повести Ч. Айтматова несут в себе оптимистическую философию нашего века.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валерий Гейдеко. Мера ответственности.— Р. Гальцева, И. Роднянская.
К портрету восходящей культуры.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Резниченко. Это трудное директорское кресло.— Г. Ашин. Книга о великом флорентийце.

Литература и искусство

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Михаил Колесников. Школа министров. Роман. «Знамя», 1977, №№ 10—11.
Михаил Колесников. Школа министров. Роман. «Роман-газета», 1978, № 6.

В романе Михаила Колесникова «Школа министров» убедительно и красноречиво говорится о том, каким непростым делом является сфера управления, ее перестройка, вызванная насущными требованиями дня, новыми тенденциями в экономике страны. Ну а задача рассказать обо всех этих проблемах не в популяризаторской брошюре и не в публицистической статье, а в художественном произведении — из легких ли она? Думаю, на этот счет двух мнений быть не может. Разногласия могут возникнуть по иному поводу: достаточно ли пластичен подобный жизненный материал для пера прозаика, беллетриста?

Михаил Колесников обозначил свою позицию вполне определенно: вот уже около десяти лет он настойчиво овладевает неподатливым материалом, связанным с нравственными, психологическими аспектами научно-технической революции, современного промышленного производства. Появление нового романа представляется мне закономерным и естественным шагом в творческой биографии писателя.

Большинство героев «Школы министров» уже известны нам по романам, центральным действующим лицом которых являлся Сергей Павлович Алтунин, рабочий парень, гордый, резковатый, упорный, жадно тяну-

щийся к знаниям и стремящийся использовать свои силы в трудном и новом для него деле. И хотя фигуры основных персонажей «расставлены» еще за пределами «Школы министров» и характеры их обрисованы в предшествующих произведениях писателя, новый роман вносит неожиданные штрихи, позволяет по-иному взглянуть на взаимоотношения Алтунина с людьми, издавна и хорошо ему знакомыми. Прежде всего с работниками высокого должностного ранга — заместителем министра Лядовым и начальником главка Ступаковым. Алтунин — лицо, стоящее близко к ним по служебной лестнице. Как же ведет себя Алтунин в тех весьма сложных жизненных ситуациях, когда необходимо «считать» не на один, а как минимум на несколько ходов вперед? По-разному. Чаще всего он на высоте положения, обнаруживает качества руководителя, способного мыслить широко, современно, по-государственному. Но иногда Алтунину, теперь молодому руководителю главка, недостает опыта, выдержки, самообладания, чрезмерно увлекшись чем-то одним, он может упустить главное.

Михаил Колесников акцентирует внимание читателя на том, как растет его герой, овладевая многотрудной наукой управления, и подчеркивает, что этот рост про-

текает отнюдь не легко и не безболезненно.

Пожалуй, никогда еще Алтуний не относился к себе так критично, как сейчас, когда он оказался на высоком административном посту. Он много знает, многое умеет, но тем острее ощущает, сколько же ему еще недостает. И задачи, с которыми он ежедневно сталкивается, все усложняются... В ходе перестройки одной из отраслей машиностроения возникло множество сложностей. Как разрешить их наилучшим образом, принеся максимальную пользу министерству, главку и не ущемив интересы отдельных предприятий? Алтуний бьется над этими вопросами, десятки раз перепроверяет различные варианты, сомневается в правильности своих решений, теряет и вновь обретает уверенность в собственных силах. Это проблемы, так сказать, психологического, субъективного свойства. А ведь есть другие, объективные, которые прозаик щедро выносит на страницы романа, включаясь в широкое обсуждение государственных вопросов, ведущихся в последнее время на страницах печати. Прислушаемся к разговору Алтунина с Мухиным, директором одного из сибирских заводов: «Когда я говорю о необходимости создавать машиностроительные комплексы в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане и Средней Азии, меня неизменно спрашивают: где возьмете людей для осуществления такой обширной программы? Законный вопрос. А ответа на него дать не могу. Не знаю. Не окажутся ли наши комплексы мертвыми городами? Почему ваш Нижне-Тайгинский завод не знает текучести, почему у вас высокая приживаемость новоселов? Возможно ли успешно решить проблему кадров в Сибири?»

Михаил Колесников подробно и со знанием дела воспроизводит особую атмосферу делового учреждения, где существует свой этикет, свои неписанные законы, которые поначалу ставили Алтунина в тупик, но власти которых он так или иначе со временем подчинился.

Заседания коллегии министерства, совещания у министра и его заместителя, решение повседневных проблем и вопросов — все это большая школа для Алтунина, который остро ощущает, что свои обязанности ему следует выполнять не просто оперативно и компетентно, но и увязывая принимаемые решения со стратегией и тактикой развития целой отрасли машиностроения, за которую он отвечает. «В личной библиотеке Алтунина

имелась книжечка «Оценка работников управления». На обложке ее изображены три человеческие фигурки: очень маленькая, побольше и большая, а над головами — потолок. У каждой фигурки свой потолок. Раньше Сергей как-то не верил в такой потолок. Казалось: стоит только проявить энергию... Теперь пришел к выводу: потолок способностей человека к тому или иному делу все же существует».

Прозаик показывает, как Алтуний, ощутив этот свой потолок, вступает в спор с самим собой, стремится как можно скорее преодолеть некомпетентность в тех вопросах, которые ему приходится обсуждать. Характер любимого героя Михаила Колесникова в «Школе министров» развивается в тех психологических, нравственных границах, которые намечались уже прежде в цикле романов. Но никогда раньше личная судьба Алтунина, его личные неудачи или ошибки не были так тесно увязаны с судьбами множества других людей, не имели столь широкого — положительного или отрицательного — резонанса. Многократно возросли возможности и обязанности героя, в большой степени усилилась мера ответственности.

Ну а потолок других работников, с которыми приходится сталкиваться Алтунину по самым разнообразным поводам? Автор романа создает обширную галерею портретов, оценивая «деловых людей» как бы в двух ракурсах: со своей писательской точки зрения и с точки зрения главного героя. Чаще всего они совпадают, но случается, что Алтуний бывает пристрастен, запальчив, несправедлив по отношению к хорошо знакомым людям, своим друзьям, и тогда писатель корректирует его оценки, вступает в спор со своим героем. Именно такой смысл имеет острый разговор Алтунина в Сибири с секретарем обкома партии Букреевым. Букреев практически берет под защиту руководителей объединения «Самородок», а заодно объясняет и самому Алтунину, насколько он иной раз не соизмеряет планы главка и министерства с реальными возможностями производственного объединения.

Автор романа воссоздает характеры людей, облеченных высокими полномочиями и немалыми обязанностями. Выразительными штрихами обрисован руководитель министерства, человек, который служит Алтунину примером. «Железное самообладание делало министра министром... Решая те или

ные вопросы, даже очень срочные, министр был раздумчив, никогда не торопился. Он отличался предельной методичностью. Иногда она даже подавляла окружающих. Но в методичности выражалась его приверженность к строгой логике, к последовательности, к доказательности. То была форма мышления человека, который должен понимать массу вещей, тысячи должностных лиц, предприятий, номенклатур. По всей видимости, он мыслал совсем не так, как Алтуний. И не так, как Лядов. Его мозг беспрепятственно все упорядочивал, создавал системы. В каждом его слове чувствовалась одухотворенная воля, заряд энергии. Порывистость отсутствовала начисто.

Интересно, хотя противоречиво представлено в романе другой герой — заместитель министра Лядов, с которым Алтунию больше и чаще всего приходится сталкиваться по служебным делам, отстаивать свои идеи в спорах, порой весьма горячих. Кого поставить во главе крупного производственного объединения? Кому доверить руководство отраслевым научно-исследовательским институтом? Эти и подобные им «кадровые» вопросы иногда становятся подлинным камнем преткновения, мешающим Алтунию и Лядову понять друг друга, выработать единую позицию в том общем деле, за которое они отвечают. И писатель опять-таки не становится безоговорочно на сторону любимого своего героя, дает понять, что в определенных ситуациях Алтунию не хватает той масштабности мышления, которая свойственна его старшему коллеге.

В новом романе М. Колесников уделяет меньше внимания семейной жизни Алтунина. Возможно, это оправдано тем титлом «делового» романа, на который ориентируется прозаик. И все-таки временами хочется упрекнуть его за досадную скупость и скороговорку в том, как описывает он отношения между Алтуниным и Кирой. «В семье царил мир. Все были довольны друг другом. Алтуний радовался, испытывал душевный подъем». Как не вспомнить здесь замечание классика, что все счастливые семьи похожи друг на друга! Только, думается, задача писателя не облегчается и не упрощается при этом и счастливую семью тоже надо уметь показывать по-своему, между тем как М. Колесников временами ограничивается беглой информацией.

«Право выбора», «Индустриальная баллада», «Изотопы для Алтунина», «Алтуний принимает решение»... Эти романы Михаила Колесникова прочно вписались в материк рабочей темы. Не все они равноценны, и не всегда удача сопутствует писателю в полной мере. Но не будем забывать о том, какую трудную задачу ставил перед собой Михаил Колесников: создать живой, динамичный образ рабочего человека, который в условиях подлинной демократии, предоставляемой нашим социалистическим образом жизни, становится крупным государственным, хозяйственным руководителем. От произведения к произведению задачи прозаика все усложняются и вместе с тем возрастают мастерство и уверенность писателя в овладении этой непростой и важной темой.

Валерий ГЕЙДЕКО.



К ПОРТРЕТУ ВОСХОДЯЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М. «Наука». 1977. 320 стр.

Как не столь давно в моде было гнаться за непрерывным обновлением и легкомысленно торжествовать по поводу «исторически переходящего» статуса культуры, точно так же теперь вошла в обиход игра со словами «вечные культурные ценности».

С книгой С. С. Аверинцева в руках сегодняшний поклонник вечного, затронутый спорами вокруг всечеловеческого культурного достояния, может проверить себя, не бросает ли он слов на ветер, правда ли, что культура не уходит вместе со своей эпохой,

а остается живой и значимой через голову веков?

Ведь в этой книге живописуется и постигается как раз такое время, когда целая цивилизация кончала свое существование без надежды на будущее, а на смену шел как бы «ниоткуда, свыше, извне» молодой, новый мир, не намеренный встать в отношении преемства к миру поверженному и уходящему. И вот, как шаг за шагом убеждает нас автор, даже в эту выбитую из колеи и переживающую духовный переворот

эпоху между античностью и средневековьем сохраняются некие постоянные величины, связанные с сутью человека и его культурным бытием. Есть линии, пронизывающие насквозь память человечества, и, значит, от нас самих зависит, воскресим ли мы в себе смыслы, не утраченные с течением столетий. На эту внутреннюю работу, напряженную заинтересованностью и готовностью не к накоплению новых фактических сведений, а к пониманию старых человеческих «вестей» и рассчитывает исследователь. Среди тех, кому адресована его книга, он, конечно, имеет в виду и коллег византинистов, но может быть, прежде всего людей, подобных нам, — озабоченных собственным веком и не искушенных в «колоритной специфике» чужих времен.

Все, что можно разъяснить таким читателям, автор разъясняет, заполняя пробелы их естественного невежества щедрой исторической информацией (книга даже снабжена словарем имен и терминов почти энциклопедического типа). Но это подспорье для того, чтобы легче было следовать за воссоздающей волей автора, который, приобщая ищущего современника к пластическому образу и «жизненному чувству» эпохи IV—VII веков, вместе с тем роднит его и с историей в целом, с ее смысловой непрерывностью.

Центральное понятие книги — сдвиг, «великий сдвиг всех смыслов». Аверинцев предлагает нам вместе с ним «подглядеть момент» переориентации человеческого духа, который уже не мог успокоиться на мирозерцании эллинизма и в поисках нового устройства начала вверился молодому христианству, одновременно стараясь сохранить и приспособить свои прежние ценности и эмблемы — вселенскую империю, римские законы, греческую философию и поэзию. Менялась сама панорама души; старые имена и знаки присваивались новым вещам, человек назывался не тем, кем он был, а тем, кем он чувствовал себя в плане идеального представительства, воспринимая окружающее как несовершенное подобие вышних образцов.

Нельзя сказать, чтобы эта эпоха не имела дотошных летописцев и ученых истолкователей. Но едва ли кто-нибудь так проникновенно, как наш автор, сумел изобразить эту смещенную, «не равную себе», до конца не выговаривающую своих противоречивых поползновений психологию «ромея» — христианина-византийца. Артистизм перевопло-

щения и знание человеческого сердца в книге таковы, что совершенно экзотические феномены, бесконечно чуждые новоевропейскому сознанию, оказываются угаданными изнутри и лишь затем соотнесенными с доминантой описываемого времени. Автор умеет поставить себя даже на место византийского «служилого человека», живущего между «неестественным» насилием и «сверхъестественным» идеалом. «Диковинный предел... принципиально «беспочвенного» бытия — фигура ранневизантийского придворного евнуха», который в глазах рядового византийца обладал чертами ангелоподобия, не переставая быть при этом отчуждающей и распорядительной силой. «...как в основе античного полиса, так и в основе феодального рыцарства лежит идеал мужского товарищества полноправных воинов; поэтому ни голиты, ни рыцари никогда не согласились бы сражаться под началом евнуха... Армию, которая воплощает в себе силу общества граждан или общества феодалов, должен вести в бой мужчина и воин — «свой человек» для своих подначальных. Иное дело — армия, которая воплощает собой мощь государства, отчужденную от общества... такую армию может вести в бой евнух и чиновник, распоряжающийся мужчинами и воинами как чужим для него инструментом...»

Не нужно удивляться, что речь зашла о вещах, по видимости далеких от словесности — предмета данной книги. В обход человека литературное слово остается, на взгляд автора, ничьим и закрытым. Без вхождения в жизненный мир, во внутренний склад тех, кем и для кого это слово создавалось как значимое и внятное, он не мыслит свое дело филолога. Именно поэтому Аверинцев настаивает: филология неотделима от всего, «что прежде называлось житейской мудростью, здравым смыслом», от «умения разбираться в людях» (Краткая литературная энциклопедия, т. 7, стр. 975). Для филолога два старинных и обычно противопологаемых принципа: *ad hominem* (от человека) и *ad veritatem* (от истины) — совпадают. Короче, чтобы быть филологом, надо быть... мудрецом. И таким мудрецом, который владеет особым даром посредничества: умеет не только истолковывать скрытые за историческим горизонтом «знаки» и «знаменья», но и втолковывать нам их значение с помощью показывающего художественного жеста. Именно эта способность есть у автора. Его слог гибко меняет «осанку» в зави-

симости от пластики изображаемого культурно-человеческого типа. Когда он говорит о горделивом величии античного язычества, он помещает нас в «мир смеющихся богов и убивающих себя мудрецов, в мир героической непреклонности и философской невозмутимости, бескорыстной игры и бесцельного подвига; в мир, где высшее благо — ничего не бояться и ни на что не надеяться», и его ученая проза даже ритмически обретает поступь классической риторики и, ближайшая параллель, приводит на память: «В белом плаще с кровавым подбоем...» А когда он обращается к не озабоченному «эстетикой», парадоксальному существованию раннехристианского человека, его речь начинает нас дразнить вызывающими перепадами стиля; контрасты высокого и низкого, встряска от «неуместного» слова из «другого словаря» — все призвано передать душевную захваченность такого человека только что обретенной истиной. «Подумать только, что происходит! Перед глазами последователей христианской этики поставлен как эмблема и увещание не идеал расточающего героя, но куда более скромный образ приобретающего куща... Если только абсолютную ценность и впрямь возможно «стяжать», то не домогаться ее со всей сосредоточенной алчностью скудца, не трястись над ней, не ползти к ней на коленях со страхом и надеждой, со слезами и трепетом, позабывая о достойной осанке, — уже не героическое величие духа, но скорее нечувствительность души, ее „ожесточение“».

Это способ литературной зарисовки, сближающий разведенные миры — их и наш — на уровне человеческого общения и делающий возможным душевное участие в посторонней исторической жизни через игру с иновременным словом, смелую модернизацию на грани юмора, неожиданную теплоту фамильярности. Стоит автору, скажем, упомянуть «новомодных афинских интеллектуалов» 20-х годов V в. до н. э. или сообщить, что культурная территория Византии была завалена «всяческой писаниной», как сразу далекие люди представляются нам собратьями по человечеству, к которым можно обратиться с расчетом на понимание (уже сама словесная манера Аверинцева оказывает, таким образом, сопротивление шпенглеровскому тезису о непроницаемости культурных эпох).

Наряду с этим богатством изобразительных возможностей автор знает секрет сло-

ва, которое «между всеми словами пошло бы в точку», — афористической формулировки, способной оказаться и научным выводом и поучительной мыслью. Так, усложненная поэтика потерявшей определенность эпохи подытожена в каламбуре «эстетическое словосмешительство», а различие между позициями в космосе или истории (разное самочувствие персонажа, с одной стороны, античной, а с другой — библейской «выучки») резюмируется максимой: космическую «структуру можно созерцать, но в истории приходится участвовать».

Отсюда очевидно, что подход С. С. Аверинцева к культурной и литературной реальности ориентирован (как он сам замечает в другом месте) на «человеческие пропорции». Читатель не найдет в его книге скрупулезной детальности анализа, когда изолированный текст или жанр подвергаются всестороннему методическому обследованию. С другой стороны, автор, принципиально не желая упустить из виду живые очертания любимого предмета и обзирать его с птичьего полета, уклоняется от сквозной «глобальной» концепции, хотя ввиду переломного и синкретического характера эпохи возникает соблазн ставить кардинальные вопросы о путях культуры. Сказанное отнюдь не значит, что в книге нет обобщений. Напротив, она изобилует попутными гипотезами, интригующими и стимулирующими мысль.

Каким же образом обеспечивается очевидное единство духовно-культурной истории? Почему сшибка двух разнородных миров — западного эллинизма и молодого ближневосточного христианства — разрешается не в пользу распада, а в пользу «синтеза», задавшего норму на тысячелетие вперед? И наконец, как нашлись в старой культуре, изживающей себя и своим итогом отрекающейся от периода собственной «высокой классики», — как нашлись в ней неожиданные возможности к творческой ассимиляции нового? Хотя на эти вопросы ответить трудно, многое вырисовывается из содержания книги и других работ С. С. Аверинцева, посвященных жизненно-символической переключке эпох.

Наряду с волей к различению неосторожно смешиваемых явлений (чего стоит хотя бы характеристика христианского воздержания в его отличии от неоплатонического презрения к материи в главе «Порядок космоса и порядок истории»!) автор оставляет веское слово за коренным и общезначимым.

В каждой реконструируемой ситуации обнаруживается исконность и повторяемость запросов человека к существованию — к миру, обществу, самому себе. Потому-то культуре необходимо такое аккумулирующее средство, которое позволило бы присоединять к старому и специфическому новое и не менее специфическое, не сдвигаясь с фундамента общечеловечности. И культура реализует себя в емких формах символа, который, по приведенному автором выражению Гераклита, «не выговаривает и не скрывает, но знаменует». Символ обслуживает изменчивый ход культурной истории, гарантируя своим подспудным смысловым запасом единство исторически пестрой вереницы смыслов.

Призывая: «Вдуваемся в слова...» — автор чуть ли не к каждому ключевому для эпохи слову относится как к символу, чей неявный для нас содержательный багаж стремится обнародовать, чтобы мы на знакомом основе дорисовали затерянный в прошлом образ. Так, картина византийской иерархии — «ангельской» и имперской — вырастает из этимологического анализа, из восстановления внутренней формы слов: «чин» — «ряд» — «таксис»; узнав же, что «аскет» (буквально — упражняющийся) — это спортивная метафора, мы сквозь современные семантические оттенки «постничества» и «сухости» начинаем слышать первоначальные мужественные тона «борения» и «подвига».

Еще более очевидный и знакомый всем случай долгосрочной жизни символа — это «вечные типы», будь то Дон Кихот или Дон Жуан, в каждом из которых заключена на века программа человеческого поведения и выбора. Одним из таких «вечных типов» на страницах книги предстает старинный мудрец-книжник, мастер житейских назиданий Бен-Сира, который оказался у себя дома и на Ближнем Востоке (где этот легендарный образ возник), и в императорской Византии, и в Древней Руси... «Если мы представим себе человека юридически свободного, уважаемого и не вовсе неимущего, который поставлен в условия политической несвободы, господствующей на эллинистическом Востоке, как она господствовала во времена фараонов и будет господствовать во времена византийских императоров; который знает, как мало от него зависит, но все же хотел бы прожить жизнь по-божески и по-человечески, который отнюдь не рвется спорить с сильными мира сего, но и не намерен позволить им залезать в его душу; ко-

торый больше всего желал бы иметь до конца дней «тихое и мирное житие», но не смеет зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы, — если мы дадим себе труд увидеть этот социально-нравственный тип, мы поймем, что у нравоучительной книги «сына Сирахова» было надолго обеспеченное место в жизни»¹.

Присущее всякой культуре символическое самовыражение на закате античного мира было доведено до всеобъемлющей и рафинированной системы — неоплатонизма. Но если теоретическому уму неоплатоническая мудрость могла обещать все, то на вопросы жизни ей отвечать было нечего. «Жизненная серьезность эпохи выражала себя в понятиях страдания, греха и жертвы...»². «Новая весть», с которой явилось в мир христианство, несла в себе эту «жизненную серьезность», придавая вкус существованию и как бы преодолевая скептицизм, связанный с культурной переутонченностью.

Со своей стороны, христианское «благовестие» по самой сути требовало в усиленной степени символического языка. Ведь для адептов христианства «весть» эта подразумевала, что в лице основателя их веры «небо» сошло на «землю» и в ответ все «дольнее» устремилось к «горнему», став к нему в отношении символического подобия.

Обживая дольний мир и обещая утолить его духовную жажду, христианство между тем ослабляет свой исходный порыв к запредельному: идет на догматический союз с империей, обязуясь играть идейно-скрепляющую роль в восточной «драме священного миродержавства», и выражает себя в традиции интеллектуального, неоплатонического философствования, а не только экзистенциального возвещения. Жизнеупорядочивающий и культурный «синтез» оказался возможен лишь при условии компромисса, когда надежды на всеразрешающий «конец

¹ В другом исследовании, в статье «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской» («Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси». М. 1972), автор на примере «вечного прообраза» Девы-Мудрости демонстрирует, как один и тот же символический лейтмотив может пронизывать разные, даже независимо возникшие, но преемственные культуры.

² С. С. Аверинцев, «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью» (в сб. «Из истории культуры средних веков и Возрождения». М. 1976, стр. 44).

истории» уже потускнели. Так новый духовный импульс, натолкнувшись на инерцию культурных форм эллинизма, лишь отчасти оспорил их, но вместе с тем в них вселился, обеспечив их сохранность в новом социально-жизненном контексте³.

И все же в составе империи христианство не было целиком поглощено своей «домостроительной» функцией. Существовал некий неразстворимый остаток, вроде бы лишней в византийской общественно-идеологической структуре. Как ни ослепителен был «магический ореол власти», пишет автор, «поруганный и униженный бедняк, оставаясь на самом дне общества, на какое-то время переставал видеть блеск верхов общества нависающим над головой, как небо свод; он мог «в духе» взглянуть на богатых и властных сверху вниз, мог сделать еще больше — пожалеть их». Этот «остаток» продолжал перестраивать души и готовить матрицу для новых отношений. Как показывает автор в главе «Знак, знамя, знамение», из религиозного пафоса благодарности богу как дарителю и преданности ему как воинскому знамени впоследствии вырастает феодальный кодекс рыцарской верности и чести.

И пусть рыцарство по преимуществу «западный» феномен — его символическая предыстория разыгрывается все на том же пространственно-временном перекрестке цивилизаций: в ранней Византии... Вообще по пути изложения перед автором выростала принципиальная задача — привести к общему знаменателю двойственный процесс сдвига и смешения. Имеется в виду подготовленный изнутри сдвиг эллинизма с классических оснований и культурный «взаимопереход Греции и Азии». Как эта сложнейшая динамика осуществлялась «во плоти», автор виртуозно демонстрирует на анализе текстов Романа Сладкопепца, Псев-

³ Интересно сравнить мысль Аверинцева о конструктивном, «синтезирующем» характере культурно-исторического процесса («синтез» — одно из ведущих понятий в его исследовании) с безнадежной шпенглеровской оценкой слияния культур как вынужденной и дурной «псевдоморфозы», где старая форма оказывается прокрустовым ложем для самобытно восходящего культурного феномена (см. O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Band 2. Welthistorische Perspektiven. München. 1922. На русском языке: Шпенглер О., «Исторические псевдоморфозы», перевод С. С. Аверинцева, — в сб. «Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX в.». М. ИНИОН. 1978).

до-Дионисия, Нонна Панополитанского, «Акафиста Богородице», открывая закономерности ранневизантийской поэтики.

Аверинцев спорит и с теми, кто считает, что греки «отреклись» от своей самобытности, и с теми, кто недооценивает силу самокритики усталого античного мира, потерявшего доверие к собственной правде. Как понимать, что античность, по слову автора, пришла к своему пределу? Это значит, она не могла удовлетвориться классической гармонией, а следовательно, удержаться на ее уровне. Явленное, высветленное, зримое было заподозрено в поверхностности и неподлинности, стало пресным, не вызывающим энтузиазма. Возникла тяга к истокам, к седей мудрости, забытой цивилизованным миром. Как показывает автор, архаическое начало всегда дремало в недрах эллинской культуры; мифическая фигура вещего слепца маячила за спиной философствующего созерцателя, бесформенная и «безвидная» подоплека бытия никогда полностью не забывалась за светлым космосом платоновских идей-форм. И на эти запретные для классического искусства возможности, извлеченные из собственного прошлого, была сделана ставка в ситуации духовных блужданий. Не зря темные околичности эллинистических поэтов автор сближает с древнейшими приемами народных загадок. Но можно ли преднамеренно вернуться к первобытной невинности мифа? «Неоархаике» удавалось лишь имитировать изощренными, почти экспериментальными средствами мифологическое мышление с его естественной темнотой и доверием к фантастическому оборотничеству лиц и вещей. Путем «вторичного оперирования» продуктами искусства, может быть, достигается впечатляющая масштабность, но мало шансов обрести «жизненно серьезную» перспективу для культурного строительства.

Бегство от самой себя — в ту же эпоху конца и предела — ведет античную душу не только назад, но и на сторону, в периферийный мир «неиспорченных» варваров и восточных авторитетов по части «сокровенного знания». Потерявшая кредит культура метрополи, освободившись от следования греческим образцам окраинный арамейско-коптский мир, тем самым расширяет его творческие силы, консолидирующиеся вокруг христианства, и открывает им свои ворота. Книга дает примеры такой плодотворной прививки: обновление стилистических принципов, жанра и метрики в литур-

гической поэзии на греческом языке. Становится ясно, что скрещение выросших на разной почве культурных начал может привести к органическим и перспективным результатам, если каждому из участников взаимобмена есть что сказать по существу.

Мало того, оказывается, что эта динамика имеет отнюдь не локальное значение, на что, надо думать, намекает и сам автор, когда в радищевском сентиментализме усматривает новоевропейскую версию старинного «умиления», когда находит стадиальное соответствие между позднеантичным вкусом к «естественности» и руссоистским культом природы, или когда в уменьшительно-ласкательной фразеологии провинциальных простецов евангельских времен видит целое «каратаевское мировоззрение», или еще когда сравнивает позицию колта Нонна, работавшего с греческим словом и метром, и положения сенегальского поэта Сенгора, воспользовавшегося французским языком для популяризации национальной идеи «не-гритюда». Утверждая, что монодрама эллинистического поэта Ликофрона «примерно так относится к архаической литературе оракулов, как «Парсифаль» Рихарда Вагнера относится к настоящим грегорианским мессам», Аверинцев, по существу, устанавливает некоторое типологическое отношение конечной стадии каждой культуры к ее началу. «На правах историко-культурной параллели» автор сопоставляет «неклассическое» искусство ранней Византии, европейского барокко и поэтических течений XX века (Вяч. Иванов, Т. Элиот) и находит здесь удивительную общность художественной психологии, объяснимую, должно быть, одним и тем же местом внутри каждого культурного периода. Получается, что преемственно сменяющиеся художественные эпохи проходят свои циклы все же по какому-то единому принципу, — и вот почему, оглядываясь на начало I тысячелетия, мы одновременно видим конец II тысячелетия, всматриваемся в нашу собственную культурную участь. Так ли случайно, что перифраза Нонна, описывающая предмет путем подстановки чего-то максимально несхожего и чуждого ему, кажется нам типично «хлебниковским» приемом? В самом деле, загадочно сказать о лягушке «дева ветреной воды» или о расплавленном металле «чугунный кипяток цветами красными клокочет» — это заново открыть тот способ построения «сдвинутого» образа, который некогда

позволил Нонну Панополитанскому назвать отшельника «горожанином пустынной скалы». Точно так же и нагнетание однокоренных слов у древнего автора («...познать знание неизвестное...») и цретаевские словесные цепочки («Минута: минушая: минешь! Так мимо же...») являют собой парадоксальное сочетание «ответственной формулы... и риторической игры». Еще более знаменательно, что читатель, знакомый с образцами стиля М. Хайдеггера⁴, обязательно вспомнит этого современного философа-«оракула» при чтении пассажей из Псевдо-Дионисия Ареопагита, ранневизантийского мистика V — начала VI веков: те же гипнотические повторы, внедряющие в психику читателя идею «невообразимого» и «неизреченного», та же окольная многоречивость, призванная намекнуть на неопишуемость последней инстанции, к тайнам которой оба чувствуют себя приобщенными...

Все эти явления, пусть разного калибра и мировоззренческой сути, симптоматичны для душевного стиля именно переходных, кризисных времен (в том этимологическом смысле слова «кризис», что расшифровывается автором как «суд»). Всякая переломная эпоха, не теряющая надежды быть не только итогом, но и восходом, вынуждена оценивать долгий путь своего предшествующего развития и, по выражению Достоевского, «формулировать свой идеал» на грядущее. И тут возникает особенно острая нужда в том, чтобы провести смотр всем наличным ценностям — расставить их по законным местам в соответствии с заключенной в них правдой.

Этому и старается помочь наш автор, рисуя портрет далекого, но поучительного времени. Он не выбегает вперед с ошеломляющими моделями, не сочиняет, а знает — знает место каждой вещи внутри огромного житейского и культурного хозяйства. В этом искусстве его наставили не только историческая эрудиция и филологическое воображение, но и «сердце болезнующее» — человечность.

**Р. ГАЛЬЦЕВА,
И. РОДНЯНСКАЯ.**

⁴ См., например, М. Хайдеггер, «Искусство и пространство», перевод с немецкого В. В. Вибихина (в сб. «Судьба искусства и культуры...»).

Политика и наука**ЭТО ТРУДНОЕ ДИРЕКТОРСКОЕ КРЕСЛО**

А. Злобин. Генеральный директор. Документальная повесть с тремя интервью. М. «Советская Россия». 1978. 286 стр.

О ЗИЛе писали и пишут много. Пишут историю завода, создают художественные произведения, в которых прототипами героев выступают зилowцы, заводскому коллективу посвящено немало поэтических строк. Недавно увидела свет новая книга о ЗИЛе А. Злобина «Генеральный директор». Это документальная повесть. В ней, как и положено документалистике, нет ничего вымышленного, она от первой до последней строки построена на реальных.

Повесть А. Злобина посвящена не только и не столько генеральному директору производственного объединения «АвтоЗИЛ» П. Д. Бородину, сколько многосложным, трудным процессам и явлениям, происходящим в производственной сфере и направленным в своей конечной цели, как выражается П. Д. Бородин, не на грузовик, но на человека. «Как-то я услышал, — рассказывает директор, — говорили про наш завод: «ЗИЛ — это коллектив, объединенный грузовиком». Я бы сказал несколько иначе: объединенный совместным трудом по производству грузовика». Собственно, этот смысл и лежит в основе повествования. В повести почти отсутствуют «потусторонние», вы заводские, а точнее, бытовые картины и коллизии. Но это не обедняет повесть. Наоборот, придает ей «инженерную» стройность и ясность.

А. Злобин очень прицельно остановился на тех проблемах управления, на крупномасштабных, а порой мелких, казалось бы незначительных, задачах, без решения которых не сойдет с конвейера грузовик. Это проникновение автора в атмосферу рабочих будней, в сложный процесс рождения автомобиля сообщает повествованию достоверность и убедительность. Сюжет, вернее, стержень повести держится на Бородине Павле Дмитриевиче, генеральном директоре, отсюда и название книги. Рассказ ведется с такой заинтересованностью и увлеченностью, что эта увлеченность невольно передается читателю. У меня, во всяком случае, первым движением после прочтения книги было: съездить на

завод, поговорить с директором, поучиться бы у него, еще ближе познакомиться с ним. Может быть, Бородин уже и одолевают телефонные звонки с подобными просьбами о встрече? Как бы там ни было с личными эмоциями, они могут быть разными у разных читателей, но они, безусловно, вызваны тем, как и о ком или о чем пишет автор, как он преподнес читателю своего «документированного» героя.

Не фантазируя, не домысливая, а строго опираясь на факты, А. Злобин сумел психологически тонко, проникновенно, образно и объемно очертить П. Д. Бородина. Прост, обходителен, демократичен, не любит разбрасываться выговорами, мало заботится о собственной персоне, о своем комфорте, не устраивает разногов и разносов, не проводит экстрашумных совещаний. Спокойный, уравновешенный. Но Бородин в то же время требователен — мягкий по натуре, он умеет быть требовательным, настойчивым в достижении цели. Далее — генеральному директору всегда и все известно, ни одна мелочь не ускользнет от него. Бородин хорошо осведомлен о всех делах завода, но он враг мелкой опеки. Множество вопросов жизни завода, его производства в компетенции заместителей, помощников директора, и они их решают сами, не испрашивая на то специального разрешения или одобрения директора (поначалу ведь было, что по каждой мелочи шли к нему посоветоваться, а заодно увидеть и реакцию), но директор всегда в курсе всех заводских событий, он видит, знает, изучает ход всего заводского процесса и если обнаруживает, что «не в ту степь» поворачивается дело, вовремя поправляет, подсказывает, если надо, издает приказы, проводит совещания и т. д. — методов на то у него предостаточно.

Одна из глав повести названа «У каждого свой штурвал». И это очень верно. Руководит заводом не один Бородин, а многие его заместители, начальники служб, управлений, цехов, директора и главные инженеры многочисленных филиалов, опи-

раясь на помощь партийной, профсоюзной и других общественных организаций. Умный, размеренный, хладнокровный человек, постигший массу научных и технических знаний, прошедший хорошую школу на хозяйственной и партийной работе до того, как стал директором ЗИЛа, Бородин прочно держит свой штурвал, главный штурвал. Иногда кажется, что у его штурвала, на его месте нетрудно растеряться, чем-то увлечься, пойти по неверному пути, упустить что-то важное — уж больно много порой обрушивается вопросов и проблем. И тут, конечно, нисколько не умаляя роли директора, надо отдать дань отлаженной, кстати не без директорского вмешательства и нажима, четко работающей и всеобъемлющей службе информации, о которой автор увлеченно повествует на страницах книги вплоть до рассказа о том, как устроено на заводе архивное дело и как в течение короткого времени можно извлечь на свет практически любой документ, любой приказ.

А. Злобин пишет: «Информация есть сырье для принятия решений». И директор в нынешних условиях всегда располагает хорошим «сырьем», Добротной информацией, идущей по всем параметрам и позициям — от наличия материалов и заготовок до состояния работ над моделями «ЗИЛа» будущего — и учитывающей многие нюансы экономики и планирования. При хорошей информированности легче управлять производством, увереннее и точнее можно решать тактические и стратегические задачи производственного объединения. Тактические: что надо делать сегодня, чтобы обеспечить работу главного сборочного конвейера на три—пять месяцев вперед. Стратегические: какие проблемы надо решить в ближайшие месяцы, чтобы через два-три года увеличить выпуск автомобилей или перейти на новую модель. П. Д. Бородин вплотную занимается решением главных, сложных, глобальных вопросов. А было время, когда эта всеобъемлющая и полная информация не шла к директору в нужную минуту, когда стратегия отодвигалась на задний план текучкой. В первом интервью, отвечая на вопрос автора, П. Д. Бородин рассказывает о том, как поначалу в его кабинете был установлен сигнализатор — «две лампочки с двух сборочных конвейеров». Стояло остановиться одному из них, как напротив него загоралась лампочка. Вскоре директор

распорядился, чтобы сигнализатор убрали, он мешал работать. «Лампочка загорается,— говорит П. Д. Бородин,— значит, я должен немедленно принимать меры. Бросаю все свои дела, хватаюсь за телефон, добираюсь до самых нижних этажей управления: «Почему главный конвейер остановился?» А мне отвечает: «Гидрорули на давление не проверены... Сейчас запускаем установку». И я, директор крупнейшего завода, вынужден отдавать команду: «Быстрее гидрорули запускайте». Слово и без меня не знают». Последняя фраза объясняет многое. Главное же кроется в том, что П. Д. Бородин почувствовал тогда: старыми методами управлять заводом нельзя. И он принялся вдумчиво, расчетливо совершенствовать отдельные звенья в сложной структуре управления, взялся и за службу информации.

Теорий управления было и есть много. В книге приводится случай, как на одном из родственных ЗИЛу заводов теоретико-управленцы «долго изучали заводскую структуру, даже измеряли каким-то особым способом скорость прохождения директорских приказов» и затем пришли к выводу, что структура управления заводом «отстала от времени и устроена таким образом, что при ней ни один автомобиль не может быть выпущен». А автомобили тем не менее регулярно сходили с конвейера. Приезжали ученые, профессора и на ЗИЛ читали лекции, но до казусов дело не доходило. И та и другая сторона оставалась довольна. Павел Дмитриевич Бородин не относит себя к теоретикам управления. Он больше практики, но теории не чуждается. Структура управления производством, объединением «АвтоЗИЛ» совершенствуется, методы видоизменяются, сохраняя при этом традиции, которые закладывались еще в 30-е годы. И Бородин не сомневается в том, что путь это верный.

В повести генеральный директор активно действующий, размышляющий, анализирующий разные заводские ситуации человек, который прошел путь от грузчика до крупного руководителя отечественной промышленности. Он почти всегда имеет свою точку зрения, почти потому, что умеет прислушиваться к мнению подчиненных, внимателен и разборчив. Богатый жизненный опыт у него соседствует с постоянным усвоением последних достижений науки, современных методов руководства.

П. Д. Бородин повседневно, постоянно связан с множеством людей, ближе всего, конечно, со своими непосредственными помощниками. О многих из них рассказывается в повести. Но как? Очень просто на первый взгляд и очень сложно, если попробовать глубоко вникнуть в творческую «кухню» писателя. Герои говорят сами о себе, рассказывают о своих делах, о повседневных заботах, о решении тысяч проблем дня, все они действуют в повести, как и в жизни, не сами по себе, а в зависимости от требований производства, от задач, которые стоят перед коллективом. Герои А. Злобина живут и действуют, как в хорошем документальном кино,— зримо, правдиво. Автор же повести выступает в роли настоящего художника, компетентного и добросовестного режиссера. Он как бы исподволь наводит своих подопечных на волнующую их мысль. Все это без заданности, авторского произвола, и люди охотно делятся с ним своими замыслами, идеями, рассказывают ему о своих болячках, раскрывают перед ним секреты своей работы, работы нелегкой, которая хоть и «состоит из одних разговоров», но энергии требует огромной, сил и знаний больших. Сам автор зримо присутствует на страницах книги, он тоже действующее лицо в повести.

О чем бы ни писал А. Злобин, каких бы сторон производства ни касался, направленность его мыслей, помыслов и действий героев его книги сводятся почти к одному: к проблемам управления таким многообразным и сложным коллективом, каким является ЗИЛ с его многочисленными филиалами, а точнее — к проблемам практики и теории управления. Сегодня производство должна опережать не только теория управления, но нередко и сама практика. И тон такому положению вещей задает главный сборочный конвейер завода. Процессу сборки автомобиля, людям, работающим на конвейере, предконвейерному производству посвящено много интересных страниц. Управлять производством, его экономикой, наводить мосты в тактике и стратегии всего объединения надо до конвейера — такой вывод из прочитанного напрашивается сам собой. Все это так, все это потому так, что каждые 106 секунд конвейеру — зеркалу завода — нужна рама грузовика, двигатель, передний и задний мосты, колеса, руль, кузов, кабина, другие узлы, без которых не может быть авто-

мобиля. На это, собственно, и направлена вся работа генерального директора, всех служб и коллектива завода. Никто не ждет, не имеет права ждать, пока поступит с главного конвейера, как бывало раньше, сигнал об отсутствии какого-либо узла. Люди строят свою работу так, чтобы задел для конвейера составлял не менее трех месяцев его бесперебойной работы.

Одно время на страницах печати рассказывалось о сборочном конвейере ВАЗа. Сейчас читатель имеет возможность ближе увидеть труд людей на сборочном конвейере грузовиков. Много общего и много разного таится в работе на сборке разных по классу машин. В повести слегка задета тема различия стеновой и конвейерной сборки, сказано об эксперименте — соревновании сборки на конвейере и на стенде, проводившемся за рубежом. Различия есть. Его нетрудно обнаружить и в работе идентичных по техническому замыслу конвейеров, если сопоставить труд рабочих на ВАЗе и, например, на «Дженерал моторс корпорейшен» (ДМК), на конвейерах «Форда» или ЗИЛа. Ведь разной может быть, и бывает, сама скорость движения конвейера. В США, Японии, Италии она доходит на сборке легковых автомобилей до 8—9 метров в минуту. Утомляемость людей от монотонного труда очевидна, очевидна и разность ритмов сборки и неоднородность в методах организации труда на конвейерах у нас, в социалистическом производстве, и за рубежом, в капиталистическом, где интересы человека в системе производства и управления стоят на последнем месте. При чтении книги А. Злобина мне вспомнился один случай. Это произошло в США, недалеко от города Канзас-Сити, на заводе ДМК. Знакомясь с работой конвейера, я решил сделать несколько фотоснимков и обратился за разрешением к сопровождавшему менеджеру.

— Пожалуйста,— сказал он.— Но вы должны заплатить по пять долларов тем рабочим, которых вы собираетесь фотографировать.

— ?!

— Отвлекая их от работы,— объяснил менеджер,— вы тем самым нарушаете жесткий (я бы сказал — жестокий) ритм рабочего, переключаете труд фотографированного на плечи его соседа. А это влечет за собой дополнительные расходы...

Тема психологии труда на конвейере лишь обозначена в повести. Раскрытие ее,

видимо, не входило в планы писателя. Но обозначена она с расчетом, с тем, что осваивать ее писательскому цеху пора глубоко, ведь труд на конвейере таит в себе много неизведанного, сложного и интересного. Здесь легко ранимая психология человека сталкивается с железной логикой технологии: каждые 106 секунд к рамам автомобиля, находящимся на конвейере, должно быть обязательно что-то приставлено, привинчено, прикреплено. Собственно, этой железной логике и подчинено управление объединением «АвтоЗИЛ». Автор на первый план выводит многие человеческие качества своих героев, их отношение к делу.

Управление производством, вообще народным хозяйством — это оселок, на котором проверяются людские взаимоотношения, выявляются ступени компетентности, уровень знаний и уровень добросовестности. Мало, оказывается, быть в наш век, как утверждает Злобин, только компетентным человеком. Современный руководитель не мыслится без таких обязательных качеств, как высокая принципиальность, добросовестность, чувство ответственности и прежде всего человечность в ленинском понимании этого слова. Обладая сам этими качествами, генеральный директор руководствуется ими и в подборе людей на

командные должности своего предприятия.

В книге А. Злобина завод имени Лихачева предстает мощным современным предприятием. Здесь есть свой вычислительный центр, масса компьютеров управляет десятками километров автоматических линий, многое на заводе сделано по последнему слову техники. В это вложен громадный труд многотысячного рабочего коллектива, многочисленного отряда инженерно-технических работников, которыми руководит и управляет директор. Да, он управляет и руководит людьми, ибо человек, как говорит в повести Бородин, «самый тонкий и самый чувствительный прибор на свете». У генерального директора «АвтоЗИЛа» человек на первом плане, а уж потом грузовик.

В повести читатель найдет сжатый, но емкий исторический рассказ о ЗИЛе и его людях, узнает много интереснейших деталей из жизни цехов и служб завода, встретится с незаурядными командирами производства, увлеченными своей профессией рабочими, столкнется с рядом острых, нерешенных проблем, почувствует всю меру ответственности, которую таит в себе директорское кресло.

Книга остра, публицистична.

Г. РЕЗНИЧЕНКО.



КНИГА О ВЕЛИКОМ ФЛОРЕНТИЙЦЕ

Федор Бурлацкий. Загадка и урок Никколо Макиавелли (Драматургические, исторические и социологические новеллы). М. «Молодая гвардия». 1977. 255 стр.

Книга о Никколо Макиавелли притягивает к себе прежде всего самой магией этого имени, вокруг которого многие века в мировой науке и литературе идут нескончаемые споры. Среди титанов эпохи Возрождения Макиавелли снискал себе известность и славу великую, но чрезвычайно противоречивую, отчасти даже скандальную. На фигуре флорентийского секретаря до сих пор скрещиваются копы политических симпатий и антипатий, научных взглядов и литературных вкусов, сторонников или противников тех или иных политических форм.

Римская церковь объявила труды Макиавелли исчадием ада, верком цинизма и нравственной низости и запретила не только издание их, но и само упоминание имени автора. Наполеону приписывают фразу:

«Тацит пишет романы. Гиббон — не более как человек звучных слов. Макиавелли — единственный писатель, которого стоит читать». Однако сам Наполеон неоднократно отрекался от этого суждения. Фридрих II написал брошюру «Антимакиавелли», где противопоставил нарисованному флорентийцем портрету государя портрет просвещенного монарха. На протяжении длительного времени в царской России было не только запрещено издание работ Макиавелли, но даже их чтение считалось тяжчайшим политическим преступлением.

В противоположность этому прогрессивные ученые, писатели, политические деятели единодушно ставили Макиавелли в ряд крупнейших мыслителей эпохи Возрождения. Но и их интерпретация трудов флорентийского секретаря далеко не однознач-

на. Жан-Жак Руссо полагал, что Макиавелли был порядочным человеком и добрым гражданином и написал «Государя» с тайным намерением разоблачить тиранию. Ряд исследователей всецело выводил концепцию Макиавелли из его патриотизма — борьбы за единство Италии. С появлением позитивизма Макиавелли все чаще стали рассматривать как одного из основателей политической науки.

Глубокую и оригинальную трактовку творческого наследия Макиавелли дал Карл Маркс, относивший его к числу титанов Возрождения и основателей науки о государстве. Маркс подчеркнул, что Макиавелли стал «рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии». В одном из писем к Энгельсу Маркс отметил, что «История Флоренции» Макиавелли — это шедевр. Большое внимание уделяли Макиавелли выдающиеся деятели итальянской компартии Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти, стремившиеся использовать его труды в борьбе с фашистской диктатурой.

Несмотря на эти высокие оценки творчества Макиавелли, его труды и биография у нас в течение многих десятилетий почти не изучались. В рецензируемой книге впервые в советской литературе и в русской литературе вообще дается цельный марксистский анализ деятельности, личности и трудов великого флорентийца.

Федор Бурлацкий написал талантливую книгу, которая по необычности своей формы вполне адекватна фигуре ее героя. Несомненной находкой автора является то, что он положил в основу изложения форму новеллы — драматической, исторической, социологической. Это позволило лучше всего передать особенности творчества самого Макиавелли, основные труды которого — «Государя», «Рассуждения», «История Флоренции» — фактически состоят из законченных новелл. Драматургическую новеллу Ф. Бурлацкий использует главным образом для характеристики личности; историческую — для изложения основных эпизодов жизни и деятельности Макиавелли; социологическую — для анализа его взглядов. Построенная на биографической канве книга, несмотря на разнообразие жанровых приемов, производит впечатление цельности и законченности. В этом доказательство несомненной удачи найденной автором оригинальной формы.

Прочитав книгу, невольно задумываешься над определением ее жанра. Мне представляется, что больше всего подошло бы следующее определение: художественно-публицистическая работа, выполненная политическим писателем. «Загадка и урок Никколо Макиавелли» обнаруживает огромные возможности, которые таит этот жанр, сочетающий черты художественного произведения с научностью, философскими обобщениями. Мы уже имели случай на примере предыдущих работ Ф. Бурлацкого, в особенности книги «Мао Цзэ-дун», убедиться в его склонности и способности к писательскому изображению сложных социальных и политических сюжетов. Теперь мы имеем дело с чрезвычайно оригинальной работой, где достоинства серьезного и самостоятельного научного исследования умножены на необычность художественной формы.

Книга состоит из десяти новелл с краткими и выразительными наименованиями: «Монах», «Восхождение», «Государя», «Нисхождение», «Исповедь», «Обретение», «Карнавал», «Рассуждения», «Рассуждения...», «Карусель». Четыре новеллы выполнены в драматургической форме, остальные представляют собой исторические и социологические эссе. Несмотря на предупреждение автора о том, что он не ставит перед собой задачу писать биографию, тем не менее все эти новеллы хронологически вытянуты в единую биографическую цепь, посвященную жизни и творчеству Никколо Макиавелли.

Драматургические новеллы, вживленные в текст научно-публицистического произведения, неожиданно придали ему высокую степень остроты и достоверности. Драматургические сцены, как мне думается, написанные с большим мастерством, являются не просто фрагментами философической драмы, жанра, весьма распространенного в свое время и утраченного в литературе за последние десятилетия. Нет, речь идет о подлинной драматургии, а не только об обсуждении тех или иных социально-политических проблем в форме диалогов. Перед читателем оживают фигуры знаменитого борца за социальное равенство и религиозного фанатика доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, непревзойденного по своему вероломству Цезаря Борджа, великого автора многотомной истории Флоренции Гвиччардини, наконец, Микеланджело, Боттичелли, Фичино. Приподни-

мая завесу времени, писатель позволяет нам соприкоснуться с людьми и событиями в эпоху, когда жил и творил флорентийский секретарь.

Глубокой выразительности автор достигает в новелле «Исповедь». Действие этой сцены происходит в тюрьме, куда Никколо Макиавелли брошен по ложному доносу якобы за участие в заговоре против пришедшего к власти дома Медичи. Особенно сильно впечатляет беседа Никколо со своей душой, когда обсуждается тема личного призвания:

«Никколо. Тогда... в чем же... я виновен? Быть может... быть может... я предавал... себя... свое призвание?»

Г о л о с (гулко). Да!.. Да!.. Да!.. Всю жизнь ты изменял своей природе. Мне изменял, своей душе. Ты ломал меня, ты выворачивал мне руки. Ты пытался исказить мое лицо. Ты был рожден добрым и сильным, как слон, а тщился стать злым и коварным подобно барсу. Ты был рожден не для того, чтобы властвовать или быть подвластным, а чтобы возжечь еще одну светлую лампаду в этом холодном мире. Ты всегда носил чужие маски, и каждая из них ранила твою душу, кромсала ее в кровь, раздирала на части, вываливала в дерьме. Да, ты предо мной виновен! А что ты обрел взамен! (Гулко.) Цель жизни?

Эхо повторяет: ...Цель жизни...

Любовь?

Эхо повторяет: Любовь...

Славу?

Эхо повторяет: Славу...

Свободу?

Эхо повторяет: ...Свободу...

(Обычным голосом.) Был ли ты счастлив хоть один день в разладе со мной?..

Н и к к о л о. Клянусь, отныне я буду верен тебе одной и своему долгу перед... человеком... перед вселенной.

Г о л о с (глухо и гулко). Живи... (Звучит все тише, постепенно растворяется.) И помни... (еще тише) обещаешь... (еще тише) свое...»

Но дело не только в драматургической силе сцен, вписанных автором. Каждая из них в то же время философична в лучшем смысле этого слова. Каждый герой несет свою философию жизни, свой символ веры. Например, в драматургической новелле «Государь» автором ярко раскрыта политическая философия Цезаря Борджа, которая служит для него внутренним и внешним оправданием жестокости и злодейств:

Все — государство. Я лишь орудье.

Не зная жалости к себе и людям

Своим, я разворачиваю почву, подобно

плугу,

И пусть залито великой кровью подножье,

Тем вернее будет упрочена основа всего

зданья.

Концептуальная оценка творчества да и самой личности Макиавелли — дело чрезвычайно сложное. Оно сложно прежде всего потому, что Макиавелли не был типичным философом, создателем системы, где все от «а» до «я» сведено воедино. Макиавелли — типичный политический мыслитель. Его труды тесно связаны с конкретными политическими задачами, которые стояли или объективно могли стоять во Флоренции либо в Италии в целом в ту пору. Задача интерпретации Макиавелли сложна и потому, что его взгляды отнюдь не однозначны; не однозначны, поскольку сам Макиавелли проделал огромную эволюцию в своем развитии и поскольку, не будем скрывать этого, наблюдаются определенные противоречия в его суждениях, выводах, изложенных в разных произведениях и связанных с различными политическими целями. Эта задача сложна, наконец, и потому, что Макиавелли, подобно другим титанам Возрождения, был поразительно разносторонней личностью, являя собой одновременно и мыслителя и художника. Приверженность к этим двум ипостасям творчества неизмеримо увеличила силу воздействия его произведений на читателей, на общество, вместе с тем нельзя забывать и о том, что увлеченность художника подчас мешала строгости суждений мыслителя, а глубина суждений мыслителя иногда чрезмерно усложняла художественную ткань.

Нужно отдать должное Федору Бурлацкому: он успешно справился с нелегкой задачей решения загадки Никколо Макиавелли. Книга завершается столкновением и взаимодополнением позиций, взглядов, подходов к Макиавелли трех лиц — Историка, Писателя, Социолога. Здесь чередуются три суждения о герое книги. Суждение Историка — политический писатель. Суждение Писателя — политический художник. И суждение Социолога — политический мыслитель. Пользуясь правом интегрировать все эти три суждения, Социолог делает ряд интересных выводов, соотнося современную эпоху с эпохой Возрождения и касаясь того, чем сегодня интересны и актуальны произведения флорентийского секретаря.

По мнению Социолога, современного читателя прежде всего интересуют необыкновенно тонкие суждения Макиавелли о политическом человеке, человеке, действующем в сфере власти. Макиавелли дал такую модель Государя, которая до сих пор может служить зеркалом для любого тирана, для правителей самого разного социального толка, таких, как Гитлер, Муссолини, Франко, Чан Кай-ши, Пиночет. Он показал, как деформирует человека общение с дурными властями, как тираническая власть развращает народ.

Читатель получает возможность наслаждаться блистательным стилем политической, исторической, литературной работы флорентийца. Он может сам оценить слова К. Маркса о тонком итальянском гении.

Автор безусловно прав, когда отходит от упрощенного и однозначного толкования, которое давала буржуазная наука, рассматривая Макиавелли или исключительно как пламенного республиканца, патриота, разоблачителя тирании, или как макиавелиста — идеолога деспотизма, наставника тиранов. Проводя мысль об объективно прогрессивном значении наследия Макиавелли, Ф. Бурлацкий в то же время убедительно показывает противоречивый характер его трудов да и самой его колоритной фигуры.

Какие пожелания можно высказать автору? Может быть, следует отметить, что, фокусируя внимание на незаурядной личности Макиавелли, автор порой несколько бледнее изображает его великих современ-

ников — Микеланджело и Боттичелли, каждый из которых отнюдь не менее ярок и интересен. По-видимому, стоило более полно показать идейную борьбу вокруг наследия Макиавелли, дать критику буржуазной социологии, фальсифицирующей идеи Макиавелли, использующей его наследие для оправдания политического прагматизма и беспринципности. Можно было бы шире изложить позицию Антонио Грамши, который, находясь в тюрьме, вынашивал план написать «Современного Государя».

Когда будет подготавливаться фундаментальная книга о Никколо Макиавелли для серии «Жизнь замечательных людей» — а я убежден, что это безусловно необходимо, — нужно будет более обстоятельно рассмотреть те работы Макиавелли, которые фактически остались вне поля зрения Ф. Бурлацкого. Речь идет о «Военном искусстве», самостоятельном капитальном труде, который отразил военную стратегию эпохи Возрождения, на что специально указывал Ф. Энгельс. Речь идет в особенности о литературных произведениях Макиавелли, о которых автор упоминает лишь бегло, а также об анализе исторических концепций Макиавелли в «Истории Флоренции», о письмах великого флорентийца.

Но все это пожелания на будущее. А в настоящем мы имеем талантливую художественно-публицистическую работу, с которой читатель несомненно ознакомится с большим интересом.

Г. АЩИН,

доктор философских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ. Громовый гул. Историческая повесть. Тбилиси. «Мерани». 1977. 167 стр.

«Не знаю почему, но все в жизни рождается и обновляется через смерть», — говорит горец, шапсуг Аджук, который среди своих соплеменников удостоился чести называться «языком народа», что не было, однако, титулом, званием или должностью, дающими какое-либо преимущество. «У шапсугов исключалось преимущество одного человека над другим... Единственной силой у них была сила слова». И еще, когда речь зашла о том, будто мужчины-шапсуги терпеливо переносят боль, Аджук возражает: «Терпеть — значит уступать, поддаваться, от этого можно даже умереть. А надо сказать себе: мне не больно, и тогда боль перестанешь ощущать, она сама уступит тебе».

Главный герой новой повести Михаила Лохвицкого «Громовый гул» — разжалованный и сосланный в Сибирь армейский офицер и мелкопоместный дворянин Яков Кайсаров — ведет записки, которые продиктованы не столько просветительским стремлением запечатлеть обычаи и нравы горского племени шапсугов, среди которых довелось Кайсарову жить, сколько рождены острейшей нравственной потребностью вырваться из узкословных и карьеристских представлений ретивого царского служаки. В послесловии к повести Юрий Давыдов цитирует уже реальный дневник старшего современника Кайсарова, лицейского одноклассника Пушкина Федора Федоровича Матюшкина, тоже участника Кавказского похода, который писал: «Мало изгнать из своей земли рабство, чтобы доставить подданым счастье... но надобно изгнать его из колоний — для блага всего человечества».

Судьба Якова Кайсарова — это классический вариант «кавказского пленника», образа для русской литературы органически традиционного. Современный писатель, войдя в руло этой традиции, обнаружил ее бессмертность и плодотворность, ибо разрабатывает ее как драму совести. Постигая характер и судьбу иноязычного племени, Яков Кайсаров с не меньшим нравственным напряжением постигает себя. Эти два полюса — шапсуги и Кайсаров — создают сюжетное поле повести, именно поле, а не линию, потому что при всей романтической остроте интриги, когда герою дано вкусить и жаркую, на всю жизнь единственную любовь, и внезапное приобщение к совершенно чужеродной культуре, и смертель-

ную опасность, маленькая повесть разветвляется как исповедь, круг за кругом набирающая силу и широту нравственного и социального обзора.

Первое потрясение от убийства молодого горца и второе, столь же глубокое, от гибели поручика Попова-Азотова, человека нрава скептического и независимого, у которого Кайсаров «выиграл» кавказскую дуэль, заключающуюся в том, что вызвавшие друг друга офицеры, когда начинался обстрел со стороны горцев, вставали во весь рост и вместе рядом шли навстречу пулям, отдаваясь на волю судьбы, — две эти смерти положили начало нравственному прозрению Кайсарова, которое и завершилось в конце концов политической ссылкой в Сибирь. В этой драматической эволюции души, которую М. Лохвицкий прослеживает терпеливо и тщательно, позволяя герою каждую нравственную ситуацию разрешать наиболее естественным для него образом, встреча с шапсугами сыграла роль счастливую и роковую одновременно.

Кайсаров узнал людей, ежедневно и ежеминутно ощущающих свою принадлежность народу, свою подвластность общенародной судьбе и счастливых этой общностью. Даже кровное родство с собственным сыном, рожденным от глубоко любимой жены, Аджук ощущает как родство с народом и родной. Когда Кайсаров говорит Аджук: «Хороший у тебя сын. В нем продолжится твоя жизнь», — Аджук отвечает: «Мы лишь передаем жизнь один другому, а дали нам жизнь они, — он показал на небо, на горы и на водопад».

В записках Кайсарова совершенно отсутствует тот аляповатый этнографизм, который, бывает, диктуем желанием удивить и развлечь. Стиль его записок, сдержанный, чистосердечный и пылкий, стиль благородно мыслящего русского офицера, отличается тем высоким и ненадуманым демократизмом, который может быть рожден лишь глубоким уважением к постигаемой им культуре. В этом стиле нравственный ключ произведения. Повествуя о своем пребывании среди шапсугов, Кайсаров выясняет для себя и потомков те нравственные основы, на которых возможно будущее единение народов. «И были люди только единым народом, но разошлись...» — эти слова старого шапсуга стали эпиграфом повести. Свою личную судьбу Кайсаров ощущает как звено в истории человечества, страдающего от утерянного единства и стремящегося к нему. Оттого столь важным кажется Кайсарову записать свой опыт и записан-

ное сохранять. Он нашел свое бремя, выбрал свою ношу, и, сгибаясь под ее тяжестью, узнал самого себя, угадал свое предназначение одного из первых и столь редких тогда поборников этого единения.

И. Борисова.



ГАДИНА ФИЛИПЧУК. Знаете ли вы своего ребенка? Книга для родителей. Перевод с польского. М. «Прогресс». 1978. 206 стр.

Есть наука, положения которой касаются каждого. И почти каждому кажется, что он в совершенстве владеет этой наукой, ежедневно применяя ее в жизни. Однако в действительности это далеко не так.

Речь идет о педагогике — науке о воспитании человека. Каждый из нас в той или иной степени воспитатель, потому что воспитывает своих детей, близких, товарищей, и каждый — воспитанник, потому что постоянно подвергается воздействию окружающих. Но как далеко подчас эти воздействия от науки...

«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, — писал великий русский педагог К. Д. Ушинский, — то она должна прежде узнать его также во всех отношениях». Этим правилом руководствуется педагог и психолог Галина Филипчук, автор выпущенной в Польше и переведенной на русский язык книги «Знаете ли вы своего ребенка?». На простых примерах она учит родителей (а мы все родители) понимать движения души своего ребенка и закономерности его поведения, а значит, и делать первые шаги к его правильному воспитанию.

— Мама, я пойду гулять!

— А уроки сделала?

— Нет еще, потом сделаю.

— Потом ты не успеешь. К тому же у меня нет сил и терпения звать тебя сто раз. Ты никогда не приходишь сразу.

— Вернусь по первому зову.

— Ты всегда так обещаешь. Чем спорить со мной, садись за уроки и не теряй времени».

Но уроки не идут на ум. И снова просьбы, мольбы отпустить гулять. Сын добивается своего.

Такими диалогами начинаются почти все главы книги, каждая из которых посвящена изучению какой-нибудь одной грани личности ребенка. За диалогами следует глубокий психологический анализ ситуации и советы, ненавязчивые рекомендации, как в таких случаях поступать. Главы объединены в разделы: «Познайте своего ребенка», «Что необходимо знать о своем ребенке?», «Как изучать ребенка?», «Разумно ли мы любим своих детей?».

Главный из разделов — второй. В нем даются советы, помогающие всесторонне узнать ребенка. Вот, например, беседа автора о состоянии здоровья и физическом развитии детей. Эти качества ребенка необходимо знать «не только для устранения болезненных явлений или исправления недостатков физического развития. Эти сведения должны стать для родителей одним из исходных пунктов в понимании влияния физического состояния ребенка на развитие его психики и на формирование определенных особенностей ребенка, чтобы своевременно предупредить возникновение у него нежелательных с воспитательной точки зрения черт характера».

Или вот наблюдения автора о развитии мышления ребенка. Есть дети, которые охотнее занимаются практическими делами, а другие склонны увлекаться решением теоретических проблем. Это следует учитывать при подходе к ребенку, а позже при выборе им профессии. Требования к ребенку должны основываться на знании его способностей, интересов и возможностей, максимально им соответствовать. Так, требование учиться «только на пятерки», постоянно предъявляемое к школьнику со средними способностями, может привести его в состояние нервного перенапряжения и даже страха, вызвать нервное заболевание или нежелательные защитные реакции.

Г. Филипчук рассматривает многие свойства детей — наблюдательность, воображение, внимание, память, интересы, эмоции, отношение к людям, животным, материальным ценностям, активность, потребности и т. д. Она дает советы, как изучать эти свойства ребенка и какие педагогические выводы надо делать из его поведения, состояния здоровья и особенностей психики.

Заключительный раздел «Разумно ли мы любим своих детей?» посвящен различным проявлениям родительской любви к детям. Тема очень важная и злободневная сейчас, когда материальный уровень семей сильно возрос, а количество детей в них уменьшилось. Заласканный, задаренный, «заложенный» ребенок приобретает, как правило, эгоистические наклонности, и это отрицательно влияет на всю его дальнейшую судьбу. Дефицит родительской любви также, хотя и по-иному, опасен. И нельзя не согласиться с автором, когда она делает вывод: «Родителям стоит почаще задумываться о характере своей любви к ребенку, о реакции на родительскую любовь».

Одно из достоинств книги в том, что она по-настоящему популярна. Это действительно делает ее тем, чем она названа в подзаголовке, — книгой для родителей.

Вадим Монахов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Социализм и религия.— Об отношении рабочей партии к религии. 24 стр. Цена 3 к.

Ф. Энгельс. Письма об историческом материализме. 1890—1894. 32 стр. Цена 5 к.

Л. И. Брежнев. Актуальные вопросы идеологической работы. В 2-х тт. Т. 2. 606 стр. Цена 90 к.

Л. И. Брежнев. О внешней политике КПСС и Советского государства. Речь и статьи. Изд. 3-е, дополненное. 759 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Андреев. В поисках закономерностей. О современном литературном развитии. 339 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Воронько. Дороги памяти. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 126 стр. Цена 45 к.

Е. Любарева. Республика труда. Герой поэзии первых пятилеток. 287 стр. Цена 80 к.

Р. Чачанидзе. Капитан голубого сейнера. Рассказы. Перевод с грузинского. 182 стр. Цена 65 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Атаджанов. Иду к вам. Избранные стихотворения и поэмы. Перевод с туркменского. 269 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Бровман. Труд, герой, литература. Очерки и размышления о русской советской художественной прозе. 373 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Казин. Избранное. Стихи и поэмы. 319 стр. Цена 1 р. 30 к.

Т. Касымбеков. Сломанный меч. Исторический роман. Перевод с киргизского. 496 стр. Цена 1 р. 90 к.

Д. Урнов и М. Урнов. Литература и движение времени. Из опыта английской и американской литературы XX в. («Век XX. Литература за рубежом») 269 стр. Цена 90 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Галльский петух рассказывает. Сборник французского фольклора. Перевод с фран-

цузского. Пересказал для детей В. Суслов. 287 стр. Цена 90 к.

Жизнь и творчество Корнея Чуковского. Сборник. Составитель В. Берестов. 317 стр. Цена 1 р. 30 к.

Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Поэма. Перевод с английского И. А. Бунина. После-словие Е. Корниловой. 287 стр. Цена 75 к.

«ИСКУССТВО»

М. Горький. На дне.— Егор Булычев и другие. **В. Маяковский.** Баня.— Клоп. **К. Тренев.** Любовь Яровая. Пьесы. 349 стр. Цена 55 к.

Ю. Дмитриев. Ехали медведи на велосипеде. Очерки о цирке. 56 стр. Цена 20 к.

Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. Составлен-ные и вступительная статья И. Н. Шуваловой. 463 стр. Цена 2 р. 80 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

К. Воробьев. ...И всему роду твоему. Рас-сказы и повесть. Предисловие Е. Носова. Вильнюс. «Вага». 335 стр. Цена 1 р. 20 к.

Х. Гулям. Голодная степь.— Фируза.— Степные фиалки. Романы. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художествен-ной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 504 стр. Цена 2 р.

М. Званцев. Нижегородские мастера. Рас-сказы о народном искусстве. Горький. Вол-го-Вятское книжное издательство. 159 стр. Цена 85 к.

И. Кашафутдинов. Верни мне сына. Рас-сказы и повести. Тула. Приокское книжное издательство. 268 стр. Цена 1 р. 10 к.

Очерки по истории славянских литератур-ных связей. Под общей редакцией И. П. Вишневого. Львов. «Вища школа». 152 стр. Цена 1 р. 50 к.

Пробуждение. Рассказы татарских писа-телей. Переводы. Казань. Татнигиздат. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Шатилло. Илья Дальников и другие. Повесть и роман. Минск. «Мастацкая лите-ратура». 351 стр. Цена 1 р. 10 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1978 ГОД

Л. И. Брежнев. Малая земля. II—3
Л. И. Брежнев. Возрождение. V—3
Л. И. Брежнев. Целина. XI—3.
Мариэтте Сергеевне Шагиная. III—3
Сергей Наровчатов. К читателям этого номера (посвящается Льву Николаевичу Толстому). VIII—3

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Федор Абрамов. Дом. Роман. XII—3.
Александр Авдеев. В поте лица своего... Роман. I—3; II—148; III—104.
Василий Аксенов. Поиски жанра. I—105.
Виктор Астафьев. Четыре коротких рассказа: Падение листа; Жизнь Трезора; Гемфилия; Древнее, вечное. X—124.
Олеся Бяжух. Джун и Мервин. Роман. IV—180, V—190.
Зоя Богуславская. Защита. Повесть. X—15.
Борис Васильев. Были и небыли. Роман. III—4; IV—69.
Юрий Гейко. Запахи детства. Предисловие Сергея Наровчатова. VI—198.
И. Грекова. Кафедра. Повесть. IX—10.
Дмитрий Жуков. Владимир Иванович. Повесть. VII—173.
В. Каверин. Двухчасовая прогулка. Роман. XI—63.
Валентин Катаев. Алмазный мой венец. VI—3.
Вл. Лядин. Страницы полдня. V—79.
Виль Липатов. Повесть без названия, сюжета и конца... IV—4; V—118; VI—153.
Юрий Никитин. Голубой карантин. Рассказ. Предисловие Г. Коновалова. V—46.
Павел Нилин. Впервые замужем. Рассказ. I—80.
Л. Пантелеев. Маленький офицер. Рассказ. IV—59.
Юрий Пиляр. Забыть прошлое. Роман. II—46.
Борис Ряховский. Отрочество архитектора Найденова. Повесть. Предисловие Чингиза Айтматова. VII—95.
Юрий Сбитнев. Охота на лося. Повесть. XII—169.
Виктор Степанов. Серп Земли. Предисловие Юрия Бондарева и Владимира Шаталова. VII—25.
Николай Студеникин. Меж высоких хлебов. Рассказ. Предисловие Юрия Трифонова. VII—143.
С. А. Толстая. Моя жизнь. Публикация и подготовка текста И. А. Покровской и

Б. М. Шумовой. Государственный музей Л. Н. Толстого. VIII—34.

А. Н. Толстой. Из неопубликованного: «Война и мир», фрагменты вариантов; Сказка. Публикация Э. Зайденшнур; Неизвестное письмо Л. Н. Толстого и связанные с ним события. Публикация В. М. Дунаева; Неизвестный автограф Л. Н. Толстого — дар Президента Французской Республики. Публикация Т. Н. Архангельской. VIII—4.

Мариэтта Шагиная. Человек и время. Воспоминания. Часть шестая. IV—142. — Часть седьмая. IX—172. — Часть восьмая, завершающая. XI—193.

Галина Шергова. Заколоченные дачи. Повесть. III—68.

Винсент Эри. Крокодил. Роман. Перевел с английского Ростислав Рыбкин. X—136; XI—237.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Татьяна Андропова. Весною памятной; Провинция сибирская...; Воспоминания грустные пришли...; На полях европейских... Стихи. III—61.

Михаил Беляев. Древние Ливны: Осада Ливенской крепости; Ливенский мост. Стихи. IV—137.

Константин Ваншенкин. Из лирики: Приехали — а все цветет...; Чистка крыш; Артист не должен быть красив...; Жены поэтов; Вся августом прокалена...; Переоделалась у окна...; Моментальная вспышка сирени...; Молодая ветка клена...; Студентка; Покину тесный карантин...; У могилы советских солдат в Италии; Марбург. XI—59.

Венок Толстому: Григол Абашидзе. Дедушка и маленькая внучка; Воспоминание. Перевел с грузинского М. Сяньников. Петрусь Бровка. В России избяной, туманной... Перевел с белорусского Я. Хелемский. Ем. Буково. Что такое утро, или Экзамен по эстетике. Перевел с молдавского А. Големба. Равиль Бухараев. Дерево бедных. Константин Ваншенкин. Толстой; Вмешательство поезда в наши дела...; Декабрьский вечер. Холод злой...; Евгений. Винокуров. Миф о боготорце; Даль; Что еще мне попросить у бога?...; Ты одна все та же год от года... Расул Гамзатов. Пять песен Хаджи-Мурата. Перевел с аварского Я. Козловский. Глеб Горбовский. Уход. Сооронбай Джусуев. Часы отстанут — и цена им грош... Перевел с киргизского М. Си-

нелинников. Киримизе Жанэ. Великий подарок. Перевела с адыгейского Л. Титова. Ст. Золотцев. Зимнее. Римма Казакова. Русло. Кирилл Ковальджи. Монолог. Майя Луговская. Ясная Поляна. Михаил Львов. Мне Классика в года сиротские...; ...Не принимали судеб обреченность...; Любить при жизни жизнь не мудрено... Эдуардас Межелайтис. Сотворение мира. Перевел с литовского Л. Миль. Сергей Мнацаканян. Бегство Толстого. Лев Озеров. Он был сплетнем всех корней. Сергей Поликарпов. Над могилою Толстого; Войдя во вкус морозной тишины... Расул Рза. Младенчество. Перевел с азербайджанского М. Синельников. Вадим Сикорский. На станции Астапово; Кто выше встал, не меряю в гордыне... Бывает же такое совпадение. Евгения Славорова. Молодой Толстой. Арсений Тарковский. Меркнет зрение, сила моя... Вадим Шефнер. Неразагаданность. Степан Шипачев. Творчество. VIII—135.

Арон Вергелис. Золотое колючко. Стихи. Перевели с еврейского А. Королев, Ю. Морич, Л. Темин, Н. Злотников. VI—210.

Евг. Винокуров. Дела; Филемон и Бавкида; Ах, какие могут в человеке...; Сколькo, брат, ночами ни работай...; За чтением книг бесполезных...; — А потом?... Стихи. XII—165.

Автал Гдаш. Оса; Последние мысли Пабло Неруды; На мое семидесятичетырехлетие; Как мир велик... Стихи. Перевел с венгерского Д. Самойлов. I—193.

Стихи Денниса Гловера: Старый моряк; Отношение к моей смерти; Три вещи; Этюд; Против клеветников. Перевела с английского А. Спаль. Предисловие Сергея Наровчатова. I—195.

Владимир Голев. Январь; Баллада о книгах; Бессмертие; Осенние пляжи; Ты солги мне, слышишь? Верую. Стихи. Перевела с болгарского Лорина Дымова. III—64.

Татьяна Глушкова. Такая весна: ...А он был весь — из бархата, из пуха...; Ранние приходы темноты...; Безмерные права...; Не ты, но я — перед людьми права... VI—195.

Долг. Юрий Беличенко. Устав; О чем молчат ненастная порою...; Сосновый край; Гнездовище озона. Светлана Гершанова. Ветеранам. **Юлия Друнина.** Памяти Сергея Орлова. **Игорь Иवानов.** Командировка. **М. Кабаков.** Море; Подлодка. **Борис Куняев.** Бессмертье; Портреты. **Сергей Курганов.** Победа. **Н. Рудой.** Строители в солдаты уходили...; Откуда здесь пожухлая трава... **Владимир Сапронов.** Мне снится война. **Виктор Федотов.** По врагу стреляли первыми. **Валерий Черкашин.** Вводная; Сложность; Степь не пашу; А в Эльбе горькая вода. **Константин Шипкай.** Мне говорят... **Сергей Алиханов.** Армейскому поэту. Стихи. II—34.

Евг. Евтушенко. Голубь в Сантьяго. Повесть в стихах. XI—156.

Николай Зинovieв. Ода на рождение автoмобиля. XI—230.

Н. Злотников. Зеркало: Пурга; Малина; Зеркало; Календарь. Стихи. IX—169.

Из английской поэзии: **Джайн**

Хаулетт. Королевские ванны; Буря. **Антонин Рудольф.** Войти в одну и ту же реку дважды; Вспоминающий; Сверкающая сеть; После сна; Песня. Стихи. Перевел Е. Винокуров. II—183.

Из современной армянской поэзии. **Ваагн Давтян.** Песнь о крови; Песнь о подснежнике; Песнь о первом снеге. **Сильва Капутикян.** Мой неведомый бог, может, вправду ты есть...; На полустанке; На окраине большого города. **Рачия Ованесян.** Дней молчания и маеты...; Звезды Ригель прозрачный свет... **Арамаис Саакян.** Клянись хлебом; Добрые люди. **Амо Сагян.** Преклоняюсь, прости...; И сама в себе. **Геворг Эмин.** Что страшиться смерти... Перевели В. Равич, Елена Николаевская, А. Канькин, Александр Големба. X—115.

Алим Кешоков. Четыре стихотворения: Акация; Не по чужим словам да пересудам...; На свете вечный спор ведет природа...; Незванная гостья. Перевел с кабардинского Н. Гребнев. VI—147.

Владимир Маяковский. Из стихотворения «Разговор с товарищем Лениным». IV—3.

Сергей Мнацаканян. Черновик; Заря; Что нету счастья...; Слышнок много отгорело... Стихи. I—103.

Молодые голоса: **Владимир Сапронов.** Коммунист; После ливня. **Лада Одицова.** Родина. **Валерий Капралов.** На буровой. **Виктор Широков.** Под флагом. **Лидия Григорьева.** Нотная тетрадь. **Николай Арсеньев.** Подмосковные зарисовки; Ласточки; Сколь счастлив тот, кто имя дал цветку...; О, как догорает неспешно. **Сергей Бобков.** Хождение за три времени; Все хорошо как будто ненароком...; Города и май месяц. **Ольга Чутай.** Судьба глины; Закат. **Алексей Прийм.** Штормовой вальс; Белый как снег. **Юрий Голцици.** Бумажный змей; Сильнейшее влияние небес...; Я хотел отразить, как зеркальная гладь. **Владимир Нежданов.** Апрель. **Зоя Велихова.** Две записи в блокноте: Бабочка Бухенвальда; В том городе меня никто не знал... **Игорь Селезнев.** Заготовки. **Аркадий Пресман.** Бубен; Айтыл. **Лариса Сушкова.** Лесной колокольчик капризно...; Наплескала горячей отравы... **Алексей Смирнов.** Август; Меня учили думать так... **Анатолий Иванушкин.** Современный мотив. **Лидия Гундорова.** Сказка; Как ловко я себя всегда спасаю. **Лев Котюков.** Взлетаю под купол непрочный...; Горючая слеза... **Ия Сотникова.** А я знаю, что это — конец...; Когда бы все, что я постиг смогла... **А. Файнберг.** Оркестр. VII—3.

Набережные Челны — ЗИЛ.

Крыло к крылу. **Николай Алешков.** Баллада о неродившемся сверстнике. **Махмут Газизов.** В дороге. Перевел с татарского Владимир Шленский. **Станислав Золотцев.** Уезжают старожилы из Челнов... **Сергей Какурин.** Ночной рейс. **Михаил Киселев.** Звезда. **Юрий Кленов.** Колосок; «КамАЗ» на Красной площади. **Лидия Коломийцева.** Родине. **Евгения Кривошеина.** Теперь, когда наш луноход... **Евгений Кувайцев.** Ветер Камы. **Инна Лимонова.** Девчонка машет, как косынкой... **Николай Мягков.** В

кузнице. Владимир Потапов. Стрелы башенных кранов мотало, как мятник... Сергей Поташов. Где начиналась, где кончалась... Иван Пышков. Образ Ильича. Дмитрий Тимошин. Дороги. Знаида Фадеева. Опавший лист. Усмешка лета... Михаил Федосенко. Вальс на берегу Тихого океана. Валерий Хатюшин. Высота. Ханиф Хуснуллин. Лебеди над КамАЗом. Перевел с татарского Владимир Шленский. Яков Челвоков. Кочегар. Лия Шейнман. Кузнечный Звездодром. Владимир Шленский. На Каме. Михаил Эфрус. Ополченцы. Стихи. X—3.

Сергей Наровчатов. От Тонга до Тасмании: Короли; На той же долготе; Тасманская баллада; Сидней. Стихи. IX—3.

Елена Николаевская. Погода; Арабат из окна гостиницы; Вновь с небом на плечах Атланта...; Стволы осин... Стихи. IX—215.

Лев Озеров. Новые стихи: Далекий год; Мы были дети...; Оттолкнулся; Ногу в стремя...; И вот на Волге наступает утро...; Старая провинция — со взвозом... XI—56.

Сергей Орлов. Юность, война и слава; Береза; Мать; Весна; Подою Мгую; Сквозняк; Подняться и пойти; День; Тишина; И вдруг нахлынет, вновь пойдут слова...; Навсегда; До вершин занесена снегами; Романтика. Стихи. V—40.

Глеб Паггрев. На всю жизнь. Стихотворение. XI—229.

Вадим Рабинович. Старый кедр; Реял над поверхностями вод...; За оградой сада сад...; Стихи. VI—150.

А. Самойлов. Из пярнских элегий: Не увижу уже красногорских лесов...; Когда замрут на зиму...; В Пярну легкие снега...; Красота пустынной рощи...; И что еще за странная привычка...; Чет или нечет?.. III—183.

А. Самойлов. Средь шумного бала. Стихи. XII—201.

Борис Слуцкий. Это правда; Новое пальто для родителей; Какой полковник! Стихи. I—78.

Валентин Сорокин. Мне говорить о Родине — как петь; Боль памяти; Хлопья снега; Былина; Белый сад; Бегущая береза; Есть в каждом; Пусть звенит; Добрым быть; Будь со мной; Иван да Марья; Это было со мною; Я шел к тебе! Стихи. III—97.

Анатолий Софронов. Стихи из старых и новых тетрадей: Комета, комета по черному небу...; Да, в жизни всякое бывает; Еще один, еще полет...; Ты шла ко мне не в платье подвенечном...; Ток высокого напряжения...; Как может чувство быть учтенным...; Грохочет море грозным штормом. V—113.

Олжас Сулейменов. Цикл «Старые мастера»: Степь Баканаса; Равновесие; Ноктюрн. Стихи. IV—66.

Марина Тарасова. Столбы; В Летнем саду; Пойди в ауче, когда в пути закат...; Не знает равнодушия природа...; Не стой слоаняться по берегу детства. VI—193.

Ф. Чуев. Из новой книги: Скоро будем ходить в рубашках...; Пушки; Лейпцигская ночь; Наблюдаю, протараня...; Снега вспухают мартовской водичей... Стихи. IV—56.

Стенан Циначев. Утренние строки: Из ее

биографии; Разбирая архив; Утренние строки; По ним и дальше жить...; Тень Шекспира; Куба; Рождение песни. V—186.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Эрист Генри. Первые шаги. X—217.

Алексей Каплер. Строка в старой записной книжке. XI—279.

Д. П. Маковичкий. Последние дни Л. Н. Толстого. Из Яснополянских записок. Предисловие редакции «Литературного наследства». VIII—156.

Н. Михайлов. У заставы Ильича. IV—240. Евгений Носков, Александр Тарадавкин. Председатель из Угодки. I—207.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Александр Овчаренко. Размышляющая Америка. XII—220.

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Бовдарев, Арсений Ларонов. Уроки Толстого. Диалог. VIII—211.

Федор Бурацкий. Наследники Мао. IX—217.

А. Пахитнов. Главное дело человечества. VIII—221.

Права человека: суть спора, суть проблемы. За круглым столом «Нового мира». X—185.

Б. Светличный. Город выбирает путь. III—185.

Набережные Челны

Екатерина Лопатина. Если оглянуться на сделанное. XII—203.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Владимир Первенцев. Эпизик. VI—217.

Набережные Челны

Владимир Абызов. Жить здесь — нам! I—197.

В. Дробышев. Занские эскизы. II—218.

Солнечным февральским днем: Галина Койрайская. Обгоняющие время. Арво Метс. Штрихи к портрету КамАЗа. Маргарита Вашкевич. До перекрытия Камы — 245 дней. Предисловие Феодосия Видрашку. V—249.

В МИРЕ НАУКИ

Владимир Шубкин. Пределы. II—187.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Лариса Васильева. Альбион и тайна времени. III—203; IV—216.

Юрий Жуков. Нищие духом. VII—242.

В. Кобыш. Жить, как по телевизору. XI—261.

Илья Константиновский. В Париже. V—258.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 110-летию со дня рождения
А. М. Горького

Горький и современность. Выступление писателей и критиков: Анура Алимжанов

ва, Георгия Березко, Берты Браининой, Сергея Воронина, Гиви Гвенетадзе, Мирзы Ибрагимова, Афанасия Коптелова, Александра Крона, Андрея Лупана, Дм. Молдавского, Николая Мординова, Вл. Пименова, Григория Ходжера, Николая Шамоты. III—238.

«Радость и гордость за человека...». Из переписки М. Горького с А. В. Амфитеатровым. Публикация и подготовка текста Л. А. Евстигнеевой. III—260.

150 лет со дня рождения
Н. Г. Чернышевского

Вечно живое наследие. Листая новомирские страницы. VII—254.

Ураи Гуральник. Художник революционной демократии. Литературное наследие Н. Г. Чернышевского и современность. VII—263.

С. Машинский. В традициях политического романа. VII—277.

Геррих Волков. Пушкин и Чаадаев: высокое предназначение России. VI—250.

А. Вулис. Поэтика детектива. I—244.

Н. К. Гей. Художественный мир Л. Н. Толстого. VIII—238.

Евгений Громов. Аспекты героического (Заметки о книгах и фильмах). II—232.

Евг. Долматовский. Писатель и война. II—243.

Э. Зайденшпур. Накануне. О творческой судьбе рукописного наследия Л. Н. Толстого. VIII—255.

Л. Коробков. Обратные связи. X—251.

В. И. Кулешов. Как мы играем, классику? Глазами филолога. XI—303.

А. Метченко. На собственной основе. IX—243.

Ал. Михайлов. Опыт (Не Лаокоон, но о живописи в поэзии без установления границ меж той и другой). I—235.

Молодые силы литературы. X—248.

Василий Новиков. Художественный поиск. Заметки о прозе Чингиза Айтматова. XII—254.

Александр Панков. Современник на раневу. VI—237.

Ю. Суворцев. Мир души человеческой. Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов. IV—268; V—286.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

М. Кудянов. Стихотворения Вольтера. V—281.

Михаил Луконин. Быть с веком наравне. Размышления о современной поэзии. X—229.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Дорога к Толстому. Материалы из архива В. А. Жданова. VIII—186.

А. Манфред. Смерть Жан-Жака. III—228.

Ч. Чаплев. «Я приветствую тебя, Россия!». V—277.

Широкое полотно жизни. К 100-летию со дня рождения Садридадина Айни. Предисловие К. С. Айни. IV—259.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Н. Анастасьев. Необходимость абстрактных истин (Торнтон Уайлдер, Теофил

Норт. Роман. Торнтон Уайлдер. Мост короля Людовика Святого. Повесть. День восьмой. Роман). I—267.

Янка Брыль. «Он — строгий к правде!» (Виктор Козько. Судный день. Повесть). X—274.

Евг. Винокуров. В краю лесов и озер (Роберт Винонен. Небозеро). X—272.

Р. Гальцева, И. Родвянская. К портрету восходящей культуры (С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы). XII—266.

Валерий Гейдеко. Мера ответственности (Михаил Колесников. Школа министров. Роман). XII—264.

И. Гринберг. Энергия романа (Анатолий Ананьев. Избранные произведения в двух томах). XI—315.

Арсений Гулыга. Интеллектуальная проза Германа Гессе (Герман Гессе. Избранное. Книльп. Курортник. Степной волк). IX—259.

И. Денисова. «Не убывает памятью народ» (Егор Исаев. Даль памяти. Поэма). XI—328.

Дора Дычко. Мир Пушкина, мир исследования (Д. Д. Благой. Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина). II—271.

М. Злобина. В ожидании Великого потопа (Кэндзабуро Оэ. Избранное). XI—322.

Юлия Канз. От имени ровесников (Алена Василевич. Одно мгновение. Рассказы. Авторизованный перевод с белорусского Т. Смолянской и Г. Ашаниной). VI—270.

Алим Кешоков. Зоркость (Шараф Рашидов. Том I. Победители. Роман. Том II. Сильнее бури. Роман). IV—285.

Вадим Ковский. Пафос реальной сложности (А. Бочаров. Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской прозе). V—313.

А. Когаи. Оплачено судьбой (Л. Лазарев. Это наша судьба. Заметки о литературе, посвященной Великой Отечественной войне). IX—262.

М. Кораллов. Сын Грузии (Чабуа Амирэджиби. Дата Тутатхиа. Роман. Перевел с грузинского автор). VI—267.

В. Косолапов. Военные дневники Константина Симонова (Константин Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя). II—260.

Галина Кузнецова. Уроки поэзии (Семен Данилов. Избранное. Стихи в двух томах. Перевод с якутского). IV—287.

Григорий Левин. Необычайное — в обычном (Юрий Левитанский. День такой-то. Книга стихов). III—270.

Генрих Митин. Верность — сестра таланта (Владимир Огнев. Грузинские этюды). I—264.

Дм. Молдавский. Зоревая земля (Михаил Алексеев. Собрание сочинений в шести томах). V—306.

Т. Мотылева. Спорное и бесспорное о Толстом (По страницам иностранной критики). VIII—270.

Лев Озеров. Поиск и риск (Людмила Барбас. Пишу тебе. Михаил Синель-

ников. Облака и птицы. Олег Кочетков. Время настало. Лариса Миллер. Безымянный день. Валентина Юдина. Журавушка). X—263.

Ю. Окладский. Эстетика правды (Бертольт Брехт. О литературе. Составление, переводы и примечания Е. Кацевой. Вступительная статья Е. Книпович). IX—265.

С. Розанова. Наследие, открытое эпохам (К. Ломунов. Лев Толстой в современном мире. Павел Громов. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». В. Камянов. Поэтический мир эпоса. Э. Г. Бабаев. Лев Толстой и русская журналистика 60-х гг. XIX в. «Война и мир» в отзыве журнальной критики). VIII—265.

Владимир Савельев. «Поэзия — она живет, как мы...» (Анатолий Жигулин. Полярный ветер. Анатолий Жигулин. Стихотворения. Анатолий Жигулин. Горящая береста). II—264.

Олег Салынский. В ожидании открытий (Вадим Шефнер. Имя для птицы. Повесть. Вадим Шефнер. Круглая тайна. Повесть). IX—256.

Лев Славин. Очень серьезно! (Ю. Никитин. Почти серьезно...). V—304.

М. Слуцкий. Человек в потоке меняющегося времени (Витаутас Мартинкус. Чужой огонь ног не греет. Повесть. Витаутас Мартинкус. Флюгер для семейного праздника. Повесть). X—269.

Ю. Смелков. Плохой хороший человек (В. Тендряков. Затмение. Повесть). II—267.

В. Турбин. Жил, как писал, и писал, как жил (В. Пришвина. Наш дом). III—272.

Илья Фояжков. За пределами сказок (Елизавета Стюарт. Избранное). I—261.

Ахияр Хакимов. Книга о поэте-борце (И. Нуруллин. Тукай. Авторизованный перевод с татарского Радия Файса). V—310.

Ааду Хийт. Пядь земли. Перевела с эстонского В. Рубер (Антон Хансен-Таммсааре. Новый Нечистый из Пекла. Роман. Перевод с эстонского А. Соколова). I—259.

М. Чудакова. В свете памяти (В. Каверин. Избранные произведения в двух томах). III—266.

Сергей Чуприян. Сухое пламя (Д. Самойлов. Весть. Стихи). XI—318.

Политика и наука

Г. Аппи. Книга о великом флорентинце (Федор Бурлацкий. Загадка и урок Никколо Макиавелли. Драматургические, исторические и социологические новеллы). XII—275.

И. Бестужев-Лада. Занимательно о прогностке (М. Давыдов и В. Лисичкин. Этюды о прогностике. А. Белявский и В. Лисичкин. Тайны предвидения. Прогностика и будущее). IV—295.

Дмитрий Биленин. Все, что возможно, сбывается! (Евг. Брандис. Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе (Жюль Верн). II—279. — Слагаемые творчества (Возраст познания). VI—272.

В. Буданин. Из когорты богатей (Павел Подляшук. Богатырская симфо-

ния. Документальная повесть о Е. Д. Стасовой). XI—339.

А. Вишневский. Актуальные проблемы народонаселения (Б. Ц. Урланис. Народонаселение: исследования, публицистика). I—275.

В. Елсева. Учитель творит человека (И. Зюзюкин. Государство Школа). XI—336.

Б. Жиров. Влиятельная сила современности (Общественность и проблемы войны и мира). II—276.

Ю. Каграманов. Разное о «видеоленде» (Телевидение США. Сборник статей). I—272.

В. Карпушин, Я. Поварков. Крах антисоветского фарса (Правда о правах человека. Деятели советской культуры о правах человека). III—280.

Вл. Кузнецов. Ленинизм и XX век (К. И. Зародов. Социализм, мир, революция. Некоторые вопросы теории и практики международных отношений и классовой борьбы). IV—290.

В. Левин. Вектор личности (Георгий Федоров. Дневная поверхность). V—322.

Ю. Матвеевский, Я. Поварков. Веление разума и совести (Эрнст Генри. Разоружение: кто против?). XI—337.

В. Косолапов. Мемуары полководца (И. Х. Баграмян. Так начиналась война. И. Х. Баграмян. Так шли мы к победе). X—278.

Н. Мор. Двести семнадцать дней и ночей (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 8. Ноябрь 1919—июнь 1920). XI—331.

Вячеслав Мотышов. К гармонии разума и природы (И. Лаптев. Мир людей в мире природы). VI—275.

А. Нежный. К дальнейшему совершенствованию экономики (А. А. Адамеску и Д. В. Белорусов. Развитие и размещение производительных сил СССР в десятой пятилетке). IX—269.

Б. Никитин. Преступность — недуг внутренний (Эдвин М. Шур. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке. Перевод с английского). V—324.

Д. Панков. Немеркнущий подвиг боевого братства (Русско-турецкая война 1877—1878. Под редакцией И. И. Ростунова). III—278.

А. Паршин. Пресса, политика, бизнес. (А. Н. Бурмистенко. «Тайм»: бизнес на пропаганде). III—274.

Виктор Пекелас. О книге «Активное долголетие» (А. А. Микитин. Активное долголетие). IX—272.

Ю. Поройков. «Мы будем, как Млечный Путь...» (Дневники и письма комсомолец. Составитель М. Катаева). X—276.

Г. Резвищенко. Это трудное директорское кресло (А. Злобин. Генеральный директор. Документальная повесть с тремя интервью). XII—272.

Ю. Рытов. НТР в мире капитала (В. И. Громека. Научно-техническая революция и современный капитализм). V—319.

К. Селезнев. «Ваша революция открыла нас...» (Под знаком Красной звезды. Книга о борцах против фашизма — Мусе Джалиле, знаменитому музыканте Сермусе, других героях-интернационалистах. Перевод с немецкого). IX—275.

Ким Селыхов. Страницы наших биографий (Е. М. Тяжелыхников. Союз молодых ленинцев). II—273.

Георгий Степанидин. Живые страницы истории Индии (О. Орестов. Ворота Индии). I—282.

В. Турбин. Архивы: родина и чужбина (Встреча с прошлым. Сборник неопубликованных материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Выпуск 2). I—279.

Н. Яковлев. Труд о подвиге фронта и тыла (Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941—1945). V—316.

КОРОТКО О КНИГАХ

Гауссу Диавара. — Агостино Нето. Звездный путь. Стихи. Перевод Михаила Курганцева. Владимир Тендряков. — Борис Яранцев. Двери своего дома. Роман. И. Кон. — Ш. А. Богина. Иммигрантское население США. I—285.

Г. Егорова. — Н. М. Матузова. Рабочий класс в художественной литературе ФРГ. Е. Цейтлин. — Н. Яновский. Леонид Иванов. Вл. Андреев, Ф. Поварков. — Михаил Царев. Малый театр. Владимир Даненбург. — И. Дубинский, Г. Шевчук. Червоное казачество. Анна Илупина. — О. П. Воронова. Вера Игнатьевна Мухина. Л. Василевский. — Франсиско Мероньо. И снова в бой. Воспоминания испанского летчика — участника Великой Отечественной войны. II—282.

Семен Шуртаков. — Виктор Варгин. Журавлиный брод. Рассказы, очерки, лирические зарисовки и миниатюры. Ю. Смелков. — Ю. Крелин. Переливание сил (Из жизни хирургов). Лев Озеров. — Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. А. Княжичкий. — М. Бойко. Лирика Некрасова. Массовая историко-литературная библиотека. Ю. Игрицкий. — Разведчики разоблачают... Эта книга о шпионской и подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». III—283.

К. Касиков, Я. Федин. — А. В. Мякин. Социальный портрет советского рабочего. Основные черты. Процесс формирования. Паула Винце, Сергей Небольсин. — Рукопожатие. Сборник. Составитель Анатолий Медников. Переводы с венгерского О. Громова. Арво Метс. — Владимир Соколов. Городские стихи. Николай Внук. — Б. Я. Розен. Чудесный мир бумаги. М. Белов. — Никита Болотников. Последний одиночка. Жизнь и странствия Никифора Бегичева. И. Дрейцер. — А. Гозак. Алвар Аалто. IV—298.

Георгий Степанидин. — Партия и армия. Под общей редакцией генерала ар-

мии А. А. Епишева. Б. Исаев. — Декреты Великого Октября. Авторы-составители Ю. А. Ахапкин и М. П. Ирошников. В. Бродер. — Оружием слова. Военно-патриотическая тема в советской литературе. Сборник статей. Составители: В. Косолапов, Л. Лазарев, В. Пискунов, Марк Ефетов. — М. Певзнер. Высокое звание — писатель. Я. Кудряшов. — Ц. Солодарь. Дикая поляна. Г. Петрова. — Р. Киреев. Посещение. Повести. Наталья Лузкова. — Страницы европейской поэзии. XX век. Переводы Мориса Ваксмахера. Ст. Золотцев. — М. И. Стеблин-Каменский. Миф. V—328.

Т. Комиссарова. — Василий Ледков. Люди «Большой Медведицы». Диалогия. Перевод с немецкого Н. Леонтьева. Феодосий Видрашку. — Борис Рахманин. Моря впадают в реки. Повести и рассказы. В. Ветлугин. — Социально-психологические аспекты социального соревнования. Юрий Дмитриев. — Д. Фишер, Н. Саймон, Д. Винсент. Красная книга. Дикая природа в опасности. А. Нежный. — В. П. Павлова, А. Л. Финкельштейн. Хозяйственный расчет и эффективность производства (Опыт Главмосавоттранса). Вл. Кирсанов. — Воспоминания о Я. И. Френкеле. Арво Метс. — Д. И. Бронштейн, Г. Л. Смолян. Прекрасный и яростный мир (Субъективные заметки о современных шахматах). Вс. Сахаров. — Юозас Грушас. Тайна Адомаса Брунзы. Пьесы. Перевод с литовского. М. Аджиев. — С. Григорьев, М. Емцев. Скульптор лика земного. Р. Баландин. — Э. Мурзаев. Жизнь есть деяние. К 100-летию со дня рождения академика Л. С. Берга. VI—279.

Виталий Семи́н — Геннадий Скобликов. Наша старая хата. Повести. Л. Фризман. — А. А. Дельвин. Стихотворения. Сергей Львов. — Г. Мунблит. Рассказы о писателях. Е. Баглай. — В. К. Кузаков. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X—XVII вв. А. Старков. — Дм. Молдавский. Михаил Зоценко. Очерк творчества. Л. Василевский. — Шандор Радо. Под псевдонимом Дора. Воспоминания советского разведчика. VII—282.

А. Майкапар. — Лев Толстой и музыка. Сборник. А. Шифман. — Г. И. Петров. Отлучение Льва Толстого от церкви. VIII—286.

Юрий Полухин. — Анатолий Злобин. Встреча, которая не кончается. Очерки. Ст. Золотцев. — Сергей Бобков. Возгласы. Стихотворения. В. Косолапов. — З. Фазин. За великое дело любви. Историческая повесть. А. Аникст. — Вильгельм Левик. Избранные переводы в двух томах. Предисловие Л. Озерова. П. Черкасов. — Е. И. Чапкевич. Евгений Викторович Гарле. И. Забелин. — В. П. Даркевич. Аргонавты Средневековья. О. Алексеева. — Положение в области прав человека в США. Публикация Коммунистической партии США. Перевод с английского. В. Леви. — Владимир

Михановский. Двойники. Фантастическая повесть. Владимир Михановский. Тоборпервый. В. Порудоминский.— Н. М. Молева. «Жизнь моя—живопись». Константин Коровин в Москве. IX—278.

Нина Бавина.— Владимир Кочетов. Провинциал. Повести и рассказы. Руслан Ляшев.— Юрий Туулик. Заморское дело. Рассказы и повести. Леонид Каратеев.— Н. Флеров. Море и жизнь. Повесть. Андрей Максимов.— Л. О. Кармен. Рассказы. Р. Бухараев.— Ленинские горы. Стихи поэтов МГУ. Ирина Винокурова.— Леонид Латынин. Патриаршие пруды. Стихи. Майя Исакова.— Александр Афиногенов. Избранное в 2-х тт. Т. I. Пьесы, статьи, выступления. Т. 2. Письма, дневники. Элеонора Соловей.— Н. Р. Мазепа. В поэтическом поиске. Об эпическом и лирическом начале в современной русской поэзии. Светлана Овчинникова.— С. Юрский. Кто держит паузу. X—282.

Ю. Игрицкий.— Б. И. Марушкин, Г. З. Иоффе, Н. В. Романовский. Три революции в России и буржуазная историография. Георгий Степанидин.— Ю. Жуков, Р. Измайлова. Начало города. Страницы из хроники 30-х годов. Г. Петрова.— Нодар

Думбадзе. Десять рассказов. Перевод с грузинского Зураба Ахвледiani. А. Альтшуллер.— Е. Полякова. Станиславский. Ю. Манн.— Д. Николаев. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. Ф. Наркьерьер.— Роже Шатоне. Через самую высокую дверь. Роман. К. Бродер.— Ида Радолина. У одвого костра. Портреты югославских писателей. Анна Илупина.— Дмитрий Кабалевский. Дорогие мои друзья. Е. Краснощекова.— Г. А. Белая. Закономерности стилового развития советской прозы двадцатых годов. Владимир Даниенбург.— Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Г. Федоров.— Анатолий Варшавский. В начале всех начал. XI—342.

И. Борисова, Михаил Лохвицкий. Громовый гул. Историческая повесть. Вадим Моныхов.— Галина Филипчук. Знаете ли вы своего ребенка? Книга для родителей. XII—280.

Книжные новинки: I—288; II—288; III—288; IV—304; V—335; VI—288; VII—288; VIII—288; IX—286; X—288; XI—342; XII—281.

Памяти Аркадия Кулешова. III—287.

«Новый мир» в 1979 году. IX—287.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 28/IX 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/XI 1978 г.
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 10045. Тираж 248.000 экз. Заказ 3169.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радыська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05361.

Тип. № 2.

Цена 70 коп.

70636